



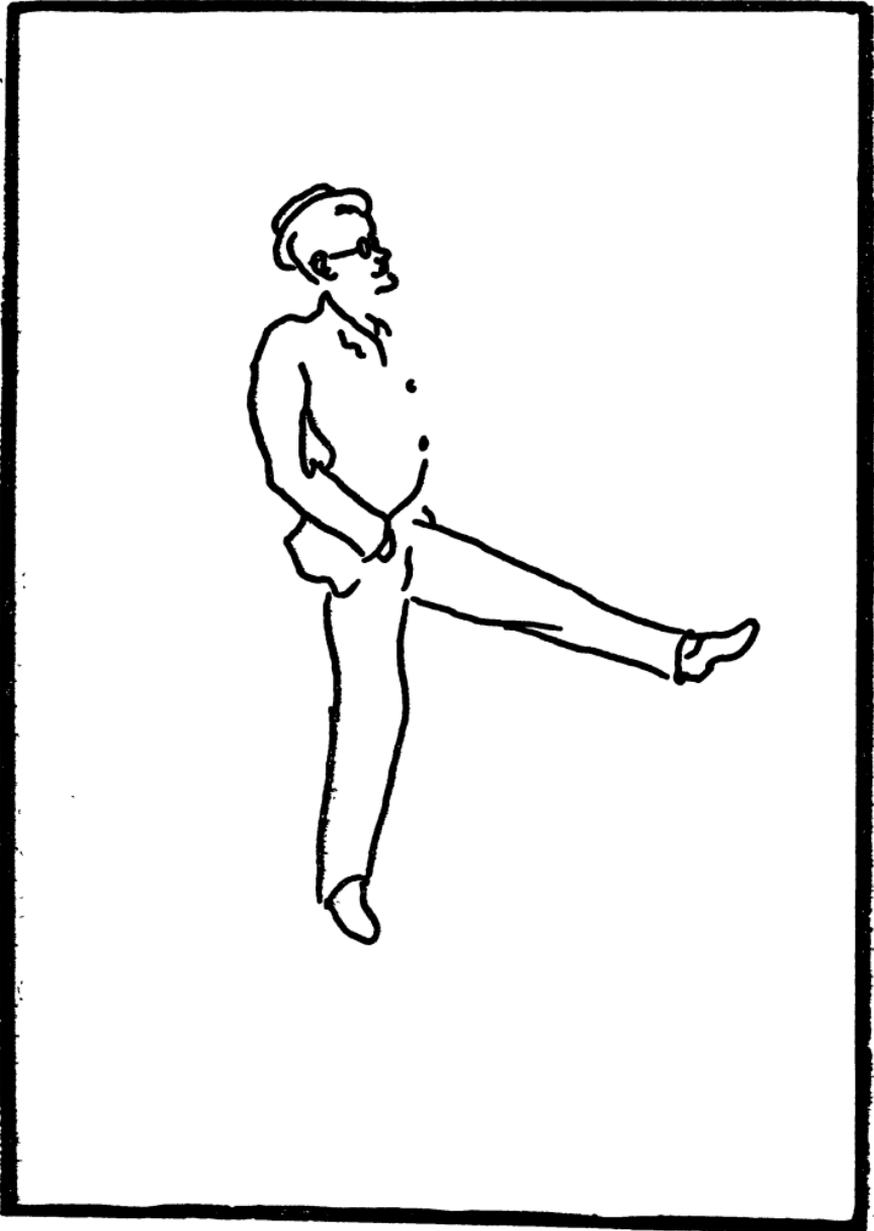
ДЖЕУМ

Djeum



Djeum
ДЖЕУМ

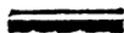
James Joyce
1882~1941



Документ
ДОКУМЕНТ
I

Дублинцы

РАССКАЗЫ



*Портрет
художника
в юности*

РОМАН

Москва
Знаменитая Книга
1993

ББК 84.4Н
Д42

Переводы с английского

Художники
АЛЛА МУХИНА, ДМИТРИЙ МУХИН

Редактор
Татьяна КУДИНА

Д $\frac{4703010100-029}{083(02) - 93}$ Без объявления

ISBN 5—8350—0035—9 (т. 1)
ISBN 5—8350—0036—7

© Издательство «Знак», 1993

Dyckman—

Dubliners

Сестры

На этот раз не было никакой надежды: это был третий удар. Каждый вечер я проходил мимо дома (это было время каникул) и разглядывал освещенный квадрат окна; и каждый вечер я находил его освещенным по-прежнему, ровно и тускло. Если бы он умер, думал я, мне было бы видно отражение свечей на темной шторе, потому что я знал, что две свечи должны быть зажжены у изголовья покойника. Он часто говорил мне: «Недолго мне осталось жить на этом свете», и его слова казались мне пустыми. Теперь я знал, что это была правда. Каждый вечер, глядя в окно, я произносил про себя, тихо, слово «паралич». Оно всегда звучало странно в моих ушах, как слово «гномон»¹ у Евклида и слово «симония»² в катехизисе. Но теперь оно звучало для меня как имя какого-то порочного и злого существа. Оно вызывало во мне ужас, и в то же время я стремился приблизиться к нему и посмотреть вблизи на его смертоносную работу.

Старик Коттер сидел у огня и курил, когда я сошел к ужину. Когда тетя клала мне кашу, он вдруг сказал, словно возвращаясь к прерванному разговору:

— Да нет, я бы не сказал, что он был, как говорится... Но что-то с ним было неладно... Странно, что он... Я вам скажу мое мнение...

Он запыхтел трубкой, будто собираясь с мыслями. Скудный, старый болван!

Когда мы только познакомились с ним, он все-таки казался интересней, рассказывал нам о разных спосо-

¹ Древнейший вид астрономического инструмента — вертикальный столбик для определения полуденной линии.

² Продажа и покупка духовных должностей; священного сана, отпущение грехов за деньги, широко практиковавшиеся в средние века римскими папами.

бах перегонки, но очень скоро надоел мне этими бесконечными разговорами о винокурении.

— У меня, видите ли, своя теория,— сказал он.— По-моему, это один из тех исключительных случаев... но, впрочем, трудно сказать...

Он опять запыхтел трубкой, так и не поделившись с нами своей теорией. Тут дядя заметил мои удивленные глаза.

— Печальная новость,— сказал он,— скончался твой старый друг.

— Кто? — спросил я.

— Отец Флинн.

— Он умер?

— Да вот мистер Коттер только что рассказал нам об этом. Он проходил мимо дома.

Я знал, что за мной наблюдают, а поэтому продолжал есть, как будто это известие совсем не интересовало меня. Дядя пояснил Коттеру:

— Они с мальчишкой были большие друзья, старик многому научил его; говорят, он был очень привязан к нему.

— Царство ему небесное,— сказала тетя набожно.

Старик Коттер присматривался ко мне некоторое время. Я чувствовал, что его черные, как бусины, глаза пытливо впиваются в меня, но я решил не удовлетворять его любопытства и не отрывал глаз от тарелки. Он опять занялся своей трубкой и наконец решительно сплюнул в камин.

— Я бы не допустил,— сказал он,— чтобы мои дети водились с таким человеком.

— Что вы хотите сказать, мистер Коттер? — спросила тетя.

— Я хочу сказать,— пояснил Коттер,— что это вредно для детей. Мальчик должен бегать и играть с мальчиками своего возраста, а не... Верно я говорю, Джек?

— И я так думаю,— сказал дядя.— Вот и этому розенкрейцеру я всегда говорю: делай гимнастику, двигайся, да что там — когда я был таким сорванцом, как он, зиму и лето первым делом, как встанешь, холодной водой... Теперь-то вот я и держусь. Образование — все это очень хорошо и полезно, но... Может быть, мистер Коттер скушает кусочек баранины,— заметил он тете.

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал Коттер.

Тетя принесла из кладовки блюдо и поставила его на стол.

— Но почему же вы думаете, мистер Коттер, что это нехорошо для детей? — спросила она.

— Это вредно для детей, — ответил Коттер, — потому что детские умы такие впечатлительные. Когда ребенок видит такое, вы что думаете, это на него не влияет?

Я набил полон рот овсянки, чтобы как-нибудь нечаянно не выдать своей злобы. Скучный, старый, красноносый дурак!

Я поздно заснул в эту ночь. Хотя я был сердит на Коттера за то, что он назвал меня ребенком, я ломал голову, стараясь понять смысл его отрывочных фраз. В темноте моей комнаты мне казалось — я снова вижу неподвижное серое лицо паралитика. Я натягивал одеяло на голову и старался думать о рождестве. Но серое лицо неотступно следовало за мной. Оно шептало, и я понял, что оно хочет покаяться в чем-то. Я чувствовал, что я погружаюсь в какой-то греховный и сладостный мир, и там опять было лицо, сторожившее меня. Оно начало исповедоваться мне тихим шепотом, и я не мог понять, почему оно непрерывно улыбается и почему губы его так влажны от слюны. Потом я вспомнил, что он умер от паралича, и почувствовал, что я тоже улыбаюсь, робко, как бы отпуская ему страшный грех.

На следующее утро после завтрака я пошел взглянуть на маленький домик на Грэйт-Бритен-Стрит. Это была невзрачного вида лавка с выцветшей вывеской «Галантерея». В основном там продавали разные зонты и детскую обувь. В обычное время на окне висело объявление — «Перетяжка зонтов». Сегодня его не было видно: ставни были закрыты. Дверной молоток обвязан крепом. Две бедно одетые женщины и рассыльный с телеграфа читали карточку, пришпиленную к крепу. Я тоже подошел и прочел:

1 июля 1895 года.
Преподобный Джеймс Флинн
(бывший священник церкви
св. Екатерины на Мит-Стрит)
65 лет.
R. I. P.¹

¹ Да покоится в мире (лат.).

Чтение карточки убедило меня в том, что он умер, и я растерялся, наконец поняв случившееся. Если бы он не умер, я вошел бы в маленькую комнату за лавкой и увидел бы его сидящим в кресле у камина, закутанным в пальто. Может быть, тетя прислала бы ему со мной пачку «Отборного», и этот подарок вывел бы его из оцепенелой спячки. Обычно я сам пересыпал табак в его черную табакерку, потому что руки у него слишком дрожали и он не мог проделать этого, не рассыпав половину на пол. Даже когда он подносил свою большую трясущуюся руку к носу, крошки табака сыпались у него между пальцами на одежду. Из-за этого вечно сыплющегося табака его старая священническая ряса приобрела зеленовато-блеклый оттенок, и даже красного носового платка, которым он смахивал осевшие крошки, не хватало — так он чернел за неделю.

Мне хотелось войти и посмотреть на него, но я не решился постучать. Я медленно пошел по солнечной стороне улицы, читая на ходу все театральные афиши в витринах магазинов. Мне казалось странным, что ни я, ни самый день не были в трауре, и я даже почувствовал неловкость, когда вдруг ощутил себя свободным, — как будто его смерть освободила меня от чего-то. Меня это удивило, потому что в самом деле, как сказал дядя накануне вечером, он многому научил меня. Он окончил Ирландский колледж в Риме и научил меня правильно читать по-латыни. Он рассказывал мне о катакомбах, о Наполеоне Бонапарте, он объяснял мне значение различных обрядов мессы и различных облачений священника. Ему доставляло удовольствие задавать мне трудные вопросы, спрашивать, как поступать в тех или иных случаях, или выяснять, считаются ли те или другие грехи смертными, разрешимыми или просто прегрешениями. Его вопросы открывали мне, как сложны и таинственны те установления церкви, которые я всегда считал самыми простыми обрядами. Обязанности священника в отношении евхаристии и тайны исповеди казались мне такими важными, что я поражался, как у кого-нибудь может хватить мужества принять их на себя, и я несколько не был удивлен, когда он рассказал мне, что отцы церкви написали книги толщиной с почтовые справочники, напечатанные таким же мелким шрифтом, как объявления о судебных процессах в газетах, для разъяснения всех этих запутанных вопросов. Часто я не мог

дать ему никакого ответа или отвечал, путаясь, какую-нибудь глупость, он же улыбался и кивал головой. Иногда он проверял мое знание ответов¹ во время мессы, которые заставлял меня выучивать наизусть, и, если я сбивался, опять кивал и задумчиво улыбался, время от времени засовывая щепотку табака по очереди в каждую ноздрю. Улыбаясь, он обнажал свои большие желтые зубы, и язык его ложился на нижнюю губу — привычка, от которой я чувствовал себя неловко в первое время нашего знакомства, пока не узнал его ближе.

Шагая по солнечной стороне, я вспоминал слова Коттера и старался припомнить, что случилось после, во сне. Я вспомнил — бархатные занавеси, висячая лампа старинной формы. Я был где-то далеко, в какой-то стране с незнакомыми обычаями — может быть, в Персии... Но я не мог вспомнить конец сна.

Вечером тетя взяла меня с собой в дом покойного. Солнце уже зашло, но оконные стекла домов, обращенные к западу, отражали багряное золото длинной гряды облаков. Нэнни встретила нас в передней. Ей надо было кричать, а это было неуместно, и потому тетя молча поздоровалась с ней за руку. Старуха вопросительно указала рукой наверх и, когда тетя кивнула, повела нас по узенькой лестнице, и ее опущенная голова оказалась на одном уровне с перилами. На площадке она остановилась, приглашая нас жестом войти в комнату покойного. Тетя вошла, но старуха, видя, что я остановился в нерешительности, снова несколько раз поманила меня рукой.

Я вошел на цыпочках. Комнату заливал закатный солнечный свет, проникавший сквозь кружевные края занавески, и свечи в нем были похожи на тонкие бледные язычки пламени. Он лежал в гробу. Нэнни подала пример, и мы все трое опустили на колени в ногах покойного. Я делал вид, что молюсь, но не мог сосредоточиться: бормотанье старухи отвлекало меня. Я заметил, что юбка у нее на спине застегнута криво, а подошвы ее суконных башмаков совсем стоптаны на один бок. Мне вдруг почудилось, что старый священник улыбается, лежа в гробу.

¹ Имеются в виду слова и фразы, произносимые молящимися или хором во время мессы в ответ священнику.

Но нет. Когда мы поднялись и подошли к изголовью кровати, я увидел, что он не улыбается. Важный и торжественный, лежал он, одетый как для богослужения, и в вялых больших пальцах косо стояла чаша. Его лицо было очень грозно: серое, громадное, с зияющими черными ноздрями, обросшее скудной седой щетиной. Тяжелый запах стоял в комнате — цветы.

Мы перекрестились и вышли. В маленькой комнате внизу Элайза торжественно сидела в его кресле. Я пробрался к моему обычному месту в углу, а Нэнни подошла к буфету и достала графин с вином и несколько рюмок. Она поставила все это на стол и предложила нам выпить по рюмке вина, затем по знаку сестры она налила вино в рюмки и передала их нам. Она предложила мне еще сливочных сухарей, но я отказался, потому что думал, что буду слишком громко хрустеть. Она как будто огорчилась моим отказом, молча прошла к дивану и села позади кресла сестры. Никто не произносил ни слова: мы все смотрели в пустой камин.

Элайза вздохнула, и тогда тетя сказала:

— Он теперь в лучшем мире! — Элайза еще раз вздохнула и наклонила голову, как бы соглашаясь с ней. Тетя повертела рюмку с вином, прежде чем отпить глоток. — А как он... мирно? — спросила она.

— Очень мирно, — ответила Элайза. — И сказать было нельзя, когда он испустил дух. Хорошая была смерть, хвала господе.

— Ну, а?..

— Отец О'Рурк был у него во вторник, соборовал и причастил его.

— Так, значит, он знал?..

— Да, он умер в мире.

— И вид у него примиренный, — сказала тетя.

— Вот и женщина, которая приходила обмыть его, тоже так сказала. Он, сказала она, как будто уснул, и лицо у него такое покойное, мирное. Никто бы ведь и не подумал, что он в гробу будет так хорош.

— И правда, — промолвила тетя.

Она отпила еще глоток из своей рюмки и сказала:

— Ну, мисс Флинн, для вас должно быть большое утешение в том, что вы делали для него все что могли. Вы обе очень заботились о нем.

Элайза расправила платье на коленях.

— Бедный наш Джеймс,— сказала она,— бог видит, мы делали для него все что могли. Как ни трудно нам было, мы ни в чем не давали ему терпеть нужду.

Нэнни прислонилась головой к диванной подушке, казалось, она вот-вот заснет.

— Да и Нэнни, бедняжка,— сказала Элайза, взглянув на нее,— измаялась вконец. Все ведь пришлось делать самим — и женщину найти, чтобы обмыть, убрать его и положить на стол, и заказать мессу в церкви. Если бы не отец О'Рурк, уж и не знаю, как бы справились. Он вот и цветы прислал, и два подсвечника из церкви, и объявление в «Фримен джорнел» дал, и взял на себя все устроить на кладбище и насчет страховки бедного Джеймса.

— Вот и молодец,— сказала тетя. Элайза закрыла глаза и медленно покачала головой.

— Да уж, старый друг — это верный друг,— сказала она,— а ведь если правду сказать, какие друзья у покойника?

— Что правда, то правда,— сказала тетя.— Вот он теперь на том свете и помянет вас за все, что вы для него сделали.

— Ах, бедный Джеймс,— повторила Элайза.— Не так уж много было с ним и хлопот. И слышно-то его в доме было не больше, чем сейчас. Ведь хоть и знаешь, что ему...

— Да, теперь, когда все кончилось, вам будет неоставать его,— сказала тетя.

— Я знаю,— сказала Элайза.— Никогда уж не придется мне больше приносить ему крепкий бульон и вам, мэм, присылать ему табачок. Бедный Джеймс!

Она замолчала, словно погрузившись в прошедшее, потом серьезно сказала:

— Последнее время я видела, что с ним что-то неладное творится. Как ни принесу ему суп, все вижу — молитвенник на полу, а сам он лежит в кресле откинувшись, и рот у него открыт.

Она потерла нос, нахмурилась, потом продолжала:

— Он все говорил, вот бы, пока лето не кончилось, в Айриштаун¹ съездить на денек, на наш старый дом по-

¹ Бедный район в пригороде Дублина, на берегу Дублинского залива.

смотреть, где мы родились, и меня хотел взять с собой, и Нэнни. Вот только бы удалось достать недорого у Джонни Раша, здесь неподалеку, одну из этих новомодных колясок без шума — отец О'Рурк ему говорил, есть нынче с особенными какими-то ревматическими колесами,— и поехать всем втроем в воскресенье под вечер... Крепко это ему в голову засело... Бедный Джеймс!

— Упокой, Господи, его душу,— сказала тетя.

Элайза достала носовой платок и вытерла глаза. Потом она положила его обратно в карман и некоторое время молча смотрела в пустой камин.

— А уж какой он был щепетильный,— сказала она.— Не под силу ему был церковный сан, да и в жизни-то ему, тоже сказать, выпал тяжелый крест.

— Да,— сказала тетя,— отчаявшийся был человек. Это было видно по нему.

Молчание наступило в маленькой комнате, и, воспользовавшись им, я подошел к столу, отпил глоток из своей рюмки и тихо вернулся на свое место в углу. Элайза, казалось, погрузилась в глубокое забытие. Мы почтительно ждали, когда она нарушит молчание; после долгой паузы она заговорила медленно:

— Это все чаша, что он тогда разбил... С этого все и началось, конечно, говорили, что это не беда, что в ней ничего не было. Но все равно... говорили, будто бы виноват служка. Но бедный Джеймс стал такой нервный, упокой, Господи, его душу!

— Так разве от этого? — спросила тетя.— Я слышала, будто...

Элайза кивнула.

— От этого у него и разум помутился,— сказала она.— После этого он и задумываться начал, и не разговаривал ни с кем, все один бродил. Как-то раз вечером пришли за ним на потребу звать, но нигде не могли его найти. Уж и где они его только не искали, и туда и сюда ходили — пропал, и следа нет. Вот тогда причетник и посоветовал посмотреть в церкви. Взяли они ключи, отперли церковь, и причетник, и отец О'Рурк, и еще другой священник с ними был, все с огнем пошли, поискать — не там ли. Ну и что же вы думаете, там и был — сидит один-одинешенек в темноте у себя в исповедальне, уставился в одну точку и будто смеется сам с собой.

Она внезапно остановилась, как бы прислушиваясь. Я тоже прислушался: ни звука в доме, я знал, что старый священник тихо лежит себе в гробу такой, каким мы его видели,— торжественный и грозный в смерти, с пустой чашей на груди.

Элайза повторила:

— Уставился в одну точку и будто смеется сам с собой... Ну тогда, конечно, как они его увидели, так уж и догадались, что неладно что-то...

Встреча

С Диким Западом нас познакомил Джо Диллон. У него была маленькая библиотечка, составленная из старых номеров «Флага Британии», «Отваги» и «Дешевой библиотеки приключений». Каждый вечер после школы мы встречались у него на дворе и играли в индейцев. Он со своим младшим братом Лео, толстым ленивцем, защищал чердак над конюшней, который мы штурмовали; или у нас разыгрывался кровопролитный бой на лужайке. Но как мы ни старались, нам никогда не удавалось одержать верх в осаде или в бою, и все наши схватки кончались победной пляской Джо Диллона. Его родители каждое утро ходили к ранней мессе в церковь на Гардинер-Стрит, и в передней их дома господствовал мирный запах миссис Диллон. Но мы были моложе и боязливей его, и нам казалось, что он предается игре слишком неистово. Он и в самом деле походил на индейца, когда носился по саду, нахлобучив на голову старую грелку для чайника, бил кулаком по жестянке и вопил:

— Йа, яка, яка, яка!

Никто не хотел верить, когда узнали, что он решил стать священником. Между тем это была правда.

Дух непослушания распространялся среди нас, и под его влиянием сглаживались различия в культуре и в наклонностях. Мы составляли шайки — одни с жаром, другие в шутку, третьи почти со страхом; к числу последних, колеблющихся индейцев, которые боялись показаться зубрилами и неженками, принадлежал и я. Приключения, о которых рассказывалось в книгах о Диком Западе, ничего не говорили моему сердцу, но они

по крайней мере позволяли мне мечтой унести подальше от этой жизни. Мне больше нравились американские повести о сыщиках, где время от времени появлялись своевольные и бесстрашные красавицы. Хотя в этих повестях не было ничего дурного и хотя они не лишены были претензий на литературность, школьники передавали их друг другу тайком. Однажды, когда отец Батлер спрашивал урок, четыре страницы из истории Рима, растяпа Лео Диллон попался с номером «Библиотеки приключений».

— Какая страница, эта? Эта страница? Ну-ка, Диллон, встаньте! «Едва забрезжил рассвет того дня...» Ну, продолжайте! Какого дня? «Едва забрезжил рассвет того дня, когда...» Вы это выучили? Что у вас там в кармане?

У всех замерло сердце, когда Лео Диллон протянул книжку, и все сделали невинное лицо. Отец Батлер, хмурясь, перелистал ее.

— Что это за ерунда? — сказал он. — *«Предводитель апачей»!* Так вот что вы читаете, вместо того чтобы учить историю Рима? Чтобы подобная гадость больше не попадалась мне на глаза в нашем колледже! Ее написал какой-нибудь гадкий человек, который пишет такие вещи, чтобы заработать себе на вино. Удивляюсь, что такие интеллигентные мальчики читают подобный хлам. Будь вы мальчиками... из Национальной школы¹. Знаете, Диллон, я вам серьезно советую приналечь на занятия, иначе...

Этот выговор заметно отрезвил меня, охладил мой энтузиазм к Дикому Западу, а смущенное пухлое лицо Лео Диллона пробудило во мне совесть. Но вдали от школы я снова уносился далеко в мечтах, которые, казалось, могли дать мне только эти повести вольной жизни. Вечерняя игра в войну стала для меня такой же утомительной, как утренние часы в школе: в глубине души я мечтал о настоящих приключениях. Но настоящих приключений, думал я, не бывает у людей, которые сидят дома: их нужно искать вдали от родины.

Уже приближались летние каникулы, когда я решил хотя бы на один день нарушить однообразие школьной жизни. Я сговорился с Лео Диллоном и с одним мальчиком по фамилии Мэхони, что мы прогуляем школу.

¹ Имеются в виду приходские школы для бедных.

Каждый из нас скопил по шесть пенсов. Мы должны были встретиться в десять часов утра на мосту через Королевский канал. Взрослая сестра Мэхони напишет ему записку в школу, а Джо Диллон скажет, что его брат болен. Мы пойдем до пристани, а потом переедем на пароме и дойдем до Пиджен-Хауз¹. Лео Диллон боялся, что мы встретим отца Батлера или еще кого-нибудь из колледжа; но Мэхони очень резонно спросил, с какой стати отец Батлер пойдет к Пиджен-Хауз. Мы успокоились, и я довел до конца первую часть нашего плана, собрав с остальных по шесть пенсов и показав им свою собственную монетку. Когда мы окончательно договорились накануне вечером, мы все были слегка возбуждены. Мы смеясь пожали друг другу руки, и Мэхони сказал:

— До завтра, друзья.

В ту ночь я спал плохо. Утром я первый пришел к мосту, потому что жил ближе всех. Я спрятал книги в высокой траве около мусорной ямы в конце сада, куда никто никогда не заходил, и побежал по берегу канала. Было мягкое солнечное утро первой недели июня. Я сидел на перилах моста, любуясь своими поношенными парусиновыми туфлями — я их с вечера старательно начистил мелом, — и наблюдал, как послушные лошади тащили полную конку деловых людей вверх по холму. Все ветки высоких деревьев по берегам канала оделись веселыми светло-зелеными листочками, и солнечный свет, косо пробиваясь сквозь них, падал на воду. Гранит моста постепенно нагревался, и я похлопывал по нему руками в такт мотиву, звучавшему у меня в голове. Мне было очень хорошо.

Я уже сидел там пять или десять минут, когда увидел серую курточку Мэхони. Он, улыбаясь, поднялся на холм и вскарабкался ко мне на мост. Пока мы ждали, он вынул рогатку, торчавшую у него из кармана, и показал усовершенствования, которые он в ней сделал. Я спросил, зачем он ее взял, а он ответил, что взял ее затем, чтобы популять в птиц. Мэхони знал много жаргонных словечек, а отца Батлера называл «старым козлом». Мы подождали еще с четверть часа, но Лео Дил-

¹ Пиджен-Хауз («Голубятня») — в прошлом форт на берегу Дублинского залива; во времена Джойса здесь находилась электростанция.

лон так и не появился. Наконец Мэхони соскочил с перил и сказал:

— Идем. Так я и знал, что Толстяк сдрейфит.

— А его шесть пенсов...— сказал я.

— А это с него штраф,— сказал Мэхони.— Нам-то что — только лучше: шиллинг да шесть пенсов вместо шиллинга.

Мы прошли по Норт Стрэнд-Роуд до химического завода, а оттуда свернули направо на улицу, ведущую к пристани. Как только мы вышли из людных мест, Мэхони принялся играть в индейцев. Он погнался за какими-то оборванными девчонками, размахивая своей незаряженной рогаткой, а когда двое оборванных мальчишек начали из рыцарских побуждений швырять в нас камнями, он предложил обстрелять их. Я возразил, что мальчишки слишком маленькие, и мы пошли дальше, а оборванцы кричали нам вдогонку: «Нехристи! Нехристи!» — думая, что мы протестанты, потому что Мэхони, у которого было смуглое лицо, носил на шапке серебряный значок какого-то крикетного клуба. Мы дошли до Утюга и решили организовать осаду, но у нас ничего не получилось, потому что для этого нужно быть по крайней мере втроем. В отместку Лео Диллону мы говорили о том, как он сдрейфил, и старались угадать, какую отметку он получит на последнем уроке у мистера Райена.

Потом мы вышли к реке. Мы долго бродили по шумным улицам, окаймленным высокими каменными стенами, и часто останавливались, наблюдая за работой подъемных кранов и лебедек, и тогда на нас кричали ломовики, проезжавшие с тяжело нагруженными подводами. Был полдень, когда мы добрались до набережных: рабочие завтракали, и мы тоже купили себе два больших пирожка со смородиновым вареньем и сели поесть на железные трубы возле реки. Мы любовались зрелищем жизни Дублинского торгового порта — речные суда, о приближении которых издали сигнализировали завитки похожего на вату дыма, коричневая флотилия рыбачьих судов за Рингсендом, большой белый парусник, разгружавшийся на противоположной стороне реки. Мэхони сказал, что было бы здорово удрать в море на каком-нибудь из этих больших судов, и даже я, глядя на высокие мачты, видел или воображал, что вижу, как на моих глазах облекаются в плоть те скудные познания по географии, которые я получил в школе. Школа и

дом, казалось, отошли от нас бесконечно далеко, и мы чувствовали себя совсем свободными.

Заплатив за переправу, мы переплыли Лиффи на пароме в обществе двух портовых рабочих и маленького еврея с мешком. Мы были серьезны до торжественности, но один раз, когда наши взгляды встретились, мы расхохотались. Сойдя на берег, мы стали наблюдать за разгрузкой стройного трехмачтовика, который заметили еще с того берега. Какой-то человек, стоявший тут же, сказал, что это норвежское судно. Я прошел к корме и попытался разобрать надпись, но не смог, вернулся назад и стал разглядывать иностранных матросов: правда ли зеленые у них глаза, мне-то ведь говорили... Глаза у матросов были голубые, серые и даже черные. Единственный матрос, чьи глаза можно было бы назвать зелеными, был рослый мужчина, забавлявший толпу на пристани тем, что каждый раз, как падали доски, он весело кричал:

— Порядок! Порядок!

Скоро нам надоело смотреть, и мы тихонько побрели в Рингсенд. Становилось душно, в окнах бакалейных лавок выгорали на солнце заплесневелые пряники. Мы купили себе пряников и шоколада и быстро их съели, бродя по грязным улицам, где жили семьи рыбаков. Молочной мы не нашли, поэтому купили в палатке по бутылке малинового сидра. Освежившись, Мэхони погнался по переулку за какой-то кошкой, но она унеслась от нас далеко в поле. Мы оба порядком устали и, когда вышли в поле, сейчас же направились к пологому откосу, за гребнем которого виднелась река Доддер.

Было слишком поздно, и мы слишком устали, чтобы думать о посещении Пиджен-Хауз. Нам нужно было вернуться домой к четверем, а то обнаружат наш побег. Мэхони с грустью смотрел на свою рогатку и повеселел только тогда, когда я предложил вернуться в город по железной дороге. Солнце спряталось за тучи, оставив нас с нашими унылыми мыслями и остатками завтрака.

В поле, кроме нас, никого не было. После того как несколько минут мы молча лежали на откосе, я увидел человека, приближавшегося к нам с дальнего края поля. Я лениво наблюдал за ним, пожевывая стебель травы, по которой гадают девочки. Он медленно шел вдоль откоса. Одна рука лежала у него на бедре, а в другой руке у него была тросточка, и он слегка постукивал ею по

земле. Он был в поношенном зеленовато-черном костюме, а на голове у него была шляпа с высокой тульей, из тех, которые мы называли ночными горшками. Он показался мне старым, потому что усы у него были с проседью. Он прошел совсем близко, быстро взглянул на нас и пошел дальше. Мы следили за ним глазами и видели, что, когда он отошел шагов на пятьдесят, он повернулся и пошел назад. Он шел по направлению к нам очень медленно, все время постукивая тростью по земле, так медленно, что я подумал, он ищет что-то в траве.

Дойдя до того места, где мы сидели, он поздоровался с нами. Мы ответили, и он опустился рядом с нами на откос, медленно и с большой осторожностью. Он начал говорить о погоде, сказал, что лето будет очень жаркое, и добавил, что климат изменился с тех пор, как он был мальчиком, а это было так давно. Он сказал, что счастливейшие годы в жизни человека — это, несомненно, школьные годы и что он отдал бы все на свете, лишь бы снова стать молодым. Когда он говорил это, нам было немного скучно, и мы молчали. Потом он начал говорить о школе и о книгах. Он спросил нас, читали ли мы стихи Томаса Мура и романы сэра Вальтера Скотта и лорда Булвера Литтона. Я сделал вид, будто я читал все книги, которые он называл, так что под конец он сказал:

— Да, я вижу, что ты такой же книжный червь, как я. А вот он,— добавил он, показывая на Мэхони, который смотрел на нас широко открытыми глазами,— он не такой; этот силен по части игр.

Он сказал, что у него дома есть все сочинения сэра Вальтера Скотта и все сочинения лорда Литтона и что ему никогда не надоедает перечитывать их. «Разумеется,— сказал он,— у лорда Литтона есть книги, которые мальчикам нельзя читать». Мэхони спросил, почему мальчикам нельзя их читать; этот вопрос расстроил меня, потому что я боялся, как бы незнакомец не счел меня таким же глупым, как Мэхони. Однако незнакомец только улыбнулся. Я увидел, что у него желтые редкие зубы. Потом он спросил, у кого из нас больше подружек. Мэхони небрежно заметил, что у него три девочки. Незнакомец спросил, сколько подружек у меня. Я ответил: ни одной. Он не поверил мне и сказал, что он убежден, кто-то у меня есть. Я промолчал.

— Скажите,— дерзко сказал ему Мэхони,— а сколько у вас самого?

Незнакомец снова улыбнулся и сказал, что в нашем возрасте у него было множество подружек.

— У каждого мальчика,— сказал он,— бывает маленькая подружка.

Меня поразило подобное свободомыслие у человека в его возрасте. В глубине души я считал правильным то, что он говорит о мальчиках и подружках. Но мне было неприятно слышать эти слова из его уст, и я удивился, почему он раза два вздрогнул, словно чего-то испугавшись или внезапно почувствовав озноб. Он продолжал говорить, и я заметил, что у него хорошая речь. Он рассказывал о девочках, какие у них красивые мягкие волосы, и какие у них мягкие руки, и что не все девочки такие хорошие, какими они кажутся. Он сказал, что больше всего на свете он любит смотреть на красивую молодую девушку, на ее красивые белые руки и на ее шелковистые мягкие волосы. У меня было такое впечатление, что он повторяет фразы, которые он выучил наизусть, или что его ум, намагниченный его же собственными словами, медленно вращается по какой-то неподвижной орбите. Порой он говорил так, точно намекал на что-то всем известное, а порой понижал голос и говорил таинственно, точно рассказывал нам какой-то секрет и не хотел, чтобы это услышали другие. Он снова и снова повторял свои фразы, немного изменяя их и окутывая своим монотонным голосом. Слушая его, я продолжал смотреть вдоль откоса.

Прошло довольно много времени, и его монолог наконец прервался. Он медленно встал, говоря, что оставит нас на минутку или, вернее, на несколько минут, и, не меняя направления взгляда, я увидел, как он медленно пошел от нас к ближнему краю поля. Он ушел, мы продолжали молчать. После двух-трех минут молчания Мэхони воскликнул:

— Ишь ты! Посмотри, что он делает!

Но поскольку я не ответил и не поднял глаз, Мэхони снова воскликнул:

— Ишь ты!.. Вот старый чудила!

— Если он спросит наши фамилии,— сказал я,— ты будешь Мэрфи, а я буду Смит.

Больше мы ничего друг другу не сказали. Я все еще раздумывал, уйти мне или остаться, когда незнакомец

вернулся и снова сел подле нас. Едва он сел, как Мэхони, заметив сбежавшую от него кошку, вскочил на ноги и погнался за ней через поле. Мы с незнакомцем наблюдали за погоней. Кошка опять спаслась бегством, и Мэхони начал швырять камни через ограду, за которой она скрылась. Скоро это ему надоело, он стал бесцельно бродить взад и вперед по дальнему краю поля.

После недолгого молчания незнакомец заговорил со мной. Он сказал, что мой друг очень грубый мальчик, и спросил, часто ли его порют в школе. Я хотел было с негодованием ответить, что мы не из Национальной школы, где мальчиков, как он выражается, порют, но промолчал. Он начал говорить о телесных наказаниях для мальчиков. Его ум, снова как бы намагниченный его словами, казалось, медленно вращается вокруг нового центра. Он сказал, что таких мальчиков нужно пороть, и пороть как следует. Когда мальчик грубый и непослушный, ему может принести пользу лишь только одно — хорошая, основательная порка. Бить по рукам или драть за уши — от этого пользы мало; что ему необходимо, так это хорошая, горячая порка. Меня удивило такое отношение, и я невольно поднял глаза на его лицо. Я встретил взгляд бутылочно-зеленых глаз, смотревших на меня из-под дергающегося лба. Я снова отвел глаза в сторону.

Незнакомец продолжал свой монолог. Казалось, он забыл свое недавнее свободомыслие. Он сказал, что, если бы он когда-нибудь узнал, что мальчик разговаривает с девочками или что у него есть подружка, он стал бы его пороть и пороть, и это научило бы этого мальчика не разговаривать с девочками. А если у мальчика есть подружка и он это скрывает, тогда он задаст этому мальчику такую порку, какой не видел ни один мальчик. Славная была бы порка! Он описывал, как стал бы пороть такого мальчика, точно раскрывал передо мной какую-то запутанную тайну. Это, сказал он, было бы для него самым большим удовольствием на свете; и его монотонный голос, постепенно раскрывавший передо мной эту тайну, стал почти нежным, точно он упрашивал меня понять его.

Я ждал до тех пор, пока его монолог не прекратился. Тогда я порывисто встал на ноги. Чтобы не выдать своего волнения, я нарочно провозился несколько секунд с башмаками, завязывая шнурки, и только после этого,

сказав, что мне нужно идти, пожелал ему всего хорошего. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня колотилось от страха, что он схватит меня за ноги. Поднявшись, я обернулся и, не глядя на него, громко закричал через поле:

— Мэрфи!

В моем голосе звучала напускная храбрость, и мне было стыдно своей мелкой хитрости. Мне пришлось крикнуть еще раз, и только тогда Мэхони заметил меня и откликнулся на мой зов. Как билось у меня сердце, когда он бежал мне навстречу через поле! Он бежал так, слышно спешил мне на помощь. И мне было стыдно, потому что в глубине души я всегда немного презирал его.

Аравия

Норт Ричмонд-Стрит оканчивался тупиком, и это была тихая улица, если не считать того часа, когда в школе Христианских братьев¹ кончались уроки. В конце тупика, поодаль от соседей, стоял на четырехугольной лужайке пустой двухэтажный дом. Другие дома на этой улице, гордые своими чинными обитателями, смотрели друг на друга невозмутимыми бурыми фасадами.

Прежний хозяин нашего дома, священник, умер в маленькой гостиной. Воздух во всех комнатах был затхлый оттого, что они слишком долго стояли закрытыми, чулан возле кухни был завален старыми ненужными бумагами. Среди них я нашел несколько книг в бумажных обложках, с отсыревшими, покоробленными страницами: «Аббат» Вальтера Скотта, «Благочестивый причастник» и «Мемуары Видока»². Последняя понравилась мне больше всех, потому что листы в ней были совсем желтые. В запущенном саду за домом росла одна яблоня и вокруг нее — несколько беспорядочно разбросанных кустов; под одним из них я нашел заржавленный велосипедный насос покойного хозяина. Он был

¹ Христианские братья — братства католиков-мирян, посвятивших себя воспитанию бедных, чаще всего незаконнорожденных детей. Школы Христианских братьев существовали на общественные пожертвования, преподаватели получали небольшую плату, образование носило преимущественно ремесленно-прикладной характер.

² «Благочестивый причастник» (опуб. в 1813) — сочинение францисканца Пацификуса Бейкера (1695—1774); «Мемуары Видока» (1829) — сочинение Франсуа-Жюля Видока (1775—1875), преступника, ставшего затем полицейским-авантюристом, который в целом ряде случаев сам инсценировал преступления, а затем с блеском их раскрывал.

известен благотворительностью и после смерти все свои деньги завещал на добрые дела, а всю домашнюю обстановку оставил сестре.

Зимой, когда дни были короче, сумерки спускались прежде, чем мы успевали пообедать. Когда мы выходили на улицу, дома уже были темные. Кусок неба над нами был все сгущавшегося фиолетового цвета, и фонари на улице поднимали к нему свое тусклое пламя. Холодный воздух пощипывал кожу, и мы играли до тех пор, пока все тело не начинало гореть. Наши крики гулко отдавались в тишине улицы. Игра приводила нас на грязные задворки, где мы попадали под обстрел обитавших в лачугах диких туземцев; к задним калиткам темных, сырых огородов, где вонь поднималась от мусорных ведер; к грязным, вонючим стойлам, где кучер чистил и скреб лошадей или мелодично позванивал украшенной пряжками сбруей. Когда мы возвращались на улицу, темноту уже пронизывал свет кухонных окон. Если из-за угла показывался мой дядя, мы прятались в тень и ждали, когда он благополучно скроется в доме. Или если сестра Мэнгана выходила на крыльцо звать брата к чаю, мы смотрели, притаившись в тени, как она оглядывается по сторонам. Мы хотели знать, останется она на крыльце или уйдет в дом, и, если она оставалась, мы выходили из своего угла и покорно шли к крыльцу Мэнгана. Она стояла там, ожидая нас, и ее фигура чернела в светлом прямоугольнике полуотворенной двери. Брат всегда поддразнивал ее, прежде чем послушаться, а я стоял у самых перил и смотрел на нее. Ее платье колебалось, когда она поворачивалась, и мягкий жгут косы подрагивал у нее за плечами.

Каждое утро я ложился на пол в гостиной и следил за ее дверью. Спущенная штора всего на один дюйм не доходила до подоконника, так что с улицы меня не было видно. Когда она показывалась на крыльце, у меня вздрагивало сердце. Я мчался в переднюю, хватал свои книги и шел за ней следом. Я ни на минуту не терял из виду коричневую фигурку впереди, и уже у самого поворота, где наши дороги расходились, я ускорял шаг и обгонял ее. Так повторялось изо дня в день. Я ни разу не заговорил с ней, если не считать нескольких случайных слов, но ее имя было точно призыв, глупо будораживший мою кровь.

Ее образ не оставлял меня даже в таких местах, ко-

торые меньше всего располагали к романтике. В субботу вечером, когда тетя отправлялась за покупками в лавки, я всегда нес за ней сумку. Мы шли ярко освещенными улицами, в толкотне торговки и пьяниц, среди ругани крестьян, пронзительных возгласов мальчишек, охранявших бочки с требухой у лавок, гнусавых завываний уличных певцов, тянувших песню про О'Донована Россу¹ или балладу о горестях родной нашей страны. Все эти шумы сливались для меня в едином ощущении жизни; я воображал, что бережно несу свою чашу² сквозь скопище врагов. Временами ее имя срывалось с моих губ в странных молитвах и гимнах, которых я сам не понимал. Часто мои глаза наполнялись слезами (я не знал почему), и мне иногда казалось, что из сердца у меня поднимается волна и заливают всю грудь. Я думал о том, что будет дальше. Не знал, придется ли мне когда-нибудь заговорить с ней и если придется, как я скажу ей о своем несмелом поклонении. Но мое тело было точно арфа, а ее слова — точно пальцы, пробегающие по струнам.

Как-то вечером я вошел в маленькую гостиную, ту, где умер священник. Вечер был темный и дождливый, и во всем доме не раздавалось ни звука. Через разбитое стекло мне было слышно, как дождь падает на землю, бесчисленными водяными иглами прыгая по мокрым грядкам. Где-то внизу светился фонарь или лампа в окне. Я был рад, что вижу так немного. Я был словно в тумане, и в ту минуту, когда, казалось, все чувства вот-вот покинут меня, я до боли стиснул руки, без конца повторяя: «Любимая! Любимая!»

Наконец она заговорила со мной. При первых словах, которые она произнесла, я смутился до того, что не знал, как ответить. Она спросила, собираюсь ли я в «Аравию»³. Не помню, что я ей ответил — да или нет. Чудесный будет базар, сказала она; ей очень хочется побывать там.

¹ О'Донован Россса Джеримая (Россса — «Рыжий»; кличка, добавленная к фамилии; 1831—1915) — деятель ирландского национально-освободительного движения. Воспринимался народом как символ мужества и отваги.

² Имеется в виду потир, чаша для святых даров. Здесь чаша — символ духовных идеалов и надежд.

³ «Аравия» — название благотворительного базара, ежегодно проводимого в Дублине с 14 по 19 мая в помощь городским больницам.

— А почему бы вам не пойти? — спросил я.

Разговаривая, она все время вертела серебряный браслет на руке. Ей не придется пойти, сказала она, потому что на этой неделе у них в монастырской школе говеют. Ее брат и еще двое мальчиков затеяли в это время драку из-за шапок, и я один стоял у крыльца. Она держалась за перекладину перил, наклонив ко мне голову. Свет фонаря у нашей двери выхватывал из темноты белый изгиб ее шеи, освещал лежавшую на шее косу и, падая вниз, освещал ее руки на перилах. Он падал с одной стороны на ее платье и выхватывал белый краешек нижней юбки, едва заметный, когда она стояла неподвижно.

— Счастливы вы, — сказала она.

— Если я пойду, — сказал я, — я вам принесу что-нибудь.

Какие бесчисленные мечты кружились у меня в голове во сне и наяву после этого вечера! Мне стали невыносимы школьные занятия. Вечерами в моей комнате, а днем в классе ее образ заслонял страницы, которые я пытался прочесть. Слово «Аравия» звучало мне среди тишины, в которой нежилась моя душа, и околдовывало меня восточными чарами. Я попросил разрешения в субботу вечером отправиться на благотворительный базар. Тетя очень удивилась и высказала надежду, что это не какая-нибудь франкмасонская¹ затея. В классе я отвечал плохо. Я видел, как на лице учителя дружелюбие сменилось строгостью; он спросил, уж не вздумал ли я лениться, я не мог сосредоточиться. У меня не хватало терпения на серьезные житейские дела, которые теперь, когда они стояли между мной и моими желаниями, казались мне детской игрой, нудной, однообразной детской игрой.

В субботу утром я напомнил дяде, что вечером хотел бы пойти на благотворительный базар. Он возился у вешалки, разыскивая щетку для шляп, и коротко ответил мне:

— Да, мальчик, я знаю.

Так как он был в передней, я не мог войти в гостиную и лечь перед окном. Я вышел из дому в дурном настроении и медленно побрел в школу. День был безна-

¹ Масоны воспринимались католиками в Ирландии такими же врагами «истинной веры», как и протестанты.

дежно пасмурный, и сердцем я уже предчувствовал беду.

Когда я вернулся домой к обеду, дяди еще не было. Но было еще рано. Некоторое время я сидел и смотрел на часы, а когда их тиканье стало меня раздражать, я вышел из комнаты. Я поднялся по лестнице в верхний этаж дома. В высоких, холодных, пустых, мрачных комнатах мне стало легче, и я, напевая, ходил из одной в другую. В окно я увидел своих товарищей, которые играли на улице. Их крики доносились до меня приглушенными и неясными, и, прижавшись лбом к холодному стеклу, я смотрел на темный дом напротив, в котором жила она. Я простоял так с час, не видя ничего, кроме созданной моим воображением фигуры в коричневом платье, слегка тронутой светом изогнутой шеи, руки на перилах и белого краешка юбки.

Когда я снова спустился вниз, у огня сидела миссис Мерсер. Это была седая сварливая старуха, вдова ростовщика, собиравшая для какой-то богоугодной цели старые почтовые марки. Мне пришлось терпеливо слушать болтовню за чайным столом. Обед запаздывал уже больше чем на час, а дяди все не было. Миссис Мерсер встала: ужасно жалко, но она больше ждать не может, уже девятый час, а она не хочет поздно выходить на улицу, ночной воздух ей вреден. Когда она ушла, я стал ходить взад и вперед по комнате, сжимая кулаки. Тетя сказала:

— Боюсь, что тебе придется отложить свой базар до воскресенья.

В девять часов я услышал щелканье ключа в замке двери. Я услышал, как дядя разговаривает сам с собой и как вешалка закачалась под тяжестью его пальто. Я хорошо знал, что все это значит. Когда он наполовину управился с обедом, я попросил у него денег на базар. Он все забыл.

— Добрые люди уже второй сон видят,— сказал он. Я не улыбнулся. Тетя энергично вступилась:

— Дай ты ему деньги, и пусть идет. Довольно его томить.

Дядя сказал, что он огорчен, как это он забыл. Он сказал, что придерживается старой пословицы: *без утех и развлеченья нет успеха и в ученье*. Он спросил меня, куда я собираюсь, и, когда я ему это во второй раз объяснил, он спросил, знаю ли я «Прощание араба с ко-

нем»¹. Когда я выходил из кухни, он декламировал тете первые строчки этого стихотворения.

Крепко зажав в руке флорин, я несся по Букингем-Стрит к вокзалу. Улицы, запруженные покупателями, ярко освещенные газовыми фонарями, напоминали мне о том, куда я направляюсь. Я сел в пустой вагон третьего класса. После нестерпимого промедления поезд медленно отошел от перрона. Он полз среди полуразрушенных домов, над мерцающей рекой. На станции Уэстленд-Роу целая толпа осадила вагоны, но проводники никого не пускали, крича, что поезд специальный и идет только до базара. Я оставался один в пустом вагоне. Через несколько минут поезд подошел к сколоченной на скорую руку платформе. Я вышел; светящийся циферблат показывал, что уже без десяти десять. Прямо передо мной было большое строение, на фасаде которого светилось магическое имя.

Я не мог найти шести пенсов на вход и, боясь, как бы базар не закрыли, проскочил через турникет, протянув шиллинг человеку с усталым лицом. Я очутился в большом зале, который на половине его высоты опоясывала галерея. Почти все киоски были закрыты, и больше половины зала оставалось в темноте. Кругом стояла тишина, какая бывает в церкви после службы. Я робко прошел на середину базара. Несколько человек толпилось у открытых еще киосков. Перед занавесом, над которым из разноцветных лампочек составлены были слова «Café Chantant», два человека считали на подносе деньги. Я слушал, как падают монеты.

С трудом вспомнив, зачем я сюда попал, я подошел к одному из киосков и стал рассматривать фарфоровые вазы и чайные сервизы в цветочек. У двери киоска барышня разговаривала и смеялась с двумя молодыми людьми. Я заметил, что они говорят с лондонским акцентом, и невольно прислушался к их разговору.

— Ах, я не говорила ничего подобного!

— Ах, вы сказали!

— Ах, я не говорила!

— Правда, она сказала?

— Да. Я сам слышал.

— Ах вы... лгунишка!

¹ Стихотворение английской поэтессы и романистки, дочери Р. Б. Шеридана — Кэролайн Нортон (1808—1877).

Заметив меня, барышня подошла и спросила, не хочу ли я что-нибудь купить. Ее тон был неприветлив, казалось, она заговорила со мной только по обязанности. Я смущенно посмотрел на огромные кувшины, которые, точно два восточных стража, стояли по сторонам темнеющего входа в киоск, и пробормотал:

— Нет, благодарю вас.

Девушка переставила какую-то вазу и вернулась к молодым людям. Они снова заговорили о том же. Раз или два она оглянулась на меня.

Я постоял у киоска, чтобы мой интерес к ее товару показался правдоподобнее, но знал, что все это ни к чему. Потом я медленно отвернулся и побрел на середину базара. Я уронил свои два пенни на дно кармана, где лежал шестипенсовик. Я услышал, как чей-то голос крикнул с галереи, что сейчас потушат свет. В верхней части здания было теперь совершенно темно.

Глядя вверх, в темноту, я увидел себя, существо, влекомое тщеславием и посрамленное, и глаза мне обожгло обидой и гневом.

Эвелин

Она сидела у окна, глядя, как вечер завоевывает улицу. Головой она прислонилась к занавеске, и в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она чувствовала усталость.

Прохожих было мало. Прошел к себе жилец из последнего дома; она слышала, как его башмаки простукали по цементному тротуару, потом захрустели по шлаковой дорожке вдоль красных зданий. Когда-то там был пустырь, на котором они играли по вечерам с другими детьми. Потом какой-то человек из Белфаста купил этот пустырь и настроил там домов — не таких, как их маленькие темные домишки, а кирпичных, красных, с блестящими крышами. Все здешние дети играли раньше на пустыре — Дивайны, Уотерсы, Данны, маленький калека Кьюу, она, ее братья и сестры. Правда, Эрнст не играл: он был уже большой. Отец постоянно гонялся за ними по пустырю со своей терновой палкой; но маленький Кьюу всегда глядел в оба и успевал крикнуть, заведя отца. Все-таки тогда жилось хорошо. Отец еще кое-как держался; кроме того, мать была жива. Это было очень давно; теперь и она, и братья, и сестры выросли; мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, а Уотерсы вернулись в Англию. Все меняется. Вот теперь и она скоро уедет, как другие, покинет дом.

Дом! Она обвела глазами комнату, разглядывая все те знакомые вещи, которые сама обметала каждую неделю столько лет подряд, всякий раз удивляясь, откуда набирается такая пыль. Может быть, больше никогда не придется увидеть эти знакомые вещи, с которыми она никогда не думала расстаться. А ведь за все эти годы

ей так и не удалось узнать фамилию священника, пожелтевшая фотография которого висела над разбитой фисгармонией рядом с цветной литографией святой Маргариты-Марии Алакок¹. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию гостям, отец говорил небрежным тоном:

— Он сейчас в Мельбурне.

Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пробовала обдумать свое решение со всех сторон. Дома по крайней мере у нее есть крыша над головой и кусок хлеба; есть те, с кем она прожила всю жизнь. Конечно, работать приходилось много, и дома, и на службе. Что будут говорить в магазине, когда узнают, что она убежала с молодым человеком? Может быть, назовут ее дурочкой; а на ее место возьмут кого-нибудь по объявлению. Мисс Гэйвен обрадуется. Она вечно к ней придиралась, особенно когда поблизости кто-нибудь был.

— Мисс Хилл, разве вы не видите, что эти дамы ждут?

— Повеселее, мисс Хилл, сделайте одолжение.

Не очень-то она будет горевать о магазине.

Но в новом доме, в далекой незнакомой стране все пойдет по-другому. Тогда она уже будет замужем — она, Эвелин. Ее будут уважать тогда. С ней не будут обращаться так, как обращались с матерью. Даже сейчас, несмотря на свои девятнадцать с лишним лет, она часто побаивается грубости отца. Она уверена, что от этого у нее и сердцебиения начались. Пока они подрастали, отец никогда не бил ее так, как он бил Хэрри и Эрнста, потому что она была девочка; но с некоторых пор он начал грозить, говорил, что не бьет ее только ради покойной матери. А защитить ее теперь некому. Эрнст умер, а Хэрри работает по украшению церквей и постоянно в разъездах. Кроме того, непрестанная грызня из-за денег по субботам становилась просто невыносимой. Она всегда отдавала весь свой заработок — семь шиллингов, и Хэрри всегда присылал сколько мог, но получить деньги с отца стоило больших трудов. Он говорил, что она транжирка, что она безмозглая, что он не намерен от-

¹ Маргарита-Мария Алакок (1647—1690) — монахиня, учредительница одного из наиболее популярных культов в католической церкви — культа Святого сердца.

давать трудовые деньги на мотовство, и много чего другого говорил, потому что по субботам с ним вовсе сладу не было. В конце концов он все-таки давал деньги и спрашивал, собирается ли она покупать провизию к воскресному обеду. Тогда ей приходилось сломя голову бегать по магазинам, проталкиваться сквозь толпу, крепко сжав в руке черный кожаный кошелек, и возвращаться домой совсем поздно, нагруженной покупками. Тяжело это было — вести хозяйство, следить, чтобы двое младших ребят, оставленных на ее попечение, вовремя ушли в школу, вовремя поели. Тяжелая работа — тяжелая жизнь, но теперь, когда она решила уехать, эта жизнь казалась ей не такой уж плохой.

Она решила отправиться вместе с Фрэнком на поиски другой жизни. Фрэнк был очень добрый, мужественный, порядочный. Она непременно уедет с ним вечерним пароходом, станет его женой, будет жить с ним в Буэнос-Айресе, где у него дом, ожидающий ее приезда. Как хорошо она помнит свою первую встречу с ним; он жил на главной улице в доме, куда она часто ходила. Казалось, что это было всего несколько недель назад. Он стоял у ворот, кепка съехала у него на затылок, клочок волос спускался на бронзовое лицо. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее у магазина и провожал домой. Повел как-то на «Цыганочку»¹, и она чувствовала такую гордость, сидя рядом с ним на непривычно хороших для нее местах. Он очень любил музыку и сам немножко пел. Все знали, что он ухаживал за ней, и, когда Фрэнк пел о девушке, любившей моряка², она чувствовала приятное смущение. Он прозвал ее в шутку Маковкой. Сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник, потом он стал ей нравиться. Он столько рассказывал о далеких странах. Он начал с юнги, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллен³, ходившем в Канаду. Перечислял ей названия разных пароходов, на которых служил, названия разных линий. Он плывал когда-то в Магеллановом проливе и рассказывал ей о страшных патагонцах. Теперь,

¹ Наиболее известная опера ирландского композитора и оперного певца Майкла Уильяма Болфа (1808—1870) на сюжет одноименной новеллы М. Сервантеса.

² «Подружка моряка», песня английского композитора и драматурга Чарльза Дибдина (1745—1814).

³ Морская трасса, соединявшая Англию с Канадой и США

по его словам, он обосновался в Буэнос-Айресе и приехал на родину только в отпуск. Отец, конечно, до всего докопался и запретил ей даже думать о нем.

— Знаю я эту матросню,— сказал он.

Как-то раз отец повздорил с Фрэнком, и после этого ей пришлось встречаться со своим возлюбленным украдкой.

Вечер на улице сгущался. Белые пятна двух писем, лежавших у нее на коленях, расплылись. Одно было к Хэрри, другое — к отцу. Ее любимцем был Эрнст, но Хэрри она тоже любила. Отец заметно постарел за последнее время; ему будет недоставать ее. Иногда он может быть очень добрым. Не так давно она, больная, пролежала день в постели, и он читал ей рассказ о видениях и поджаривал гренки в очаге. А еще как-то, когда мать была жива, они ездили на пикник в Хаут-Хилл¹. Она помнила, как отец напялил на себя шляпу матери, чтобы посмешить детей.

Время шло, а она все сидела у окна, прислонившись головой к занавеске, вдыхая запах пропыленного кресла. С улицы издали доносились звуки шарманки. Мелодия была знакомая. Как странно, что шарманка заиграла именно в этот вечер, чтобы напомнить ей про обещание, данное матери,— обещание как можно дольше не бросать дом. Она вспомнила последнюю ночь перед смертью матери: она снова была в тесной и темной комнате по другую сторону передней, а на улице звучала печальная итальянская песенка. Шарманщику велели тогда уйти и дали ему шесть пенсов. Она вспомнила, как отец с самодовольным видом вошел в комнату больной, говоря:

— Проклятые итальянцы. И сюда притащились.

И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо — жизнь, полная незаметных жертв и закончившаяся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, твердившей с тупым упорством: «Конец удовольствию — боль! Конец удовольствию — боль!» Она вскочила, охваченная ужасом. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на счастье. Фрэнк обнимет ее, прижмет к груди. Он спасет ее.

¹ Небольшая гора на берегу Дублинского залива.

Она стояла в суетливой толпе на пристани в Норт-Уолл. Он держал ее за руку, она слышала, как он говорит, без конца рассказывает что-то о путешествии. На пристани толпились солдаты с вещевыми мешками. В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными иллюминаторами. Она молчала. Она чувствовала, как побледнели и похолодели у нее щеки, и, теряясь в своем отчаянии, молилась, чтобы бог вразумил ее, указал ей, в чем ее долг. Пароход дал в туман протяжный, заунывный гудок. Если она поедет, завтра они с Фрэнком уже будут в открытом море на пути к Буэнос-Айресу. Билеты уже куплены. Разве можно отступать после всего, что он для нее сделал? Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, и она не переставая шевелила губами в молчаливой горячей молитве.

Звонок резанул ее по сердцу. Она почувствовала, как Фрэнк сжал ей руку.

— Идем!

Волны всех морей бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в эту пучину; он утопит ее. Она вцепилась обеими руками в железные перила.

— Идем!

Нет! Нет! Нет! Это невысказано. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину, поглощавшую ее, она кинула вопль отчаяния.

— Эвелин! Эви!

Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него не любя, не прощаясь, не узнавая.

После гонок

Машины неслись по направлению к Дублину, ровно катясь, словно шарики, по Наас-Роуд. На гребне Инчикорского холма, по обе стороны дороги, группами собрались зрители полюбоваться возвращающимися машинами, и по этому каналу нищеты и застоя континент мчал свое богатство и технику. То и дело раздавались приветственные крики угнетенных, но признательных ирландцев. Их симпатии, впрочем, принадлежали синим машинам — машинам их друзей, французов.

Французы к тому же были фактическими победителями. Их колонна дружно пришла к финишу; они заняли второе и третье места, а водитель победившей немецкой машины, по слухам, был бельгиец. Поэтому каждую синюю машину, бравшую гребень холма, встречали удвоенной дозой криков, и на каждый приветственный крик сидевшие в машине отвечали улыбками и кивками. В одной из элегантных синих машин сидела компания молодых людей, чье приподнятое настроение явно объяснялось не только торжеством галльской культуры; можно сказать, молодые люди были почти в восторге. Их было четверо: Шарль Сегуэн, владелец машины; Андре Ривьер, молодой электротехник, родом из Канады; огромный венгр, по фамилии Виллона, и ложенный молодой человек, по фамилии Дойл. Сегуэн был в хорошем настроении потому, что неожиданно получил авансом несколько заказов (он собирался открыть в Париже фирму по продаже машин), а Ривьер был в хорошем настроении потому, что надеялся на место управ-

ляющего в фирме; а сверх того, и тот и другой (они приходились друг другу кузенами) были в хорошем настроении из-за победы французских машин. Виллона был в хорошем настроении потому, что очень недурно позавтракал; к тому же он по натуре был оптимист. Что касается четвертого, то он был слишком возбужден, чтобы веселиться от души.

Это был молодой человек лет двадцати шести, с мягкими каштановыми усиками и несколько наивными серыми глазами. Его отец, начавший жизнь ярым националистом¹, вскоре переменял свои убеждения. Он нажил состояние на мясной торговле в Кингстауне и приумножил свой капитал, открыв несколько лавок в Дублине и его пригородах. Кроме того, ему посчастливилось получить несколько страховых премий, и в конце концов он так разбогател, что дублинские газеты стали называть его торговым магнатом. Своего сына он отправил учиться в Англию, в большой католический колледж, а потом в Дублинский университет — изучать право. Джимми учился не слишком усердно и даже ненадолго сбился с пути. У него водились деньги, и его любили; он одинаково увлекался музыкой и автомобилями. Потом, на один семестр, его отправили в Кембридж повидать свет. Отец — не без упреков, но втайне гордясь мотовством сына, — заплатил долги Джимми и привез его домой. В Кембридже он и познакомился с Сегуэном. Большой дружбы между ними никогда не было, но Джимми очень нравилось общество человека, который столько повидал на своем веку и которому, по слухам, принадлежал один из самых больших отелей во Франции. С таким человеком (отец был того же мнения) стоило поддерживать знакомство, даже не будь он столь обаятельным собеседником. С Виллоной тоже было не скучно — блестящий пианист, но, к сожалению, очень бедный.

Машина со смеющейся молодежью катила по улице. Кузены занимали передние сиденья; Джимми со своим другом, венгром, сидели на заднем. Положительно, Виллона был в прекрасном настроении; целые мили пути он своим глубоким басом гудел какую-то мелодию.

¹ Член партии гомрулеров, требовавших самоопределения Ирландии в рамках Британской империи.

С переднего сиденья доносились остроты французов и взрывы их смеха, и Джимми часто наклонялся вперед, чтобы поймать шутку. Это было не очень удобно, потому что все время приходилось угадывать смысл и выкрикивать ответ на встречном ветру. К тому же от гудения Виллоны можно было отупеть, да тут еще шум мотора.

Человек всегда испытывает подъем от быстрого движения по открытому пространству; и от известности; и от обладания деньгами. Эти три веские причины объясняли возбуждение Джимми. Многие из его знакомых видели его сегодня в обществе приезжих с континента. На старте Сегуэн познакомил Джимми с одним из участников французов, и в ответ на его нескладный комплимент на смуглом лице гонщика блеснул ряд белых зубов. Приятно было после такой чести, возвращаясь в мир непосвященных зрителей, ощущать подталкивания локтем и многозначительные взгляды. А что до денег, то он в самом деле располагал крупной суммой. Сегуэну, может быть, это и не показалось бы крупной суммой, но Джимми, который, несмотря на свои временные заблуждения, был достойным наследником здоровых инстинктов, прекрасно понимал, какого труда стоило сколотить ее. В свое время это удерживало его долги в границах допустимого мотовства, и если он так хорошо сознавал, сколько труда вложено в деньги, когда дело касалось всего лишь прихотей высокообразованного юноши, то уж тем более сейчас, когда он собирался рискнуть большею частью своего состояния! Для него это был серьезный вопрос.

Разумеется, дело было верное, и Сегуэн сумел создать впечатление, что только во имя дружбы лепта ирландца будет присоединена к капиталу концерна. Джимми питал уважение к зоркому глазу своего отца в коммерческих делах, а тут именно отец первый заговорил о том, чтобы войти в долю; стоило вкладывать деньги в автомобили — прибыльное дело. Кроме того, на Сегуэне, несомненно, лежала печать богатства. Джимми принялся переводить на рабочие дни стоимость роскошной машины, в которой он сидел. Какой мягкий у нее ход! С каким шиком промчались они по дороге! Езда магическим перстом коснулась самого пульса жизни, и механизм человеческой нервной системы с готовностью отзывался на упругий бег синего зверя.

Они ехали по Дэйм-Стрит. Здесь была суета оживленного движения, шум автомобильных сирен и нетерпеливых трамвайных звонков. Возле банка Сегуэн затормозил, и Джимми с другом вышли. Кучка любопытных собралась на тротуаре воздать должное фыркающей машине. Компания сговорилась пообедать вечером в отеле, где остановился Сегуэн, а сейчас Джимми и его друг, живший у него, пойдут домой переодеться. Машина медленно отъехала по направлению к Грэфтон-Стрит, а молодые люди стали проталкиваться сквозь кучку ротозеев. Они зашагали на север, смутно ощущая, что ходьба не удовлетворяет их, а над ними, в дымке летнего вечера, город развешивал свои бледные шары света.

Для домашних Джимми этот обед был событием. Чувство гордости примешивалось к волнению отца, желанию действовать очертя голову: ведь названия великих континентальных столиц обладают свойством возбуждать это желание. А Джимми к тому же был очень элегантен во фраке, и, когда он стоял в холле, в последний раз выравнивая концы белого галстука, его отец, возможно, испытывал удовлетворение почти как при удачной коммерческой сделке, что он обеспечил своего сына качествами, которые не всегда можно купить за деньги. Поэтому отец был необычайно любезен с Виллоной и всем своим видом выражал искреннее почтение перед иностранным лоском; но любезность хозяина, вероятно, пропала для венгра, которым уже начинало овладевать острое желание пообедать.

Обед был прекрасный, превосходный. У Сегуэна, решил Джимми, в высшей степени изысканный вкус. К компании присоединился молодой англичанин, некий Раут, которого Джимми как-то видел в Кембридже у Сегуэна. Молодые люди обедали в уютном маленьком зале, освещенном электрическими лампами. Все много и непринужденно болтали. Джимми, чье воображение воспламенилось, представил себе, как в крепкий костяк английской выдержки красиво вплетается французская живость обоих кузенов. Изящный образ, подумал он, и очень верный. Он восхищался ловкостью, с которой молодой хозяин направлял разговор. У всех пятерых были разные вкусы, и языки у них развязались. Виллона о беспредельным уважением стал открывать слегка озадаченному англичанину красоты английского мадрига-

ла, сетуя, что старинных инструментов больше нет. Ривьер не без задней мысли принялся говорить Джимми о триумфе французской техники. Гулкий бас венгра уже начал было издеваться над аляповатой мазней художников романтической школы, но Сегуэн перевел разговор на политику, тут-то они и оживились. Джимми, которому уже было море по колено, почувствовал, как в нем всколыхнулся дремавший отцовский пыл: ему даже удалось расшевелить флегматичного Раута. Атмосфера в комнате накалялась, и Сегуэну становилось все трудней: спор грозил перейти в ссору. При первом удобном случае находчивый хозяин поднял бокал за Человечество, и все подхватили тост, а он с шумом распахнул окно.

В ту ночь Дублин надел маску столичного города. Пятеро молодых людей медленно шли по Стивенз-Грин¹ в легком облаке благовонного дыма. Они громко и весело болтали, и их плащи свободно спускались с плеч. Прохожие уступали им дорогу. На углу Грэфтон-Стрит небольшого роста толстяк подсаживал двух нарядно одетых женщин в автомобиль, за рулем которого сидел другой толстяк. Машина отъехала, и толстяк увидел компанию молодых людей.

— Андре!

— Да это Фарли!

Последовал поток бессвязных слов. Фарли был американец. Никто толком не знал, о чем идет разговор. Больше всех шумели Виллона и Ривьер, но и остальные были в сильном возбуждении. Они, все громко хохоча, влезли в автомобиль. Они ехали мимо толпы, тонувшей теперь в мягком сумраке, под веселый перезвон колоколов. Они сели в поезд на станции Уэстленд-Роу и, как показалось Джимми, через несколько секунд уже выходили с Кингстаунского вокзала. Старик контролер поклонился Джимми:

— Прекрасная ночь, сэр!

Была тихая летняя ночь, гавань, словно затемненное зеркало, лежала у их ног. Они стали спускаться, взявшись под руки, хором затянув «Cadet Roussel»², притопывая при каждом «Ho! Ho! Hohé, vraiment»³.

¹ Парк в центре Дублина.

² «Кадет Руссель», французская полковая песня XVIII в., автор неизвестен.

³ «O! O! Ой-ой, в самом деле!» (франц.).

На пристани они сели в лодку и стали грести к яхте американца. Там их ждал ужин, музыка, карты. Виллона с чувством сказал:

— Восхитительно!

В каюте яхты стояло пианино. Виллона сыграл вальс для Фарли и Ривьера; Фарли танцевал за кавалера, а Ривьер — за даму. Затем — экспромтом — кадрили, причем молодые люди выдумывали новые фигуры. Сколько веселья! Джимми с рвением принимал в нем участие; вот это действительно жизнь. Потом Фарли запыхался и крикнул: «Стоп!» Лакей принес легкий ужин, и молодые люди, для приличия, сели за стол. Но выпили много: настоящее богемское. Они пили за Ирландию, за Англию, за Францию, за Венгрию, за Соединенные Штаты. Джимми сказал речь, длинную речь, и Виллона повторял: «Правильно! Правильно!» — как только тот делал паузу. Когда он кончил, все долго аплодировали. Хорошая, должно быть, вышла речь. Фарли хлопнул его по спине и громко расхохотался. Веселая компания! Как хорошо с ними!

Карты! Карты! Стол очистили. Виллона тихонько вернулся к пианино и стал импровизировать. Остальные играли кон за коном, отважно пускаясь на риск. Они пили за здоровье дамы бубен и за здоровье дамы треф. Джимми даже пожалел, что никто их не слышит: остроты так и сыпались. Азарт все разгорался, и в ход пошли банкноты. Джимми точно не знал, кто выигрывает, но он знал, что он в проигрыше. Впрочем, он сам был виноват, часто путался в картах, и его партнерам приходилось подсчитывать за него, сколько он должен. Компания была хоть куда, но скорей бы они кончали: становилось поздно. Кто-то провозгласил тост за яхту «Краса Ньюпорта», а потом еще кто-то предложил сыграть последний, разгонный.

Пианино смолкло; Виллона, вероятно, поднялся на палубу. Последний раз играли отчаянно. Они сделали передышку перед самым концом и выпили на счастье. Джимми понимал, что режутся Раут и Сегуэн. Сколько волнения! Джимми тоже волновался: он-то проиграет, конечно. Сколько на него записано? Игроки стоя разыгрывали последние взятки, болтая и жестикулируя. Выиграл Раут. Каюта затряслась от дружного «ура», и карты собрали в колоду. Потом они стали рассчитывать. Фарли и Джимми проиграли больше всех.

Он знал, что утром пожалеет о проигрыше, но сейчас радовался за других, отдавшись темному оцепенению, которое потом оправдывает его безрассудство. Облокотившись на стол и уронив голову на руки, он считал удары пульса. Дверь каюты отворилась, и на пороге, в полосе света, он увидел венгра.

— Рассвет, господа!

Два рыцаря

Теплый сумрак августовского вечера спустился на город, и мягкий теплый ветер, прощальный привет лета, кружил по улицам. Улицы с закрытыми по-воскресному ставнями кишели празднично разодетой толпой. Фонари, словно светящиеся жемчужины, мерцали с вершин высоких столбов над подвижной тканью внизу, которая, непрерывно изменяя свою форму и окраску, оглашала теплый вечерний сумрак неизменным, непрерывным гулом.

Двое молодых людей шли под гору по Ратленд-Сквер. Один из них заканчивал длинный монолог. Другой, шедший по самому краю тротуара, то и дело, из-за неучтивости своего спутника, соскакивал на мостовую, слушая внимательно и с видимым удовольствием. Он был приземист и краснощек. Его капитанка была сдвинута на затылок, и он слушал так внимательно, что каждое слово отражалось на его лице: у него вздрагивали ноздри, веки и уголки рта. Свистящий смех толчками вырывался из его корчащегося тела. Его глаза, весело и хитро подмигивая, ежеминутно обращались на лицо спутника. Два-три раза он поправил легкий макинтош, накинутый на одно плечо, словно плащ тореадора. Покрой его брюк, белые туфли на резиновой подметке и ухарски накинутый макинтош говорили о молодости. Но фигура его уже приобретала округлость, волосы были редкие и седые, и лицо, когда волна чувств сбегала с него, становилось тревожным и усталым.

Убедившись, что рассказ окончен, он разразился беззвучным смехом, длившимся добрых полминуты. Затем он сказал:

— Ну, знаешь ли... это действительно номер!

Его голос, казалось, утратил всю силу; чтобы подкрепить свои слова, он прибавил, паясничая:

— Это номер единственный, исключительный и, если можно так выразиться, изысканный.

Сказав это, он замолчал и стал серьезен. Язык у него устал, потому что с самого обеда он без умолку говорил в одном из баров на Дорсет-Стрит. Многие считали Ленехана блюдолизом, но благодаря своей находчивости и красноречию ему удавалось, несмотря на такую репутацию, избегать косых взглядов приятелей. Он умел как ни в чем не бывало подойти к их столику в баре и мозолить глаза, пока его не приглашали выпить. Это был своего рода добровольный шут, вооруженный обширным запасом анекдотов, куплетов и загадок. Он не моргнув переносил любую обиду. Никто не знал, каким путем он добывает средства к жизни, но его имя смутно связывали с какими-то махинациями на скачках.

— А где ты ее подцепил, Корли? — спросил он.

Корли быстро провел языком по верхней губе.

— Как-то вечером, — сказал он, — шел я по Дэйм-Стрит и высмотрел аппетитную девчонку под часами на Уотерхауз и, как полагается, поздоровался. Ну, пошли мы пройтись на канал, и она сказала, что живет в прислугах где-то на Бэггот-Стрит. Я, конечно, обнял ее и немножко помял. А в воскресенье, понимаешь, у нас уже было свидание. Мы поехали в Доннибрук, и там я завел ее в поле. Она сказала, что до меня гуляла с молочником... Здорово, братец, скажу я тебе. Каждый вечер тащит папиросы и в трамвае платит за проезд туда и обратно. А как-то притащила две чертовски отличные сигары... Первый сорт, знаешь, такие, бывало, мой старик курил... Я трусил, не забеременела бы, но она девка не промах.

— Может быть, она думает, что ты на ней женишься?

— Я сказал ей, что сейчас без места, — продолжал Корли. — И что служил у Пима¹. Она не знает моей фамилии. Не такой я дурак, чтобы сказать. Но она думает, что я из благородных.

Ленехан снова беззвучно рассмеялся.

¹ Большой бакалейный магазин в Дублине.

— Много я слышал историй,— сказал он,— но такого номера, признаюсь, не ожидал.

От этого комплимента шаг Корли стал еще размашистей. Колыхание его громоздкого тела заставило Ленехан исполнить несколько легких прыжков с тротуара на мостовую и обратно. Корли был сыном полицейского инспектора и унаследовал сложение и походку отца. Он шагал, вытянув руки по швам, держась очень прямо и в такт покачивая головой. Голова у него была большая, шарообразная и сальная, она потела во всякую погоду; большая круглая шляпа сидела на ней боком, казалось, что одна луковица выросла из другой. Он всегда смотрел прямо, словно на параде, и, когда ему хотелось оглянуться на кого-нибудь из прохожих, он не мог этого сделать иначе, как повернувшись всем корпусом. В настоящее время он слонялся без дела. Когда где-нибудь освобождалось место, всегда находились друзья, готовые похлопотать за него. Он часто разгуливал с сыскными агентами, увлеченный серьезным разговором. Он знал закулисную сторону всех дел и любил выражаться безапелляционно. Он говорил, не слушая своих собеседников. Темой разговора преимущественно служил он сам: что он сказал такому-то, что такой-то сказал ему и что он сказал, чтобы сразу поставить точку. Когда он пересказывал эти диалоги, он произносил свою фамилию, особенно напирая на первую букву.

Ленехан предложил своему другу папиросы. Пока молодые люди пробирались сквозь толпу, Корли время от времени оборачивался, чтобы улыбнуться проходящей мимо девушке, но взгляд Ленехана был устремлен на большую бледную луну, окруженную двойным ореолом. Он задумчиво следил, как серая паутина сумерек проплывает по лунному диску. Наконец он сказал:

— Ну... так как же, Корли? Я думаю, ты сумеешь устроить это дело, а?

Корли в ответ выразительно прищурил один глаз.

— Пройдет это? — с сомнением спросил Ленехан. — С женщиной никогда нельзя знать.

— Она молодчина, — сказал Корли. — Я знаю, как к ней подъехать. Она порядком в меня втюрилась.

— Ты настоящий донжуан, — сказал Ленехан. — Прямо, можно сказать, всем донжуанам донжуан!

Легкий оттенок насмешки умерил подобострастие его тона. Чтобы спасти собственное достоинство, он всегда

так преподносил свою лесть, что ее можно было принять за издевку. Но Корли таких тонкостей не понимал.

— Прислуга — это самый смак, — сказал он убежденно. — Можешь мне поверить.

— Еще бы не верить, когда ты их всех перепробовал, — сказал Ленехан.

— Сначала, знаешь, я гулял с порядочными девушками, — сказал Корли доверительно, — ну, с этими, из Южного Кольца¹. Я возил их куда-нибудь на трамвае и платил за проезд или водил на музыку, а то и в театр, и угощал шоколадом и конфетами, ну, вообще, что-нибудь в этом роде. Немало денег, братец, я на них потратил, — прибавил он внушительно, словно подозревая, что ему не верят.

Но Ленехан вполне верил ему, он сочувственно кивнул головой.

— Знаю я эту канитель, — сказал он, — одно надувательство.

— И хоть бы какой-нибудь толк от них, — сказал Корли.

— Подписываюсь, — сказал Ленехан.

— Только недавно развязался с одной, — сказал Корли.

Кончиком языка он облизал верхнюю губу. Глаза его заблестели от воспоминаний. Он тоже устремил взгляд на тусклый диск луны, почти скрывшейся за дымкой, и, казалось, погрузился в размышления.

— Она, знаешь, была... хоть куда, — сказал он с сожалением.

Он снова помолчал. Затем прибавил:

— Теперь она пошла по рукам. Я как-то вечером видел ее на Эрл-Стрит в автомобиле с двумя мужчинами.

— Это, разумеется, твоих рук дело, — сказал Ленехан.

— Она и до меня путалась, — философски сказал Корли.

На этот раз Ленехан предпочел не верить. Он замолтал головой и улыбнулся.

— Меня не проведешь, Корли, — сказал он.

— Честное слово! — сказал Корли. — Она же сама мне сказала.

¹ Богатый район Дублина.

Ленехан сделал трагический жест.

— Коварный соблазнитель! — сказал он.

Когда они шли вдоль ограды Тринити-колледж¹, Ленехан сбежал на мостовую и взглянул вверх, на часы.

— Двадцать минут, — сказал он.

— Успеем, — сказал Корли. — Никуда она не уйдет. Я всегда заставляю ее ждать.

Ленехан тихо засмеялся.

— Корли, ты умеешь с ними обращаться, — сказал он.

— Я все их штучки знаю, — подтвердил Корли.

— Так как же, — снова сказал Ленехан, — устроишь ты это? Знаешь, дело-то ведь щекотливое. На этот счет они не очень-то сговорчивы. А?.. Что?

Блестящими глазками он шарил по лицу своего спутника, ища вторичного подтверждения. Корли несколько раз тряхнул головой, словно отгоняя назойливое насекомое, и сдвинул брови.

— Я все устрою, — сказал он, — предоставь уж это мне.

Ленехан замолчал. Ничего хорошего не будет, если его друг разозлится, пошлет его к черту и скажет, что в советах не нуждается. Надо быть тактичным. Но Корли недолго хмурился. Его мысли приняли другое направление.

— Она девчонка аппетитная, — сказал он со смаком. — Что верно, то верно.

Они прошли Нассау-Стрит, а потом свернули на Килдер-Стрит. На мостовой, недалеко от подъезда клуба, стоял арфист, окруженный небольшим кольцом слушателей. Он безучастно пощипывал струны, иногда мельком взглядывая на лицо нового слушателя, а иногда — устало — на небо. Его арфа, безучастная к тому, что чехол спустился, тоже, казалось, устала — и от посторонних глаз, и от рук своего хозяина. Одна рука выводила в басу мелодию «Тиха ты, Мойль»², а другая пробегала по дисканту после каждой фразы. Мелодия звучала глубоко и полно.

Молодые люди молча прошли мимо, провожаемые скорбным напевом. Дойдя до Стивенс-Грин, они пере-

¹ Иначе — Дублинский университет. Основан в 1591г. с целью укрепить реформацию в Ирландии.

² Баллада на стихи ирландского поэта Томаса Мура (1779—1852).

секли улицу. Здесь шум трамваев, огни и толпа избавили их от молчания.

— Вот она! — сказал Корли.

На углу Хьюм-Стрит стояла молодая женщина. На ней были синее платье и белая соломенная шляпа. Она стояла у бордюрного камня и помахивала зонтиком. Ленехэн оживился.

— Я погляжу на нее, ладно, Корли? — сказал он.

Корли искоса посмотрел на своего друга, и неприятная усмешка появилась на его лице.

— Отбить собираешься? — спросил он.

— Какого черта, — не смущаясь, сказал Ленехан. — Я ведь не прошу, чтобы ты меня познакомил. Я только хочу взглянуть. Не съем же я ее.

— А... взглянуть? — сказал Корли более любезным тоном. — Тогда... вот что я тебе скажу. Я подойду и заговорю с ней, а ты можешь пройти мимо.

— Ладно! — сказал Ленехан.

Корли уже успел занести ногу через цепь, когда Ленехан крикнул:

— А после? Где мы встретимся?

— В половине одиннадцатого, — ответил Корли, перебрасывая другую ногу.

— Где?

— На углу Меррион-Стрит. Когда мы будем возвращаться.

— Смотри не подкачай, — сказал Ленехан на прощание.

Корли не ответил. Он не спеша зашагал через улицу, в такт покачивая головой. В его крупном теле, размашистой походке и внушительном стуке каблуков было что-то победоносное. Он подошел к молодой женщине и, не поздоровавшись, сразу заговорил с ней. Она быстрее замахала зонтиком, покачиваясь на каблуках. Раз или два, когда он говорил что-то, близко наклонившись к ней, она засмеялась и опустила голову.

Ленехан несколько минут наблюдал за ними. Потом он торопливо зашагал вдоль цепи и, пройдя немного, наискось перешел улицу. Приближаясь к углу Хьюм-Стрит, он почувствовал сильный запах духов и быстрым испытующим взглядом окинул молодую женщину. Она была в своем праздничном наряде. Синяя шерстяная юбка была схвачена на талии черным кожаным поясом. Большая серебряная пряжка, защемившая легкую

ткань белой блузки, словно вдавливала середину ее фигуры. На ней был короткий черный жакет с перламутровыми пуговицами и потрепанное черное боа. Оборки кружевного воротничка были тщательно расправлены, а на груди был приколот большой букет красных цветов стеблями кверху. Глаза Ленехана одобрительно остановились на ее короткой мускулистой фигуре. Здоровье откровенно и грубо цвело на лице, на толстых румяных щеках и в беззастенчивом взгляде голубых глаз. Черты лица были топорные. У нее были широкие ноздри, бесформенный рот, оскаленный в довольной улыбке, два верхних зуба выдавались вперед. Поравнявшись с ними, Ленехан снял свою капитанку, и секунд через десять Корли ответил поклоном в пространство. Для этого он задумчиво и нерешительно поднял руку и несколько изменил положение своей шляпы.

Ленехан дошел до самого отеля «Шелборн»¹, там он остановился и стал ждать. Подождав немного, он увидел, что они идут ему навстречу, и, когда они свернули направо, он последовал за ними по Меррион-Сквер, легко ступая в своих белых туфлях. Медленно идя за ними, равняя свой шаг по их шагам, он смотрел на голову Корли, которая ежеминутно поворачивалась к лицу молодой женщины, как большой шар, вращающийся на стержне. Он следил за ними, пока не увидел, что они поднимаются по ступенькам донибрукского трамвая; тогда он повернул и пошел обратно той же дорогой.

Теперь, когда он остался один, его лицо казалось старше. Веселое настроение, по-видимому, покинуло его, и, проходя мимо Дьюк-Лоун, он провел рукой по ограде. Мало-помалу мелодия, которую играл арфист, подчиняла себе его движения. Мягко обутые ноги исполняли мелодию, между тем как пальцы после каждой фразы лениво выстукивали вариации по ограде.

Он рассеянно обогнул Стивенс-Грин и пошел по Грэфтон-Стрит. Хотя глаза его многое отмечали в толпе, сквозь которую он пробирался, они глядели угрюмо. Все, что должно было пленить его, казалось ему пошлым, и он не отвечал на взгляды, приглашавшие его быть решительным. Он знал, что ему пришлось бы много говорить, выдумывать и развлекать, а в горле и в

¹ Богатый отель для туристов.

мозгу у него было слишком сухо для этого. Вопрос, как провести время до встречи с Корли, несколько смущал его. Он ничего не мог придумать, кроме как продолжать свою прогулку. Дойдя до угла Ратленд-Сквер, он свернул налево, и на темной тихой улице, мрачный вид которой подходил к его настроению, он почувствовал себя свободней. Наконец он остановился у окна убогой пивнушки с вывеской, на которой белыми буквами было написано: «Воды и закуски». За оконным стеклом раскачивались две дощечки с надписями: «Имбирное пиво» и «Имбирный эль». На большом синем блюде был выставлен нарезанный окорок, а рядом, на тарелке — четвертушка очень дешевого пудинга. Он несколько минут внимательно рассматривал эту снедь и затем, опасливо взглянув направо и налево, быстро вошел в пивную.

Он был ужасно голоден, если не считать бисквитов, которых он еле допросился у двух ворчливых официантов, он ничего не ел с самого завтрака. Он сел за непокрытый деревянный стол напротив двух работниц и рабочего. Неопрятная служанка подошла к нему.

— Сколько стоит порция гороха? — спросил он.

— Полтора пенса, сэр, — сказала служанка.

— Дайте мне порцию гороха, — сказал он, — и бутылку имбирного пива.

Он говорил нарочито грубо, чтобы они приняли его за своего, так как после его появления все насторожились и замолчали. Щеки у него горели. Желая казаться непринужденным, он сдвинул капитанку на затылок и поставил локти на стол. Рабочий и обе работницы внимательно осмотрели его с головы до ног, прежде чем вполголоса возобновить разговор. Служанка принесла ему порцию горячего гороха, приправленного перцем и уксусом, вилку и имбирное пиво. Он жадно принялся за еду, и она показалась ему такой вкусной, что он решил запомнить эту пивную. Доев горох, он остался сидеть, потягивая пиво и раздумывая о похождениях Корли. Он представил, как влюбленная пара идет по какой-то темной дороге; он слышал голос Корли, произносивший грубоватые комплименты, и снова видел оскаленный рот молодой женщины. Это видение вызвало в нем острое сознание собственной нищеты — и духа, и карма-на. Он устал от безделья, от вечных мытарств, от интриг и уловок. В ноябре ему стукнет тридцать один.

Неужели он никогда не получит хорошего места? Он подумал, как приятно было бы посидеть у своего камина, вкусно пообедать за своим столом. Достаточно шатался он по улицам с друзьями и девчонками. Он знал цену друзьям и девчонок знал насквозь. Жизнь ожесточила его сердце, восстановила против всего. Но надежда не совсем покинула его. Ему стало легче после того, как он поел, он уже не чувствовал себя таким усталым от жизни, таким морально подавленным. Он и сейчас может обосноваться где-нибудь в тихом уголке и зажечь счастливо, лишь бы попалась хорошая, бесхитростная девушка с кое-какими сбережениями.

Он заплатил неопрятной служанке два с половиной пенса, вышел из пивной и снова начал бродить по улицам. Он пошел по Кэйпел-Стрит и направился к зданию Сити-Холл. Потом свернул на Дэйм-Стрит. На углу Джордж-Стрит он столкнулся с двумя приятелями и остановился поболтать с ними. Он был рад отдохнуть от ходьбы. Приятели спросили, видел ли он Корли и что вообще слышно. Он ответил, что провел весь день с Корли. Приятели говорили мало. Они рассеянно оглядывали лица в толпе и время от времени роняли иронические замечания. Один из них сказал, что встретил Мака час назад на Уэстморленд-Стрит. На это Ленехан сказал, что вчера вечером был с Маком в баре Игана. Молодой человек, который встретил Мака на Уэстморленд-Стрит, спросил, правда ли, что Мак выиграл крупное пари на бильярдном турнире. Ленехан не знал, он сказал, что Хулоен угощал их всех вином у Игана.

Он попрощался с приятелями без четверти десять и пошел по Джордж-Стрит. У Городского рынка он свернул налево и зашагал по Грэфтон-Стрит. Толпа девушек и молодых людей поредела, и он слышал на ходу, как компании и парочки желали друг другу спокойной ночи. Он дошел до самых часов Хирургического колледжа: должно было пробить десять. Он заспешил по северной стороне Стивенс-Грин, опасаясь как бы Корли не вернулся раньше времени. Когда он дошел до угла Меррион-Стрит, он занял наблюдательный пост в тени фонаря, достал одну из припрятанных папирос и закурил. Он прислонился к фонарному столбу и не отрываясь глядел в ту сторону, откуда должны были появиться Корли и молодая женщина.

Его мысль снова заработала. Он думал о том, успеш-

но ли Корли справился. Попросил ли он во время прогулки или отложил до последней минуты. Он терзался от унизительности положения своего друга и своего собственного. Но воспоминание о Корли, медленно повернувшись к нему на улице, несколько успокоило его: он был уверен, что Корли все устроит. Вдруг у него мелькнула мысль: а может быть, Корли проводил ее домой другой дорогой и улизнул от него? Его глаза обшарили улицу: ни намек на них. А ведь прошло не менее получаса с тех пор, как он посмотрел на часы Хирургического колледжа. Неужели Корли на это способен? Он закурил последнюю папиросу и стал нервно затягиваться. Он напрягал зрение каждый раз, как на противоположном углу площади останавливался трамвай. Гильза его папиросы лопнула, и он, выругавшись, бросил ее на мостовую.

Вдруг он увидел, что они идут к нему. Он вострепнулся от радости и, прижавшись к столбу, старался угадать результат по их походке. Они шли быстро, молодая женщина делала быстрые, короткие шажки, а Корли подлаживал к ней свой размашистый шаг. Видно, они молчали. Предчувствие неудачи кольнуло его, как кончик острого инструмента. Он знал, что у Корли ничего не выйдет; он знал, что все впустую.

Они свернули на Бэггот-Стрит, и он сейчас же пошел за ними по другой стороне. Когда они остановились, остановился и он. Они немного поговорили, а потом молодая женщина спустилась по ступенькам в подвальный этаж одного из домов. Корли остался стоять на краю тротуара, недалеко от подъезда. Прошло несколько минут. Затем входная дверь подъезда медленно и осторожно открылась. По ступенькам сбежала женщина и кашлянула. Корли повернулся и подошел к ней. На несколько секунд его широкая спина закрыла ее, а затем женщина снова появилась — она бежала вверх по ступенькам. Дверь закрылась за ней, и Корли торопливо зашагал по направлению к Стивенс-Грин.

Ленехан поспешил в ту же сторону. Упало несколько капель мелкого дождя. Он принял это за предостережение и, оглянувшись на дом, в который вошла молодая женщина, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, со всех ног бросился через дорогу. От волнения и быстрого бега он сильно запыхался. Он крикнул:
— Эй, Корли!

Корли повернулся, чтобы посмотреть, кто его зовет, и затем продолжал шагать по-прежнему. Ленехан побежал за ним, одной рукой придерживая на плече макинтош.

— Эй, Корли! — снова крикнул он.

Он поравнялся со своим другом и жадно заглянул ему в лицо. Но ничего там не увидел.

— Ну? — сказал он. — Вышло или нет?

Они дошли до угла Или-Плэйс. Все еще не отвечая, Корли повернул налево и зашагал по переулку. Черты его застыли в суровом спокойствии. Ленехан шел в ногу со своим другом и тяжело дышал. Он был обманут, и в его голосе прорвалась угрожающая нотка.

— Что же ты, ответить не можешь? — сказал он. — Ты хоть попробовал?

Корли остановился у первого фонаря и устремил мрачный взгляд в пространство. Затем торжественно протянул руку к свету и, улыбаясь, медленно разжал ее под взглядом своего товарища. На ладони блестела золотая монетка.

Пансион

Миссис Муни была дочерью мясника. Эта женщина умела постоять за себя: она была женщина решительная. Она вышла замуж за старшего приказчика отца и открыла мясную лавку около Спринг-Гарденз. Но как только тесть умер, мистер Муни пустился во все тяжкие. Он пил, запускал руку в кассу, занимал направо и налево. Брать с него обещания исправиться было бесполезно; все равно его хватало только на несколько дней. Драки с женой в присутствии покупателей и низкое качество мяса подорвали торговлю. Как-то ночью он погнался за женой с секачом, и ей пришлось переночевать у соседей.

После этого они стали жить врозь. Она пошла к священнику и получила разрешение на раздельное жительство с правом воспитывать детей. Она отказала мужу в деньгах, в комнате, отказалась кормить его, и поэтому мистеру Муни пришлось пойти в подручные к шерифу. Он был потрепанный, сгорбленный пьянчужка с белесым лицом, белесыми усиками и белесыми бровями, будто выведенными карандашом поверх маленьких глаз в красных жилках и воспаленных; весь день он сидел в комнате судебного пристава, дожидаясь, когда его куда-нибудь пошлют. Миссис Муни, которая на оставшиеся от мясной торговли деньги открыла пансион на Хардуик-Стрит, была крупная женщина весьма внушительного вида. В ее пансионе все время менялись жильцы — туристы из Ливерпуля и с острова Мэн, а иногда артистки из мюзик-холлов. Постоянное население составляли дублинские клерки. Она правила домом весьма искусно и твердо знала, когда можно открыть кредит, ко-

гда посмотреть сквозь пальцы, когда проявить строгость. Молодежь из постоянных жильцов называла ее между собой *Мадам*.

Молодые люди платили миссис Муни пятнадцать шиллингов в неделю за стол и комнату (не включая пиво и портер к обеду). Вкусы и занятия у них были общие, и поэтому они очень дружили между собой. Они обсуждали шансы фаворитов и темных лошадок. У Джека Муни, сына Мадам, служившего в торговом агентстве на Флит-Стрит, была плохая репутация. Он любил ввернуть крепкое солдатское словечко; домой возвращался обычно на рассвете. При встречах с приятелями у него всегда имелся про запас забористый анекдот, и он всегда первый узнавал интересные новости — например, про «подходящую» лошадку или «подходящую» артисточку. Кроме того, он неплохо боксировал и исполнял комические куплеты. По воскресеньям в большой гостиной миссис Муни иногда устраивались вечеринки. Их удостаивали своим присутствием артисты из мюзик-холла; Шеридан играл вальсы и польки, импровизируя аккомпанемент. Полли Муни, дочь Мадам, тоже выступала. Она пела:

Я легкомысленна, дерзка.
Зачем таить —
Тут нет греха.

Полли была тоненькая девушка девятнадцати лет; у нее были мягкие светлые волосы и маленький пухлый рот. Когда она с кем-нибудь разговаривала, ее зеленовато-серые глаза смотрели на собеседника снизу вверх, и тогда она становилась похожа на маленькую порочную мадонну. Миссис Муни определила дочь машинисткой в контору по продаже зерна, но беспутный подручный шерифа повадился ходить туда через день, спрашивал позволения поговорить с дочерью, и миссис Муни пришлось взять дочь из конторы и приспособить ее дома по хозяйству. Так как Полли была очень живая девушка, предполагалось поручить молодых людей ее заботам. Ведь всегда молодым людям приятно, когда поблизости молодая девушка. Полли, конечно, флиртвала с ними, но миссис Муни, женщина проницательная, понимала, что молодые люди только проводят время: ни у кого из них не было серьезных намерений. Так продолжалось довольно долго, и миссис Муни начала уже по-

думывать, не посадить ли Полли опять за машинку, как вдруг она заметила, что между Полли и одним из молодых людей что-то происходит. Она стала следить за ними, но пока что держала все про себя.

Полли знала, что за ней следят, но упорное молчание матери говорило яснее слов. Между матерью и дочерью не было ни открытого уговора, ни открытого соучастия, но, несмотря на то что в доме стали уже поговаривать о романе, миссис Муни все еще не вмешивалась. Полли начала вести себя несколько странно, а у молодого человека был явно смущенный вид. Наконец, решив, что подходящий момент настал, миссис Муни вмешалась. Она справлялась с жизненными затруднениями с такой же легкостью, с какой секач справляется с куском мяса; а в данном случае решение было принято.

Ясное воскресное утро сулило жару, но ее смягчал свежий ветерок. Все окна в пансионе были открыты, и кружевные занавески мягко пузырились из-под приподнятых рам. Колокольня церкви Святого Георгия слала призыв за призывом, и верующие поодиночке или группами пересекали небольшую круглую площадь перед церковью; степенный вид не менее, чем молитвенники, которые они держали в руках, затянутых в перчатки, выдавал их намерения. Завтрак в пансионе был закончен, и на столе в беспорядке стояли тарелки с размазанным по ним яичным желтком, с кусочками свиного сала и шкуркой от ветчины. Миссис Муни, сидя в плетеном кресле, следила, как служанка Мэри убирает со стола. Она заставила Мэри собрать все корочки и кусочки мякиша, которые могли пойти на хлебный пудинг ко вторнику. Когда со стола было убрано, остатки хлеба собраны, сахар и масло припрятаны и заперты на ключ, миссис Муни начала перебирать в памяти подробности своего вчерашнего разговора с Полли. Все оказалось так, как она и предполагала: она задавала вопросы прямо, и Полли так же прямо отвечала на них. Обе, конечно, чувствовали некоторую неловкость. Миссис Муни чувствовала неловкость потому, что не хотела встретить новости слишком уж благосклонно, не хотела показаться соучастницей, а неловкость, которую чувствовала Полли, объяснялась не только тем, что такого рода намеки всегда вызывали у нее чувство неловкости,— ей не хотелось дать понять, что в своей мудрой невинности

она угадала определенную цель, таившуюся под снисходительностью матери.

Миссис Муни, как только услышала сквозь свое раздумье, что колокола у Святого Георгия смолкли, сейчас же невольно взглянула на маленькие позолоченные часы, стоявшие на камине. Семнадцать минут двенадцатого: еще есть время, чтобы поговорить начистоту с мистером Дореном и поспеть к двенадцатичасовой службе на Малборо-Стрит. Она была уверена в победе. Начать с того, что общественное мнение будет на ее стороне: на стороне оскорбленной матери. Она открыла ему двери своего дома, полагая, что он порядочный человек, а он попросту злоупотребил ее гостеприимством. Ему лет тридцать пять, поэтому ссылаться на молодость нельзя, неискушенность тоже не может служить оправданием — он достаточно знает жизнь. Он просто воспользовался молодостью и неопытностью Полли, это совершенно очевидно. Вопрос был в том, как он думает искупить свою вину.

А искупить свою вину он обязан. Хорошо мужчине: позабавился и пошел своей дорогой, будто ничего и не было, а девушке приходится принимать всю тяжесть вины на себя. Есть матери, которые согласились бы замять это дело за известную сумму; подобные случаи бывали. Но она не из таких. Лишь одно может искупить потерянную честь дочери: женитьба.

Миссис Муни снова пересчитала свои козыри, прежде чем послать Мэри к мистеру Дорену с предупреждением, что она хочет поговорить с ним. Она была уверена в победе. Он — серьезный молодой человек, не какой-нибудь шалопай или крикун, как другие. Окажись на его месте мистер Шеридан, или мистер Мид, или Бентам Лайонс, ее задача была бы куда труднее. Вряд ли он пойдет на то, чтобы предать дело гласности. Постояльцы обо всем знают; кое-кто уже присочинил некоторые подробности. Кроме того, он тринадцать лет работает в конторе одной крупной католической винной компании, и, возможно, огласка для него равносильна потере места. А если согласится, все будет в порядке. Она знала, что заработок у него, во всяком случае, очень приличный, и догадывалась, что сбережения тоже имеются.

Почти половина двенадцатого! Она встала и посмотрела на себя в трюмо. Миссис Муни осталась довольна решительным выражением своего большого, пышущего

здоровьем лица и подумала о некоторых знакомых ей матерях, которые никак не могут сбыть с рук своих дочерей.

Мистер Дорен действительно очень волновался в это воскресное утро. Он дважды начинал бриться, но руки у него так дрожали, что пришлось оставить это занятие. Трехдневная рыжая щетина окаймляла его лицо, очки запотевали, так что каждые две-три минуты приходилось протирать их носовым платком. Воспоминание о вчерашней исповеди причиняло ему острую боль; священник выведal у него все самые постыдные подробности и под конец так раздул его грех, что теперь мистер Дорен чуть ли не испытывал благодарность за то, что представляется возможность искупить свою вину. Зло уже сделано. Что ему теперь оставалось — жениться или спастись бегством? У него не хватит духу пойти наперекор всем. Об этой истории наверняка заговорят, слухи докатятся, конечно, и до его патрона. Дублин такой маленький городишко: все друг про друга все знают. У мистера Дорена екнуло сердце; его расстроенное изображение нарисовало мистера Леонарда, когда он скрипучим голосом скажет: «Пошлите ко мне мистера Дорена, пожалуйста!»

Все долгие годы службы пропали ни за что! Все его прилежание, старательность пошли прахом! В юности он, конечно, вольничал: хвалился своими взглядами, отрицал существование бога, шатаясь с приятелями по пивным. Все это дело прошлое, с этим покончено... почти. Он до сих пор еще покупает каждую неделю газету «Рейнолдз»¹, но регулярно посещает церковь и девять десятых года ведет скромный образ жизни. На то, чтобы зажить свои домом, денег у него хватит; но дело не в этом. В семье будут коситься на Полли. Прежде всего этот ее беспутный отец, а потом пансион ее мамыши, о котором уже пошла определенная слава. Он чувствовал, что попался. Он представлял, как приятели будут обсуждать эту историю и смеяться над ним. Конечно, в Полли есть что-то вульгарное, иногда она говорит «благодаря этого», «колидор». Но что грамматика, если бы он любил ее по-настоящему! Он все еще не мог решить, любит он ее или презирает за то, что она сделала. Да, но ведь он тоже принимал в этом участие. Инстинкт

¹ Радикальная лондонская газета.

подсказывал, что надо сохранить свободу, отвернуться от женитьбы. Как говорят, раз уже женился — кончено.

Сидя на краю постели без пиджака, в совершенной растерянности, он услышал, как Полли тихо постучалась и вошла в комнату. Она рассказала ему все, рассказала, что призналась матери и что мать будет говорить с ним сегодня утром. Она заплакала и сказала, обняв его за шею:

— Ах, Боб! Боб! Что мне делать? Что мне теперь делать?

Она говорила, что покончит с собой.

Он вяло утешал ее, уговаривал не плакать, все уладится, бояться нечего. Он чувствовал сквозь рубашку, как волнуется ее грудь.

Не он один был виноват во всем, что случилось. В его цепкой памяти холостяка встали первые случайные ласки, которые дарили ему ее платье, ее дыхание, ее пальцы. Потом, как-то вечером, когда он уже раздевался, Полли робко постучалась в дверь. Ей нужно было зажечь от его свечи свою свечку, задутую сквозняком. Она только что приняла ванну. На ней было свободное, открытое матине из пестрой фланели. Ее белая ступня виднелась в вырезе отороченных мехом ночных туфель, кровь струилась теплом под душистой кожей. Она зажигала и поправляла свечу, а от ее рук тоже шло слабое благоухание.

По вечерам, когда он поздно возвращался домой, Полли сама подогревала ему обед. Он почти не разбирал, что ест, когда она сидела возле него, и они были совсем одни в спящем доме. А ее заботливость! Если ночь была холодная, сырая или ветреная, его всегда ждал стаканчик пунша. Может быть, они будут счастливы...

Потом они шли по лестнице на цыпочках, каждый со своей свечой, и на третьей площадке нехотя желали друг другу спокойной ночи. Потом целовались. Он хорошо помнил ее глаза, прикосновение ее рук, свое безумство...

Но безумство проходит. Он повторил мысленно ее слова, применив их к себе: «Что мне делать?» Инстинкт холостяка предостерегал его. Но грех был совершен; и даже его понятие о чести требовало, чтобы он искупил грех.

Они сидели вдвоем на кровати, а в это время к две-

рям подошла Мэри и сказала, что хозяйка ждет его в гостиной. Он встал, надел жилетку и пиджак, чувствуя себя еще более растерянным. Одевшись, он подошел к Полли. Все уладится, бояться нечего. Она плакала, сидя на постели, и тихо стонала:

— *Боже мой! Боже мой!*

Пока он спускался по лестнице, очки у него так запотели, что пришлось снять их и протереть. Ему хотелось вылететь сквозь крышу и унести куда-нибудь в другую страну, где можно будет забыть об этом несчастье, и все-таки, влекомый какой-то силой, он спускался по лестнице ступенька за ступенькой. Неумолимые лица патрона и Мадам взирали на его поражение. Возле лестницы он столкнулся с Джеком Муни, который шел из кладовой, держа в объятиях две бутылки пива. Они холодно поздоровались; и глаза любовника секунду-другую задержались на тяжелой, бульдожьей физиономии и паре здоровенных коротких ручищ. Спустившись с лестницы, он взглянул наверх и увидел, что Джек следит за ним, стоя в дверях буфетной.

И вдруг он вспомнил тот вечер, когда один из артистов мюзик-холла, маленький белокурый лондонец, отпустил какое-то довольно смелое замечание насчет Полли. Ярость Джека чуть ли не расстроила вечеринку. Все старались успокоить его. Артист мюзик-холла, немного побледнев, все улыбался и говорил, что никого не хотел обидеть; но Джек продолжал орать: если только кто-нибудь посмеет вольничать с его сестрой, он живо этого молодчика без зубов оставит, будьте покойны.

Несколько минут Полли сидела на кровати и плакала. Потом она вытерла глаза и подошла к зеркалу. Она намочила конец полотенца в кувшине и освежила глаза холодной водой. Она посмотрела на себя в профиль и поправила шпильку над ухом. Потом она опять подошла к кровати и села в ногах. Она долго смотрела на подушки, и вид их вызвал у нее сокровенные, приятные воспоминания. Она прислонилась затылком к холодной спинке кровати и задумалась. На ее лице уже не оставалось и следа тревоги.

Она ждала терпеливо, почти радостно, без всякого страха, воспоминания постепенно уступали место надеждам и мечтам о будущем. Она была так поглощена

своими надеждами и мечтами, что уже не видела белой подушки, на которую был устремлен ее взгляд, не помнила, что ждет чего-то.

Наконец Полли услышала голос матери. Она вскочила с кровати и подбежала к перилам.

— Полли! Полли!

— Да, мама?

— Сойди вниз, милочка. Мистер Дорен хочет поговорить с тобой.

Тогда Полли вспомнила, чего она дожидалась.

Облачко

Восемь лет прошло с тех пор, как он провожал своего друга на пристани Норт-Уолл и желал ему счастливого пути. Галлахер пошел в гору. Это сразу было видно по его повадкам завязанного путешественника, по твидовому костюму хорошего покроя и развязному тону. Немного на свете таких талантливых людей, а еще меньше — не испорченных успехом. У Галлахера золотое сердце, и он заслуживал успеха. Не шутка — иметь такого друга, как он.

С самого завтрака мысли Крошки Чендлера вертелись вокруг его встречи с Галлахером, приглашения Галлахера и столичной жизни, которой жил Галлахер. Его прозвали Крошка Чендлер потому, что он казался маленьким, хотя на самом деле был только немного ниже среднего роста. Руки у него были маленькие и белые, телосложение — хрупкое, голос — тихий, манеры — изысканные. Он очень заботился о своих светлых шелковистых волосах и усиках, и от его носового платка шел еле слышный запах духов. Лунки ногтей были безупречной формы, и, когда он улыбался, виден был ряд белых, как у ребенка, зубов.

Сидя за своей конторкой в Кингз-Иннз¹, он думал о том, какие перемены произошли за эти восемь лет. Друг, который был вечно обтрепан и без копейки денег, превратился в блестящего лондонского журналиста. Он то и дело отрывался от скучных бумаг и устремлял взгляд в открытое окно. Багрянец осеннего заката ле-

¹ Кингз-Иннз — ирландский эквивалент Судебных иннов в Лондоне, то есть корпорации, готовящей опытных адвокатов.

жал на аллеях и газоне. Он милостиво осыпал золотой пылью неопрятных нянек и ветхих стариков, дремлющих на скамейках; он играл на всем, что двигалось,— на детях, с визгом бегавших по усыпанным гравием дорожкам, и на прохожих, пересекавших парк. Крошка Чендлер смотрел на эту картину и размышлял о жизни; и (как всегда, когда он размышлял о жизни) ему стало грустно. Им овладела тихая меланхолия. Он ощутил, как бесполезно бороться с судьбой,— таково было бремя мудрости, завещанное ему веками.

Он вспомнил томики стихов, стоявшие дома на полках. Он купил их еще в холостые годы, и часто по вечерам, сидя в маленькой комнате возле прихожей, он испытывал желание достать с полки один из томиков и почитать вслух своей жене. Но каждый раз робость удерживала его; и книги так и оставались на своих полках. Иногда он повторял про себя стихи, и это утешало его.

Когда рабочий день кончился, он аккуратно встал из-за своей конторки и по очереди попрощался со всеми. Он вышел из-под средневековой арки палаты в Кингз-Иннз — аккуратная, скромная фигурка — и быстро зашагал по Хенриетта-Стрит. Золотистый закат догорал, и становилось прохладно. Улица была полна грязными детьми. Они стояли или бегали на мостовой, ползали по ступенькам перед распахнутыми дверьми, сидели на порогах, притавшись как мыши. Крошка Чендлер не замечал их. Он ловко прокладывал себе путь сквозь эту суетящуюся жизнь под сенью сухопарых призрачных дворцов, где в старину пировала дублинская знать. Но картины прошлого не волновали его, он предвкушал радость встречи.

Он никогда не бывал у «Корлесса»¹, но хорошо знал, что это — марка. Он знал, что туда приезжают после театра есть устрицы и пить ликеры; и он слышал, что официанты там говорят по-французски и по-немецки. Когда вечерами он торопливо проходил мимо, он видел, как к подъезду подкатывали кебы и нарядные дамы в сопровождении своих кавалеров выходили из них и быстро исчезали за дверью. На них были шуршащие платья и много накидок. Лица их были напудрены, и, сходя с подножки, они подбирали юбки, словно испуганные

¹ Дорогой ресторан.

Аталанты¹. Проходя мимо, он не поворачивал головы, чтобы взглянуть на них. У него была привычка даже днем быстро ходить по улицам, а когда ему случалось поздно вечером быть в центре города, он почти бежал, испытывая одновременно и страх, и возбуждение. Впрочем, иногда он сам искал повода для страха. Он выбирал самые темные и узкие улицы и смело шагал вперед, и тишина, расстилавшаяся вокруг его шагов, пугала его; и временами от приглушенного и мимолетного взрыва смеха он весь трепетал как лист.

Он свернул направо, на Кэйпл-Стрит. Игнатий Галлахер — лондонский журналист! Кто бы мог такое подумать восемь лет назад? Однако, оглядываясь на прошлое, Крошка Чендлер открывал в своем друге много признаков будущего величия. Галлахера обычно называли шалопаем. И верно, в то время он путался с самым отребьем, много пил и занимал деньги направо и налево. В конце концов он влип в грязную историю — какая-то афера; по крайней мере, такова была одна из версий его бегства. Но никто не мог отказать ему в таланте. В Игнатии Галлахере всегда было нечто... нечто внушающее людям уважение, даже против их воли. Даже когда он ходил с драными локтями и без гроша в кармане, он не терял бодрости. Крошка Чендлер вспомнил (и при этом воспоминании легкая краска гордости выступила на его щеках), как Игнатий Галлахер говорил, когда ему приходилось туго.

— Одна минута перерыва, ребята, — говорил он беспечно. — Дайте мне пораскинуть мозгами!

В этом был весь Игнатий Галлахер, и, черт возьми, нельзя было не восхищаться им.

Крошка Чендлер ускорил шаг. Первый раз в жизни он чувствовал себя выше людей, мимо которых проходил. Первый раз в жизни его душа восстала против тусклого убожества Кэйпл-Стрит. Не подлежит сомнению: чтобы добиться успеха, нужно уехать отсюда. В Дублине ничего нельзя сделать. Переходя Грэттенский мост, он с жалостью смотрел на захиревшие дома на дальних набережных реки. Они казались ему шайкой бродяг, обтрепанных, покрытых пылью и сажей, жмущихся друг к другу на берегу; замороженные панорамой

¹ Мифологическая греческая принцесса, знаменитая своей красотой и быстроногостью.

заката, они ждут первого холодка ночи, который велит им встать, встряхнуться и уйти. Он подумал о том, не удастся ли ему выразить эту мысль стихами. Может быть, Галлахер сможет поместить их в одной из лондонских газет. Сумеет он написать что-нибудь оригинальное? Он не вполне представлял себе, какую мысль ему хочется выразить, но сознание, что поэтическое вдохновение коснулось его, зародило в нем младенческую надежду. Он бодро зашагал вперед.

С каждым шагом он приближался к Лондону, удалялся от скучной, прозаической жизни. Перед ним забрезжил свет. Он еще не стар — тридцать два года. Можно сказать, что его поэтический дар именно сейчас достиг зрелости. Столько чувств и дум ему хотелось выразить в стихах! Он носил их в себе. Он старался погрузиться в свою душу, чтобы узнать, подлинно ли у него душа поэта. Он считал главной чертой своего таланта меланхолию, но меланхолию, смягченную порывами веры, покорностью судьбе и невинной радостью. Если бы он сумел выразить себя в книжке стихов, может быть, к его голосу прислушались бы. Он никогда не станет популярным; это он понимал. Он не сумеет покорить толпу, но, может быть, его оценит избранный круг родственных душ. Английские критики из-за меланхолического тона его стихов, вероятно, отнесут его к поэтам кельтской школы. Кроме того, он сам будет намерять на это. Он начал придумывать фразы из будущей рецензии на его книгу. *«Мистер Чендлер обладает даром легкого и изящного стиха»... «Его стихи проникнуты задумчивой грустью»... «Кельтские нотки»...* Жаль, что у него такая ирландская фамилия. Может быть, после имени поставить фамилию матери? Томас Мэлони Чендлер; или лучше: Т. Мэлони Чендлер. Он поговорит об этом с Галлахером.

Он так увлекся этими мечтами, что прошел свою улицу и пришлось возвращаться обратно. Когда он подошел к «Корлессу», волнение с прежней силой овладело им и он в нерешительности остановился у подъезда. Наконец он открыл дверь и вошел.

Свет и шум ресторана на минуту остановили его в дверях. Он посмотрел вокруг, но в глазах у него рябило от блеска красных и зеленых бокалов. Ему показалось, что ресторан переполнен и все смотрят на него с любопытством. Он быстро взглянул направо и налево (слег-

ка хмурясь, словно пришел по важному делу), но когда немного освоился, увидел, что никто даже не обернулся; а вон там, прислонившись к стойке и широко расставив колени, сидел и сам Игнатий Галлахер.

— Хэлло, Томми, старый вояка, присаживайся! Что будем пить? Чего твоя душа просит? Я пью виски: такого и в Лондоне не достанешь. С содовой? Или с сельтерской? Не любишь минеральную? Я тоже. Портит букет... Пожалуйста, гарсон, будьте добры, принесите виски, две маленькие. Ну, как ты преуспевал все это время, с тех пор как мы не виделись? Боже милостивый, как мы стареем! Очень заметно, что я уже старик, а? Побелело и поредело на макушке — а?

Игнатий Галлахер снял шляпу и показал большую, коротко остриженную голову. Лицо у него было массивное, бледное и гладко выбритое. Аспидно-синие глаза, подчеркивая нездоровую бледность, ярко поблескивали над оранжевым галстуком. Между этими двумя контрастирующими пятнами губы казались очень длинными, бесформенными и бесцветными. Он наклонил голову и двумя пальцами жалостливо потрогал редющие волосы. Крошка Чендлер протестующе покачал головой. Игнатий Галлахер снова надел шляпу.

— Измотаешься,— сказал он.— Что такое жизнь журналиста? Вечная спешка и гонка, вечно ищи материал, а иногда так и не найдешь; а потом вечная погоня за чем-нибудь новеньким. Ну я и решил на несколько дней послать гранки и наборщиков к черту. А уж до чего же я рад, что попал на родное пепелище! Надо же когда-нибудь и отдохнуть. Я как-то сразу ожил, как только очутился в милом грязном Дублине... Ну вот, Томми, пей. Воды? Скажи, когда довольно.

Крошка Чендлер дал сильно разбавить свой виски.

— Пользы ты своей, юноша, не знаешь,— сказал Игнатий Галлахер.— Я чистый пью.

— Я обычно пью очень мало,— скромно сказал Крошка Чендлер.— Изредка маленькую или две, когда встретишься с кем-нибудь из старой компании; вот и все.

— Ну,— весело сказал Игнатий Галлахер,— выпьем за нас, за старые времена и за старую дружбу.

Они чокнулись и выпили.

— Я сегодня видел кое-кого из старой шатии,— ска-

зал Игнатий Галлахер.— О'Хара что-то мне не понравился. Что он делает?

— Ничего,— сказал Крошка Чендлер.— Он совсем опустил.

— Хогэн как будто хорошо пристроился?

— Да, он служит в Земельном комитете¹.

— Я как-то встретил его в Лондоне, он, по-видимому, процветает... Бедный О'Хара! Спился, вероятно?

— Не только,— сухо сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер засмеялся.

— Томми,— сказал он,— ты ни на йоту не изменился. Ты все тот же серьезный юноша, который, бывало, читал мне нотации каждое воскресное утро, пока я валялся с головной болью и обложенным языком. Тебе бы надо немного пошататься по свету. Неужели ты ни разу никуда не ездил?

— Я был на острове Мэн,— сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер засмеялся.

— Остров Мэн!— сказал он.— Поезжай в Лондон или в Париж, лучше в Париж. Это пойдет тебе на пользу.

— Ты был в Париже?

— Еще бы! Я там повеселился на славу.

— А Париж правда такой красивый, как говорят?— спросил Крошка Чендлер.

Он отпил из своего стакана, а Игнатий Галлахер залпом осушил свой до дна.

— Красивый?— сказал Игнатий Галлахер медленно, смакуя букет своего виски.— Не такой уж он красивый, понимаешь. Нет, конечно, красивый. Но главное — это тамошняя жизнь, вот что. Нет города, равного Парижу по веселью, шуму, развлечениям...

Крошка Чендлер допил свой стакан и не без труда поймал взгляд бармена. Он заказал еще виски.

— Я был в Мулен-Руж,— продолжал Игнатий Галлахер, когда бармен убрал стаканы,— и я побывал во всех кафе Латинского квартала. Ну уж, доложу я тебе! Не для таких божьих коровок, как ты.

Крошка Чендлер молчал; бармен скоро вернулся с

¹ Организация, возникшая в связи с деятельностью Ирландской Земельной лиги, целью которой была ликвидация лендлордизма, возвращение земли ирландскому крестьянству и борьба за гомруль. Однако в комитете процветало взяточничество, поэтому место там считалось весьма доходным.

двумя стаканами; тогда он дотронулся своим стаканом до стакана своего друга и повторил его тост. Он начал испытывать легкое разочарование. Тон Галлахера и его манера выражаться не нравились ему. Было что-то вульгарное в его друге, чего он раньше не замечал. Но возможно, что это просто оттого, что он живет в Лондоне, среди газетной толчеи и грызни. Прежнее обаяние чувствовалось под новой, развязной манерой держаться. И как-никак Галлахер пожил, он повидал свет. Крошка Чендлер с завистью посмотрел на своего друга.

— В Париже всем весело,— сказал Игнатий Галлахер.— Там умеют наслаждаться жизнью, и что же, скажешь, это нехорошо? Если хочешь пожить по-настоящему, надо ехать в Париж. И знаешь, парижане прекрасно относятся к ирландцам. Когда они узнали, что я ирландец, они меня чуть не задушили, да, да.

Крошка Чендлер вновь отпил из своего стакана.

— Скажи-ка,— начал он,— Париж в самом деле такой безнравственный город, как о нем говорят?

Игнатий Галлахер величественно поднял правую руку.

— Все города безнравственны,— сказал он.— Конечно, в Париже можно увидеть довольно пикантные вещи. Вот, например, на студенческих танцульках. Есть на что посмотреть, когда курочки разойдутся. Ты, надеюсь, понимаешь, о ком я говорю?

— Я слышал о них,— сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер допил свой виски и покачал головой.

— Да,— сказал он,— что ни говори, а нет другой такой женщины, как парижанка,— по остроумию, по шику.

— Значит, это безнравственный город,— сказал Крошка Чендлер с робкой настойчивостью.— Я хочу сказать, по сравнению с Лондоном или с Дублином.

— Лондон! — сказал Игнатий Галлахер.— Никакого сравнения. Спроси Хогэна, дорогой мой. Я немножко просветил его по части Лондона, когда он приезжал. Он открыл бы тебе глаза... Послушай, Томми, что ты все прихлебываешь, это тебе не пунш, пей сразу.

— Нет, право...

— Да брось, ничего с тобой не сделается. Что закажем? Опять того же?

— Ну... давай.

— François, еще по стаканчику... Закурим, Томми.— Игнатий Галлахер вытащил портсигар. Оба друга закурили и молча пыхтели сигарами, пока им не подали виски.

— Я скажу тебе свое мнение,— сказал Игнатий Галлахер, вынырнув, наконец, из облака дыма, за которым он скрывался,— мы живем в странном мире. Где уж тут нравственность. Я слышал о таких случаях, да что я говорю — слышал, я знаю о таких... случаях...

Игнатий Галлахер задумчиво попытал сигарой и затем ровным эпическим тоном принялся набрасывать перед своим другом картины разврата, царящего за границей. Он перечислил пороки нескольких столиц и, по видимому, склонялся к тому, чтобы присудить пальму первенства Берлину. Были вещи, за которые он не мог поручиться (он только слышал о них), но многое он знал по собственному опыту. Он не пощадил ни чина, ни звания. Он разоблачил тайны европейских монастырей, описал нравы, бытующие в высшем обществе, и закончил тем, что рассказал со всеми подробностями скандальную историю про одну английскую герцогиню, причем подтвердил, что история эта достоверна. Крошка Чендлер был очень удивлен.

— Да,— сказал Игнатий Галлахер,— здесь, в нашем старом, захолустном Дублине, про такие вещи и не слыхивали.

— Тебе, должно быть, показалось очень скучно у нас,— сказал Крошка Чендлер,— после всего того, что ты видел!

— Знаешь,— сказал Игнатий Галлахер,— для меня это отдых — побывать здесь. Ну, а потом, ведь это же родное гнездо, как говорится. Что бы там ни было, а нельзя не любить его. Такова человеческая природа... Но расскажи мне о себе. Хогэн сказал мне, что ты... познал радости Гименея. Уже два года, кажется?

Крошка Чендлер покраснел и улыбнулся.

— Да,— сказал он.— В мае был год, как я женился.

— Позволь мне от души поздравить тебя,— сказал Игнатий Галлахер.— Лучше поздно, чем никогда. Я не знал твоего адреса, а то бы я сделал это вовремя.

Он протянул руку, и Крошка Чендлер пожал ее.

— Желаю тебе,— сказал Галлахер,— и твоему семейству всяческих благ, и кучу денег, и чтобы ты жил до тех пор, пока я сам не застрелю тебя. И это, милый

мой Томми, желает тебе искренний друг твой, старый друг. Ты это знаешь?

— Знаю,— сказал Крошка Чендлер.

— И детишки есть? — сказал Игнатий Галлахер.

Крошка Чендлер опять покраснел.

— У нас один ребенок,— сказал он.

— Сын или дочь?

— Мальчик.

Игнатий Галлахер звонко хлопнул своего друга по спине.

— Молодец,— сказал он,— да я и не сомневался в тебе, Томми.

Крошка Чендлер улыбнулся и смущенно посмотрел в свой стакан, закусив нижнюю губу тремя по-детски белыми зубами.

— Надеюсь, ты зайдешь к нам вечером, до отъезда. Жена будет тебе очень рада. Можно помузицировать... и...

— Большое спасибо, милый,— сказал Игнатий Галлахер.— Очень жаль, что мы не встретились раньше. Но я завтра вечером должен ехать.

— Может быть, сегодня...

— Мне очень жаль, дорогой. Видишь, я здесь не один, со мной приехал приятель, очень интересный молодой человек, так вот мы сговорились пойти в картишки поиграть. А то бы...

— Ну конечно, я понимаю...

— А кто знает? — раздумчиво сказал Игнатий Галлахер.— Теперь, когда лед сломан, может быть, я в будущем году опять прикачу к вам. Отсрочка не испортит удовольствия.

— Отлично,— сказал Крошка Чендлер,— в твой следующий приезд ты придешь к нам на весь вечер. Непременно, да?

— Непременно,— сказал Игнатий Галлахер,— если только я приеду в будущем году, то *parole d'honneur!*¹

— А чтобы скрепить наш договор,— сказал Крошка Чендлер,— выпьем еще по одной.

Игнатий Галлахер вытащил большие золотые часы и посмотрел на стрелки.

— Если только последнюю,— сказал он.— Потому что, видишь ли, меня ждут.

¹ Честное слово (франц.).

— И в самом деле, последнюю,— сказал Крошка Чендлер.

— Ну, хорошо,— сказал Игнатий Галлахер,— в таком случае выпьем еще по одной deos an doruis¹ — так, кажется, в народе говорят?

Крошка Чендлер заказал виски. Краска, несколько минут назад выступившая на его щеках, теперь заливала все лицо. Он всегда легко краснел; а сейчас он разогрелся и был слегка возбужден. Три стакана виски ударили ему в голову, а крепкая сигара Галлахера отуманила мозг, так как он был хрупкого здоровья и всегда очень воздержан. Встретиться с Галлахером после восьмилетней разлуки, сидеть с Галлахером у «Корлесса», в ярком свете и шуме, слушать рассказы Галлахера, участвовать, хоть недолго, в кочевой и блистательной жизни Галлахера было для него приключением, нарушившим равновесие его чувствительной натуры. Он остро ощущал контраст между жизнью друга и своей собственной и находил, что это несправедливо: Галлахер стоял ниже его по рождению и воспитанию. Он был уверен, что мог бы делать кое-что получше, чего его другу никогда не сделать, что-нибудь более высокое, чем вульгарная журналистика, если бы только подвернулся случай. Что преграждало ему путь? Его злосчастная робость? Ему хотелось как-нибудь отомстить за себя, поддержать свое мужское достоинство. Он по-своему толковал отказ, которым Галлахер ответил на его приглашение. Галлахер просто устаивал его своей дружбой, как он удостоил Ирландию своим посещением.

Бармен принес виски. Крошка Чендлер подвинул один стакан своему другу и бойко поднял другой.

— Кто знает? — сказал он после того, как они чокнулись.— В будущем году, когда ты приедешь, может быть, я буду иметь удовольствие пожелать счастья мистеру и миссис Галлахер.

Игнатий Галлахер, глотая виски, выразительно прищурил один глаз над краем стакана. Когда он кончил пить, он решительно причмокнул, поставил стакан на стол и сказал:

— И не воображай, дорогой мой! Сначала я перебежусь и поживу в свое удовольствие, а уж потом полезу в ярмо, если я вообще это сделаю.

¹ На посошок (ирл.).

— Когда-нибудь сделаешь,— спокойно сказал Крошка Чендлер.

Оранжевый галстук и аспидно-синие глаза Игнатия Галлахера повернулись к его другу.

— Ты так думаешь? — сказал он.

— Ты полезешь в ярмо,— уверенно повторил Крошка Чендлер,— как все, если только сумеешь найти подходящую девушку.

Он сказал это слегка вызывающим тоном и почувствовал, что выдал себя; но, хотя румянец сгустился на его щеках, он выдержал пристальный взгляд друга. Игнатий Галлахер с минуту смотрел ему в лицо и затем сказал:

— Если это когда-нибудь случится, можешь поставить свой последний шиллинг, дело обойдется без сантиментов. Я женюсь только на деньгах. Или у нее будет кругленький текущий счет в банке, или — слуга покорный.

Крошка Чендлер покачал головой.

— Ты что, человеке, думаешь? — с горячностью сказал Игнатий Галлахер.— Стоит мне только слово сказать, и завтра же у меня будут и баба и деньги. Не веришь? Но я-то знаю, что это так. Есть сотни — что я говорю,— тысячи богатых евреек и немок, просто лопаются от денег, которым только мигнуть... Подожди, дружок. Увидишь, как я это дело обломаю. Уж если я за что возьмусь — ошибки не будет, не сомневайся. Подожди — увидишь.

Он порывисто поднес стакан ко рту, допил виски и громко рассмеялся. Потом он задумчиво устремил взгляд в пространство и сказал более спокойным тоном:

— Но я не спешу. Пусть они подождут. И я не собираюсь связывать себя с одной женщиной.

Он сделал движение губами, словно пробуя что-то, и скорчил гримасу.

— Вот надоест, тогда,— сказал он.

Крошка Чендлер сидел с ребенком на руках в комнате возле прихожей. Ради экономии они не держали прислуги, и Моника, младшая сестра Энни, приходила на часок по утрам и на часок по вечерам помочь по хозяйству. Но Моника давно ушла домой. Было без чет-

верти девять. Крошка Чендлер опоздал к чаю и, кроме того, забыл принести Энни кофе от Бьюли¹. Разумеется, она надулась и почти не разговаривала с ним. Она сказала, что обойдется без чая, но как только подошло время, когда лавка на углу закрывалась, она решила отправиться сама за четвертушкой чая и двумя фунтами сахара. Она ловко положила ему на руки спящего ребенка и сказала:

— Держи. Только не разбуди его.

На столе горела маленькая лампа с белым фарфоровым абажуром, и свет падал на фотографическую карточку в роговой рамке. Это была фотография Энни. Крошка Чендлер посмотрел на нее, остановив взгляд на тонких сжатых губах. На ней была бледно-голубая блузка, которую он принес ей в подарок как-то в субботу вечером. Она стояла десять шиллингов и одиннадцать пенсов; но сколько мучительного волнения она ему стояла! Как он терзался, когда ждал у дверей магазина, чтобы магазин опустел, когда стоял у прилавка, стараясь казаться непринужденным, а продавщица раскладывала перед ним дамские блузки, когда платил в кассу и забыл взять сдачу, когда кассир позвал его обратно и, наконец, когда, выходя из магазина, проверил, крепко ли завязан сверток, чтобы скрыть покрасневшее лицо! Вернувшись домой, он отдал блузку Энни, и та поцеловала его и сказала, что блузка очень славная и элегантная, но, услышав цену, бросила блузку на стол и сказала, что брать за это десять шиллингов и одиннадцать пенсов — чистый грабеж. Сначала она хотела нести ее обратно, но, когда померила, пришла в восторг, особенно от покроя рукава, поцеловала его и сказала, какой он милый, что подумал о ней.

— Гм!..

Он холодно смотрел в глаза фотографии, и они холодно отвечали на его взгляд. Несомненно, они были красивы, и само лицо тоже было красивое. Но в нем было что-то пошлое. Почему оно такое неодоухотворенное и жеманное? Невозмутимость взгляда раздражала его. Глаза отталкивали его и бросали вызов: в них не было ни страсти, ни порыва. Он вспомнил, что говорил Галлахер о богатых еврейках. Темные восточные глаза, думал он, сколько в них страсти, чувственного томле-

¹ Магазин в Дублине.

ния... Почему он связал свою судьбу с глазами на этой фотографии?

Он поймал себя на этой мысли и испуганно оглядел комнату. Красивая мебель, которую он купил в рассрочку, когда обставлял свою квартиру, тоже показалась ему довольно пошлой. Энни сама ее выбирала, и она напомнила ему жену. Мебель тоже была красивая и чопорная. Тупая обида на свою жизнь проснулась в нем. Неужели он не сможет вырваться из этой тесной квартирки? Разве поздно начать новую жизнь, смелую, какой живет Галлахер? Неужели он не сможет уехать в Лондон? За мебель все еще не выплачено. Если бы он мог написать книгу и напечатать ее, перед ним открылись бы иные возможности.

Томик стихов Байрона лежал на столе. Он осторожно, чтобы не разбудить ребенка, открыл книгу левой рукой и начал читать первую строфу:

Стих ветерок... не тронет тишь ночную;
Зефир в лесах не шевелит листья,
Я на могилу вновь иду родную,
Я Маргарите вновь несу цветы.

Он остановился. Он ощутил, что весь воздух в комнате наполнен стихами. Сколько меланхолии в них! Сможет ли он тоже так писать, выразить в стихах меланхолию своей души? Многое ему хотелось описать: вот хотя бы свое ощущение сегодня днем на Грэттенском мосту. Если бы он мог вернуть то настроение...

Ребенок проснулся и заплакал. Он оторвался от книги и начал успокаивать его; но ребенок не замолкал. Крошка Чендлер принялся качать его, но плач ребенка стал еще пронзительней. Он качал его все сильнее, между тем как глаза его читали вторую строфу:

Там прах ее печальный холодеет,
А жизнь давно ль¹...

Все напрасно. Читать нельзя. Ничего нельзя. Плач ребенка сверлил ему уши. Все напрасно! Он пленник на всю жизнь. Руки его дрожали от злости, и, внезапно наклонившись над личиком ребенка, он закричал:

— Замолчи!

¹ Строчки из юношеского стихотворения Байрона «На смерть молодой леди, кузины автора, очень дорогой ему» (1802). Перевод С. Ильина.

Ребенок на секунду смолк, оцепенев от испуга, и снова заплакал. Крошка Чендлер вскочил со стула и с ребенком на руках стал быстро ходить взад и вперед по комнате. Ребенок захлебывался от безудержного плача, он на секунду замолкал, а потом с новой силой начинал кричать. Тонкие стены сотрясались от крика ребенка. Он пытался унять его, но плач ребенка становился все судорожнее. Он посмотрел на искаженное и дрожащее личико и встревожился. Ребенок закатился семь раз подряд, и Крошка Чендлер в испуге прижал его к груди. А вдруг он умрет!..

Дверь с шумом распахнулась, и молодая женщина, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Что такое? Что такое? — закричала она.

Ребенок, услышав голос матери, испустил истерический вопль.

— Ничего, ничего, Энни... ничего... он заплакал...

Она бросила покупки на пол и выхватила у него ребенка.

— Что ты ему сделал? — крикнула она, впиваясь в него глазами.

Крошка Чендлер с секунду выдержал ее взгляд, и сердце его сжалось, когда он прочел в нем ненависть. Он начал, заикаясь:

— Да ничего... Он... заплакал... Я не мог... Я ничего ему не сделал... Что?

Не обращая на него внимания, она начала ходить взад и вперед по комнате, крепко прижимая к себе ребенка и тихо приговаривая:

— Маленький мой! Родной! Испугали тебя, солнышко?.. Ну, ну, деточка! Ну, ну... золотко. Мамино золотко любимое! Ну, ну...

Крошка Чендлер почувствовал, что краска стыда заливает его щеки, и ушел подальше от света лампы. Он стоял и слушал, между тем как плач ребенка становился все тише и тише; и слезы раскаяния выступили на его глазах.

Личины

Разъяренно задребезжал звонок, и, когда мисс Паркет сняла трубку, разъяренный голос выкрикнул с пронзительным североирландским акцентом:

— Пошлите ко мне Фэррингтона!

Мисс Паркер, возвращаясь к своей машинке, сказала человеку, согнувшемуся над столом:

— Мистер Олейн требует вас наверх.

Человек пробормотал вполголоса: «Черт его подери!» — и отодвинул стул, чтобы встать. Он был высокого роста и плотный. Одутловатое лицо цвета темного вина, белесые усы и брови; глаза слегка навывкате и мутные белки. Он поднял створку барьера и, пройдя мимо клиентов, тяжелым шагом вышел из конторы.

Тяжело ступая, он поднялся по лестнице до площадки второго этажа, где на двери была медная досочка с надписью: «М-р Олейн». Остановился, пыхтя от усталости и раздражения, постучал. Резкий голос крикнул:

— Войдите!

Он вошел в кабинет мистера Олейна. В ту же минуту мистер Олейн, маленький человечек в золотых очках на чисто выбритом лице, вскинул голову над грудой документов. Вся голова была такая розовая и безволосая, что напоминала большое яйцо, покоящееся на бумагах. Мистер Олейн не стал терять времени:

— Фэррингтон? Это еще что? Долго мне придется делать вам замечания? Можно узнать, почему вы не сняли копию с договора Бодли и Кирвана? Я же вам сказал, что она мне нужна к четырем!

— Но мистер Шелли говорил, сэр...

— *Мистер Шелли говорил, сэр...* Потрудитесь слушать, что я вам говорю, а не что *мистер Шелли говорит, сэр*. Вы всегда найдете предлог увильнуть от работы. Имейте в виду — если к концу дня копия не будет готова, я сообщу об этом мистеру Кросби... Понятно?

— Да, сэр.

— Понятно?.. Да, и вот еще что. С вами говорить все равно что со стенкой. Раз навсегда запомните: на завтрак вам полагается полчаса, а не полтора. Сколько блюд вы заказываете, хотел бы я знать... Теперь понятно?

— Да, сэр.

Мистер Олейн снова наклонил голову над грудой документов. Человек пристально смотрел на глянцеви́тый череп, вершивший дела фирмы «Кросби и Олейн», и определял его прочность. Приступ бешенства на миг сдавил ему горло, потом прошел, оставив после себя острое ощущение жажды. Человек уже знал, что вечером надо будет как следует выпить. Скоро конец месяца, и, если он вовремя сделает копию, может случиться, что мистер Олейн даст ему ордер в кассу. Он стоял неподвижно, пристально вглядываясь в склоненную над грудой бумаг голову. Вдруг мистер Олейн стал ворошить бумаги, что-то отыскивая. Потом, словно только что заметив присутствие человека, он снова вскинул голову и сказал:

— Ну? Вы что, собираетесь целый день так проста-ять? Честное слово, Фэррингтон, вам все нипочем.

— Я хотел дожждаться...

— Вы и дождетесь рано или поздно. Идите вниз и принимайтесь за работу.

Человек тяжело пошел к двери, и, выходя из комнаты, он еще раз услышал, как мистер Олейн прокричал ему вслед, что, если копия контракта не будет готова к вечеру, он доложит мистеру Кросби. Он вернулся на свое место в конторе нижнего этажа и сосчитал, сколько страниц еще осталось переписать. Он взял перо, обмакнул его в чернильницу, но продолжал тупо, не мигая, смотреть на последние написанные им слова: «*В случае если бы означенный Бернард Бодли был...*» Становилось темно; через несколько минут зажгут газ, тогда можно будет писать. Он чувствовал непреодолимую потребность утолить жажду. Он встал и, опять приподняв створку, вышел из конторы. Когда он выходил, управляющий конторой вопросительно посмотрел на него.

— Не беспокойтесь, мистер Шелли,— сказал он, показывая пальцем, куда идет.

Управляющий конторой покосился на вешалку, но, видя, что все шляпы на своих местах, ничего не сказал. На лестничной площадке человек вытащил из кармана клетчатую кепку, надел ее и быстро сбежал по шатким ступеням. От парадного он крадущимся шагом пошел к углу, все время держась у самой стены, и наконец нырнул в какую-то дверь. Здесь, в потемках отдельного кабинета заведения О'Нейля, его никто не увидит, и, просунув воспаленное, цвета темного вина или темного мяса, лицо в окошечко, выходявшее в бар, он крикнул:

— Эй, Пат, дай-ка сюда кружечку портера, будь другом.

Бармен принес ему стакан портеру безо всего. Человек залпом осушил его и спросил тминного семени¹. Потом положил на прилавок монету и, предоставив официанту на ощупь отыскивать ее в темноте, все тем же крадущимся шажком выбрался из отдельного кабинета.

Тьма и густой туман овладели февральскими сумерками, и на Юстейс-Стрит зажглись фонари. Человек шел вдоль самых стен к дверям конторы, прикидывая, сумеет ли он вовремя закончить копию договора. На лестнице в нос ему ударил пряный резкий запах духов: очевидно, пока он был у О'Нейля, пришла мисс Делакур. Он снова засунул в карман свою кепку и с напускной беспечностью вошел в контору.

— Мистер Олейн спрашивал вас,— строго сказал управляющий.— Где вы были?

Человек покосился на двух клиентов, стоявших у барьера, словно намекая, что их присутствие мешает ему ответить. Управляющий хмыкнул — ведь клиенты были мужчины.

— Знаю я эти штуки,— сказал он.— Пять раз на дню, не слишком ли... Ну ладно, не теряйте времени и подберите для мистера Олейна всю нашу переписку по делу Делакур.

От этого выговора в присутствии посторонних, быстрого подъема по лестнице и наспех проглоченного портера у человека мутилось в голове, и, садясь за свою конторку, чтобы достать нужные бумаги, он понял, что нечего и надеяться закончить копию договора к поло-

¹ Тминное семя отбивает запах спиртного.

вине шестого. Наступал сырой темный вечер, и его тянуло провести его в баре, выпивая с друзьями при ярком свете газа, под звон стаканов. Он достал папку с делом Делакур и вышел из конторы. Он надеялся, что, может быть, мистер Олейн не заметит отсутствия последних двух писем.

Пряный резкий запах стоял на всем пути к кабинету мистера Олейна. Мисс Делакур была немолодой еврейкой. Говорили, что мистер Олейн равнодушен к ней или к ее деньгам. Она часто приходила в контору и, когда приходила, оставалась подолгу. Сейчас она сидела у его письменного стола в облаке духов, глядя ручку своего зонтика и кивая большим черным пером на шляпе. Мистер Олейн повернул свое вращающееся кресло так, чтобы видеть ее, и развязно закинул ногу на ногу. Человек положил папку на стол и почтительно поклонился, но ни мистер Олейн, ни мисс Делакур не обратили никакого внимания на его поклон. Мистер Олейн побарабанил пальцем по папке и затем ткнул в его сторону, как бы говоря: хорошо, можете идти.

Он вернулся в нижний этаж и снова сел за свою конторку. Он напряженно, не мигая, смотрел на недописанную фразу: *«В случае если бы означенный Бернард Бодли был...»* — и думал о том, как странно, что три последних слова начинаются с одной и той же буквы. Управляющий конторой стал торопить мисс Паркер, говоря, что она не успеет перепечатать все письма до отправки почты. Несколько минут человек прислушивался к стрекоту машинки, потом принялся переписывать копию договора. Но голова у него была тяжелая, и мысли убегали к яркому свету и шуму пивной. В такой вечер хорошо пить горячий пунш. Он продолжал возиться с копией, но, когда часы пробили пять, ему оставалось еще четырнадцать страниц. К черту! Все равно не кончить вовремя. Ему захотелось выругаться вслух, стукнуть изо всей силы кулаком по столу. Он был до того взбешен, что вместо *«Бернард Бодли»* написал *«Бернард Бернард»*, и ему пришлось заново переписывать всю страницу.

Он чувствовал, что у него хватит силы одному разгромить всю контору. Тело изнывало от желания сделать что-нибудь, крушить и крошить все и вся кругом. Убожество жизни приводило его в ярость... Самому попросить кассира об авансе? Нет, от кассира ждать не-

чего: как же, даст он ему аванс!.. Он знал, где сейчас можно застать всех ребят: Леонарда, и О'Хэллорена, и Носатого Флинна. Его внутренний барометр предвещал бурю.

Он так погрузился в свои мысли, что только на третий раз услышал, что его зовут. Мистер Олейн и мисс Делакур стояли у барьера, и все служащие повернулись в их сторону, ожидая, что будет. Человек встал из-за своей конторки. Мистер Олейн начал гневную тираду, указывая, что двух писем не хватает. Человек отвечал, что ничего не знает, он переписал все, что было. Тирада продолжалась: она была такой злобной и жестокой, что человек с трудом подавил в себе желание опустить кулак на голову стоявшего перед ним карлика.

— Я ничего не знаю об этих двух письмах,— тупо повторял он.

— *Вы ничего не знаете...* Ну конечно, откуда вам знать,— сказал мистер Олейн.— Послушайте-ка,— добавил он, оглянувшись в поисках одобрения на стоявшую рядом с ним даму,— вы меня за кого считаете? Вы что, за полного дурака меня принимаете?

Человек переводил взгляд с лица дамы на маленькую яйцевидную головку и обратно; и прежде чем он успел понять, что делает, его язык воспользовался удобной минутой.

— Простите, сэр,— сказал он,— но с таким вопросом следует обращаться не ко мне.

Последовала пауза, во время которой не было слышно даже дыхания клерков. Все были потрясены (причем автор выходки не меньше остальных), а мисс Делакур, полная, приятная особа, начала широко улыбаться. Мистер Олейн сделался розовым, как шиповник, и ярость гнома искривила его рот. Он тряс кулаком перед самым носом человека с такой быстротой, что кулак, казалось, вибрировал, как головка бормашины.

— Грубиян! Нахал! Теперь-то уж вы дождетесь! Вот увидите! Вы слышали? Вон из конторы, если не извинитесь немедленно!

Он стоял в подъезде напротив конторы, поджидая кассира на случай, если он выйдет один. Все служащие уже прошли, и, наконец, показался кассир вместе с управляющим конторой. Не стоило и заговаривать с ним при управляющем. Человек понял, что дела его плохи.

Ему пришлось принести мистеру Олейну унижительные извинения за дерзость, но он знал, что с этого дня ему не будет покоя в конторе. Он хорошо помнил, как мистер Олейн травил маленького Пика, пока не выжил его из конторы: ему нужно было освободить место для своего племянника. Его мучили ненависть, жажда и желание отомстить; он был зол на себя и на весь свет. Мистер Олейн не даст ему теперь проходу; его жизнь делается сущим адом. Порядочного дурака он свалил на этот раз. И кто только тянул его за язык? Впрочем, с самого начала у него с мистером Олейном не клеилось, особенно после того случая, когда мистер Олейн услышал, как он передразнивает его североирландский акцент на потеху Хиггинсу и мисс Паркер; с этого все и пошло. Может быть, Хиггинса попытаться насчет денег, хотя у Хиггинса у самого никогда нет ни пенни. Когда человек содержит две семьи, где уж тут...

Опять все его большое тело заняло в тоске по уюту пивной. Туман начал пробираться к нему, и он подумал: может быть, у Пата в заведении О'Нейля удастся разжиться чем-нибудь? Да у него больше чем на шиллинг не разживешься — а что толку с одного шиллинга? Но ведь надо же достать денег где-нибудь: свое последнее пенни он истратил на портер, а скоро уже будет так поздно, что денег вообще нигде не достанешь. Вдруг, перебирая пальцами цепочку от часов, он вспомнил о ломбарде Терри Келли на Флит-Стрит. Вот это мысль! Как ему раньше не пришло в голову!

Он пошел по узкому переулку Темпл Бар, бормоча себе под нос, что теперь все они могут провалиться, потому что уж вечерок-то он проведет в свое удовольствие. Приемщик у Терри Келли сказал: «Крона!», но оценщик согласился только на шесть шиллингов; и в конце концов ему отсчитали шесть шиллингов. Он вышел из ломбарда довольный, зажав сложенные столбиком монеты между большим и указательным пальцами. На Уэстморленд-Стрит тротуары были запружены молодыми людьми и девушками, возвращавшимися после службы, и повсюду шныряли оборванные мальчишки, выкрикивая названия вечерних газет. Человек пробирался в толпе, гордо поглядывая по сторонам и бросая победоносные взгляды на конторщиц и машинисток. В голосе у него шумело от трамвайных звонков и свиста роликов, а ноздри уже вдыхали пары дымящегося пун-

ша. По дороге он обдумывал выражения, в которых расскажет всю историю приятелям:

— Ну, тут посмотрел я на него — так это, знаете, спокойно, — а потом на нее. Потом опять посмотрел на него, да так это не спеша и говорю: «Простите, сэр, но с таким вопросом следует обращаться не ко мне».

Носастый Флинн сидел на своем обычном месте в пивной Дэви Берна, и когда Фэррингтон кончил свой рассказ, выставил ему полпинты, заявив, что это, попросту говоря, здорово; Фэррингтон в свою очередь его угостил. Немного погодя явились О'Хэллорен и Падди Леонард, и пришлось им рассказать все сначала. О'Хэллорен выставил на всех горячего виски и рассказал, как он однажды срезал управляющего конторой, когда служил у Кэллена на Фаунз-Стрит; но по его рассказу получилось, что ответ был вполне вежливым, и он вынужден признать, что ответ Фэррингтона куда хлеще. Тут Фэррингтон сказал ребятам, что пора посмотреть на доньшки и начать сначала.

Только каждый стал выбирать себе яд по вкусу, вдруг входит не кто иной, как Хиггинс. Само собой, ему пришлось примкнуть к их компании. Его попросили со своей стороны рассказать, как было дело, и он это исполнил очень живо, так как зрелище пяти порций горячего виски привело его в отличное настроение. Все так и покатались с хохоту, когда он изобразил, как мистер Олейн тряс кулаком перед носом Фэррингтона. Потом он представил и Фэррингтона, говоря: *«И тут наш герой так спокойно...»* — а Фэррингтон обводил всех своим тяжелым, мутным взглядом, улыбаясь и время от времени обсасывая нижней губой усы, в которых висели капли виски.

Когда и на этот раз стаканы опустели, наступило молчание. У О'Хэллорена были деньги, но у двух других ничего, по-видимому, не осталось; и вся компания не без сожаления покинула пивную. На углу Дьюк-Стрит Хиггинс и Носастый Флинн свернули налево, а трое остальных пошли назад, к центру города. Дождь моросил на холодных улицах, и, когда они дошли до Балласт-оффис¹, Фэррингтон предложил завернуть в Шотландский бар. Там было полно народу и в воздухе стоял звон голосов и стаканов. Все трое протолкались мимо про-

¹ Учреждение, организующее работу Дублинской гавани.

давцов спичек, которые попрошайничали у дверей, и расположились компанией у одного конца стойки. Стали рассказывать анекдоты. Леонард познакомил их с молодым человеком по фамилии Уэзерс, выступавшим в «Тиволи»¹ акробатом, эксцентриком, певцом — всем понемногу, а Фэррингтон выставил угощение на всю братию. Уэзерс сказал, что выпьет рюмку ирландского виски с аполлинарисом². Фэррингтон, который до тонкости знал, как надо себя вести, спросил ребят, не желает ли и еще кто аполлинариса, но ребята сказали Тиму, чтобы принес горяченького. Разговор перешел на театр. Разок выставил угощение О'Хэллорен, потом опять Фэррингтон, хотя Уэзерс возражал, утверждая, что они чересчур уж по-ирландски гостеприимны. Он пообещал провести их за кулисы и познакомить с хорошенькими девушками. О'Хэллорен сказал, что они с Леонардом пойдут, а Фэррингтон не пойдет, потому что он человек женатый; а Фэррингтон покосился на всю компанию тяжелыми, мутными глазами, давая понять, что он понимает шутку. Уэзерс заставил всех пропустить по стаканчику за его счет и пообещал встретиться с ними попозже у Мэллигена на Пулбег-Стрит.

Когда Шотландский бар закрылся, они перекочевали к Мэллигену. Они сразу прошли в заднюю комнату, и О'Хэллорен спросил горячего пунша на всех. Они уже были немного навеселе. Фэррингтон только было собрался выставить угощение, когда явился Уэзерс. К большому облегчению Фэррингтона, он спросил только рюмку горького. Денежки уплывали, но пока еще можно было держаться. Вдруг вошли две молодые женщины в больших шляпах и молодой человек в клетчатом костюме и сели за соседний столик. Уэзерс поклонился им и сказал своим собутыльникам, что вся эта компания из «Тиволи». Глаза Фэррингтона то и дело возвращались к одной из молодых женщин. В ее внешности было что-то привлекающее внимание. Длинный шарф из переливающейся синей кисеи был обвит вокруг ее шляпы и завязан у подбородка большим бантом: ярко-желтые перчатки доходили до локтя. Фэррингтон с восхищением глядел на полные плечи, которыми она весьма вызы-

¹ Театр в Дублине, названный в честь каскада водопадов в Италии на реке Аниене, притоке Тибра.

² Шипучая минеральная вода.

вающе поводила; а когда немного спустя она ответила на его взгляд, ее большие темно-карие глаза привели его в полное восхищение. Ее манера смотреть, пристально и чуть искоса, действовала на него завораживающе. Она поглядела на него еще раз или два, а выходя со своими спутниками из комнаты, задела его стул и сказала с лондонским акцентом: «O, pardon». Он смотрел ей вслед, надеясь, что она обернется, но она не обернулась. Он проклинал свою бедность и проклинал себя за угощение, выставленное им в этот вечер, и в особенности за виски с аполлинарисом, которым он угощал Уэзерса. Если он кого ненавидел в эту минуту, так это любителей выпить за чужой счет. Он был так зол, что перестал слушать, о чем говорят его друзья.

Падди Леонард обратился к нему; оказалось, что речь идет об атлетических рекордах. Уэзерс показывал компании свои бицепсы и до того расхвастался, что Фэррингтона призвали для поддержания национальной чести. Фэррингтон засучил рукава и тоже показал свои бицепсы. Мускулы обоих подверглись тщательному осмотру и сравнению, и в конце концов было решено устроить состязание в силе. Очистили стол, и противники, сцепив руки, уперлись в него локтями. По знаку Падди Леонарда каждый должен был постараться пригнуть руку другого к столу. Вид у Фэррингтона был очень серьезный и решительный.

Состязание началось. Секунд через тридцать Уэзерс медленно пригнул к столу руку противника. Багровое лицо Фэррингтона побагровело еще больше от злости и стыда, что такой щенок его одолел.

— Нельзя наваливаться всем телом. Соблюдайте правила,— сказал он.

— Кто это не соблюдает правил? — сказал Уэзерс.

— Давайте сначала. Кто выиграет два раза из трех.

Состязание началось снова. У Фэррингтона вздулись на лбу вены, а лицо Уэзерса из бледного стало как пин-он. Руки и пальцы у обоих дрожали от напряжения. После долгой борьбы Уэзерс снова медленно пригнул руку своего противника к столу. Среди зрителей прошел ропот одобрения. Бармен, стоявший у самого стола, кивнул победителю рыжей головой и сказал с дурацкой ухмылкой:

— Ого! Вот это здорово!

— А тебе что? — злобно обернулся к нему Фэррингтон.— Какого черта суешься не в свое дело?

— Шш, шш,— сказал О'Хэллорен, заметив свирепое выражение на лице Фэррингтона.— Пора закругляться, ребята. Пропустим еще по одной — и домой.

Угрюмого вида человек стоял у О'Коннел-Бридж, дожидаясь сэндимаунтского трамвая. В нем кипела затаенная злоба и желание отомстить. Он чувствовал досаду и унижение, он даже не был пьян, в кармане у него оставалось только два пенса. Он проклинал все на свете. Он нажил неприятности в конторе, заложил часы, истратил все деньги и даже не напился как следует. Он снова почувствовал жажду, и ему томительно захотелось очутиться опять в душной, прокуренной пивной. Его репутация силача погибла после того, как его два раза подряд одолел какой-то мальчишка. Его сердце переполнила ярость, а когда он вспомнил о женщине в большой шляпе, которая задела его, проходя, и сказала «ragdon», ярость едва не задушила его.

Трамвай довез его до Шелборн-Роуд, и он потащил свое грузное тело вдоль казарменной стены. Возвращаться домой было отвратительно. Войдя с черного хода, он увидел, что в кухне никого нет и огонь в плите почти погас. Он заорал:

— Ада! Ада!

Его жена была маленькая женщина с востреньким личиком, которая изводила мужа, когда он был трезв, и которую изводил он сам, когда он был пьян. У них было пятеро детей. С лестницы бегом спустился маленький мальчик.

— Кто там? — спросил отец, вглядываясь в темноту.

— Я, папа.

— Кто это «я»? Чарли?

— Нет, папа, Том.

— А мать где?

— Она в церкви.

— Вот как... А обед? Она оставила мне обед?

— Да, папа. Я...

— Зажги лампу. Чего вы тут торчите впотьмах! А остальные где, спят?

Человек тяжело опустился на стул, мальчик зажег лампу. Человек стал передразнивать интонацию сына, бормоча вполголоса: «В церкви... В церкви, скажите по-

жалуйста». Когда лампа, наконец, была зажжена, он стукнул кулаком по столу и заорал:

— Ну, где же обед?

— Я сейчас... сейчас приготовлю, папа,— сказал мальчик.

Отец подскочил от ярости и ткнул пальцем в сторону плиты:

— На таком огне? Да у тебя все прогорело! Ну стой, я тебе покажу, как упускать огонь.

Он шагнул к двери и схватил трость, стоявшую в углу.

— Ты у меня будешь знать, как упускать огонь! — сказал он, засучивая рукав, чтоб тот не мешал ему.

Мальчик вскрикнул: «Папа!» — и с плачем бросился бежать вокруг стола, но человек погнался за ним и схватил за полу куртки. Мальчик дико озирался по сторонам, но, видя, что спастись некуда, упал на колени.

— Другой раз не станешь упускать огонь,— кричал отец и с силой ударил его тростью.— Вот тебе, щенок!

Мальчик взвизгнул от боли, трость полоснула его по бедру. Он сжал руки, и голос у него дрожал от страха.

— Папа! — кричал он.— Не бей меня, папа! Я... я помолюсь за тебя... Я Святую Деву попрошу, папа, только не бей меня... Я Святую Деву попрошу...

Земля

Старшая разрешила ей уйти, как только женщины напьются чаю, и Мария заранее радовалась свободному вечеру. В кухне все так и блестело; кухарка говорила, что в большие медные котлы можно смотретья вместо зеркала. В печи, славно поблескивая, горел огонь, а на одном из боковых столов лежали четыре огромных сладких пирога. Издали они казались ненарезанными; но вблизи видно было, что они аккуратно нарезаны толстыми длинными ломтями и их можно прямо подавать к чаю. Мария сама нарезала их.

Роста Мария была очень-очень маленького, но у нее был очень длинный нос и очень длинный подбородок. Говорила она слегка в нос, и казалось, что она всегда успокаивает кого-то: «Да, моя хорошая», «Нет, моя хорошая». Всегда за ней посылали, если женщины ссорились из-за корыт, и всегда ей удавалось водворить мир. Старшая как-то раз сказала ей:

— Вы у нас настоящий миротворец, Мария.

И эту похвалу слышали кастелянша и две дамы-печительницы. А Джинджер Муни всегда говорила, что глухонемой, которая подавала утюги, не поздоровилось бы, если б не Мария. Все любили Марию.

Чай будет в шесть часов, и еще до семи она сможет уйти. От Боллсбриджа до Колонны Нельсона — двадцать минут, от Колонны до Драмкондры¹ — двадцать минут и двадцать минут на покупки. К восьми часам она попадет туда. Она вынула свой кошелек с серебряным замочком и еще раз прочла надпись: «Привет из

¹ Пригород Дублина.

Белфаста». Она очень любила этот кошелек, потому что его привез Джо пять лет тому назад, когда вместе с Олфи ездил на Духов день в Белфаст. В кошельке лежали две полукроны и несколько медяков. После трамвая останется чистых пять шиллингов. Как славно они проведут вечер — дети все будут петь хором! Только бы Джо не пришел домой пьяным. Он совсем на себя не похож, когда выпьет.

Не раз он просил ее переехать к ним и жить вместе с ними; но она боялась их стеснить (хотя жена Джо всегда так хорошо к ней относилась), и потом, она привыкла уже к своей жизни в прачечной. Джо славный малый. Мария вынянчила их, и его и Олфи; Джо, бывало, так и говорит:

— Мама мамой, но моя настоящая мать — это Мария.

Когда семья распалась, мальчики подыскали ей это место в прачечной «Вечерний Дублин», и оно ей понравилось. Прежде она была очень дурного мнения о протестантах¹, но теперь увидела, что это очень славные люди, немножко, пожалуй, чересчур тихие и серьезные, но очень славные, и жить с ними легко. И потом, у нее здесь свои растения в теплице, и она любила ухаживать за ними. У нее был чудесный папоротник и восковые деревья, и, если кто приходил ее навестить, она непременно дарила гостю два-три ростка из своей теплицы. Единственное, чего она не любила, это душещипательные брошюры, которые всюду попадались на глаза, но зато со старшей было так приятно иметь дело, она была как настоящая леди.

Кухарка сказала ей, что все готово, она пошла в столовую и принялась звонить в большой колокол. Через несколько минут, по двое, по трое, стали собираться женщины, вытирая распаренные ладони об юбки и спуская рукава на красные распаренные руки. Они усаживались перед огромными кружками, в которые кухарка и глухонемая наливали из огромных оловянных чайников горячий чай, уже сладкий и с молоком. Мария распорядилась дележкой пирога и следила, чтобы каждая женщина получила свои четыре ломтя. За едой было много смеха и шуток. Лиззи Флеминг сказала, что уж

¹ Прачечная «Вечерний Дублин» существовала на субсидии от протестантских организаций.

наверно Марии достанется кольцо, и, хотя Флеминг говорила это каждый год в Канун Дня Всех Святых, Мария робко улыбнулась и сказала, что вовсе ей не надо никакого кольца, да и мужа не надо¹, и когда она смеялась, ее серо-синие глаза искрились от позабытых надежд, а кончик носа почти касался кончика подбородка. Потом Джинджер Муни подняла свою кружку с чаем и предложила выпить за здоровье Марии, сказав при этом, что лучше бы по такому случаю выпить глоток портеру, а все остальные стучали кружками по столу. И Мария опять так смеялась, что кончик ее носа почти касался кончика подбородка, и вся ее маленькая фигурка так и тряслась от смеха, потому что она знала, что Муни хотела как лучше, хотя, конечно, она простая, необразованная женщина.

Но как же Мария была рада, когда женщины выпили чай и кухарка с глухонемой стали собирать посуду. Она пошла в свою комнатку и, вспомнив, что завтра с утра надо идти к ранней мессе, перевела стрелку будильника с семи на шесть. Потом она сняла рабочую юбку и домашние ботинки и разложила на постели свою самую лучшую юбку, а рядом на полу поставила крохотные выходные ботинки. Кофточку она тоже надела другую; она стояла перед зеркалом, ей вспомнилось, как, бывало, еще молодой девушкой, она по воскресеньям наряжалась к мессе, и она со странной нежностью посмотрела на маленькую фигурку, которую так любила когда-то украшать. Несмотря на возраст, это все еще была премилая аккуратненькая фигурка.

Когда она вышла на улицу, тротуары блестели от дождя, и она поразовалась, что надела свой старенький коричневый плащ. В трамвае было тесно, и ей пришлось сидеть на маленькой откидной скамеечке в конце вагона, и ноги ее едва доставали до полу. Она прикидывала в уме, что ей нужно было сейчас сделать, и думала о том, как хорошо ни от кого не зависеть и иметь собственные деньги. Уж конечно, они славно проведут вечер. Иначе и быть не может, вот только одно — жалко, что

¹ Сладкий пирог, который пекут в Канун Дня Всех Святых, 31 октября, нередко используют при гадании; тогда в него запекают кольцо и орех. У кого в кусочке окажется кольцо, тот вскоре должен сочетаться браком; у кого — орех, тот свяжет свою судьбу со вдовцом или вдовицей, а если орех окажется пустым, то девушка останется старой девой, а юноша — холостяком.

Олфи и Джо не разговаривают друг с другом. Они теперь вечно ссорятся, а ведь как дружно жили мальчиками; но уж такова жизнь.

У Колонны она вышла из трамвая и стала проворно пробираться в толпе. Она отправилась в кондитерскую Даунза, но в кондитерской было столько народа, что ей пришлось довольно долго дожидаться своей очереди. Она купила десяток пирожных, по пенни штука, и наконец выбралась из кондитерской с большим бумажным пакетом. Потом она задумалась, что бы еще купить; ей хотелось чего-нибудь повкуснее. Яблок и орехов у них, наверно, и так вдосталь. Нелегкая была задача — придумать, что купить, и ей так ничего и не пришло в голову, кроме кекса. Она решила купить кекс с коринкой, но у Даунза на кексах было мало засахаренного миндаля, и она пошла в другую кондитерскую, на Генри-Стрит. Здесь она долго не могла ни на чем остановиться, и нарядная молодая барышня за прилавком, видимо начиная терять терпение, спросила, уж не свадебный ли пирог она выбирает. Тут Мария покраснела и улыбнулась девушке, но девушка не расположена была шутить — она отрезала большой кусок кекса с коринкой, завернула его в бумагу и сказала:

— Два шиллинга четыре пенса, пожалуйста.

В трамвае она думала, что ей придется простоять всю дорогу до Драмкондры, потому что никто из молодых людей, казалось, не замечал ее, но один пожилой джентльмен подвинулся и уступил ей место. Джентльмен был довольно полный, в коричневом котелке; у него было квадратное красное лицо и усы с проседью. Мария решила, что он похож на полковника, и подумала: насколько он вежливее молодых людей, которые сидят себе не поворачивая головы. Джентльмен завел с ней разговор о Кануне Дня Всех Святых, о дождливой погоде. Он высказал догадку, что в пакете у нее вкусные вещи для малышей, и сказал, что так оно и должно быть: когда ж и повеселиться, если не в молодости. Мария соглашалась с ним, одобрительно поддакивая и кивая головой. Он был очень мил с ней, и, выходя у моста через канал, она поблагодарила его и поклонилась, и он тоже поклонился и приподнял шляпу с приятной улыбкой; и, когда она шла по набережной, пригнув свою крохотную головку под дождем, она думала о том, что джентль-

мена всегда с первого взгляда видно, даже если он чуть-чуть подвыпил.

Когда она вошла в дом Джо, все закричали: «А вот и Мария!» Сам Джо был уже дома, только что вернулся с работы, а дети все нарядились по-праздничному. Пришли еще две девушки из соседнего дома, и веселье было в полном разгаре. Мария дала пакет с пирожными Олфи, старшему мальчику, чтобы он роздал всем, и миссис Доннелли сказала, что она слишком их балует — столько пирожных сразу, — и заставила всех детей сказать:

— Спасибо, Мария!

Но Мария сказала, что она еще принесла отдельно кое-что для папы и мамы, кое-что такое, что им, наверно, понравится, и принялась искать свой кекс с кориной. Она заглянула в пакет из-под пирожных, потом в карманы своего плаща, потом на вешалку, но кекса нигде не было. Потом она спросила детей, не съел ли его кто-нибудь из них, — разумеется, по ошибке! — но дети все ответили «нет» и надулись, словно желая сказать, что раз их обвиняют в воровстве, не надо им никаких пирожных. Каждый объяснял загадку по-своему, а миссис Доннелли сказала, что скорее всего Мария оставила кекс в трамвае. Вспомнив, как ее смутил джентльмен с седыми усами, Мария покраснела от стыда, досады и огорчения. При мысли о своем неудавшемся сюрпризе и о выброшенных зря двух шиллингах и четырех пенсах она чуть не расплакалась.

Но Джо сказал, что это все пустяки, и усадил ее у огня. Он был очень мил с ней. Он говорил обо всем, что делается в конторе, и рассказал, как ловко он на днях отбрил управляющего. Мария не поняла, чему Джо так смеется, но сказала, что, должно быть, управляющий человек очень властный и с ним трудно иметь дело. Джо сказал, что он не так уж плох, нужно только знать, как к нему подойти, и что он даже совсем ничего, пока его не поглядят против шерстки. Миссис Доннелли села за пианино, и дети танцевали и пели. Потом соседские девушки обносили всех орехами. Никто не мог найти щипцы, и Джо чуть было не рассердился и спрашивал, что прикажут Марии делать с орехами, если ей не дали щипцов. Но Мария сказала, что она не любит орехов и что не стоит беспокоиться из-за нее. Потом Джо спросил, не выпьет ли она пива, а миссис Доннелли сказала, что в доме найдется и портвейн, если она предпочитает

вино. Мария сказала, что, право же, ничего не будет пить, но Джо настаивал.

Марии пришлось уступить, а потом они сидели у огня, вспоминая доброе старое время, и Мария решила, что, пожалуй, можно замолвить словечко за Олфи. Но Джо стал кричать, что пусть покарает его господь, если он согласится еще хоть раз взглянуть на своего брата, и Мария сказала, что, верно, зря она об этом заговорила. Миссис Доннелли заметила мужу, что стыдно так говорить о родном брате, но Джо сказал, что Олфи ему не брат, и дело чуть не кончилось ссорой. Но Джо сказал, что не такой сегодня вечер, чтоб сердиться, и попросил жену откупорить еще бутылку пива. Девушки затеяли обычные в Канун Дня Всех Святых игры, и скоро всем опять стало весело. Мария радовалась, что дети такие веселые, а Джо и его жена в таком хорошем настроении. Соседские девушки расставили на столе несколько блюд и, завязав детям глаза, стали по очереди подводить их к столу. Одному достался молитвенник, троем — вода; а когда одной из соседских девушек досталось кольцо, миссис Доннелли погрозила покрасневшей девушке пальцем, словно говоря: «Да, да, нам кое-что известно»¹. Тут все закричали, что нужно и Марии завязать глаза и пусть она подойдет к столу — интересно, что ей достанется; пока ей затягивали повязку, Мария все смеялась и смеялась так, что кончик ее носа почти касался кончика подбородка.

Под общий смех и шутки ее подвели к столу, и она протянула вперед руку, как ей сказали. Она поводила рукой в воздухе и наконец опустила ее на одно из блюд. Она почувствовала под пальцами что-то сырое и рыхлое и удивилась, что все молчат и никто не снимает с нее повязку. Несколько секунд было тихо; потом поднялась возня и перешептывания. Кто-то упомянул про сад, и наконец миссис Доннелли очень сердито сказала что-то одной из девушек и велела ей немедленно выбросить это вон; такими вещами не шутят. Мария поняла,

¹ Традиционный обряд гадания в Канун Дня Всех Святых. Гадающие с завязанными глазами дотрагивались до разложенных на столе предметов: молитвенник означал монашескую участь, кольцо — свадьбу, вода — долгую жизнь, земля — смерть. В XIX веке земля, как наиболее мрачный символ, в гадании чаще всего не использовалась.

что вышло что-то не то; поэтому пришлось проделать все сначала, и теперь ей достался молитвенник.

Потом миссис Доннелли заиграла рилу¹, а Джо заставил Марию выпить рюмку вина. Скоро всем опять стало весело, и миссис Доннелли сказала, что Марии в этом году суждено уйти в монастырь, потому что ей достался молитвенник. Мария не помнила, чтобы Джо когда-нибудь был так мил с ней, как в этот вечер, так ласково с ней разговаривал, столько вспоминал о прошлом. Она сказала, что они слишком добры к ней.

Под конец дети устали и захотели спать, и Джо спросил Марию, не споет ли она им что-нибудь перед уходом, какую-нибудь старую песенку. Миссис Доннелли сказала: «Да, да, Мария, пожалуйста», и Марии пришлось встать и подойти к пианино. Миссис Доннелли приказала детям не шуметь и слушать Марию. Потом она сыграла вступление и сказала: «Ну, Мария?» — и Мария, вся вспыхнув, запела тоненьким, дрожащим голоском. Она пела «Мне снилось, что я в чертогах живу»², но, дойдя до второго куплета, начала снова:

Мне снилось, что я в чертогах живу,
Окруженный рабов толпой,
И средь верных вассалов своих слыву
Надеждой страны родной.
Без счету богатств у меня, мой род
Славным именем горд своим,
Но лучше всего — мне снилось еще,
Что тобой я, как прежде, любим.

Но никто не указал ей ее ошибку; а когда она кончила, Джо был очень растроган. Что бы там ни говорили, сказал он, а в старину жили лучше, и музыки нет лучше, чем добрый старый Болф; слезы застлали ему глаза, и он никак не мог найти того, что искал, и потому спросил жену, где штопор.

¹ Быстрый хороводный танец шотландских горцев, вариант контрданса. Был весьма популярен в кругу ирландского среднего класса в начале века.

² Популярная ария из оперы М. У. Болфа «Цыганочка».

Несчастный случай

Мистер Джеймс Даффи жил в Чепелизоде¹ потому, что хотел жить возможно дальше от города, гражданином которого он был, и потому, что все другие пригороды Дублина казались ему вульгарными, претенциозными и слишком современными. Он жил в мрачном старом доме, и из окон ему видны были заброшенный винокуренный завод и берега мелководной речки, на которой стоит Дублин. На полу его высокой комнаты не было ковра, а на стенах не висело ни одной картины. Он сам приобрел каждый предмет обстановки: черную железную кровать, железный умывальник, четыре плетеных стула, вешалку, ящик для угля, каминные щипцы с решеткой и квадратный стол с двойным пюпитром. Книжный шкаф заменяла ниша с белыми деревянными полками. Кровать была застлана белым покрывалом, в ногах ее лежал черный с красным плед. Маленькое ручное зеркальце висело над умывальником, и днем на камине стояла лампа с белым абажуром — единственное украшение комнаты. Книги на белых деревянных полках были расставлены по росту. На одном конце самой нижней полки стояло полное собрание сочинений Вордсворта, а на противоположном конце верхней — экземпляр «Манутского катехизиса»² в коленкоровом переплете от записной книжки. На пюпитре всегда лежали письменные принадлежности. В ящике хранились руко-

¹ По преданию, в Чепелизоде Тристан виделся с Изольдой.

² В г. Мануте расположен католический центр Ирландии.

писный перевод пьесы Гауптмана «Микаэл Крамер»¹ с ремарками, сделанными красными чернилами, и небольшая стопка листков, сколотых бронзовой скрепкой. На этих листках время от времени появлялась какая-нибудь фраза; в минуту иронического настроения на первый листок была наклеена реклама пилюль от печени. Из-под крышки пюпитра, если ее приподнять, исходил еле слышный запах — не то новых карандашей из кедрового дерева, не то клея или перезрелого яблока, которое положили там и забыли.

Мистер Даффи питал отвращение к любому проявлению физического или духовного беспорядка. Средневековый ученый сказал бы, что он родился под знаком Сатурна². Лицо мистера Даффи, на котором отпечатались прожитые годы, напоминало своим коричневым цветом дублинские улицы. Длинная, довольно крупная голова поросла сухими черными волосами, рыжеватые усы едва скрывали неприятное выражение рта. Выступающие скулы также придавали его лицу жесткое выражение; но жестокости не было в глазах, которые глядели на мир из-под рыжеватых бровей с таким выражением, точно их обладатель всегда рад встретить в других людях что-нибудь искупающее их недостатки, но часто разочаровывается. Он смотрел на себя со стороны, следя за собственными поступками косым, недоверчивым взглядом. У него была странная склонность, доставлявшая ему особое удовольствие, время от времени сочинять мысленно короткие фразы о самом себе, с подлежащим в третьем лице и сказуемым в прошедшем времени. Он никогда не подавал милостыни и ходил твердым шагом, опираясь на крепкую ореховую трость.

Он уже много лет служил кассиром в частном банке на Бэггот-Стрит. Каждое утро он приезжал из Чепелизода на трамвае. В полдень шел к Дэну Бэрку завтракать — брал бутылку пива и тарелочку аррорутového печенья. В четыре часа он уходил со службы. Он обедал

¹ Пьеса немецкого драматурга, романиста, поэта Герхарта Гауптмана (1862—1946). Центральный конфликт «Микаэла Крамера» — творческая личность и филистерская среда, неспособная понять художника и губящая его.

² Средневековые ученые-астрологи считали важным расположение светил в момент рождения человека; от этого зависели его характер и дальнейшая судьба. По их представлениям, под знаком Сатурна рождались мрачные, недобрые люди.

в столовой на Джордж-Стрит, где можно было не опасаться встреч с дублинской «золотой молодежью» и где кормили вполне прилично. Вечера он проводил или за пианино своей квартирной хозяйки, или бродя по окрестностям города. Любовь к Моцарту приводила его иногда в оперу или на концерт — это было единственным развлечением в его жизни.

Знакомые, друзья, философские системы, вера — все это было чуждо ему. Он жил своей внутренней жизнью, ни с кем не общаясь, навещая родственников на рождество и провожая их на кладбище, когда они умирали. Он отбывал эти две повинности в угоду старым традициям, но не уступал больше ни на йоту тем условностям, которые управляют общественной жизнью. Он допускал мысль, что при известных обстоятельствах мог бы даже ограбить банк, но так как эти обстоятельства не складывались, жизнь его текла размеренно — повесть без событий.

Однажды вечером в Ротонде¹ он оказался рядом с двумя дамами. Тишина и пустота в зале уныло предвещали провал. Дама подле него в кресле раза два оглянулась на пустой зал и заметила:

— Какая жалость, что сегодня мало публики! Так неприятно петь перед пустым залом.

Он принял эти слова за приглашение к разговору. Его удивило, что она держится так свободно. Беседа с ней, он старался запечатлеть в памяти ее черты. Узнав, что девушка, сидящая рядом с ней, — ее дочь, он подумал, что эта дама, должно быть, на год или на два моложе его. Ее лицо, когда-то, вероятно, красивое, до сих пор сохранило живость. Это было продолговатое лицо с резко выраженными чертами. Темно-синие глаза смотрели пристально. Ее взгляд поначалу казался вызывающим, но вдруг зрачок расширился и в нем проглядывала легко ранимая душа. Но вот зрачок становился маленьким, и показавшаяся было душа пряталась в скорлупу благоразумия, и каракулевая жакетка, облежавшая довольно пышную грудь, еще более подчеркивала этот вызов.

Через несколько недель он снова встретил ее в концерте на Эрлсфорт-Террес; когда дочь засмотрелась на кого-то, он улучил минуту, чтобы познакомиться ближе.

¹ Здание круглой формы в Дублине на Ратленд-Сквер, в котором были расположены театр и концертный зал.

Раза два она вскользь упомянула о своем муже, но в ее тоне не слышалось предостережения. Ее звали миссис Синико. Прапрадед ее мужа происходил из Ливорно. Ее муж был капитаном торгового судна, курсировавшего между Дублином и Голландией; у них был только один ребенок.

Когда он в третий раз встретил ее случайно, у него достало смелости назначить свидание. Она пришла. Это была первая встреча, за которой последовало много других, они встречались всегда по вечерам и выбирали для совместных прогулок самые тихие улицы. Но эта таинственность была противна мистеру Даффи, и когда он понял, что они могут видаться только потихоньку, попросил пригласить себя в дом. Капитан Синико поощрял его визиты, думая, что он собирается сделать предложение дочери. Он совершенно исключил жену из ряда интересных женщин и считал невозможным, что кто-нибудь может ею заинтересоваться. Муж часто бывал в отъезде, а дочь уходила на уроки музыки, мистеру Даффи представлялось много случаев бывать в обществе миссис Синико. Ни у него, ни у нее до сих пор не было приключений, и оба они не видели в этом ничего дурного. Постепенно он стал делиться с нею своими мыслями. Он давал ей книги, излагал свои идеи, впустил ее в свой мир. Она была безгранично рада.

Иногда, в ответ на его отвлеченные рассуждения, она рассказывала какой-нибудь случай из своей жизни. С почти материнской заботливостью она побуждала его раскрыть душу: она стала его исповедником. Он рассказал ей, что некоторое время ходил на собрания ирландской социалистической партии, где чувствовал себя чужим среди степенных рабочих, в каморке, освещенной тусклой керосиновой лампой. Когда партия раскололась на три фракции, каждая со своим лидером и в своей каморке, он перестал бывать на собраниях. Дискуссии рабочих были, на его взгляд, слишком примитивными, а их интерес к вопросу о заработной плате казался ему чрезмерным. Он чувствовал, что это грубые материалисты, они не умели четко излагать свои мысли: эта способность была результатом досуга, им недоступного. Социальная революция, говорил он, едва ли произойдет в Дублине и через двести — триста лет.

Она спросила, почему он не записывает свои мысли. Зачем? — ответил он с деланным пренебрежением. Что-

бы соперничать с пустословами, неспособными мыслить последовательно в течение шестидесяти секунд? Чтобы подвергаться нападкам тупых мешан, которые вверяют свою мораль полицейскому, а искусство — антрепренеру?

Он часто бывал в ее маленьком коттедже под Дублином; часто они проводили вечера вдвоем. По мере того как между ними росла духовная близость, они переходили к разговорам на более интимные темы. Ее общество было как парниковая земля для тропического растения. Много раз она сидела с ним до темноты, подолгу не зажигая лампы. Темная, тихая комната, уединение, музыка, все еще звучащая в ушах, сближали их. Это сближение воодушевляло его, сглаживало острые углы характера, обогащало эмоциями его внутреннюю жизнь. Иногда он ловил себя на том, что слушает звуки собственного голоса. Он думал, что в ее глазах возвысился чуть ли не до ангельского чина, и, по мере того как он все больше и больше привлекал к себе свою пылкую по натуре подругу, странный, безличный голос, в котором он узнавал свой собственный, все настойчивее твердил о неисцелимом одиночестве души. Мы не можем отдавать себя, говорил этот голос, мы принадлежим только себе. Беседы эти кончились тем, что однажды вечером, когда миссис Синико, судя по всему, была в необычайном возбуждении, она страстно схватила его руку и прижала к своей щеке.

Мистер Даффи был крайне изумлен. Такое толкование его слов разрушило все его иллюзии. Он не ходил к ней неделю, потом написал ей, прося разрешения встретиться. Так как он не желал, чтобы их последнее свидание тревожила мысль о разрушенной исповедальне, они встретились в маленькой кондитерской у ворот Феникс-Парка. Стояла холодная осенняя погода, но, несмотря на холод, они три часа бродили по дорожкам. Они решили не встречаться больше: всякий союз, сказал он, сулит горе. Выйдя из парка, они молча пошли к трамваю; но тут она начала сильно дрожать, и он, боясь новой вспышки с ее стороны, поспешил откланяться и оставил ее. Через несколько дней он получил пакет со своими книгами и нотами.

Прошло четыре года. Мистер Даффи вернулся к размеренному образу жизни. Его комната по-прежнему

свидетельствовала о любви к порядку. Новые ноты появились на пюпитре в комнате первого этажа, а на книжную полку встали два тома Ницше: «Так говорил Заратустра» и «Веселая наука». Теперь он редко писал что-нибудь на листках, лежащих в ящике. Одна фраза, написанная через два месяца после прощального свидания с миссис Синико, гласила: «Любовь между мужчиной и женщиной невозможна потому, что физическое влечение недопустимо; дружба между женщиной и женщиной невозможна потому, что физическое влечение неизбежно». Он перестал ходить на концерты, боясь встретиться с ней. Его отец умер; младший компаньон банка вышел из дела. Но по-прежнему каждое утро мистер Даффи приезжал в город на трамвае и каждый вечер возвращался из города пешком, скромно пообедав на Джордж-Стрит и прочитав на десерт вечернюю газету.

Однажды вечером, когда он только что поднес ко рту кусок солонины с капустой, рука его замерла. Его взгляд вдруг упал на одну из заметок в вечерней газете, которую он читал, прислоня к графину. Он положил кусок на тарелку и внимательно прочел заметку. Потом выпил стакан воды, отодвинул тарелку в сторону, развернул газету на столе между расставленными локтями и несколько раз перечитал заметку с начала до конца. Капуста на тарелке подернулась белой пленкой застывшего жира. Официантка подошла к нему спросить, вкусный ли обед. Он сказал, что обед очень вкусный, и с трудом проглотил два-три куска. Потом заплатил по счету и вышел.

Он быстро шагал в ноябрьских сумерках, крепкая ореховая трость мерно постукивала по тротуару, желтоватый уголок «Мейл» выглядывал из кармана узкого двубортного пальто. На безлюдной дороге между воротами Феникс-Парка и Чепелизодом он замедлил шаг. Его трость ударяла о тротуар уже не так звучно, и его неровное, похожее на вздох, дыхание стыло в морозном воздухе. Добравшись до дома, он сразу прошел в спальню и, вынув из кармана газету, еще раз перечел заметку в слабеющем свете у окна. Он читал ее не вслух, но шепелил при этом губами, как священник, читающий особые молитвы.

Вот что было в заметке:

СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ НА СИДНИ-ПЭРЕЙД НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сегодня в дублинской городской больнице заместителем коронера¹ (из-за отсутствия мистера Леверетта) было произведено следствие по поводу миссис Эмили Синико, сорока трех лет, погибшей вчера вечером на станции Сидни-Пэрейд. Из показаний выяснилось, что покойная, пытаясь перейти через рельсы, была сбита с ног паровозом десятичасового пассажирского поезда, шедшего из Кингзтауна, и получила тяжкие повреждения головы и правого бока, приведшие к смерти.

Машинист Джеймс Леннен показал, что служит в железнодорожной компании с пятнадцати лет. По свистку кондуктора он отправил поезд и через секунду или две остановил его, услышав громкие крики. Поезд шел медленно.

Носильщик П. Дэнн показал, что, когда поезд трогался со станции, он заметил женщину, пытавшуюся перейти пути. Он бросился к ней и окликнул, но не успел добежать, как ее ударило буфером паровоза, и она упала.

Присяжный.— Вы видели, как эта дама упала?

Свидетель.— Да.

Сержант полиции Кроули заявил, что, прибыв на место происшествия, он нашел покойную на перроне, без признаков жизни. Он распорядился, чтобы тело до прибытия санитарной кареты перенесли в зал ожидания. Констебль, бляха номер пятьдесят семь, подтвердил сказанное.

Доктор Холпин, хирург дублинской городской больницы, показал, что у покойной был обнаружен перелом двух нижних ребер и серьезные ушибы правого плеча. Правая сторона головы повреждена при падении. Однако эти повреждения не могли вызвать смерть у человека в нормальном состоянии. Смерть, по его мнению, произошла вследствие шока и резкого упадка сердечной деятельности.

Мистер Х. Б. Пэттерсон Финлей от имени железнодорожной компании выразил глубокое сожаление по

¹ Должностное лицо при органах местного самоуправления графства, разбирает дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах.

поводу несчастного случая. Компания всегда принимала меры к тому, чтобы публика переходила пути только по мосту, вывешивая с этой целью на каждой станции указатели, а также ставя у каждого переезда автоматические шлагбаумы. Покойная имела привычку поздно вечером переходить пути, и, принимая во внимание некоторые обстоятельства дела, он не считает железнодорожных служащих виновными.

Супруг покойной, капитан Синико, проживающий в Леовилле, Сидни-Пэрейд, также дал показания. Он подтвердил, что покойная действительно его жена. Во время происшествия его не было в Дублине, так как он только сегодня утром вернулся из Роттердама. Они были женаты двадцать два года и жили счастливо до тех пор, пока, года два тому назад, его жена не пристрастилась к спиртному.

Мисс Мэри Синико сообщила, что в последнее время ее мать обычно выходила по вечерам из дому купить вино. Свидетельница нередко пыталась воздействовать на мать и уговаривала ее вступить в общество трезвости. Она вернулась домой только через час после происшествия.

Основываясь на показаниях врача, присяжные вынесли приговор, согласно которому с Леннена снимается всякая ответственность.

Заместитель коронера заявил, что в его практике это один из самых трагических несчастных случаев, и выразил свое глубочайшее соболезнование капитану Синико и его дочери. Он рекомендовал компании принять самые решительные меры во избежание подобных происшествий в будущем. В данном случае виновных не было».

Мистер Даффи поднял глаза от газеты и посмотрел в окно на безрадостный вечерний пейзаж. Река спокойно текла мимо заброшенного винного завода, и время от времени в каком-нибудь из домов на Дьюкенской дороге загорался свет. Какой конец! Весь рассказ о ее смерти возмущал его, возмущала мысль, что когда-то он говорил с ней о том, что было для него самым святым. Его тошнило от избитых фраз, пустых слов сочувствия, осторожных слов репортера, которого уговорили скрыть подробности заурядной и вульгарной смерти. Мало того, что она унизила себя — она унизила его. Он представил себе весь позорный путь ее порока, отвратительного и отталкивающего. И это подруга его души!

Ему вспоминались несчастные, которые, пошатываясь, бредут с пустыми бутылками и кувшинами к бару. Боже правый, какой конец! Очевидно, она была не приспособлена к жизни, бесхарактерна и безвольна, легко становилась жертвой привычки — одна из тех жертв, на чьих костях строится цивилизация. Но как могла она пасть так низко? Как мог он так обмануться в ней? Он вспомнил ее порыв в тот памятный вечер и на этот раз осудил его гораздо резче. Теперь он был совершенно убежден, что он поступил правильно.

Темнело, мысли его блуждали, и вдруг ему показалось, что она прикоснулась к его руке. Потрясение, вызвавшее сначала тошноту, теперь вызвало дрожь. Он быстро надел пальто и шляпу и вышел. Холодный ветер обдал его на пороге, забираясь в рукава пальто. Дойдя до бара у Чепелизод-Бридж, он вошел и заказал горячий пунш.

Хозяин угодливо прислуживал ему, но не решался вступить в разговор. В баре сидело человек пять-шесть рабочих, споривших о стоимости какого-то поместья в графстве Килдер. Они прихлебывали из огромных кружек, курили, то и дело сплевывали на пол и своими тяжелыми сапогами втирали плевки в опилки. Мистер Даффи смотрел на них, ничего не видя и не слыша. Скоро они ушли, а он спросил второй стакан пунша. Он долго сидел за ним. В баре было очень тихо. Хозяин прислонился к стойке и, зевая, читал «Геральд». Иногда слышался шум трамвая на безлюдной дороге.

Так он сидел, вспоминая дни, проведенные с ней, и ее, такую разную, теперь он твердо знал, что ее больше нет, что она перестала существовать, превратилась в воспоминание. Ему стало не по себе. Он спрашивал себя, мог ли поступить иначе? Он не мог бы притворяться дольше; не мог бы жить с нею открыто. Он поступил так, как ему казалось лучше. В чем же его вина? Теперь, когда она умерла, он понял, как одиноко ей, верно, было долгими вечерами в той комнате. Его жизнь тоже будет одинока до тех пор, пока и он не умрет, не перестанет существовать, не превратится в воспоминание — если только кто-нибудь о нем вспомнит.

Был уже десятый час, когда он вышел из бара. Ночь была холодная и мрачная. Он вошел в Феникс-Парк через ближайšie ворота и стал ходить под облетевшими деревьями. Он бродил по угрюмым аллеям, где они

бродили четыре года тому назад. Она, казалось, идет рядом с ним в темноте. Временами ему слышался ее голос, чудилось прикосновение ее руки. Он замер, прислушиваясь. Зачем он отнял у нее жизнь? Зачем он приговорил ее к смерти? Его стройный, правильный мир рушился.

Дойдя до вершины Мэгезин-Хилл, он остановился и стал смотреть на реку, текущую к Дублину, огни которого светились тепло и гостеприимно в холоде ночи. Он посмотрел вниз и у подножья холма, в тени ограды парка, увидел лежащие темные фигуры. Эта греховная и потаенная любовь наполнила его отчаянием. Он ненавидел нравственные устои, он чувствовал себя изгнанным с праздника жизни. Одно существо полюбило его; а он отказал ей в жизни и счастье; он приговорил ее к позору, к постыдной смерти. Он знал, что простертые внизу у ограды существа наблюдают за ним и хотят, чтобы он ушел. Он никому не нужен: он изгнан с праздника жизни. Он перевел взгляд на серую поблескивающую реку, которая текла, извиваясь, к Дублину. За рекой он увидел товарный поезд, выползавший со станции Кингз-Бридж, словно червяк с огненной головой, ползущий сквозь тьму упорно и медленно. Поезд медленно скрылся из виду, но еще долго стук колес повторял ее имя.

Он свернул на дорогу, по которой пришел; мерный шум поезда все еще раздавался в ушах. Он начал сомневаться в реальности того, о чем говорила ему память. Он остановился под деревом и стоял до тех пор, пока мерный шум не замер. Во мраке он уже не чувствовал ее, и голос ее больше не тревожил. Он подождал несколько минут, прислушиваясь. Он ничего не слышал, ночь была совершенно нема. Он прислушался снова: ничего. Он был совсем один.

В день плюща¹

Старый Джек сгреб золу куском картона и старательно разбросал ее поверх груды побелевших углей. Когда груды углей прикрыл тонкий слой золы, лицо старика погрузилось во тьму, но как только он начал раздувать огонь, сгорбленная тень выросла позади на стене, и лицо вновь выступило из мрака. Это было старческое лицо, очень худое, заросшее волосами. Слезящиеся от огня голубые глаза мигали, и он без конца жевал слюнявым, беззубым ртом. Угли занялись, он прислонил картон к стене, вздохнул и сказал:

— Так-то лучше, мистер О'Коннор.

Мистер О'Коннор, седеющий господин, лицо которого безобразило множество угрей и прыщей, только что скрутил папироску, но, услышав обращение, задумчиво раскрутил ее. Потом он снова начал свертывать папироску и после минутного раздумья лизнул бумажку.

— Мистер Тирни не говорил, когда вернется? — спросил он хриплым фальцетом.

— Нет, не говорил.

Мистер О'Коннор сунул папиросу в рот и начал шарить по карманам. Он извлек пачку тоненьких карточек.

— Я вам дам спичку, — сказал старик.

— Не трудитесь, все в порядке, — сказал мистер О'Коннор.

Он достал одну карточку и прочел:

«Муниципальные выборы.

¹ 6 октября, годовщина смерти Чарльза Стюарта Парнелла. Странники Парнелла, оставшиеся верными его памяти, в этот день носили в петлице листок плюща. Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии.

Район Королевской биржи.

Мистер Ричард Дж. Тирни, П. С. Б.,¹ покорнейше просит Вас предоставить ему Ваш голос и Ваше содействие на предстоящих выборах в районе Королевской биржи»².

Мистер О'Коннор был нанят агентом мистера Тирни для обхода избирателей в одном из участков квартала, но погода была ненастная, ботинки у него промокали, и потому он просиживал большую часть дня у камина в штабе комитета на Уиклоу-Стрит вместе со старым Джеком, который сторожил помещение. Они сидели здесь с тех пор, как начало смеркаться. Было 6 октября, холодный сумрачный день.

Мистер О'Коннор оторвал полоску от карточки, зажег и прикурил от нее. Пламя осветило темный и глянцевиый листок плюща у него в петлице. Старик внимательно посмотрел на него, потом снова взял картон и принялся медленно раздувать огонь, его собеседник курил.

— Да, да,— сказал он, продолжая разговор,— почему знать, как нужно воспитывать детей. Кто бы мог подумать, что он пойдет по этой дорожке. Я его отдал в школу Христианских братьев, делал для него что мог, а он вот пьянствует. Пробовал я его в люди вывести.

Он медленно поставил картон на место.

— Состарился я теперь, а то бы я ему показал. Взял бы палку да и лупил бы, покуда сил хватит — как прежде бывало. Мать, знаете ли, она его избаловала — то да се...

— Вот это и губит детей,— сказал мистер О'Коннор.

— Оно самое,— сказал старик.— И хоть бы благодарны вам были, а то — одни дерзости. Как увидит, что я выпил рюмочку, знай начинает мной командовать. Чего ждать, когда сыновья так обращаются с отцами.

¹ Попечитель совета бедных. В соответствии с Законом о бедных, который действовал с 1834 по 1948 год, были учреждены рабочие дома с жестким режимом, куда помещались бедняки, обращавшиеся за помощью. Закон на местах осуществляли попечители, пользовавшиеся чаще всего дурной славой среди бедных.

² Королевская биржа расположена около Замка, который, в свою очередь, находится в самом центре Дублина, на правом берегу Лиффи, и является административным центром Ирландии. Это резиденция лорд-наместника, назначаемого английским правительством.

— Сколько ему лет? — спросил мистер О'Коннор.

— Девятнадцать, — ответил старик.

— Почему вы не пристроите его к делу?

— Как же, чего только я не придумывал для этого забулдыги с тех пор, как он кончил школу. «Я тебя кормить не стану, — говорю я. — Ищи себе место». А когда найдет место, еще того хуже — все пропивает.

Мистер О'Коннор сочувственно покачал головой, старик замолчал, глядя на огонь. Кто-то открыл дверь в комнату и крикнул:

— Эй! Что тут у вас, масонское собрание, что ли?

— Кто там? — спросил старик.

— Что вы тут делаете в темноте? — спросил чей-то голос.

— Это вы, Хайнс? — спросил мистер О'Коннор.

— Да. Что вы тут делаете в темноте? — сказал мистер Хайнс, вступая в полосу света.

Это был высокий, стройный молодой человек со светло-каштановыми усиками. Капельки дождя дрожали на полях его шляпы, воротник пальто был поднят.

— Ну, Мэт, — сказал он мистеру О'Коннору, — как дела?

Мистер О'Коннор покачал головой. Старик отошел от камина и, спотыкаясь в темноте, разыскал два подсвечника, сунул их один за другим в огонь, потом поставил на стол. Оголенные стены комнаты выступили на свет, и огонь утратил свой веселый блеск. На стене проступило обращение к избирателям. Посредине стоял маленький стол, заваленный бумагами. Мистер Хайнс прислонился к камину и спросил:

— Он вам еще не заплатил?

— Еще нет, — сказал мистер О'Коннор. — Будем надеяться, что не подведет нас.

Мистер Хайнс засмеялся.

— О, этот заплатит. Бояться нечего, — сказал он.

— Надеюсь, поторопится, если он и вправду деловой человек, — сказал мистер О'Коннор.

— А вы как думаете, Джек? — с усмешкой обратился мистер Хайнс к старику.

Старик вернулся на свое место перед камином и сказал:

— Деньги-то у него есть. Он ведь не то что тот, другой бездельник.

— Какой это другой? — спросил мистер Хайнс.

— Колген,— ответил старик презрительно.

— Вы так говорите потому, что Колген — рабочий? Чем же это трактирщик лучше честного каменщика? Разве рабочий не имеет права быть выбранным в муниципальный совет, как всякий другой,— да у него даже больше прав, чем у этих выскочек, которые рады шею гнуть перед любой шишкой. Разве не правда, Мэт? — сказал мистер Хайнс, обращаясь к мистеру О'Коннору.

— По-моему, вы правы,— сказал мистер О'Коннор.

— Простой рабочий — он без всяких хитростей. И в муниципалитете он будет представлять рабочий класс. А этот, к которому вы нанялись, только и хочет, что за-получить себе теплое местечко.

— Само собой, рабочий класс должен иметь своего представителя,— сказал старик.

— Рабочему гроша ломаного не перепадет,— сказал мистер Хайнс,— одни щелчки достаются. А труд-то — ведь это главное. Рабочий не ищет теплых местечек своим сынкам, племянничкам да братцам. Рабочий не станет втаптывать в грязь славное имя Дублина в угоду королю немцу¹.

— Как это? — спросил старик.

— Разве вы не знаете, что они хотят поднести приветственный адрес этому королю Эдуарду, если он придет в будущем году? С какой стати мы будем пресмыкаться перед королем-иностранцем?

— Наш не станет голосовать за адрес,— сказал мистер О'Коннор.— Он проходит по националистскому списку².

— Не станет? — сказал мистер Хайнс.— Поживем — увидим. Знаю я его. Недаром он Проныра Тирни.

— Черт возьми, может, вы и правы, Джо,— сказал мистер О'Коннор.— А все-таки хотел бы я получить свои денежки.

¹ Эдуард VII (1841—1910), английский король с 1901 г., из Саксен-Кобург-Готской династии. Как и его родители, королева Виктория и принц Альберт, Эдуард поддерживал весьма тесные контакты с Германией. В 1902 г. король отложил свою поездку в Ирландию, поскольку в стране царили неблагоприятные антимонархические настроения. Поездка состоялась в 1903 г. Ирландские националисты добились отмены вручения традиционного адреса королю.

² Подразумевается, что Тирни — член ирландской парламентской партии (партии гомрулеров), в которой после отставки Парнелла в 1890 г. произошел раскол.

Все трое замолчали. Старик опять начал сгребать золу. Мистер Хайнс снял шляпу, стряхнул ее и опустил воротник пальто; все увидели листок плюща у него в петлице.

— Если б он был жив¹,— сказал он, показывая на листок,— кто бы говорил о приветственных адресах.

— Верно,— сказал мистер О'Коннор.

— Что там! Было времечко, благослови его бог,— сказал старик.

В комнате опять стало тихо. В дверь протиснулся суетливый человек— у него текло из носа и замерзли уши. Он быстро подошел к камину, так энергично потирая руки, словно хотел высечь искру.

— Денег нет, ребята,— сказал он.

— Садитесь сюда, мистер Хенчи,— сказал старик, предлагая ему свой стул.

— Не беспокойтесь, Джек, не беспокойтесь,— сказал мистер Хенчи.

Он кивком поздоровался с мистером Хайнсом и сел на стул, освобожденный для него стариком.

— Вы обошли Оджиер-Стрит? — спросил он мистера О'Коннора.

— Да,— сказал мистер О'Коннор, начиная шарить по карманам в поисках записной книжки.

— Заходили к Граймсу?

— Заходил.

— Ну и что он?

— Ничего не обещает. Говорит: «Я никому не скажу, за кого собираюсь голосовать». Но думаю, с ним все будет в порядке.

— Почему это?

— Он спросил меня, кто поддерживает кандидатуру. Я назвал отца Бэрка. Думаю, все будет в порядке.

Мистер Хенчи начал опять шмыгать носом, с ужающей быстротой потирая руки перед огнем. Потом он сказал:

— Ради Бога, Джек, принесите угля. Там ведь еще есть.

Старик вышел из комнаты.

— Плохи дела,— сказал мистер Хенчи, качая головой.— Я спрашивал этого паршивца, а он говорит: «Ну, мистер Хенчи, когда я увижу, что работа идет как сле-

¹ Имеется в виду Парнелл.

дует, я вас не забуду, будьте уверены». Паршивец этакий! Впрочем, чего от него ждать?

— Что я вам говорил, Мэт? — сказал мистер Хайнс. — Проныра Тирни.

— Еще какой проныра! — сказал мистер Хенчи.

— Недаром у него такие свиные глазки. Черт бы его побрал! Неужели он не может вести себя по-людски и заплатить без этих разговоров: «Видите ли, мистер Хенчи, сначала мне нужно переговорить с мистером Фэннингом... У меня и так ушло много денег». Щенок паршивый! Забыл, должно быть, то время, когда папаша его торговал старьем на Мэри-Лейн.

— А это верно? — спросил О'Коннор.

— Господи, еще бы, — сказал мистер Хенчи. — Неужели вы никогда не слыхали? Туда, к этому аристократу, заходили по утрам в воскресенье, будто бы купить жилетку или брюки. А пронырливый папаша Пронеры Тирни всегда держал где-нибудь в углу черную бутылочку. Понимаете, в чем дело? Вот в этом самом. Там-то наш голубчик и появился на свет.

Старик принес немного угля и подбросил в огонь.

— Хорошенькое положеньеице, нечего сказать, — заметил мистер О'Коннор. — Если он не раскошелится, пусть и не мечтает, что мы станем на него работать.

— Что же я-то могу поделывать, — сказал мистер Хенчи. — У меня самого, того и гляди, все пожитки опишут.

Мистер Хайнс засмеялся и, оттолкнувшись плечами от камина, собрался уходить.

— Все уладится, когда приедет король Эдди, — сказал он. — Ну, я уйду, ребята. Увидимся еще. Прощайте.

Он медленно вышел из комнаты. Ни мистер Хенчи, ни старик ничего не сказали, но, когда дверь за ним уже закрывалась, мистер О'Коннор, угрюмо смотревший в огонь, вдруг произнес:

— Прощай, Джо.

Мистер Хенчи подождал несколько минут, потом кивнул в сторону двери.

— Скажите мне, — спросил он, сидя по другую сторону камина, — а что привело сюда нашего приятеля? Что ему понадобилось?

— Эх, бедняга Джо! — сказал мистер О'Коннор, бросая окурок в огонь. — Сидит без гроша, как и мы с вами.

: Мистер Хенчи сильно шмыгнул носом и с таким смаком плюнул в камин, что почти загасил огонь, который протестующе зашипел.

— Если вы хотите знать мое личное искреннее мнение,— сказал он,— он человек из другого лагеря. Это шпион Колгена, вот что я вам скажу. Мол, пойдите и разнюхайте, что у них делается. Вас они подозревать не будут. Так-то, раскусили?

— Ну, бедняга Джо порядочный малый.

— Отец его был человек честный и порядочный,— согласился мистер Хенчи.— Бедный Лэрри Хайнс! Он многим помог в свое время. А все-таки я опасаюсь, что наш общий приятель не больно честен. Понимаю, что без гроша нелегко, а вот шпионить — убей меня бог, этого я не понимаю. Неужели и капли самолюбия в нем не осталось?

— Не очень-то он мне нравится,— сказал старик.— Пусть работает на своих, а тут нечего вынюхивать.

— Не знаю,— сказал мистер О'Коннор с сомнением, доставая курительную бумагу и табак.— По-моему, Джо Хайнс — человек честный. Он и пером ловко орудует. Помните вы ту штуку, что он написал?

— Люди с гор и все эти фении¹ больно уж ловки, скажу я вам,— заметил мистер Хенчи.— Хотите вы знать мое личное и искреннее мнение об этих шутах гороховых? Я думаю, добрая половина их состоит на жалованье у Замка².

— Ну, кто его знает,— сказал старик.

— Я-то знаю,— сказал мистер Хенчи.— Они на побегушках у властей. Я не про Хайнса говорю... Нет, черт возьми, я считаю, что он не таков... Но есть один джентльмен с кривым глазом — понимаете, на какого патриота я намекаю?

Мистер О'Коннор кивнул.

¹ Ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы второй половины XIX — начала XX века, члены тайных заговорщических организаций «Ирландские революционные братства». Боролись, прибегая к террористическим актам, за независимость Ирландии. Название происходит от смешения Fene (ст.-гэльск.) — название обитателей древней Ирландии и Fiappa (гэльск.) — легендарные воины, защитники страны во времена короля Финна Мак Кула (III в.). Иногда фениев называли «людьми с гор» — по месту, где они скрывались.

² Подразумевается работа на английские власти.

— Близкий родственник майора Сера!¹ Стопроцентный патриот! Этот вам продаст родину за четыре пенса да еще будет на коленях Бога благодарить за то, что есть что продавать.

В дверь постучались.

— Войдите! — сказал мистер Хенчи.

В дверях показался человек, похожий на бедного священника или бедного актера. Наглухо застегнутый черный сюртук плотно обтягивал его короткое туловище, и трудно было разобрать, какой на нем надет воротничок — духовного или светского покроя, потому что воротник потертого сюртука, в облезших пуговицах которого отражалось пламя свечи, был высоко поднят. На нем была круглая шляпа из жесткого черного фетра. Его лицо, блестящее от дождя, напоминало желтый сыр со слезой, и только на скулах проступали два розовых пятна. Он неожиданно раскрыл огромный рот, как будто хотел выразить разочарование, но в широко распахнутых очень живых синих глазах одновременно отразились удовольствие и удивление.

— А, отец Кион! — сказал мистер Хенчи, вскакивая со стула. — Это вы? Входите же!

— Нет, нет, нет! — быстро заговорил отец Кион, сложив губы трубочкой, и казалось, что он обращается к ребенку.

— Войдите же, присядьте!

— Нет, нет, нет, — сказал отец Кион тихим, ласковым, бархатным голосом. — Не стану вам мешать! Я хотел только взглянуть, нет ли тут мистера Фэннинга.

— Он рядом, в «Черном Орле», — сказал мистер Хенчи. — Может, все-таки зайдете и присядете на минутку?

— Нет, нет, благодарю вас. У меня к нему небольшое дельце, — сказал отец Кион. — Благодарю вас, не стоит.

Он попятился, и мистер Хенчи, взяв один из подсвечников, подошел к дверям, чтобы посветить ему на лестнице.

¹ Генри Чарльз Сер (1764—1841), мэр Дублина в 1798 г., служил англичанам, принимал активное участие в подавлении восстания 1798 г., организованного обществом «Объединенные ирландцы», которое было ответом на колониальную политику Англии. Прославился своей жестокостью и неразборчивостью в средствах.

- Не беспокойтесь, пожалуйста!
- Что вы, на лестнице так темно.
- Что вы, что вы, я вижу... Благодарю.
- Теперь дойдете?
- Да, дойду... Благодарю вас.

Мистер Хенчи вернулся с подсвечником и поставил его на стол. Он снова уселся перед камином. Несколько секунд все молчали.

— Послушайте, Джон,— сказал мистер О'Коннор, раскуривая папиросу другой карточкой.

— Да?

— Что он, собственно, такое?

— Спросите что-нибудь полегче,— сказал мистер Хенчи.— Их с Феннингом водой не разольешь. Они часто бывают вместе у Каваны. Он действительно священник?

— Вроде бы... То, что называется «паршивая овца». У нас их, слава господу, не так много, а все-таки есть... Несчастный, в общем-то, человек.

— А на что он живет? — спросил мистер О'Коннор.

— Опять-таки загадка.

— Он в какой церкви? Что он делает?

— Он сам по себе,— сказал мистер Хенчи.— Прости меня, господи,— прибавил он,— ведь я его не узнал, думал, что это человек из бара с дюжиной портера.

— А действительно, как насчет портера? — спросил мистер О'Коннор.

— У меня тоже в горле пересохло,— сказал старик.

— Я три раза спрашивал этого мозгляка, пришлет он портер или нет,— сказал мистер Хенчи.— Сейчас я еще раз его спросил, а он стоит себе в жилетке, облокотившись на стойку, и шушукается с членом муниципалитета Каули.

— А что ж вы ему не напомнили? — сказал мистер О'Коннор.

— Так, не хотел подходить, пока он разговаривает с членом муниципалитета Каули. Подождал, пока он меня заметит, и сказал: «А как насчет того дельца, что я вам говорил?» — «Все будет в порядке, мистер Хенчи»,— сказал он. Да что там, этот мальчик с пальчик и думать о нас забыл.

— Там что-то такое затевается,— задумчиво сказал

О'Коннор.— Вчера я видел, как все трое перешептывались на углу Саффолк-Стрит.

— Кажется, я знаю, какое дельце они затеяли,— сказал мистер Хенчи.— Теперь, если хочешь стать лорд-мэром, занимай у отцов города. Тогда они тебя сделают лорд-мэром. Клянусь Богом! Я и сам подумываю, не сделаться ли мне отцом города. Как, по-вашему? Гожусь я?

Мистер О'Коннор засмеялся.

— Если все дело в том, чтобы быть в долгу...

— Буду выезжать из Замка, весь в горностае да в г... — сказал мистер Хенчи,— и наш Джек на запятках, в напудренном парике. Каково?

— А меня назначьте личным секретарем, Джон.

— Само собой. А отца Киона — личным духовником. Устроимся по-семейному.

— Право, мистер Хенчи,— ^эсказал старик,— уж вы не стали бы так жаться, как другие прочие. На днях я разговорился с привратником, стариком Кигэном. «Как тебе нравится новый хозяин, Пэт? — говорю я ему.— У вас, как видно, не очень-то весело», — говорю. «Весело,— говорит он.— Обедаем в приглядку». И знаете, что он мне еще сказал? Я ему не поверил.

— Что? — спросили мистер Хенчи и мистер О'Коннор.

— Он мне сказал: «Как тебе понравится лорд-мэр города Дублина, который посылает в лавку за фунтом мяса. Вот тебе и жизнь на широкую ногу!» — говорит он. «Да брось ты!» — говорю я. «Фунт мяса для лорд-мэра!» — говорит он. «Да брось ты! — говорю я.— И что за народ пошел нынче?»

В эту минуту кто-то постучал, и в дверь просунулась голова мальчика.

— Что там? — спросил старик.

— Из «Черного Орла», — ответил мальчик, протикиваясь боком, и поставил на пол корзину, звякнув бутылками.

Старик помог рассыльному вынуть бутылки из корзины на стол и пересчитать их. Затем мальчик подхватил корзину и спросил:

— А бутылки, сэр?

— Какие бутылки? — сказал старик.

— Сначала нужно их выпить,— сказал мистер Хенчи.

— Мне велели спросить бутылки.

— Приходи завтра,— сказал старик.

— Слушай, мальчик! — сказал мистер Хенчи.— Сбегай к О'Фэррелу и попроси одолжить нам штопор — так и скажи: для мистера Хенчи. Скажи, что мы сейчас же вернем. Корзину оставь здесь.

Мальчик ушел, и мистер Хенчи начал радостно потирать руки, приговаривая:

— Ну, ну, он не так уж плох. Слово-то свое держит.

— Стаканов нет,— сказал старик.

— Не беда, Джек,— сказал мистер Хенчи.— И до нас порядочные люди пивали из бутылок.

— Все-таки лучше, чем ничего,— сказал мистер О'Коннор.

— Он-то человек неплохой,— сказал мистер Хенчи,— только Феннинг больше уж им помыкает.

Мальчик вернулся со штопором. Старик откупорил три бутылки и отдал ему штопор, а мистер Хенчи сказал мальчику:

— Хочешь выпить, мальчик?

— Да, сэр, если можно,— сказал мальчик.

Старик неохотно откупорил еще одну бутылку и передал ее мальчику.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать,— сказал мальчик.

Старик промолчал, и мальчик взял бутылку, сказав: «Мое почтение, мистер Хенчи», выпил портер, поставил бутылку обратно на стол и обтер губы рукавом. Потом он взял штопор и боком протиснулся в дверь, бормоча что-то на прощанье.

— Вот с этого и начинают,— сказал старик.

— Лиха беда начало,— сказал мистер Хенчи.

Старик роздал те три бутылки, которые откупорил, и все трое начали пить. Отпив глоток, они поставили свои бутылки поближе на камин и удовлетворенно вздохнули.

— Сегодня я здорово поработал,— сказал мистер Хенчи, помолчав немного.

— Вот как, Джон?

— Да. Я ему завербовал парочку голосов на Даусон-Стрит, вместе с Крофтоном. Между нами говоря, Кроф-

тон, конечно, человек хороший, но для предвыборной кампании не годится. Молчит как рыба. Стоит и глязет, а я за него отдувайся.

Тут в комнату вошли двое. Один из них был так толст, что синий шевиотовый костюм трещал по швам на его расплывшейся фигуре. У него было большое бычье лицо, голубые глаза навывкате и седеющие усы. У другого мужчины, гораздо моложе и тоньше, было худое, чисто выбритое лицо. На нем был сюртук с очень высоким отложным воротничком и котелок с широкими полями.

— Хэлло, а вот и Крофтон,— сказал мистер Хенчи толстяку.— Легок на помине...

— Откуда выпивка? — спросил молодой человек.— Неужели наш расщедрился?

— Ну конечно! Лайонс первым долгом почуял выпивку! — сказал со смехом мистер О'Коннор.

— Так-то вы обходите избирателей? — сказал мистер Лайонс.— А мы-то с Крофтоном бегаем за голосами по холоду, под дождем!

— Ах, чтоб вас! — сказал мистер Хенчи.— Да я в пять минут соберу больше голосов, чем вы вдвоем за неделю.

— Откупорь две бутылки портера, Джек,— сказал мистер О'Коннор.

— Как же я откупорю,— сказал старик,— когда штопора нет?

— Стойте, стойте! — крикнул мистер Хенчи, вскакивая с места.— Видали вы такой фокус?

Он взял две бутылки со стола и поставил на каминную решетку. Потом снова сел перед камином и отпил глоток из своей бутылки. Мистер Лайонс сел на край стола, сдвинул шляпу на затылок и начал болтать ногами.

— Которая бутылка моя? — спросил он.

— Вот эта, старина,— сказал мистер Хенчи.

Мистер Крофтон, усевшись на ящик, не сводил глаз со второй бутылки на решетке. Он молчал по двум причинам. Первая причина, сама по себе достаточно веская, была та, что ему нечего было сказать; вторая причина была та, что он считал своих собеседников ниже себя. Раньше он собирал голоса для Уилкинса, но, когда

консерваторы сняли своего кандидата и, выбирая меньшее из двух зол, отдали свои голоса кандидату националистов¹, его пригласили работать для мистера Тирни.

Через несколько минут послышалось робкое «пок» — из бутылки мистера Лайонса вылетела пробка. Мистер Лайонс соскочил со стола, подошел к камину, взял бутылку и вернулся к столу.

— Я как раз говорил, Крофтон,— сказал мистер Хенчи,— что мы с вами сегодня собрали порядочно голосов.

— Кого вы завербовали? — спросил мистер Лайонс.

— Ну, во-первых, я завербовал Паркса, во-вторых, я завербовал Аткинсона, и я завербовал еще Уорда с Даусон-Стрит. Замечательный старик, настоящий джентльмен, старый консерватор. «Да ведь ваш кандидат — националист», — говорит он. «Он уважаемый человек, — говорю я. — Стоит за все, что может быть полезно нашей стране. Налоги большие платит, — говорю я. — У него дома, в центре города, три конторы, и в его интересах, чтобы налоги понизились. Это видный и всеми уважаемый гражданин, — говорю я, — попечитель совета бедных, не принадлежит ни к какой партии — ни к хорошей, ни к дурной, ни к посредственной». Вот как с ними надо разговаривать.

— А как насчет адреса королю? — сказал мистер Лайонс, выпив портер и причмокнув губами.

— Вот что я вам скажу, — начал мистер Хенчи, — и это серьезно, нашей стране нужен капитал, как я уже говорил старому Уорду. Приезд короля означает приток денег в нашу страну. Гражданам Дублина это пойдет на пользу. Посмотрите на эти фабрики на набережных — они бездействуют. Подумайте, сколько денег будет в стране, если пустить в ход старую промышленность — заводы, верфи и фабрики. Капитал — вот что нам нужно.

— Однако послушайте, Джон, — сказал мистер

¹ Ирландские консерваторы находились в сговоре с английской консервативной партией. В 90-е годы XIX в. консерваторы предлагали компромиссное решение ирландского вопроса. Они поддерживали земельную реформу, но выступали за Унию с Англией 1801 года, которая окончательно ликвидировала остатки автономии страны. Также они всячески бойкотировали политику гомруля.

О'Коннор.— С какой стати мы будем приветствовать короля Англии? Ведь сам Парнелл...¹

— Парнелл умер,— сказал мистер Хенчи.— И вот вам моя точка зрения. Теперь этот малый взошел на престол, после того как старуха мать² держала его не у дел до седых волос. Он человек светский и вовсе не желает нам зла. Он хороший парень, и очень порядочный, если хотите знать мое мнение, и без всяких глупостей. Вот он и говорит себе: «Старуха никогда не заглядывала к этим дикарям ирландцам. Черт возьми, поеду сам, посмотрю, какие они!» И что же нам— оскорблять его, когда он приедет навестить нас по-дружески? Ну? Разве я не прав, Крофтон?

Мистер Крофтон кивнул.

— Вообще,— сказал мистер Лайонс, не соглашаясь,— жизнь короля Эдуарда, знаете ли, не очень-то...³

— Что прошло, то прошло,— сказал мистер Хенчи.— Лично я в восторге от этого человека. Он самый обыкновенный забулдыга, вроде нас с вами. Он и выпить не дурак, и бабник, и спортсмен хороший. Да что, в самом деле, неужели мы, ирландцы, не можем отнестись к нему по-человечески?

— Все это так,— сказал мистер Лайонс.— Но вспомните дело Парнелла.

— Ради бога,— сказал мистер Хенчи,— а в чем сходство?

— Я хочу сказать,— продолжал мистер Лайонс,— что у нас есть свои идеалы. Чего же ради мы будем приветствовать такого человека? Разве после того, что он сделал, Парнелл годился нам в вожди? С какой же стати мы будем приветствовать Эдуарда Седьмого?

— Сегодня годовщина смерти Парнелла,— сказал мистер О'Коннор.— Кто старое помянет... Теперь, когда

¹ В 1885 г. Парнелл призывал «всех независимых и патриотически настроенных граждан Ирландии» бойкотировать визит Эдуарда VII, в ту пору принца Уэльского.

² Имеется в виду королева Виктория (1815—1901; правила с 1837 г.). Значительную часть своей жизни ее сын Эдуард провел как наследник престола, «принц Уэльский»; Виктория старательно не допускала его до сколько-нибудь серьезного участия в политической жизни страны.

³ Подразумеваются многочисленные любовницы короля, судебные процессы, в которые он был втянут из-за своего сомнительного поведения.

он умер и похоронен¹, все мы его чтим, даже консерваторы,— сказал он, оборачиваясь к мистеру Крофтону.

Пок! Запоздалая пробка вылетела из бутылки мистера Крофтона. Мистер Крофтон встал с ящика и подошел к камину. Возвращаясь со своей добычей, он сказал проникновенным голосом:

— Наша партия уважает его за то, что он был джентльменом.

— Правильно, Крофтон,— горячо подхватил мистер Хенчи.— Он был единственный человек, который умел сдерживать эту свору. «Молчать, собаки! Смирно, щенки!» Вот как он с ними обращался. Входите, Джо! Входите! — воскликнул он, завидя в дверях мистера Хайнса. Мистер Хайнс медленно вошел.

— Откупорь еще бутылку, Джек,— сказал мистер Хенчи.— Да, я и забыл, что нет штопора! Подай-ка мне одну сюда, я поставлю ее к огню.

Старик подал ему еще одну бутылку, и мистер Хенчи поставил ее на решетку.

— Садись, Джо,— сказал мистер О'Коннор.— Мы здесь говорили о вожде.

— Вот-вот,— сказал мистер Хенчи.

Мистер Хайнс молча присел на край стола рядом с мистером Лайнсом.

— Есть по крайней мере один человек, кто не отступился от него,— сказал мистер Хенчи.— Ей-богу, вы молодец, Джо! Ей-ей, вы стояли за него до конца.

— Послушайте, Джо,— вдруг сказал мистер О'Коннор.— Прочтите нам эти стихи... что вы написали... помните? Вы знаете их наизусть?

— Давайте! — сказал мистер Хенчи.— Прочтите нам. Вы слышали их, Крофтон? Так послушайте. Великолечно.

— Ну, Джо,— сказал мистер О'Коннор.— Начинайте.

Казалось, что мистер Хайнс не сразу вспомнил стихи, о которых шла речь, но, подумав минутку, он сказал:

— А, эти стихи... давно это было.

— Читайте! — сказал мистер О'Коннор,

— Ш-ш! — сказал мистер Хенчи.— Начинайте, Джо.

¹ Парнелл умер в Англии, затем его тело было перевезено в Дублин.

Мистер Хайнс все еще колебался. Потом, среди общего молчания, он снял шляпу, положил ее на стол и встал. Он как будто повторял стихи про себя. После довольно продолжительной паузы он объявил:

СМЕРТЬ ПАРНЕЛЛА

6 октября 1891 года

Он откашлялся раза два и начал читать:

Он умер. Мертвый он лежит,
некоронованный король.
Рыдай над ним, родной Эрин¹,
он пал, сраженный клеветой.

Его травила свора псов,
вскормленных от его щедрот.
Ликует трус и лицемер,
гремит победу жалкий сброд.

Ты слезы льешь, родной Эрин,
и в хижинах, и во дворцах;
свои надежды схоронил
ты, схоронив великий прах.

Он возвеличил бы тебя,
взрастил героев и певцов;
он взвил бы среди чужих знамен
зеленый стяг твоих отцов.

К свободе рвался он душой,
и миг желанный близок был,
когда великого вождя
удар предательский сразил.

Будь проклят, кто его убил,
и тот, кто, в верности клянясь,
отдал его на суд попам,
елейной шайке черных ряс.

И те, кто грязью забросал
его, лишь стон последний стих;

¹ Древнее название Ирландии.

позор пожрет их имена
и память самое о них.

Ты бережно хранишь, Эрин,
героев славные сердца.
Он пал, как падает боец,
он был отважен до конца.

Не беспокоит сон его
ни шум борьбы, ни славы зов;
он спит в могильной тишине,
лежит, сокрытый от врагов.

Победа — их, он — пал в бою;
но знай, Эрин, могучий дух,
как Феникс, вспрынет из огня,
когда Заря забрезжит вдруг.

Родной Эрин свободу пьет,
и в кубке Радости хмельном
лишь капля горечи одна —
что Парнелл спит могильным сном.

Мистер Хайнс снова присел на стол. Он кончил читать, наступило молчание, потом раздались аплодисменты; хлопал даже мистер Лайонс. Аплодисменты продолжались некоторое время. Когда они утихли, слушатели молча отхлебнули из своих бутылок.

Пок! Пробка выскочила из бутылки мистера Хайнса, но мистер Хайнс, без шляпы, покрасневшийся, остался сидеть на столе. Он словно ничего не слышал.

— Молодец, Джо! — сказал мистер О'Коннор и вынул из кармана бумагу и кисет, чтобы скрыть свое волнение.

— Ну, как ваше мнение, Крофтон? — вскричал мистер Хенчи. — Ведь замечательно? А?

Мистер Крофтон сказал, что стихи замечательные,

Мать

Мистер Хулоен, помощник секретаря общества «Eige Abi»¹, чуть ли не целый месяц бегал по всему Дублину; в руках у него был ворох грязных бумажонок, такие же бумажки торчали у него из кармана: он устраивал цикл концертов. Одна нога у него была короче другой, и за это приятели прозвали его «Колченогий Хулоен». Он беспрестанно сновал взад и вперед, часами простаивал на перекрестке, со всеми обсуждал свои дела и что-то записывал, но кончилось тем, что все устроила миссис Карни.

Мисс Девлин стала госпожой Карни всем назло. Она воспитывалась в хорошем монастыре, где ее обучали французскому языку и музыке. Вялая по натуре и чопорная, она почти ни с кем не подружилась в школе. Когда пришло время выдавать ее замуж, ее стали вывозить в общество, где многие восхищались ее игрой и изысканными манерами. Она сидела, окруженная ледяной стеной своих совершенств, и дожидалась, что найдется наконец поклонник, который возьмет их приступом и предложит ей блистательную жизнь. Но те молодые люди, которых она встречала, ничем не выделялись, и она не поощряла их; а свои романтические порывы умеряла тем, что потихоньку объедалась восточными

¹ «Зрелая Ирландия» (*ирл.*), одно из обществ, организованных участниками Кельтского Возрождения. Ирония Джойса очевидна: Ирландия деятелей Возрождения никак не представлялась ему зрелой, напротив, наивно-сентиментальной. Фамилия мистера Хулоена явно перекликается с именем героя известной пьесы У. Б. Йейтса, одного из деятельных участников Ирландского Возрождения, «Кэтлин, дочь Хулиэна» (1902).

сладостями. Тем не менее, когда она засиделась в девушках и подруги начали чесать язычки на ее счет, она заткнула им рты, выйдя замуж за мистера Карни, у которого была небольшая сапожная мастерская на набережной Ормонд. Он был намного старше ее. Его речь, всегда серьезная, застревала в длинной каштановой бороде. После первого года замужества миссис Карни поняла, что такой муж — гораздо надежнее какого-нибудь романтического юноши, но с романтическими идеями все-таки не рассталась. Он был воздержан, бережлив и набожен, причащался каждую первую пятницу месяца, иногда вместе с женой, чаще — один. И все же она оставалась неизменно тверда в вере и была ему хорошей женой. Где-нибудь в гостях, в малознакомом доме, стоило ей чуть-чуть шевельнуть бровями, как он вставал и прощался, а когда его мучил кашель, она укутывала ему ноги пуховым одеялом и готовила крепкий пунш. Он, со своей стороны, был примерным отцом семейства. Выплачивая еженедельно небольшую сумму, он обеспечил обеим дочерям по сто фунтов приданого к тому времени, когда каждой из них исполнится двадцать четыре года. Старшую дочь, Кэтлин, он отдал в хороший монастырь, где ее обучили французскому языку и музыке, а потом платил за нее в Академию¹. Каждый год, в июле месяце, миссис Карни находила случай сказать какой-нибудь приятельнице: «Мой муж отправляет нас в Скерриз недели на три».

А если это был не Скерриз, то Хоут или Грейстонз².

Когда Ирландское Возрождение обрело силу, миссис Карни решила извлечь выгоду из имени своей дочери и пригласила на дом учителя ирландского языка. Кэтлин³ с сестрой посылали друзьям красочные открытки с видами Ирландии и в ответ получали от них такие же красочные открытки. В те воскресенья, когда мистер Карни ходил со своей семьей к мессе, на углу улицы после службы собиралась кучка народа. Все это были друзья семейства Карни, с которыми их связывал интерес к музыке или к Гэльскому Возрождению: когда обмен сплетнями заканчивался, все они пожимали друг

¹ Имеется в виду Королевская Академия музыки.

² Модные курортные места в Ирландии.

³ Кэтлин — излюбленное ирландское имя.

другу руки, смеясь над тем, что сразу скрещивается столько рук, и говорили друг другу «до свидания» по-гэльски. Скоро имя мисс Кэтлин Карни стали повторять все чаще и чаще. Говорили, что она прекрасная музыкантша и очень милая девушка, а сверх того — убежденная сторонница Гэльского Возрождения. Миссис Карни была очень этим довольна. И потому она несколько не удивилась, когда в один прекрасный день к ней явился мистер Хулоен и предложил ее дочери аккомпанировать на четырех больших концертах, которые Общество собиралось дать в концертном зале Энтъент. Она проводила его в гостиную, предложила сесть и подала графин с вином и серебряную корзиночку с печеньем. Она с увлечением входила во все детали этого предприятия, советовала и отговаривала; наконец был составлен контракт, согласно которому Кэтлин должна была получить восемь гиней за аккомпанирование на четырех больших концертах.

Мистер Хулоен был новичком в таком тонком деле, как составление афиши и чередование номеров программы, и поэтому миссис Карни помогала ему. Она обладала тактом. Ей было известно, каких артистов нужно печатать крупным шрифтом, а каких — мелким. Ей было известно, что первый тенор не захочет выступать после комических куплетов мистера Мида. Чтобы публика не соскучилась, она вставляла между сомнительными номерами испытанных любимцев публики. Мистер Хулоен заходил к ней каждый день посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Она неизменно принимала его дружески и покровительственно — прямо как родного. Она пододвигала к нему графин, говоря:

— Наливайте, мистер Хулоен!

А когда он брался за графин, она говорила:

— Ну же, наливайте полней!

Все шло как по маслу. Миссис Карни купила прелестный коралловый шармез у Брауна Томаса¹ для вставки к платью Кэтлин. Он обошелся ей недешево, но бывают такие случаи, когда стоит потратить лишнее. Она взяла десяток билетов по два шиллинга на последний концерт и разослала их тем из своих друзей, на присутствие которых иначе нельзя было рассчитывать. Она

¹ Фешенебельный магазин в Дублине, где продавались дорогие товары. Шармез — вид тонкой шелковой ткани.

помнила обо всем, и благодаря ей все, что следовало сделать, было сделано.

Концерты должны были состояться в среду, четверг, пятницу и субботу. Когда в среду вечером миссис Карни явилась с дочерью в концертный зал Энтъент, ей сразу что-то не понравилось. Несколько молодых людей с ярко-голубыми значками¹ в петлицах празднично стояли в вестибюле; ни на ком не было фрака. Она прошла с дочерью мимо них и, бросив быстрый взгляд в открытые двери зала, поняла, почему распорядители стоят без дела. Сначала она подумала, не ошиблась ли во времени. Нет, было без двадцати минут восемь.

В артистической позади сцены ее представили секретарю Общества, мистеру Фицпатрику. Она улыбнулась и подала ему руку. Это был маленький человечек с бледным, безразличным лицом. Она заметила, что мягкую коричневую шляпу он носит набекрень и говорит с сильным английским акцентом. Он держал в руке программу с, разговаривая с миссис Карни, изжевал ее уголок. Он, видно, легко переносил удары судьбы. Каждые пять минут в комнату входил мистер Хулоен и сообщал, как идет продажа билетов. Артисты взволнованно переговаривались между собой и, поглядывая время от времени в зеркало, свертывали и разворачивали ноты. Было уже около половины девятого, когда немногочисленные зрители в зале начали выражать свое нетерпение. Вошел мистер Фицпатрик, безразлично улыбнулся присутствующим и сказал:

— Ну, что же, леди и джентльмены! Я полагаю, пора открывать бал.

Миссис Карни одарила его быстрым и презрительным взглядом, затем сказала дочери ободряющим тоном:

— Ты готова, милочка?

Улучив минуту, она отозвала мистера Хулоена в сторону и спросила его, что все это значит. Мистер Хулоен не знал, что все это значит. Он сказал ей, что комитет сделал ошибку, решив устроить четыре концерта,— четыре слишком много.

— А эти артисты! — сказала миссис Карни. — Конеч-

¹ Такие значки носили члены Гэльской спортивной лиги. Развитие спорта, особенно его национальных видов, также было одним из пунктов программы Возрождения.

но, они из кожи лезут вон, но, право же, все они никуда не годятся.

Мистер Хулоен согласился, что артисты никуда не годятся: комитет, по его словам, решил махнуть рукой на первые три концерта и приберечь все таланты к субботе. Миссис Карни промолчала, но по мере того, как посредственные исполнители на сцене сменяли один другого, а публика в зале все редела и редела, она начала жалеть, что потратилась ради такого концерта. Что-то во всем этом ей не нравилось, а безразличная улыбка мистера Фицпатрика ужасно ее раздражала. Однако она молчала и ждала, чем все кончится. К десяти часам программа истощилась, и все быстро разошлись по домам.

В четверг на концерте было больше народа, но миссис Карни сразу увидела, что в зале сидят одни контрамарочники. Публика вела себя бесцеремонно, словно не на концерте, а на генеральной репетиции. Мистер Фицпатрик, по-видимому, был очень доволен, он вовсе не замечал того, что миссис Карни следит за его поведением и сердится. Он стоял у бокового софита, по временам высовывая голову, и пересмеивался с двумя приятелями, сидевшими с краю на галерке. К концу вечера миссис Карни узнала, что в пятницу концерт не состоится и что комитет решил сделать невозможное, но добиться полных сборов в субботу вечером. Услышав это, миссис Карни разыскала мистера Хулоена. Она перехватила его по дороге, когда он, хромя и спеша, нес стакан лимонада какой-то молодой особе, и спросила его, правда ли это. Да, это была правда.

— Но ведь это, разумеется, не меняет контракта. Контракт был заключен на четыре концерта.

Мистер Хулоен торопился; он посоветовал ей поговорить с мистером Фицпатриком. Миссис Карни начала беспокоиться. Она вызвала мистера Фицпатрика из-за софита и сказала ему, что дочь ее подписала контракт на четыре концерта и что, само собой разумеется, она должна получить предусмотренную контрактом сумму независимо от того, даст общество четыре концерта или меньше. Мистер Фицпатрик, который сразу не понял, в чем дело, как видно, затруднялся разрешить этот вопрос и сказал, что поставит его перед комитетом. От гнева кровь бросилась ей в лицо, и она едва сдержива-

лась, чтобы не съязвить: «А кто это «Комитет», скажите, пожалуйста?»

Но она чувствовала, что это было бы недостойно воспитанной женщины, и промолчала.

В пятницу с раннего утра по улицам Дублина разослали мальчишек с пачками афиш. Специальное объявление появилось во всех вечерних газетах, напоминая меломанам о празднике, который ожидал их завтра вечером. Миссис Карни несколько успокоилась, но все же сочла нужным поделиться своими опасениями с мужем. Он внимательно выслушал ее и сказал, что, пожалуй, будет лучше, если в субботу он пойдет вместе с ней. Она согласилась. Миссис Карни уважала мужа так же, как уважала Главный почтамт — как нечто большое, основательное и надежное; и хотя знала, что таланты его немногочисленны, ценила в нем абстрактное достоинство мужчины. Она была рада, что он предложил себя в спутники. Она снова обдумала свой план.

Наступил вечер большого концерта. Миссис Карни вместе с мужем и дочерью явилась в концертный зал Энтвент за три четверти часа до начала. К несчастью, вечер был дождливый. Миссис Карни отдала накидку и ноты дочери на сохранение мужу и обошла все здание, разыскивая мистера Хулоена или мистера Фицпатрика. Она не могла найти ни того, ни другого. Она спрашивала распорядителей, есть ли тут кто-нибудь из членов комитета, и наконец после больших трудов один из них разыскал маленькую женщину по имени мисс Бейрн, которой миссис Карни объяснила, что ей нужен кто-нибудь из секретарей. Мисс Бейрн ожидала их с минуты на минуту и спросила, не может ли она быть чем-нибудь полезна. Миссис Карни испытующе посмотрела на староеобразное лицо, в котором застыло выражение восторга и доверчивости, и ответила:

— Нет, благодарю вас!

Маленькая женщина выразила надежду, что зал сегодня будет полон. Она смотрела на дождь до тех пор, пока унылый вид мокрой улицы не стер восторг и доверие с ее морщинистого лица. Тогда она сказала с легким вздохом:

— Ну что ж! Видит бог, мы сделали все что могли!

Миссис Карни пришлось вернуться в артистическую. Артисты съезжались. Бас и второй тенор уже приехали. Бас, мистер Дагген, был стройный молодой человек

с торчащими черными усиками. Он был сыном швейцара в какой-то из контор города и еще в детстве оглашал огромный вестибюль конторы своим зычным голосом. Из этого скромного положения он выбился своими силами и в конце концов стал первоклассным артистом. Он выступал и в опере. Как-то раз, когда заболел один из оперных артистов, он исполнял партию короля в опере «Маритана»¹ в Театре королевы². Он спел свою партию с большим чувством и силой и был очень тепло принят галеркой; к несчастью, он испортил хорошее впечатление тем, что по забывчивости высморкался раза два в лайковую перчатку. Он был непритязателен и говорил мало. Он говорил «дык» (вместо «так») до такой степени мягко, что это проходило незамеченным, и, заботясь о своем голосе, никогда не пил ничего крепче молока. Мистер Белл, второй тенор, был белокурый человек, ежегодно участвовавший в «Feis Ceoil»³. На четвертом конкурсе ему была присуждена бронзовая медаль. Он был болезненно истеричен и болезненно завидовал другим тенорам, прикрывая свою истерическую зависть бурными изъявлениями дружбы. Его слабостью было рассказывать всем, какая пытка для него выступать в концертах. Поэтому, увидев мистера Даггена, он подошел к нему и спросил:

— Вы тоже участвуете?

— Да,— сказал мистер Дагген.

Мистер Белл улыбнулся своему товарищу по несчастью и, протянув руку, сказал:

— Сочувствую!

Миссис Карни прошла мимо этих двух молодых людей и подошла к софиту, оглядывая зал. Места быстро заполнялись, и в зале стоял приятный шум. Она вернулась в артистическую и переговорила по секрету с мужем. Говорили они, по-видимому, о Кэтлин, потому что оба то и дело поглядывали на нее, а она стояла и разго-

¹ Опера ирландского композитора Уильяма Винсента Уоллеса (1814—1865) на либретто Эдуарда Фицболла.

² Один из трех крупных театров в Дублине в начале XX в. В отличие от Королевского театра и Варьете не имел постоянного репертуара.

³ Праздник (*ирл.*). Здесь: название ежегодного музыкального дублинского конкурса, учрежденного в 1897 г. с целью способствовать развитию национальной ирландской музыки.

варивала с одной из своих приятельниц, мисс Хили, контраalto.

Никому не знакомая дама с бледным лицом вошла в комнату. Женщины зорко оглядели линиярое голубое платье, обтягивавшее ее костлявую фигуру. Кто-то сказал, что это мадам Глинн, сопрано.

— Удивительно, где они ее откопали,— сказала Кэтлин, обратившись к мисс Хили.— Я никогда о ней не слышала.

Мисс Хили пришлось улыбнуться.

В эту минуту в комнату, прихрамывая, вошел мистер Хулоен, и обе девушки спросили у него, кто эта незнакомая дама. Мистер Хулоен сказал, что это мадам Глинн из Лондона. Со своего наблюдательного поста в углу комнаты мадам Глинн, которая так крепко держала свернутые ноты, точно боялась с ними расстаться, удивленно оглядывала присутствующих. Тень скрыла ее линиярое платье, но как бы в отместку подчеркнула маленькую впадину над ключицей. Шум в зале становился слышной. Первый тенор и баритон приехали вместе. Оба они были хорошо одеты, упитанные, благодушные и внесли с собой какую-то атмосферу довольства. Миссис Карни подвела к ним свою дочь и любезно с ними заговорила. Ей хотелось быть с ними на дружеской ноге, но, стараясь быть любезной, она в то же время следила за хромым мистером Хулоеном, который так и норовил скрыться из виду. Как только представился случай, она извинилась и вышла вслед за ним.

— Мистер Хулоен, нельзя ли вас на минутку,— сказала она.

Они отошли в самый дальний конец коридора. Миссис Карни спросила, когда же заплатят ее дочери. Мистер Хулоен сказал, что это дело мистера Фицпатрика. Миссис Карни сказала, что она знать не знает мистера Фицпатрика. Ее дочь подписала контракт на восемь гиней, и ей должны заплатить. Мистер Хулоен сказал, что это не его дело.

— То есть как не ваше? — спросила миссис Карни.— Ведь вы сами принесли ей контракт? Во всяком случае, если это не ваше дело, то оно мое, и я намерена о нем позаботиться.

— Вам лучше переговорить с мистером Фицпатриком,— сказал мистер Хулоен рассеянно.

— Я знать не знаю вашего мистера Фицпатрика,—

повторила миссис Кари. — У меня есть контракт, и я намерена позаботиться о том, чтобы он был выполнен.

Она вернулась в артистическую, щеки ее слегка покраснели. В комнате было оживленно. Двое мужчин в пальто завладели уголком у камина и фамильярно болтали с мисс Хили и баритоном. Это были репортер от «Фримен» и мистер О'Мэдден Бэрк. Репортер зашел сказать, что не может дожидаться концерта: ему нужно писать заметку о лекции, которую читает в Замке американский пастор. Он сказал, чтобы заметку о концерте занесли в редакцию, а он уж позаботится, чтобы ее напечатали. Это был седовласый джентльмен с благозвучным голосом и осторожными манерами. Он держал в руке потухшую сигару, и аромат сигарного дыма плавал вокруг него. Он не собирался здесь задерживаться, потому что концерты и исполнители давно ему наскучили, однако остался и стоял, облокотившись на каминную доску. Перед ним стояла мисс Хили, разговаривая и смеясь. Он был достаточно стар, чтобы угадать единственную причину ее любезности, но достаточно молод духом, чтобы не упустить момент. Ему были приятны теплота, благоухание и цвет ее кожи. Он с удовольствием сознавал, что грудь, которая медленно поднимается и опускается перед его глазами, поднимается и опускается в эту минуту ради него, что смех, благоухание и кокетливые взгляды — дань ему. Когда оставаться дольше было нельзя, он с сожалением простился с ней.

— О'Мэдден Бэрк напишет заметку, — объяснил он мистери Хулоену, — а я ее напечатаю.

— Благодарю вас, мистер Хендрик, — сказал Хулоен. — Я знаю, вы ее напечатаете. Не хотите ли чего-нибудь выпить на дорогу?

— Не откажусь, — сказал мистер Хендрик.

Они вдвоем прошли по извилистым коридорам, поднялись по темной лестнице и вошли в укромную комнату, где один из распорядителей уже откупоривал бутылки для нескольких джентльменов. Один из них был мистер О'Мэдден Бэрк, которого привело сюда чутье. Это был вкрадчивый пожилой джентльмен, он опирался задом на большой шелковый зонтик и раскачивался. Его звучная ирландская фамилия была тоже зонтиком, в тени которого пышно расцветали его финансовые махинации. Он пользовался всеобщим уважением.

Пока мистер Хулоен беседовал с репортером, миссис

Карни настолько оживленно беседовала с мужем, что он был принужден попросить ее понизить голос. Разговор всех остальных в артистической сделался напряженным. Мистер Белл, первый номер программы, стоял наготове, держа ноты в руках, но аккомпаниаторша не двигалась с места. По-видимому, что-то было неладно. Мистер Карни смотрел прямо перед собой, поглаживая бороду, а миссис Карни говорила что-то на ухо Кэтлин, сдержанно и значительно. Из залы доносился шум нетерпения, хлопки и топанье. Первый тенор, баритон и мисс Хили стояли все вместе, спокойно выжидая, но мистер Белл очень волновался, боясь, как бы публика не подумала, что опаздывают из-за него.

Мистер Хулоен и мистер О'Мэдден Бэрк вошли в комнату. Мистер Хулоен сразу понял причину молчания. Он подошел к миссис Карни и серьезным тоном заговорил с ней. Они говорили, а шум в зале становился все сильнее. Мистер Хулоен очень покраснел и взволновался. Он говорил быстро, а миссис Карни коротко вставляла время от времени:

— Она не выйдет. Сначала заплатите восемь гиней.

Мистер Хулоен в отчаянии указал на дверь, за которой шумела и топала публика. Он обращался к мистеру Карни и Кэтлин. Но мистер Карни все гладил свою бороду, а Кэтлин глядела в землю, шевеля носком новой туфли: это была не ее вина. Миссис Карни повторила:

— Без денег она и шагу не ступит.

После быстрой словесной перепалки мистер Хулоен заковылял к дверям. Когда напряженное молчание начало становиться тягостным, мисс Хили сказала баритону:

— Видели вы миссис Кэт Кэмпбел¹ на этой неделе?

Баритон ее не видел, но ему передавали, что она прекрасно выглядит. Разговор оборвался. Первый тенор, склонив голову, начал пересчитывать звенья золотой цепочки, протянувшейся поперек его живота, пробуя голос и беря наудачу то одну, то другую ноту. Время от времени все смотрели на миссис Карни.

Шум в зале перешел в рев, когда мистер Фицпатрик ворвался в комнату; следом за ним вбежал, задыхаясь,

¹ Имеется в виду Патрик Кэмпбел, известная английская актриса, знакомая Б. Шоу. Много гастролировала в разных странах.

мистер Хулоен. Хлопки и топанье в зале перемежались свистом. Мистер Фицпатрик держал в руке несколько кредитных билетов. Он отсчитал четыре из них в руку миссис Карни и сказал, что другую половину она получит в антракте.

Миссис Карни сказала:

— Четырех шиллингов не хватает.

Но Кэтлин уже подобрала юбку и сказала: «Ну, мистер Белл» первому номеру программы, который дрожал как осиновый лист. Певец и аккомпаниаторша вышли вместе. Шум в зале замер. Наступила пауза в несколько секунд, затем послышался рояль.

Первое отделение программы сошло благополучно, кроме номера мадам Глинн. Бедняга спела «Килларни»¹ беззвучным, прерывающимся голосом, со всеми старомодными ужимками, интонациями и произношением, которые, как ей казалось, придавали пению изысканность. Она выглядела так, будто ее взяли напрокат из старой костюмерной, и публика на дешевых местах потешалась над ее пронзительным завыванием. Однако первый тенор и контральто сумели завоевать симпатию публики. Кэтлин сыграла попури из ирландских песен и заслужила аплодисменты. Первое отделение закончилось пламенными патриотическими стихами, которые продекламировала молодая особа, устроительница любительских спектаклей. Декламация была встречена заслуженными аплодисментами, и, когда она закончилась, объявили антракт, и мужчины вышли курить.

Все это время артистическая гудела, как улей. В одном углу собрались мистер Хулоен, мистер Фицпатрик, мисс Бейрн, два распорядителя, баритон, бас и мистер О'Мэдден Бэрк. Мистер О'Мэдден Бэрк говорил, что такого возмутительного поведения он не видел. После этого, говорил он, музыкальная карьера мисс Кэтлин Карни кончена в Дублине. Спросили баритона, что он думает о поведении миссис Карни. Он уклонился от ответа. Он получил что следовало и не желал ни с кем ссориться. Тем не менее он сказал, что миссис Карни могла бы больше считаться с исполнителями. Когда начался антракт, устроители горячо спорили о том, как следует поступить, когда кончится антракт.

¹ Баллада из оперы М. Болфа. Килларни — живописный район на юго-западе страны, знаменитый своими озерами.

— Я согласен с мисс Бейрн,— сказал мистер О'Мэдден Бэрк.— Не платите ей ничего.

В другом углу комнаты стояли миссис Карни с мужем, мистер Белл, мисс Хили и молодая особа, которая декламировала патриотические стихи. Миссис Карни говорила, что комитет поступил с ней возмутительно. Она не жалела ни трудов, ни расходов, и вот как ей отплатили.

Они думали, что будут иметь дело с неопытной девушкой, которой можно помыкать как хочешь. Она им покажет. Они не посмели бы с ней так обращаться, будь она мужчиной. Но она позаботится о том, чтобы дочь ее получила, что ей следует *по праву*,— ее не проведешь. Если ей не заплатят все до последнего фартинга, она поднимет шум на весь Дублин. Конечно, ей очень неловко перед артистами. Но что же делать? Она обратилась ко второму тенору, который сказал, что, по его мнению, с ней поступили несправедливо. Потом она обратилась к мисс Хили. Той хотелось примкнуть к другой группе, но она не могла этого сделать, так как была большой приятельницей Кэтлин и ее часто приглашали в гости.

Как только кончилось первое отделение, мистер Фицпатрик и мистер Хулоен подошли к миссис Карни и сказали, что остальные четыре гинеи она получит в следующий вторник, после заседания комитета, и что, если ее дочь не будет играть во втором отделении, комитет будет считать контракт расторгнутым и не заплатит ничего.

— Я никакого комитета не знаю,— сердито отвечала миссис Карни,— у моей дочери есть контракт. Она должна получить на руки четыре фунта восемь шиллингов, иначе ноги ее не будет на этой сцене.

— Удивляюсь, вам, миссис Карни,— сказал мистер Хулоен.— Никогда не думал, что вы с нами так поступите.

— А вы со мной как поступаете? — спросила миссис Карни.

Лицо ее залилось краской гнева, и вид у нее был такой, что она вот-вот бросится на кого-нибудь с кулаками.

— Я требую то, что мне следует,— сказала она.

— Вы могли бы помнить о приличиях,— сказал мистер Хулоен.

— Вот как?.. Я спрашиваю, заплатят ли моей дочери, и не могу добиться вежливого ответа.

Она вскинула голову и придала надменность своему голосу:

— Вы должны говорить с секретарем. Это не мое дело. Я решаю важные вопросы и... ну все такое прочее.

— А я считал вас воспитанной дамой,— сказал мистер Хулоен и отошел.

После этого поведение миссис Карни было осуждено бесповоротно: все одобрили решение комитета. Она стояла в дверях, бледная от ярости, ссорясь с мужем и дочерью и жестикулируя. Она дожидалась второго отделения в надежде, что устроители подойдут к ней. Но мисс Хили любезно согласилась проаккомпанировать один или два номера. Миссис Карни пришлось посторониться, чтобы пропустить на сцену баритона и аккомпаниаторшу. С минуту она стояла неподвижно, как разгневанный каменный идол, но когда первые ноты романса донеслись до нее, она схватила накидку своей дочери и сказала мужу:

— Ступай за кебом!

Он сейчас же пошел. Миссис Карни закутала дочь в накидку и вышла вслед за ним. В дверях она остановилась и гневно сверкнула глазами на мистера Хулоена.

— Я еще с вами не разделалась,— сказала она.

— Зато я с вами разделался,— сказал мистер Хулоен.

Кэтлин послушно шла за матерью.

Мистер Хулоен начал шагать взад и вперед по комнате, чтобы остыть: он весь пылал.

— Вот так воспитанная дама!— воскликнул он.— Нечего сказать!

— Вы сделали именно то, что следовало, Хулоен,— сказал мистер О'Мэдден Бэрк, в знак одобрения опираясь всем телом на зонтик.

Милость Божия

Два джентльмена, оказавшиеся в то время в уборной, хотели помочь ему встать: он был совершенно беспомощен. Он лежал ничком у подножия лестницы, с которой упал. Им удалось повернуть его лицом вверх. Шляпа откатилась на несколько шагов в сторону, а костюм был запачкан, потому что он лежал на грязном и мокром полу. Глаза у него были закрыты, и он дышал громко и хрипло. Тонкая струйка крови текла из уголка рта.

Два джентльмена и официант подняли его, перенесли по лестнице наверх и положили на пол в баре. Через минуту вокруг него образовалось кольцо любопытных. Бармен спрашивал всех, кто это такой и кто с ним был. Никто не знал, кто это такой, только один из официантов сказал, что он подавал джентльмену рюмку рома.

— Он был один? — спросил бармен.

— Нет, сэр. С ним было два джентльмена.

— А где они?

Никто не знал; чей-то голос произнес:

— Отойдите, ему дышать нечем. Он потерял сознание.

Кольцо любопытных раздвинулось, но вскоре снова дружно сомкнулось. Пятно крови темнело возле головы незнакомца на выложенном плитками полу. Бармен, встревоженный мертвенностью его лица, послал за полисменом.

Незнакомцу расстегнули воротник и развязали галстук. Он на мгновение открыл глаза, вздохнул и снова закрыл их. Один из двух джентльменов, поднявших его с пола, держал в руке помятый цилиндр. Бармен настой-

чиво спрашивал, не знает ли кто-нибудь, что это за человек и куда подевались его друзья. Дверь бара открылась, и вошел огромный констебль. Толпа, следовавшая за ним по переулку, собралась возле дверей; все протискивались вперед, стараясь заглянуть внутрь через стекла.

Бармен сейчас же начал рассказывать все, что знал. Констебль, молодой человек с грубым неподвижным лицом, слушал. Он медленно поворачивал голову из стороны в сторону, переводя взгляд с бармена на человека, лежавшего на полу, точно боясь оказаться жертвой обмана. Потом он снял перчатку, вынул из кармана записную книжку, послунывил кончик карандаша и приготовился составлять протокол. Он спросил подозрительно, с провинциальным акцентом:

— Что это за человек? Как его фамилия и адрес?

Какой-то молодой человек в спортивном костюме пробрался сквозь кольцо зевак. Он быстро опустился на колени подле пострадавшего и потребовал воды. Констебль тоже опустился на колени, чтобы помочь. Молодой человек смыл кровь с губ пострадавшего и попросил, чтобы ему принесли бренди. Констебль властным голосом повторял его требование до тех пор, пока не прибежал официант со стаканом. Пострадавшему влили в рот несколько капель бренди. Через несколько секунд он открыл глаза и посмотрел по сторонам. Он посмотрел на обступивших его зевак и, сообразив, где он, начал с трудом подниматься.

— Ну как, теперь лучше? — спросил молодой человек в спортивном костюме.

— Да ничего, — сказал пострадавший, стараясь встать.

Ему помогли. Бармен сказал что-то о больнице, и все стали давать советы. На голову пострадавшего надели помятый цилиндр. Констебль спросил:

— Где вы живете?

Человек ничего не ответил, только покрутил кончики усов. Он не придавал значения этому происшествию. Это пустяки, сказал он, всего лишь маленькая неприятность. Он говорил очень невнятно.

— Где вы живете? — повторил констебль.

Человек попросил, чтобы ему вызвали кеб. Пока решали, кто пойдет за ним, из дальнего конца бара вышел высокий подвижный светловолосый джентльмен в

длинном желтом пальто с поясом. Увидев, что происходит, он воскликнул:

— Здорово, Том! Что это с тобой?

— А, ничего,— сказал пострадавший.

Вновь пришедший оглядел жалкую фигуру, стоящую перед ним, и обратился к констеблю:

— Можете не беспокоиться, констебль. Я отвезу его домой.

Констебль прикоснулся к шлему и ответил:

— Слушаюсь, мистер Пауэр!

— Ну, Том,— сказал мистер Пауэр, беря своего приятеля под руку.— Кости все целы? Ну как? Двигаться можешь?

Молодой человек в спортивном костюме взял пострадавшего под другую руку, и толпа расступилась.

— Как это тебя угораздило?— спросил мистер Пауэр.

— Джентльмен упал с лестницы,— сказал молодой человек.

— Я о"ень "лаго"арен "а", сэр,— сказал пострадавший.

— Что вы, что вы.

— А не "ыпить ли на"?..

— Только не сейчас.

Все трое вышли из бара, и толпа постепенно рассеялась. Бармен повел констебля к лестнице осмотреть место происшествия. Оба сошлись на том, что джентльмен, видимо, оступился. Посетители вернулись к стойке, и один из официантов принялся смывать с пола следы крови.

Выйдя на Грэфтон-Стрит, мистер Пауэр подозвал кеб.

Пострадавший снова сказал, стараясь произносить слова как можно чище:

— О"ень "лаго"арен "а", сэр. На"еюсь, "стрети"ся еще как-ни"удь. "оя фа"илия Кернан.

Падение и усиливающаяся боль наполовину отрезвили его.

— Все в порядке,— сказал молодой человек.

Они обменялись рукопожатием. Мистеру Кернану помогли влезть в кеб, и он, пока мистер Пауэр давал указания извозчику, поблагодарил молодого человека и выразил сожаление, что они не могут выпить по рюмочке.

— В другой раз,— сказал молодой человек.

Кеб поехал по направлению к Уэстморленд-Стрит. Когда он проезжал мимо Балласт-оффис, часы показывали половину десятого. Резкий восточный ветер с устья реки хлестал в лицо. Мистер Кернан весь съежился от холода. Мистер Пауэр попросил своего друга рассказать, как все это произошло.

— Не могу,— ответил тот,— у "меня я"зык по"реж"ен.

— Покажи.

Мистер Пауэр наклонился и заглянул в рот мистера Кернана, но ничего не смог разглядеть. Он зажег спичку и, прикрывая ее другой рукой, снова заглянул в послушно раскрытый мистером Кернаном рот. Покачивание кеба то приближало, то удаляло спичку от раскрытого рта. Нижние зубы и десны были покрыты запекшейся кровью; кончик языка был, по-видимому, откусен. Спичку задуло.

— Ужасно,— сказал мистер Пауэр.

— А, ничего,— сказал мистер Кернан, закрывая рот и поднимая воротник своего грязного пальто.

Мистер Кернан был коммивояжером старой школы и считал свою профессию достойной всяческого уважения. В городе его никогда не видели без сколько-нибудь приличного цилиндра и без гетр. Эти два предмета, говорил он, открывают перед человеком все двери. У него был свой Наполеон, великий Белчерн, которого он нередко вспоминал и считал примером для подражания. Современные методы ведения дел позволяли ему иметь лишь небольшую контору на Крау-Стрит, где на шторах были написаны название его фирмы и адрес — Лондон, Ист-Энд. На камине в этой небольшой конторе выстроился целый отряд свинцовых цыбиков, а на столе перед окном стояло пять или шесть чашек, обычно до половины наполненных черной жидкостью. Из этих чашек мистер Кернан дегустировал чай. Он отпивал глоток, медленно проводил языком по нёбу и, распробовав чай, сплевывал в камин. Потом, подумав, произносил свое суждение.

Мистер Пауэр, который был много моложе его, служил в Дублинском полицейском управлении. Кривая его восхождения по общественной лестнице пересекала кривую упадка его друга, но упадок мистера Кернана был не так заметен благодаря тому, что в глазах многих

друзей, знавших его на вершине успеха, он оставался по-прежнему человеком выдающимся. К числу таких друзей принадлежал и мистер Пауэр. Он держал свои долги в тайне, и знакомые любили посудачить на этот счет, но в общем он был симпатичный молодой человек.

Кеб остановился перед небольшим домом на Гласневин-Роуд, и мистера Кернана ввели в дом. Жена пошла укладывать его в постель, а мистер Пауэр остался внизу, на кухне, и стал расспрашивать детей, в какой школе они учатся и что проходят. Дети, две девочки и мальчик, пользуясь полной безнаказанностью, затеяли с ним какую-то глупую возню. Его удивили их манеры и их произношение, и его лицо приняло озабоченное выражение. Вскоре в кухню торопливо вошла миссис Кернан, восклицая:

— Хорош, нечего сказать! Уж он доведет себя когда-нибудь бог знает до чего, помяните мое слово. Он пьет с самой пятницы.

Мистер Пауэр счел своим долгом объяснить ей, что он тут ни при чем, что он попал на место происшествия совершенно случайно. Миссис Кернан, вспомнив услуги, которые мистер Пауэр не раз оказывал ей во время семейных неурядиц, равно как и многие небольшие, но своевременные займы, сказала:

— Ах, что вы, мистер Пауэр, уж мне бы этого могли не говорить. Я знаю, вы ему настоящий друг, не то что иные прочие. Они только на то и годятся, чтобы не пускать его домой, к жене и детям, пока он при деньгах. Друзья, нечего сказать! А с кем он был нынче вечером, хотела бы я знать?

Мистер Пауэр покачал головой, но ничего не сказал.

— Мне так жаль,— продолжала она,— что мне нечем вас угостить. Но если вы подождете минутку, я пошлю за чем-нибудь к Фогарти, на угол.

Мистер Пауэр встал.

— Мы ждали, что он вернется домой с деньгами. Похоже, он забыл и думать, что у него семья.

— Ничего, миссис Кернан,— сказал мистер Пауэр,— теперь он у нас начнет новую жизнь. Я поговорю с Мартином. Он самый подходящий для этого человек. Мы зайдем сюда как-нибудь на днях и все обсудим.

Она проводила его до двери. Кебмен расхаживал взад и вперед по тротуару, притоптывая ногами и размахивая руками, чтобы согреться.

— Спасибо, что вы привезли его домой,— сказала она.

— Что вы, что вы,— сказал мистер Пауэр.

Он сел в экипаж. Когда экипаж тронулся, он весело помахал ей шляпой.

— Мы сделаем из него человека,— сказал он.— Спокойной ночи, миссис Кернан.

Удивленный взгляд миссис Кернан следовал за кебом, пока он не скрылся из виду. Тогда она отвела глаза, вошла в дом и вывернула карманы своего супруга.

Миссис Кернан была живая, практичная женщина средних лет. Недавно она отпраздновала свою серебряную свадьбу и подтвердила привязанность к супругу, провальсировав с ним несколько туров под аккомпанемент мистера Пауэра. Когда мистер Кернан за ней ухаживал, он казался ей не лишенным галантности; и до сих пор, услышав о какой-нибудь свадьбе, она спешила к дверям церкви и при виде новобрачных живо вспоминала, как она вышла из церкви Звезда моря в Сэнди-маунте¹ с жизнерадостным упитанным мужчиной в элегантном сюртуке и сиреневых брюках, который одной рукой поддерживал ее, а в другой небрежно нес новенький цилиндр. Через три недели супружеская жизнь показалась ей утомительной, а позже, когда эта жизнь начала казаться ей нестерпимой, она стала матерью. Обязанности матери не представляли для нее непреодолимых трудностей, и в течение двадцати пяти лет она умело вела хозяйство своего мужа. Двое старших сыновей уже встали на ноги. Один работал в мануфактурном магазине в Глазго, а другой служил в чайной фирме в Белфасте. Они были хорошие сыновья, исправно писали письма и иногда посылали домой деньги. Остальные дети еще учились в школе.

На следующий день мистер Кернан послал письмо в контору и остался в постели. Жена сварила ему мясной бульон и хорошенько отругала. Она принимала его частую невоздержанность как нечто само собой разумеющееся, заботливо лечила его, когда он был болен, и всегда старалась заставить его съесть завтрак перед уходом на службу. Бывают мужья и хуже. Он ни разу не бил ее с тех пор, как выросли мальчишки, и она знала,

¹ Звезда моря — одно из обращений к Деве Марии у католиков. Сэндимаунт — пригород Дублина.

что он готов выполнить любое, даже пустячное ее поручение, если для этого надо пройти даже до самого конца Томас-Стрит и обратно¹.

Через день вечером друзья пришли навестить его. Она проводила их в спальню — воздух там был спертый — и поставила им стулья перед камином. Язык мистера Кернана еще побаливал, и от этого он пребывал в несколько раздраженном состоянии, сейчас же он был кроток, как ангел. Мистер Кернан сидел в постели, обложенный подушками, и легкий румянец придавал его пухлым щекам сходство с тлеющими головнями. Он извинился за беспорядок в комнате, но в то же время посмотрел на своих гостей слегка горделиво, с гордостью ветерана.

Он и не подозревал, что является жертвой заговора, о котором его друзья, мистер Каннингем, мистер Мак-Кой и мистер Пауэр, сообщили миссис Кернан в зале. Идея принадлежала мистеру Пауэру, но осуществление было поручено мистеру Каннингеми. Мистер Кернан происходил из протестантской семьи, и, хотя незадолго до женитьбы перешел в католичество, порога церкви он не переступал добрых двадцать лет. К тому же в кругу близких друзей он позволял себе насмешки над католической верой.

Мистер Каннингем как нельзя лучше подходил для такого дела. Он был давним сослуживцем мистера Пауэра. В семейной жизни он был не слишком счастлив. Все очень жалели его: было известно, что он женат на женщине с дурной репутацией запойной пьяницы. Он шесть раз заново обставлял для нее дом, и каждый раз она закладывала обстановку на его имя.

Все уважали беднягу Мартина Каннингема. Он был весьма порядочный человек, влиятельный и умный. Его понимание людей, острое от природы и отточенное, как бритва, постоянным соприкосновением с судебными делами, умерялось краткими погружениями в воды умозрительной философии. Он был человек образованный. Друзья склонялись перед его суждениями и находили, что он похож на Шекспира.

¹ Ирония Джойса в том, что на Томас-Стрит, которую от Крау-Стрит, где жил Кернан, отделяла примерно миля, расположен пивоваренный завод «Гиннесс», производящий темное ирландское пиво. Посетителям здесь бесплатно выдавали стакан пива.

Когда ей сообщили о заговоре, миссис Кернан сказала:

— Предоставляю все это вам, мистер Каннингем.

После четверти века супружеской жизни у нее осталось очень мало иллюзий. Религия давно стала для нее привычкой, и она была уверена, что человек в возрасте ее мужа не может заметно измениться и останется таким теперь уже до самой смерти. Конечно, соблазнительно было усмотреть перст Божий в постигшем его несчастье, и, не боясь она показаться кровожадной, она не преминула бы сказать его друзьям, что язык мистера Кернана ничуть не пострадает, если станет немного короче. Впрочем, мистер Каннингем человек дельный; а религия есть религия. Если этот план и не принесет пользы, то вреда он, во всяком случае, не нанесет. Ее вера не была чрезмерной. Она твердо верила в сердце Христово как в самую надежную из всех католических святынь и одобрительно относилась к таинствам. Ее мир был ограничен кухней, но, случись что-нибудь, она поверила бы в ведьм, как в святого духа.

Гости начали говорить о происшествии. Мистер Каннингем сказал, что помнит похожий случай. Один семидесятилетний старик откусил кончик языка во время эпилептического припадка, и язык зажил так хорошо, что даже следов не осталось.

— Ну, мне не семьдесят,— сказал больной.

— Боже сохрани,— сказал мистер Каннингем.

— А теперь он у вас не болит? — спросил мистер Мак-Кой.

Мистер Мак-Кой был в свое время довольно известным тенором. Его жена, некогда сопрано, теперь за скромное вознаграждение обучала детей музыке. Линия его жизни не была кратчайшим расстоянием между двумя точками, и бывали периоды, когда ему приходилось всячески изворачиваться, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Он служил в управлении Мидлендской железной дороги, был сборщиком объявлений для «Айриш таймс» и «Фримен»¹, комиссионером одной угольной фирмы, частным сыщиком, служил в конторе по-

¹ «Айриш таймс» — газета консервативного толка, проводила проанглийскую политику. «Фримен джорнел», напротив, либерально-умеренный орган, поддерживал гомруль. То, что персонаж Джойса работает и для той, и для другой газеты, указывает на полное отсутствие у него определенных политических убеждений.

мощника шерифа, а недавно поступил на место секретаря к коронеру города Дублина. По своей новой должности он относился к случаю с мистером Кернаном с профессиональным интересом.

— Болит? Не очень,— ответил мистер Кернан.— Но ощущение отвратительное. Точно сейчас вырвет.

— Это все от спиртного,— твердо сказал мистер Каннингем.

— Нет,— сказал мистер Кернан.— Должно быть, меня продуло на извозчике. Что-то все время подступает к горлу, мокрота или...

— Плевра,— сказал мистер Мак-Кой.

— Она словно поднимается в горло откуда-то снизу; прямо тошнит.

— Да, да,— сказал мистер Мак-Кой,— это бронхи.

Он с вызывающим видом посмотрел одновременно на мистера Каннингема и мистера Пауэра. Мистер Каннингем поспешно кивнул, а мистер Пауэр сказал:

— А, что там, все хорошо, что хорошо кончается.

— Я очень обязан тебе, старина,— сказал больной.

Мистер Пауэр замахал руками.

— Те двое, которые были со мной...

— А кто с вами был? — спросил мистер Каннингем.

— Один субъект. Забыл, как его зовут. Черт, как же его зовут? Такой маленький, рыжеватый...

— А еще кто?

— Харфорд.

— Гм,— сказал мистер Каннингем.

Все примолкли. Было известно, что он черпает сведения из секретных источников. В данном случае междоуметие имело нравоучительный смысл. Мистер Харфорд иногда возглавлял небольшой отряд, который по воскресеньям сразу же после мессы отправлялся за город в какую-нибудь пивнушку подальше, где вся компания выдавала себя за путешественников¹. Но спутники мистера Харфорда никак не могли простить ему его происхождения. Он начал свою карьеру с темных делишек: ссужал рабочим небольшие суммы под проценты. Впоследствии он вошел в долю с коротеньким толстеньким человечком, неким мистером Голдбергом из

¹ Спиртные напитки в Ирландии в те годы продавались лишь в определенные часы. Исключение делалось только для путешественников.

Ссудного банка на Лиффи. И хотя с евреями его связывал лишь их старинный промысел, друзья-католики, которым приходилось туговато, когда он сам или его доверенные лица подступали с закладными, втайне торжествовали, что у него родился сын-идиот, и видели в этом справедливую Божью кару, настигшую гнусного ростовщика. Правда, в другие минуты они вспоминали его хорошие черты.

— Куда он только делся,— сказал мистер Кернан.

Он хотел, чтобы подробности этого происшествия остались неизвестными. Пусть уж лучше друзья думают, что произошла какая-то ошибка, что они с мистером Харфордом случайно разминулись. Его друзья, отлично знавшие, как мистер Харфорд ведет себя на попойках, молчали. Мистер Пауэр снова сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Мистер Кернан сейчас же переменил разговор.

— А славный он парень, этот студент-медик,— сказал он.— Не будь его...

— Да, не будь его,— сказал мистер Пауэр,— пришлось бы посидеть неделю за решеткой, без права заметить наказание штрафом.

— Да, да,— сказал мистер Кернан, стараясь припомнить.— Теперь припоминаю, там был полицейский. Славный паренек, кажется. Не понимаю, как все это произошло.

— Произошло то, что вы наклюкались, Том,— сказал мистер Каннингем внушительно.

— Что правда, то правда,— в тон ему ответил мистер Кернан.

— Кажется, это вы спровадили констебля, Джек,— сказал мистер Мак-Кой.

Мистер Пауэр был не в восторге, что его назвали по имени. Он не отличался чопорностью, но не мог забыть недавнюю выходку мистера Мак-Коя. Мак-Кой объявил, что его жена собирается в турне по стране. Хотя никакого турне не было и в помине, он выцыганил у знакомых чемоданы и портпледы. Мистер Пауэр возмущался не столько тем, что он сам оказался жертвой, сколько тем, что это было низкопробное мошенничество. Он ответил на вопрос, но при этом сделал вид, что он исходил от мистера Кернана.

Рассказ привел мистера Кернана в негодование. Он никогда не забывал, что он гражданин Дублина, желал,

чтобы его отношения с городом были основаны на взаимном уважении, и возмущался всяким оскорблением, нанесенным ему теми, кого он величал деревенскими чурбанами.

— Неужели для этого мы платим налоги? — спросил он. — Чтобы кормить и одевать этих дуралеев... а они — дуралеи, больше ничего.

Мистер Каннингем рассмеялся. Он был служащим полицейского управления только в служебные часы.

— А чего от них еще ждать, Том? — сказал он.

И, подражая грубому провинциальному выговору, он скомандовал:

— Сорок пять, лови свою капусту!

Все засмеялись. Мистер Мак-Кой, которому хотелось во что бы то ни стало влезть в разговор, притворился, будто никогда не слышал этой истории. Мистер Каннингем сказал:

— Знаете, дело происходит в казарме, где обламывают этих здоровенных деревенских верзил. Сержант выстраивает их всех в одну шеренгу вдоль стены с тарелками в руках.

Он подкрепил свой рассказ комическими жестами.

— Обед, знаете. А на столе перед ним здоровенная миска с капустой, а в руках здоровенный уполовник величиной с лопату. И вот берет он полный уполовник капусты и швыряет ее через всю комнату, а те, бедняги, должны ловить, каждый на свою тарелку: сорок пять — лови свою капусту!

Все снова рассмеялись, но мистер Кернан продолжал возмущаться. Он сказал, что следовало бы написать об этом в газету.

— Эти обезьяны в мундирах, — сказал он, — воображают, будто они имеют право командовать всеми. Уж не вам, Мартин, говорить мне, что это за публика.

Мистер Каннингем согласился, но с оговоркой.

— У нас так же, как всюду, — сказал он. — Попадают дрянь, а попадают и хорошие люди.

— Да, конечно, попадают и хорошие люди, не спорю, — сказал мистер Кернан, удовлетворенный.

— А все-таки лучше не иметь с ними никакого дела, — сказал мистер Мак-Кой. — Так я считаю.

Миссис Кернан вошла в комнату и, поставив на стол поднос, сказала:

— Угощайтесь, пожалуйста.

Мистер Пауэр встал, собираясь исполнять обязанности хозяина, и предложил ей свой стул. Она отказалась, говоря, что ей надо гладить, и, перемигнувшись за спиной мистера Пауэра с мистером Каннингемом, пошла к двери. Супруг окликнул ее.

— А для меня у тебя ничего нет, пупсик?

— Для тебя? Шиш с маслом для тебя,— язвительно сказала миссис Кернан.

Ее супруг крикнул ей вдогонку:

— Для мужа — ничего!

Его жалостливый голос и смешная гримаса вызвали всеобщий смех, под который гости стали разбирать свои стаканы с портером.

Джентльмены осушили стаканы, поставили их опять на стол и с минуту просидели молча. Потом мистер Каннингем повернулся к мистеру Пауэру и сказал как бы вскользь:

— Вы, кажется, сказали, в четверг вечером, Джек?

— Да, в четверг,— сказал мистер Пауэр.

— Превосходно! — быстро сказал мистер Каннингем.

— Можно бы встретиться в баре Мак-Аули,— сказал мистер Мак-Кой.— Это, пожалуй, удобней всего.

— Только не опаздывать,— серьезно сказал мистер Пауэр,— а то там будет полно народу.

— Давайте назначим на половину восьмого,— сказал мистер Мак-Кой.

— Превосходно! — сказал мистер Каннингем.

— Итак, решено, в половине восьмого у Мак-Аули!

На секунду воцарилось молчание. Мистер Кернан ждал, посвятят ли его друзья в их планы. Потом он спросил:

— Что это вы затеяли?

— О, ничего особенного,— сказал мистер Каннингем.— Так, сговариваемся насчет одного дельца в четверг.

— В оперу, что ли, собрались? — сказал мистер Кернан.

— Нет, нет,— сказал мистер Каннингем уклончивым тоном,— это всего лишь одно дельце... духовного порядка.

— А,— сказал мистер Кернан.

Снова наступило молчание. Потом мистер Пауэр прямо сказал:

— Если по правде, Том, мы собираемся говеть.

— Да,— сказал мистер Каннингем,— мы с Джеком и вот Мак-Кой — мы все решили почиститься с песочком.

Он произнес эти слова просто, но с чувством и, ободренный своим собственным голосом, продолжал:

— Видишь ли, уж если говорить откровенно, так все мы порядочные негодяи, все до единого. Да, все до единого,— добавил он с грубоватой снисходительностью, обращаясь к мистеру Пауэру.— Признайтесь-ка!

— Признаюсь,— сказал мистер Пауэр.

— И я признаюсь,— сказал мистер Мак-Кой.

— Вот мы и решили все вместе почиститься с песочком,— сказал мистер Каннингем.

Какая-то мысль, казалось, осенила его. Он вдруг повернулся к больному и сказал:

— Знаете, Том, что мне пришло сейчас в голову? Присоединялись бы к нам: без четырех углов дом не строится.

— Хорошая мысль,— сказал мистер Пауэр.— Вот и пошли бы все вчетвером.

Мистер Кернан ничего не сказал. Предложение мистера Каннингема ему ничего не говорило, но, чувствуя, что какие-то религиозные организации пекутся о нем, он счел своим долгом, ради поддержания достоинства, проявить некоторое упорство. Он довольно долго не принимал участия в разговоре, а только слушал с видом спокойной враждебности, как его друзья рассуждают об иезуитах.

— Я не такого уж плохого мнения об иезуитах,— вмешался он наконец в разговор.— Это культурный орден. И намерения у них, по-моему, благие.

— Это величайший из всех орденов, Том,— с жаром подхватил мистер Каннингем.— В церковной иерархии генерал ордена иезуитов следует непосредственно за папой.

— Какой тут может быть разговор,— сказал мистер Мак-Кой,— если хотите, чтобы дело было сделано чисто, обращайтесь к иезуитам. У них всюду рука найдется. Я вам расскажу один случай...

— Иезуиты — замечательный народ,— сказал мистер Пауэр.

— И вот что удивительно,— сказал мистер Каннингем,— все остальные монашеские ордена рано или позд-

но распадались, но иезуитский орден — никогда. Он никогда не приходил в упадок.

— В самом деле? — спросил мистер Мак-Кой.

— Это факт,— сказал мистер Каннингем.— Так говорит история.

— А посмотрите-ка на их церкви,— сказал мистер Пауэр.— Посмотрите, какая у них паства.

— Иезуиты держатся за аристократию,— сказал мистер Мак-Кой.

— Известное дело,— сказал мистер Пауэр.

— Да,— сказал мистер Кернан.— Потому я их и уважаю. Они не то что некоторые представители белого духовенства, невежественные, самоуверенные...

— Они все хорошие люди,— сказал мистер Каннингем,— Ирландское духовенство пользуется уважением повсюду.

— Еще бы,— сказал мистер Пауэр.

— Не то что духовенство некоторых стран, на континенте,— сказал мистер Мак-Кой,— что и звания своего недостойно.

— Может быть, вы и правы,— сказал мистер Кернан, смягчаясь.

— Разумеется, прав,— сказал мистер Каннингем.— Уж мне ли не знать людей, с моим-то опытом.

Они выпили снова, подавая пример друг другу. Мистер Кернан что-то прикидывал про себя. Разговор произвел на него впечатление. Он был высокого мнения о мистере Каннингеме как о знатоке людей и хорошем физиономисте. Он попросил его рассказать подробнее.

— Исповедовать будет отец Публдом,— сказал мистер Каннингем.— Исповедь будет общая. Мы ведь народ занятой.

— Он будет не слишком суров с нами, Том,— сказал мистер Пауэр вкрадчиво.

— Отец Публдом? Отец Публдом? — сказал больной.

— Ну, вы же его знаете, Том,— убедительно сказал мистер Каннингем.— Такой отличный, жизнерадостный малый! Не чуждается мира сего, как и мы, грешные.

— А-а... Да, кажется, я его знаю. Такой краснолицый, высокий?

— Он самый.

— А скажите, Мартин... Он хороший проповедник?

— Да как вам сказать... Это, знаете, не то чтобы

настоящая проповедь. Так, поговорит с нами по душам, знаете, попросту.

Мистер Кернан погрузился в размышления. Мистер Мак-Кой сказал:

— Отец Том Бэрк¹ — вот это был дока!

— Да, отец Том Бэрк,— сказал мистер Каннингем,— тот был прирожденный оратор. Вы его когда-нибудь слышали, Том?

— Слышал ли я его? — с обидой сказал больной.— Еще бы! Я слышал его...

— А между прочим, говорят, что он был не очень силен по части богословия,— сказал мистер Каннингем.

— В самом деле? — сказал мистер Мак-Кой.

— Ну, разумеется, не так чтобы уж совсем, знаете. Но все-таки говорят, что иногда в его проповеди было что-то не совсем то.

— Да... вот это был человек! — сказал мистер Мак-Кой.

— Я слышал его однажды,— продолжал мистер Кернан.— Забыл теперь, о чем была проповедь. Мы с Крофтоном сидели сзади в... в партере, что ли... как это...

— В главном приделе,— сказал мистер Каннингем.

— Да, сзади, недалеко от двери. Забыл, о чем он... Ах да, он говорил о папе римском, о покойном папе. Теперь вспомнил. Честное слово, великолепная была проповедь! А голос! Господи ты Боже мой, вот был голос! Он назвал его «Узником Ватикана»². Помню, как Крофтон сказал мне, когда мы выходили...

— Но ведь Крофтон оранжист³, не так ли? — сказал мистер Пауэр.

¹ Томас Николас Бэрк (1830—1883) — оратор, известный не только в Ирландии, но также в Англии и Америке. Особую популярность ему принесла серия лекций «Пороки английского правления в Ирландии». Известность его носила несколько скандальный характер.

² Имеется в виду папа Пий IX (1792, папст. 1846—1878). В период борьбы Италии за объединение занял весьма реакционную позицию, противился присоединению Рима к королевству. В 1870 г. король Виктор Эммануил II, который до этого пытался договориться с папой компромиссным путем, приказал своим солдатам вступить в Рим. Папа, видя бессмысленность сопротивления, объявил, что «уступает силе», а сам заперся в Ватикане и демонстративно провозгласил себя перед всем миром «пленником».

³ Здесь: протестант. Оранжист — член ордена оранжистов, организованного в 1795 г.; главная цель оранжистов — укрепить колониальную связь Ирландии с Великобританией.

— Да, конечно,— сказал мистер Кернан,— к тому же завзятый оранжист. Мы тогда пошли в пивную Батлера на Мур-Стрит, честное слово, я был взволнован как никогда и помню, он мне сказал, вот так, слово в слово: «Кернан, говорит, мы с вами поклоняемся разным алтарям, говорит, но вера наша едина». Меня даже поразило, как это он здорово сказал.

— Правильные слова,— сказал мистер Пауэр.— В церкви всегда были прямо толпы протестантов, когда отец Том говорил проповедь.

— Между нами не такая уж большая разница,— сказал мистер Мак-Кой.— Мы одинаково верим в...

Он на мгновение замялся.

— ...в Спасителя. Только они не верят в папу римского и в Пресвятую Деву.

— Но разумеется,— сказал мистер Каннингем спокойно и внушительно,— наша религия — единственно истинная, наша древняя, святая вера.

— Даже не говорите,— сказал мистер Кернан с горячностью.

В дверях спальни показалась миссис Кернан; она объявила:

— К тебе гость пришел!

— Кто?

— Мистер Фогарти.

— А-а, идите-ка сюда!

Бледное продолговатое лицо появилось в освещенной части комнаты. Линия бровей, изогнувшихся над приятно удивленными глазами, повторяла дугообразную линию свисающих усов. Мистер Фогарти был скромный бакалейщик. В свое время он был владельцем одного из дублинских баров, но потерпел крах, потому что его финансовое положение позволяло ему иметь дело лишь с второразрядными винокурами и пивоварами. Тогда он открыл небольшую лавку на Глэзневин-Роуд, где, как он надеялся, его манеры помогут ему снискать благоволение местных хозяек. Он держался непринужденно, заговаривал с маленькими детьми, говорил медленно и раздельно. Вообще был человек культурный.

Мистер Фогарти принес с собой подарок — полпинты хорошего виски. Он вежливо осведомился о здоровье мистера Кернана, поставил свой подарок на стол и, почувствовав себя равным, присоединился к компании друзей. Мистер Кернан весьма оценил подарок: он

помнил, сколько он должен мистеру Фогарти по старым счетам. Он сказал:

— Я никогда в вас не сомневался, старина. Открой-ка, Джек, ладно?

Мистер Пауэр снова исполнил обязанности хозяина. Стаканы ополоснули, в каждый налили по маленькой порции виски. Разговор явно оживился. Мистер Фогарти, сидя на краешке стула, слушал с особенным вниманием.

— Папа Лев XIII¹,— сказал мистер Каннингем,— был одним из самых ярких людей своей эпохи. Его великим начинанием было воссоединение римско-католической церкви с православной. Это была цель его жизни.

— Мне приходилось слышать, что он был одним из культурнейших людей в Европе,— сказал мистер Пауэр.— Это помимо того, что он был папой.

— Да,— сказал мистер Каннингем,— пожалуй, самым культурным. Его девиз, когда он вступил на папский престол, был «Lux на Lux» — «Свет на свету».

— Нет, нет,— сказал мистер Фогарти нетерпеливо.— По-моему, здесь вы не правы. Его девиз был, по-моему, «Lux в Tenebris» — «Свет во тьме»².

— Ну да,— сказал мистер Мак-Кой,— Tenebrae.

— Позвольте,— сказал мистер Каннингем непреклонно,— его девиз был «Lux на Lux». А девиз Пия IX, его предшественника, был «Сгux на Сгux», то есть «Крест на кресте»³; в этом и есть разница между их понтификатами.

Поправку приняли. Мистер Каннингем продолжал:

— Папа Лев, знаете, ученый и поэт.

— Да, у него волевое лицо,— сказал мистер Кернан.

¹ Лев XIII (1810, папст. 1878—1903), одна из наиболее значительных фигур в истории папства в новое время. Не отступая от церковно-политической программы своего предшественника, Пия IX, в частности не желая примириться с потерей светской власти, Лев XIII проводил более гибкую политику, пытаясь использовать в интересах католической церкви некоторые элементы буржуазной демократии, например, парламентаризм. Противник национально-освободительного движения в Ирландии. Стремился возвысить значение папства посредством усиления влияния католической церкви не только на Западе, но и на Востоке. Как писатель, Лев XIII известен несколькими политико-богословскими трактатами и стихотворениями, написанными изящной латынью.

² Ошибка: девиз Льва XIII был «Lumen in Coelo» (лат.) — «Свет в небесах».

³ Неточность: девиз Пия IX был «Сгux de Сгuce» (лат.) — «Страдание от креста».

— Да,— сказал мистер Каннингем.— Он писал стихи на латыни.

— Неужели? — сказал мистер Фогарти.

Мистер Мак-Кой с довольным видом отпил виски, покачал головой, выражая этим свое отношение и к напитку и к тому, что сказал его друг, и сказал:

— Это, я вам скажу, не шутка.

— Нас этому не обучали, Том,— сказал мистер Пауэр, следуя примеру мистера Мак-Коя,— в нашей приходской школе.

— Ну и что ж, хоть обстановка там не парадная, немало дельных людей вышло оттуда,— сказал мистер Кернан нравоучительно.— Старая система была лучше — простое, честное воспитание. Без всяких этих современных вывертов...

— Верно,— сказал мистер Пауэр.

— Никаких роскошеств,— сказал мистер Фогарти.

Он сделал особое ударение на этом слове и выпил с серьезным видом.

— Помню, я как-то читал,— сказал мистер Каннингем,— что одно из стихотворений папы Льва было об изобретении фотографии — по-латыни, разумеется.

— Фотографии! — воскликнул мистер Кернан.

— Да,— сказал мистер Каннингем.

Он тоже отпил из своего стакана.

— Да, как подумаешь,— сказал мистер Мак-Кой,— разве фотография — не замечательная штука?

— Конечно,— сказал мистер Пауэр,— великим умам многое доступно.

— Как сказал поэт: «Великие умы к безумию близки»¹, — заметил мистер Фогарти.

Мистер Кернан был, казалось чем-то обеспокоен. Он старался вспомнить какое-нибудь заковыристое положение протестантского богословия; наконец он обратился к мистеру Каннингему.

— Скажите-ка, Мартин,— сказал он,— а разве не правда, что некоторые из пап — конечно, не теперешний и не его предшественник, а некоторые из пап в старину — были не совсем... знаете ли... на высоте?

¹ Правильно: «Великие умы к безумию склонны» — строчка из политической сатиры английского поэта, драматурга и критика Джона Драйдена (1631—1700) «Авессалом и Ахитофель» (1681), где прославляется монархия. Ирония Джойса в том, что ирландец, который хочет казаться либеральным и просвещенным, вспоминает именно это произведение Драйдена.

Наступило молчание. Мистер Каннингем сказал:

— Да, разумеется, были и среди них никудышные люди... Но вот что самое поразительное: ни один из них, даже самый отчаянный пьяница, даже самый... самый отъявленный негодяй, ни один из них никогда не произнес *ex cathedra*¹ ни одного слова ереси. Ну, разве это не поразительно?

— Поразительно,— сказал мистер Кернан.

— Да, потому что, когда папа говорит *ex cathedra*,— объяснил мистер Фогарти,— он непогрешим.

— Да,— сказал мистер Каннингем.

— А-а, слышал я о непогрешимости папы. Помню, когда я был помоложе... Или это было?..

Мистер Фогарти прервал его. Он взял бутылку и подлил всем понемногу. Мистер Мак-Кой, видя, что на всех не хватит, начал уверять, что он еще не кончил первую порцию. Раздался ропот возмущения, но вскоре все согласилось и замолчало, с удовольствием вслушиваясь в приятную музыку виски, льющегося в стаканы.

— Вы что-то сказали, Том? — спросил мистер Мак-Кой.

— Догмат о непогрешимости папы,— сказал мистер Каннингем,— это была величайшая страница во всей истории церкви.

— А как это произошло, Мартин? — спросил мистер Пауэр.

Мистер Каннингем поднял два толстых пальца.

— В священной коллегии кардиналов, архиепископов и епископов только двое были против, тогда как все остальные были за. Весь конклав высказался единогласно за непогрешимость, кроме них. Нет! Они не желали этого допустить!

— Ха! — сказал мистер Мак-Кой.

— И были это — один немецкий кардинал, по имени Доллинг... или Доулинг... или...²

— Ну, уж Доулинг-то немцем не был, это как пить дать,— сказал мистер Пауэр со смехом.

¹ Букв.: с кафедры (*лат.*). По католической догматике, когда папа проповедует *ex cathedra*, он непогрешим. Это положение было утверждено Ватиканским собором 1870 г.

² Иоганн Доллинг (1799—1890) не был кардиналом и участником Ватиканского собора 1870 г. Священник, политический деятель, историк-богослов, он активно выступал против доктрины о непогрешимости папы. Это привело к тому, что в 1871 г. он был лишен сана.

— Словом, один из них был тот знаменитый немецкий кардинал, как бы его там ни звали; а другой был Джон Мак-Хейл¹.

— Как? — воскликнул мистер Кернан. — Неужели Иоанн Туамский?

— Вы уверены в этом? — спросил мистер Фогарти с сомнением. — Я всегда думал, что это был какой-то итальянец или американец.

— Иоанн Туамский, — повторил мистер Каннингем, — вот кто это был.

Он выпил; остальные последовали его примеру. Потом он продолжал:

— И вот они все собрались там, кардиналы, и епископы, и архиепископы со всех концов земли, а эти двое дрались так, что клочья летели, пока сам папа не поднялся и не провозгласил непогрешимость догматом церкви *ex cathedra*. И в эту самую минуту Мак-Хейл, который так долго оспаривал это, поднялся и вскричал громовым голосом: «Credo!»

— «Верую!» — сказал мистер Фогарти.

— «Credo!» — сказал мистер Каннингем. — Это покаывает, как глубока была его вера. Он подчинился в ту минуту, когда заговорил папа.

— А как же Доулинг?

— Немецкий кардинал отказался подчиниться. Он оставил церковь.

Слова мистера Каннингема вызвали в воображении слушающих величественный образ церкви. Их потряс его низкий, хриплый голос и произнесенные им слова веры и послушания. Вытирая руки о фартук, в комнату вошла миссис Кернан и оказалась среди торжественного молчания. Боясь нарушить его, она облокотилась на спинку кровати.

— Я как-то раз видел Джона Мак-Хейла, — сказал мистер Кернан, — и не забуду этого до самой смерти.

Он обратился за подтверждением к жене:

— Я ведь рассказывал тебе?

Миссис Кернан кивнула.

— Это было на открытии памятника сэру Джону

¹ Джон Мак-Хейл (1791—1881), Иоанн Туамский, ирландский архиепископ из Туама, участник борьбы ирландцев за независимость. Был противником доктрины о непогрешимости папы, но когда она тем не менее была утверждена как догмат Ватиканским собором, подчинился решению и официально проповедовал непогрешимость папы.

Грею. Эдмунд Двайер Грей¹ произносил речь, нес какую-то околесицу, а этот старик сидел тут же, знаете, такой суровый, так и сверлил его глазами из-под косматых бровей.

Мистер Кернан нахмурился и, опустив голову, как разъяренный бык, так и впился глазами в жену.

— Господи! — воскликнул он, придав своему лицу обычное выражение. — В жизни не видел, чтобы у человека был такой взгляд. Он точно говорил: «Я тебя насквозь вижу, сопляк». Ну прямо ястреб.

— Никто из Греев гроша ломаного не стоил, — сказал мистер Пауэр.

Снова наступило молчание. Мистер Пауэр повернулся к миссис Кернан и сказал с внезапной веселостью:

— Ну, миссис Кернан, мы тут собираемся сделать из вашего супруга такого благочестивого и богобоязненного католика, что просто загляденье.

Он обвел рукой всех присутствующих.

— Мы решили все вместе исповедаться в своих грехах, и видит Бог, нам бы давно не мешало это сделать.

— Я не возражаю, — сказал мистер Кернан, улыбаясь несколько нервно.

Миссис Кернан решила, что разумней будет скрыть свое удовольствие. Поэтому она сказала:

— Кого мне жаль, так это священника, которому придется тебя исповедовать.

Выражение лица мистера Кернана изменилось.

— Если ему это не понравится, — сказал он резко, — пусть он идет... еще куда-нибудь. Я только расскажу ему свою скорбную повесть. Не такой уж я негодяй.

Мистер Каннингем поспешно вмешался в разговор.

— Мы все отрекаемся от дьявола, — сказал он, — но не забываем его козней и соблазнов.

— Отыди от меня, сатана!² — сказал мистер Фогарти, смеясь и поглядывая на всех присутствующих.

Мистер Пауэр ничего не сказал. Он чувствовал, что все идет, как он задумал. И на его лице было написано удовлетворение.

¹ Джон Грей (1816—1875), ирландский патриот, издатель, государственный деятель, немало сделавший для благоустройства Дублина; его сын Эдмунд Двайер Грей (1845—1888), политический деятель, как и отец, умеренный сторонник гомруля.

² Несколько искаженные евангельские слова (Еванг. от Матфея, 4, 10). Правильно: «Отойди от меня, Сатана» — последние слова Иисуса после искушения в пустыне.

— Всего-то и дел,— сказал мистер Каннингем,— постоять некоторое время с зажженными свечами и возобновить обеты, данные при крещении.

— Да, главное, Том,— сказал мистер Мак-Кой,— не забудьте про свечу.

— Что? — сказал мистер Кернан.— Мне стоять со свечой?

— Непременно,— сказал мистер Каннингем.

— Нет уж, знаете,— сказал мистер Кернан возмущенно,— всему есть предел. Я исполню все что полагается, по всем правилам. Буду говеть, и исповедоваться, и... и все, что там полагается. Но — никаких свечей! Нет, черт возьми, все что угодно, только не свечи!

Он покачал головой с напускной серьезностью.

— Нет, вы только послушайте! — сказала его жена.

— Все что угодно, только не свечи,— сказал мистер Кернан, чувствуя, что произвел на аудиторию должное впечатление, и продолжая мотать головой из стороны в сторону.— Все что угодно, только не этот балаган!

Друзья от души рассмеялись.

— Вот полюбуйте, нечего сказать — примерный католик! — сказала его жена.

— Никаких свечей! — упрямо повторил мистер Кернан.— Только не это!

Иезуитская церковь на Гардинер-Стрит была почти полна, и тем не менее каждую минуту боковая дверь открывалась, кто-нибудь входил и шел на цыпочках в сопровождении послушника по приделу, пока и для него не находилось место. Все молящиеся были хорошо одеты и вели себя чинно. Свет паникадил падал на черные сюртуки и белые воротнички, среди которых пятнами мелькали твидовые костюмы, на колонны из пятнистого зеленого мрамора и траурные покрывала. Вошедшие садились на скамьи, предварительно поддернув брюки и положив в безопасное место шляпы. Усаживались поудобней, благоговейно взглянув на далекий красный огонек лампы, висевший перед главным алтарем.

На одной из скамей около кафедры сидели мистер Каннингем и мистер Кернан. На скамье позади сидел в одиночестве мистер Мак-Кой; на скамье позади него сидели мистер Пауэр и мистер Фогарти. Мистер Мак-Кой безуспешно пытался найти себе местечко рядом с кем-нибудь из своих, а когда вся компания наконец рассе-

лась, он весело заметил, что они торчат на скамейках, как стигмы на теле Христа. Его острога была принята весьма сдержанно, и он замолчал. Даже на него оказало влияние царившее вокруг благолепие.

Мистер Каннингем шепотом обратил внимание мистера Кернана на мистера Харфорда, ростовщика, сидевшего в некотором отдалении от них, и на мистера Фэннинга, секретаря и заправилу избирательного комитета, сидевшего у самой кафедры, рядом с одним из вновь избранных членов опекунского совета. Справа сидели старый Майкл Граймз, владелец трех ссудных касс, и племянник Дана Хогена, который должен был получить место в Замке. Дальше, впереди, сидели мистер Хендрик, главный репортер «Фримен», и бедняга О'Кэрелл, старый приятель мистера Кернана, который был в свое время видной фигурой в деловых кругах. Оказавшись среди знакомых лиц, мистер Кернан почувствовал себя увереннее. Его шляпа, приведенная в порядок женой, лежала у него на коленях. Одной рукой время от времени он подтягивал манжеты, а другой непринужденно, но крепко держал шляпу за поля.

На ступеньках, ведущих на кафедру, показалась массивная фигура, верхняя часть которой была облачена в белый стихарь. Сейчас же все молящиеся поднялись со скамей и преклонили колена, осторожно становясь на подложенные заранее носовые платки. Мистер Кернан последовал общему примеру. Теперь фигура священника стояла, выпрямившись, на кафедре; две трети его туловища и крупное красное лицо возвышались над перилами.

Отец Публдом преклонил колена, повернулся к красному огоньку лампы и, закрыв лицо руками, стал молиться. Через некоторое время он отнял руки от лица и встал. Молящиеся тоже поднялись и снова уселись на свои места. Мистер Кернан опять положил шляпу на колени и обратил к проповеднику внимательное лицо. Проповедник ловко завернул широкие рукава стихаря и медленно обвел глазами ряды лиц. Потом он сказал:

— «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители»¹.

¹ Слова Иисуса из притчи о неправедном управителе (Еванг. от Луки, 16, 8—9).

Отец Публдом стал объяснять значение этих слов звучным, уверенным голосом. Это одно из самых трудных мест во всем Писании, сказал он, потому что очень трудно истолковать его правильно и понятно. На первый взгляд даже может показаться, что он не согласуется с возвышенной моралью, проповедуемой Иисусом Христом. Но, сказал он своим слушателям, эти слова несомненно обращены как бы специально к тем, кому суждено жить в миру и кто тем не менее желает жить не так, как сыны мира сего. Эти слова как раз для деловых людей. Иисус Христос, в совершенстве постигший все слабости человеческой природы, понимал, что не все люди призваны жить в Боге, что, напротив, большинство их вынуждено жить в миру и в некоторой степени даже для мира; и этими словами он хотел дать им совет, рассказав для пользы их духовной жизни о тех корыстолюбцах, которые наименее всего пекутся о делах Божьих.

Он сказал своим слушателям, что сегодня он пришел сюда не затем, чтобы устрашать их или предъявлять к ним невыполнимые требования: он пришел как сын мира сего, чтобы поговорить с братьями своими. Он пришел говорить с деловыми людьми, и он будет говорить с ними по-деловому. Если ему позволено будет выразиться образно, он сейчас — их духовный бухгалтер; и он хочет, чтобы каждый из его слушателей раскрыл перед ним свои книги, книги своей духовной жизни, и посмотрел, точно ли сходятся в них счета совести.

Иисус Христос — милостивый хозяин. Он знает наши грехи, знает слабости нашей грешной природы, знает соблазны мирской жизни. У всех нас бывали искушения, и все мы им поддавались; у всех нас бывали греховные соблазны, и все мы грешили. Но только об одном, сказал он, просит он своих слушателей. Да будут они честны и мужественны перед Богом. Если их счета сходятся по всем графам, пусть они скажут:

«Вот, я проверил мои счета. В них все правильно».

Но если случится так, что в их счетах будет много ошибок, пусть они чистосердечно признаются в этом и скажут, как подобает мужчинам:

«Вот, я просмотрел мои счета. Я нашел, что в них много ошибок. Но милость Божия неизреченна, и я исправлюсь. Я приведу в порядок мои счета».

Мертвые

Лили, дочь сторожа, совсем сбилась с ног. Не успевала она проводить одного гостя в маленький чулан позади конторы в нижнем этаже и помочь ему раздеться, как опять начинал звонить сиплый колокольчик у входной двери, и опять надо было бежать бегом по пустому коридору открывать дверь новому гостю. Хорошо еще, что о дамах ей не приходилось заботиться. Мисс Кэт и мисс Джулия подумали об этом и устроили дамскую раздевальню в ванной комнате, наверху. Мисс Кэт и мисс Джулия обе были там, болтали, смеялись, и сустились, и то и дело выходили на лестницу, и, перегнувшись через перила, подзывали Лили и спрашивали, кто пришел.

Это всегда было целое событие — ежегодный бал у трех мисс Моркан. Собирались все их знакомые — родственники, старые друзья семьи, участники хора, в котором пела мисс Джулия, те из учениц Кэт, которые к этому времени достаточно подросли, и даже кое-кто из учениц Мэри Джейн. Ни разу не было, чтоб бал не удался. Сколько лет подряд он всегда проходил блестяще; с тех самых пор, как Кэт и Джулия после смерти брата Пэта взяли к себе Мэри Джейн, свою единственную племянницу, и из Стони Баттер переехали в темный мрачный дом на Ашер-Айленд, верхний этаж которого они снимали у мистера Фулгема, хлебного маклера, занимавшего нижний этаж. Это было добрых тридцать лет тому назад. Мэри Джейн из девочки в коротком платьице успела за это время стать главной опорой семьи: она была органисткой в церкви на Хэддингтон-Роуд. Она окончила Академию и каждый год устраивала концерты

своих учениц в концертном зале Энтвент. Многие из ее учениц принадлежали к самым лучшим семьям в аристократических кварталах Дублина. Обе тетки тоже еще работали, несмотря на свой преклонный возраст. Джулия, теперь уже совсем седая, все еще была первым сопрано в церкви Адама и Евы, а Кэт, которая по слабости здоровья не могла много ходить, давала уроки начинающим на старом квадратном фортепиано в столовой. Лили, дочь сторожа, была у них за прислугу. Хотя они жили очень скромно, в еде они себе не отказывали; все только самое лучшее: первосортный филей, чай за три шиллинга, портер высшего качества. Лили редко путала приказания и поэтому неплохо уживалась со своими тремя хозяйками. Они, правда, склонны были волноваться из-за пустяков, но это еще не большая беда. Единственное, чего они не выносили, это возражений.

А в такой вечер, как этот, немудрено было и поволноваться. Во-первых, было уже больше десяти, а ни Gabriel, ни его жена еще не приехали. Во-вторых, они страшно боялись, как бы Фредди Мэлинз не пришел под хмельком. Ни за что на свете они бы не хотели, чтоб кто-нибудь из учениц Мэри Джейн увидел его в таком состоянии; а когда он бывал навеселе, с ним нелегко было сладить. Фредди Мэлинз всегда запаздывал, а вот что задержало Gabriel, они не могли понять; поэтому они и выбегали поминутно на лестницу и спрашивали Лили, не пришел ли Gabriel или Фредди.

— Ах, мистер Конрой,— сказала Лили, открывая дверь Gabrielу.— Мисс Кэт и мисс Джулия уж думали, что вы совсем не придете. Здравствуйте, миссис Конрой.

— Неудивительно,— сказал Gabriel,— что они так думали. Но они забывают, что моей жене нужно не меньше трех часов, чтоб одеться.

Пока он стоял на половичке, счищая снег с галош, Лили проводила его жену до лестницы и громко позвала:

— Мисс Кэт! Миссис Конрой пришла.

Кэт и Джулия засеменили вниз по темной лестнице. Обе поцеловали жену Gabrielа, сказали, что бедняжка Грета, наверно, совсем зачоченела, и спросили: а где же Gabriel?

— Я тут, тетя Кэт, тут, будьте покойны. Идите наверх. Я сейчас приду,— отозвался Gabriel из темноты.

Он продолжал энергично счищать снег, пока женщины со смехом поднимались по лестнице, направляясь в дамскую раздевальню. Легкая бахрома снега как пелерина лежала на его пальто, а на галошах снег налип, словно накладной носок; когда же пуговицы со скрипом стали просовываться в обледеневшие петли, из складок и впадин в заиндевелом ворсе пахнуло душистым холодком.

— Разве снег опять пошел, мистер Конрой? — спросила Лили.

Она прошла впереди него в чулан, чтоб помочь ему раздеться. Габриел улыбнулся тому, как она произнесла его фамилию: словно она была из трех слогов, и посмотрел на нее. Она была тоненькая, еще не совсем сформировавшаяся девушка, с бледной кожей и соломенного цвета волосами. В свете газового рожка в чулане она казалась еще бледней. Габриел знал ее, еще когда она была ребенком и любила сидеть на нижней ступеньке лестницы, нянча тряпичную куклу.

— Да, Лили, — сказал он, — опять пошел и уже, должно быть, на всю ночь.

Он взглянул на потолок, сотрясавшийся от топота и шарканья ног в верхнем этаже; с минуту он прислушивался к звукам рояля, потом посмотрел на девушку, которая, свернув пальто, аккуратно укладывала его на полку.

— Скажи-ка, Лили, — спросил он дружеским тоном, — ты все еще ходишь в школу?

— Что вы, сэр, — ответила она, — я уже год как окончила школу, даже больше.

— Вот как, — весело сказал Габриел, — стало быть, скоро будем праздновать твою свадьбу, а?

Девушка посмотрела на него через плечо и ответила с глубокой горечью:

— Нынешние мужчины только языком треплют и норовят как-нибудь обойти девушку.

Габриел покраснел, словно почувствовав, что допустил какую-то бестактность, и, не глядя на Лили, сбросил галоши и усердно принялся концом кашне обмахивать свои лакированные туфли.

Он был высокого роста и полный. Румянец с его щек переползал даже на лоб, рассеиваясь по нему бледно-красными бесформенными пятнами. На его гладко выбритом лице беспокойно поблескивали круглые стек-

ла и новая золотая оправка очков, прикрывавших его близорукие и беспокойные глаза. Его глянцевиые черные волосы были расчесаны на прямой пробор и двумя длинными прядями загибались за уши; кончики завивались немного пониже ложбинки, оставленной шляпой.

Доведя свои туфли до блеска, он выпрямился и одернул жилет, туго стягивавший его упитанное тело. Потом быстро достал из кармана золотой.

— Послушай, Лили,— сказал он и сунул монету ей в руку,— сейчас ведь рождество, правда? Ну так вот... это тебе...

Он заспешил к двери.

— Нет, нет, сэръ! — воскликнула девушка, бросаясь за ним.— Право же, сэръ, я не могу...

— Рождество! Рождество! — сказал Габриел, почти бегом устремляясь к лестнице и отмахиваясь рукой.

Девушка, видя, что он уже на ступеньках, крикнула ему вслед:

— Благодарю вас, сэръ.

Он подождал у дверей в гостиную, пока окончится вальс, прислушиваясь к шелесту юбок, задевавших дверь, и шарканью ног. Он все еще был смущен неожиданным и полным горечи ответом девушки. У него остался неприятный осадок, и теперь он пытался забыть разговор, поправляя манжеты и галстук. Потом он достал из жилетного кармана небольшой клочок бумаги и прочел заметки, приготовленные им для застольной речи. Он еще не решил насчет цитаты из Роберта Браунинга¹; пожалуй, это будет не по плечу его слушателям. Лучше бы взять какую-нибудь всем известную строчку из Шекспира или из «Мелодий»². Грубое притопывание мужских каблуков и шарканье подошв напомнили ему, что он выше их всех по развитию. Он только поставит себя в смешное положение, если начнет цитировать стихи, которые они не способны понять. Они подумают, что он старается похвалиться перед ними своей начитанностью. Это будет такая же ошибка, как только что с девушкой в чулане. Он взял неверный тон. Вся его

¹ Роберт Браунинг (1812—1889), английский поэт, который в конце XIX в. считался «трудным» художником, доступным только избранным.

² «Ирландские мелодии» Томаса Мура, очень популярные стихи в Ирландии в конце XIX — начале XX в.

речь — это сплошная ошибка, от первого слова до последнего, полнейшая неудача.

В эту минуту из дамской раздевалки вышли его тетки и жена. Тетки были маленькие, очень просто одетые старушки. Тетя Джулия была повыше тети Кэт на какой-нибудь дюйм. Ее волосы, спущенные на уши, казались серыми; таким же серым с залегшими кое-где более темными тенями казалось ее широкое обрюзгшее лицо. Хотя она была крупной женщиной, растерянный взгляд и открытые губы придавали ей вид человека, который сам хорошенько не знает, где он сейчас и что ему надо делать. Тетя Кэт была живей. Ее лицо, более здоровое на вид, чем у сестры, было все в ямочках и складках, словно сморщенное румяное яблочко, а волосы, уложенные в такую же старомодную прическу, как у Джулии, не утратили еще цвет спелого ореха.

Обе звонко поцеловали Габриела. Он был их любимым племянником, сыном их покойной старшей сестры Эллен, вышедшей замуж за Т. Дж. Конроя из Управления портами и доками.

— Грета говорит, что вы решили не возвращаться в Монкзтаун сегодня и не заказывали кеба,— сказала тетя Кэт.

— Да,— сказал Габриел, оборачиваясь к жене,— с нас довольно прошлого раза, правда? Помните, тетя Кэт, как Грета тогда простудилась? Стекла в кебе дребезжали всю дорогу, а когда мы проехали Меррион, задул восточный ветер. Весело было, нечего сказать. Грета простудилась чуть не насмерть.

Тетя Кэт строго нахмурила брови и при каждом его слове кивала головой.

— Правильно, Габриел, правильно,— сказала она.— Осторожность никогда не мешает.

— Грета, та, конечно, пошла бы домой даже пешком,— сказал Габриел,— хоть по колено в снегу, только бы ей позволили.

Миссис Конрой рассмеялась.

— Не слушайте его, тетя Кэт,— сказала она.— Он вечно что-нибудь выдумывает: чтобы Том вечером надевал козырек, когда читает, чтобы он делал гимнастику, чтобы Ева ела овсянку. А бедная девочка ее просто видеть не может... А знаете, что он мне теперь велит носить? Ни за что не догадаетесь!

Она расхохоталась и посмотрела на мужа, который

переводил восхищенный и счастливый взгляд с ее платья на ее лицо и волосы. Обе тетки тоже от души рассмеялись, так как заботливость Габриела была в семье предметом постоянных шуток.

— Галоши! — сказала миссис Конрой. — Последняя его выдумка. Чуть только сыро, я должна надевать галоши. Он бы и сегодня заставил меня их надеть, только я отказалась наотрез. Скоро он мне водолазный костюм купит.

Габриел нервно усмехнулся и для успокоения потрогал галстук, а тетя Кэт прямо-таки перегнулась пополам — так ее развеселила эта шутка. Улыбка скоро сошла с лица тети Джулии, и снова на ее лице застыло безрадостное выражение. Помолчав, она спросила:

— А что такое галоши, Габриел?

— Джулия! — воскликнула ее сестра. — Бог с тобой, разве ты не знаешь, что такое галоши? Их надевают на... на башмаки, да, Грета?

— Да, — сказала миссис Конрой. — Такие гуттаперчевые штуки. У нас теперь у обоих по паре. Габриел говорит, что на континенте все их носят.

— Да, да, на континенте, — пробормотала Джулия, медленно кивая головой.

Габриел сдвинул брови и сказал, словно немного раздосадованный:

— Ничего особенного, но Грете смешно, потому что ей это слово напоминает о ярмарочных певцах.

— Послушай, Габриел, — тактично вмешалась тетя Кэт и быстро перевела разговор на другую тему: — Ты позаботился о комнате? Грета говорит...

— Насчет комнаты все улажено, — сказал Габриел. — Я заказал номер в «Грешеме».

— Ну вот и отлично, — сказала тетя Кэт, — самое лучшее, что можно было придумать. А о детях ты не беспокоишься, Грета?

— На одну-то ночь, — сказала миссис Конрой. — Да и Бесси за ними присмотрит.

— Ну вот и отлично, — повторила тетя Кэт, — какое счастье, что у вас есть няня, на которую можно положиться. А с нашей Лили что-то творится в последнее время. Девушку прямо узнать нельзя.

Габриел только что собрался поподробнее расспросить свою тетку, как вдруг та замочла, спокойно следя

взглядом за сестрой, которая пошла к лестнице и перегнулась через перила.

— Ну, скажите, пожалуйста,— воскликнула она почти с раздражением,— куда это Джулия пошла? Джулия! Джулия! Куда ты пошла?

Джулия, уже наполовину спустившись с лестницы, вернулась и кротко ответила:

— Фредди пришел.

В ту же минуту аплодисменты и финальный пассаж на рояле возвестили окончание вальса. Двери гостиной распахнулись, и появилось несколько пар. Тетя Кэт торопливо отвела Габриела в сторону и зашептала ему на ухо:

— Габриел, голубчик, пойди вниз и посмотри, какой он, и не пускай его наверх, если он нетрезв. Он, наверно, нетрезв. Я чувствую.

Габриел подошел к перилам и прислушался. Слышно было, как двое разговаривают в чулане. Потом он узнал смех Фредди Мэлинза. Габриел шумно сбежал по лестнице.

— Как хорошо, что Габриел здесь,— сказала тетя Кэт, обращаясь к миссис Конрой.— У меня всегда гораздо спокойней на душе, когда он здесь. Джулия, проводи мисс Дейли и мисс Пауэр в столовую, угости их чем-нибудь. Тысячу благодарностей, мисс Дейли, за ваш прекрасный вальс. Под него так хорошо танцевать.

Высокий сморщенный человек с жесткими седыми усами и очень смуглой кожей, выходящий из гостиной вместе со своей дамой, сказал:

— А нас тоже угостят, мисс Моркан?

— Джулия,— сказала тетя Кэт, обращаясь ко всем,— мистер Браун и мисс Ферлонг тоже скушают что-нибудь. Проводи их в столовую, Джулия, вместе с мисс Дейли и мисс Пауэр.

— Я поухаживаю за дамами,— сказал мистер Браун, так плотно сжимая губы, что усы его ощетинились, и улыбаясь всеми своими морщинами.— Сказать вам, мисс Моркан, за что они все меня так любят...

Он не кончил фразы, увидев, что тетя Кэт уже отошла, и тотчас повел всех трех дам в столовую. Среди комнаты была занята двумя составленными вместе квадратными столами, тетя Джулия и сторож поправляли и разглаживали скатерть. На буфете были расставлены блюда, тарелки и стаканы, сложены кучкой

ножи, вилки и ложки. Крышка квадратного фортепиано была закрыта, и на ней тоже стояли закуски и сладости. В углу, возле другого буфета, поменьше, стояли двое молодых людей и пили пиво.

Мистер Браун провел туда своих дам и спросил в шутку, не хотят ли они выпить по стаканчику дамского пунша, горячего, крепкого и сладкого. Услышав в ответ, что они никогда не пьют ничего крепкого, он откупорил для них три бутылки лимонада. Потом он попросил одного из молодых людей подвинуться и, завладев графинчиком, налил себе солидную порцию виски. Молодые люди с уважением поглядели на него, когда он отхлебнул первый глоток.

— Господи, благослови,— сказал он улыбаясь.— Мне это доктор прописал.

Его сморщенное лицо еще шире расплылось в улыбке, и все три дамы музыкальным смехом ответили на его шутку, покачиваясь всем телом и нервно передергивая плечами. Самая смелая сказала:

— О, мистер Браун, я уверена, что доктор вам ничего подобного не прописывал.

Мистер Браун отхлебнул еще глоток и сказал гри-масничая:

— Видите ли, я, как знаменитая миссис Кассиди, которая будто бы говорила: «Ну, Мэри Граймс, если я сама не выпью, так заставь меня выпить, потому как мне очень хочется».

Он слишком близко наклонил к ним свое разгоряченное лицо, и свою тираду он произнес, подражая говору дублинского простонародья; дамы, словно сговорившись, промолчали в ответ на его слова. Мисс Ферлонг, одна из учениц Мэри Джейн, спросила мисс Дейли, как называется тот миленький вальс, который она играла, а мистер Браун, видя, что на него не обращают внимания, проворно обернулся к слушающим его молодым людям.

Краснолицая молодая женщина, одетая в лиловое, вошла в комнату, оживленно захлопала в ладоши и крикнула:

— Кадриль! Кадриль!

За ней по пятам спешила тетя Кэт, крича:

— Двух кавалеров и трех дам, Мэри Джейн.

— Вот тут как раз мистер Бергин и мистер Керриган,— сказала Мэри Джейн.— Мистер Керриган, вы

пригласите мисс Пауэр, хорошо? Мисс Ферлонг, разрешите вам предложить мистера Бергина в кавалеры. Теперь все в порядке.

— Трех дам, Мэри Джейн,— сказала тетя Кэт.

Молодые люди спросили девиц, не окажут ли они им честь, а Мэри Джейн обратилась к мисс Дейли:

— Мисс Дейли, мне, право, совестно... вы были так добры — играли два последних танца... но у нас сегодня так мало дам...

— Ничего, ничего, я с удовольствием, мисс Моркан.

— И у меня есть для вас очень интересный кавалер, мистер Бартелл д'Арси, тенор. Позже он нам споет. Весь Дублин от него в восторге.

— Чудесный голос, чудесный! — сказала тетя Кэт.

Рояль уже дважды начинал вступление к первой фигуре, и Мэри Джейн поспешно увела завербованных танцоров. Едва они вышли, как в комнату медленно вплыла тетя Джулия, оглядываясь на кого-то через плечо.

— Ну, в чем дело, Джулия? — тревожно спросила тетя Кэт. — Кто там с тобой?

Джулия, прижимая к груди гору салфеток, повернулась к сестре и сказала равнодушно, словно удивленная вопросом:

— Да это Фредди, Кэт, и с ним Габриел.

В самом деле, за спиной Джулии виднелся Габриел, тащивший на буксире Фредди Мэлинза через площадку лестницы. Последний, упитанный господин лет сорока, ростом и телосложением напоминал Габриела, только плечи у него были очень покатые. У него было отекавшее, землистое лицо, на котором багровели отвислые мочки ушей да ноздри крупного носа. Грубые черты, тупой нос, вдавленный и покатый лоб, влажные оттопыренные губы. Глаза с тяжелыми веками и растрепанные редкие волосы придавали ему сонный вид. Он громко смеялся дискантом над каким-то анекдотом, который начал рассказывать Габриелу, еще когда они шли по лестнице, и левым кулаком все время тер левый глаз.

— Добрый вечер, Фредди,— сказала тетя Джулия.

Фредди Мэлинз поздоровался с обеими мисс Моркан как будто бы небрежно, но это, вероятно, происходило от того, что он заикался, а затем, видя, что мистер Браун подмигивает ему, стоя возле буфета, он не совсем твердым шагом направился к нему и вполголоса

принялся опять рассказывать анекдот, который только что рассказывал Габриелу.

— Он, кажется, ничего? — спросила тетя Кэт Габриела.

Услышав вопрос, Габриел быстро изменил выражение лица и сказал:

— Ничего, почти совсем незаметно.

— Ужасный все-таки человек! — сказала тетя Кэт. — А ведь только в канун Нового года он дал матери слово, что бросит пить. Пойдем в гостиную, Габриел.

Прежде чем выйти из комнаты, она, строго нахмурив брови, погрозила пальцем мистеру Брауну. Мистер Браун кивнул в ответ и, когда она вышла, сказал Фредди Мэлинзу:

— Ну, Тедди, теперь вам нужно выпить хороший стаканчик лимонаду, чтобы подбодриться.

Фредди Мэлинз, в эту минуту рассказывавший самое интересное место, нетерпеливо отмахнулся. Но мистер Браун сперва заметил, что в его костюме некоторая небрежность, затем проворно налил и подал ему полный стакан лимонада. Левая рука Фредди Мэлинза машинально взяла стакан, пока правая столь же машинально была занята приведением костюма в порядок. Мистер Браун, весь сморщившись от удовольствия, налил себе виски, а Фредди Мэлинз, не досказав анекдот до конца, закашлялся, разразившись громким смехом. Он поставил свой налитый до краев стакан на буфет и принялся левым кулаком тереть левый глаз, повторяя слова последней фразы, задыхаясь от сотрясавшего его смеха.

Габриел заставил себя слушать виртуозную пьесу, полную трудных пассажей, которую Мэри Джейн играла перед затихшей гостиной. Он любил музыку, но в этой вещи не улавливал мелодии и сомневался, чтобы ее мог уловить кто-нибудь из слушателей, хотя они и попросили Мэри Джейн сыграть. Четверо молодых людей, появившихся из столовой при первых звуках рояля, остановились в дверях гостиной, но через несколько минут потихоньку один за другим ушли. Казалось, музыку слушали только Мэри Джейн, чьи руки то бегали по клавишам, то, во время пауз, поднимались вверх, словно у посылающей кому-то проклятия жрицы, и тетя Кэт, ставшая рядом, чтобы переворачивать страницы.

Глаза Габриела, утомленные блеском навощенного пола под тяжелой люстрой, скользнули по стене за роялем. Там висела картина — сцена на балконе из «Ромео и Джульетты», а рядом — шитый красным, голубым и коричневым гарусом коврик, изображавший маленьких принцев, убитых в Тауэре¹, который тетя Джулия вышила, еще когда была девочкой. Должно быть, в школе, где сестры учились в детстве, целый год обучали такому вышиванию. Его мать когда-то, в подарок ко дню рождения, расшила маленькими лисьими головками жилет из пурпурного табинета, на коричневой шелковой подкладке и с круглыми стеклянными пуговицами. Странно, что у его матери не было музыкальных способностей, хотя тетя Кэт всегда называла ее гением семьи Моркан. И она, и тетя Джулия, казалось, немного гордились своей серьезной и представительной старшей сестрой. Ее фотография стояла на подзеркальнике. Она держала на коленях открытую книгу и что-то в ней показывала Константину, который в матроске лежал у ее ног. Она сама выбрала имена своим сыновьям: она всегда очень пеклась о достоинстве семьи. Благодаря ей Константин² сейчас был приходским священником в Балбригене, и благодаря ей Габриел окончил Королевский университет³. Тень пробежала по его лицу, когда он вспомнил, как упрямо она противилась его браку. Несколько обидных слов, сказанных ею, мучили его до сих пор; как-то раз она сказала, что Грета — хитрая деревенская девка, а ведь это была неправда. Грета ухаживала за ней во время ее последней долгой болезни, у них, в Монкзтауне.

Должно быть, пьеса, которую играла Мэри Джейн, подходила к концу, потому что теперь опять повторялась вступительная тема с пассажами после каждого такта; и пока он дожидался ее окончания, враждебное чувство угасло в нем. Пьеса закончилась тремоло в верхней октаве и финальной низкой октавой в басах.

¹ Английский король Ричард III (1453—1485) отдал приказание убить своих племянников, сыновей старшего брата Эдуарда IV, которые мешали ему получить трон.

² Габриел назван в честь архангела Гавриила, который сообщил священнику Захарии о рождении сына, Иоанна Крестителя, а Деве Марии — о рождении Иисуса. Константин — от латинского *constans* — твердый, постоянный.

³ Имеется в виду Дублинский Университетский колледж.

Громкие аплодисменты провожали Мэри Джейн, когда она, красная, нервно свертывая ноты в трубочку, выскользнула из гостиной. Сильнее всех аплодировали четверо молодых людей, которые ушли в столовую в начале исполнения, но вернулись и снова стали в дверях, как только рояль замолк.

Началось лансье¹. Габриел оказался в паре с мисс Айворз. Это была говорливая молодая женщина с решительными манерами; у нее были карие глаза навывкате и все лицо в веснушках. Она не была декольтирована, и воротник у нее был заколот большой брошкой с эмблемой Ирландии².

Когда они заняли свои места, она вдруг сказала:

— Я собираюсь с вами ссориться.

— Со мной? — сказал Габриел.

Она строго кивнула головой.

— Из-за чего? — спросил Габриел, улыбаясь ее торжественному тону.

— Кто такой Г. К.? — спросила мисс Айворз, пристально глядя ему в лицо.

Габриел покраснел и хотел было поднять брови, словно не понимая, но она резко сказала:

— Скажите, какая невинность! Оказывается, вы пишите для «Дейли экспресс»³. Не стыдно вам?

— Почему мне должно быть стыдно? — сказал Габриел, моргая и пытаясь улыбнуться.

— Мне за вас стыдно, — сказала мисс Айворз решительно, — писать для такой газеты! Я не знала, что вы англофил.

На лице Габриела появилось смущенное выражение. Он в самом деле давал литературный обзор в «Дейли экспресс» по средам и получал за него пятнадцать шиллингов. Но из этого еще не следует, что он стал англофилом. В сущности, он гораздо больше радовался книгам, которые ему присылали на рецензию, чем ничтожной оплатой. Ему нравилось ощупывать переплеты и перелистывать свежееотпечатанные страницы. Почти каждый день после занятий в колледже он заходил к букинистам на набережной — к Хикки на Бэчелор-Уок, к Уэббу или Мэсси на Астонской набережной или в пе-

¹ Старинная форма кадрили.

² Мисс Айворз была сторонницей Ирландского Возрождения.

³ Ирландская газета консервативного толка, не поддерживала программу Ирландского Возрождения.

реулок к О'Клоисси. Он не знал, что ей возразить. Ему хотелось сказать, что литература выше политики. Но они были давнишними друзьями, вместе учились в университете, потом вместе преподавали; с ней неуместны выпендренные фразы. Он все моргал, и все старался улыбнуться, и наконец невнятно пробормотал, что не видит никакой связи между политикой и писанием рецензий.

Когда они вновь встретились в танце, он все еще был смущен и рассеян. Мисс Айворз быстро сжала его руку в своей теплой руке и сказала дружески и мягко:

— Полно, я пошутила. Скорей, наша очередь расходиться.

Когда они опять оказались вместе, она заговорила об университетском вопросе¹, и Габриел почувствовал себя свободней. Кто-то из друзей показал ей рецензию Габриела на стихи Браунинга — вот как она узнала его тайну; рецензия ей страшно понравилась.

Потом она вдруг сказала:

— Да, кстати, мистер Конрой, не примете ли вы участие в экскурсии на Аранские острова² этим летом? Мы поедem на целый месяц. Вот будет чудесно оказаться в открытом океане! Вы непременно должны поехать. Поедут мистер Клэнси, и мистер Килкелли, и Кэтлин Карни³. И Грете хорошо бы поехать. Она ведь из Коннахта⁴?

— Она оттуда родом,— сухо сказал Габриел.

— Так, значит, едем, решено?— сказала мисс Айворз с жаром, тронув его руку своей теплой рукой.

— Собственно говоря,— начал Габриел,— я уже решил поехать...

— Куда?— спросила мисс Айворз.

— Видите ли, я каждый год совершаю экскурсию на велосипеде с несколькими приятелями...

¹ Имеется в виду конфликт, возникший из-за попытки уравнивать образование протестантов и католиков в Англии и Ирландии.

² Аранские острова расположены у западного побережья Ирландии. Странники Ирландского Возрождения идеализировали в своих произведениях природу этих островов и образ жизни крестьян, которые продолжали говорить там на забытом гэльском языке и были, с точки зрения участников движения, истинными носителями ирландского духа, поскольку не были испорчены цивилизацией.

³ Персонаж рассказа «Мать».

⁴ Коннахт — одна из четырех провинций Ирландии, расположенная на западе страны.

— Но куда? — спросила мисс Айворз.

— Видите ли, мы обычно путешествуем по Франции или Бельгии, иногда по Германии,— смущенно сказал Габриел.

— А зачем вам путешествовать по Франции или Бельгии,— сказала мисс Айворз,— лучше бы узнали свою родину.

— Ну,— сказал Габриел,— отчасти, чтобы изучить язык, а отчасти, чтоб сменить обстановку.

— А свой родной язык вам не надо изучать — ирландский? — спросила мисс Айворз.

— Если уж на то пошло,— сказал Габриел,— то гэльский вовсе не мой родной язык.

Соседняя пара начала прислушиваться к этому вопросу. Габриел беспокойно поглядел направо и налево, он старался сохранить самообладание, но краска начала заливать его лоб.

— А свою родину вам не надо узнать поближе? — продолжала мисс Айворз.— Родину, которой вы совсем не знаете, родной народ, родную страну?

— Сказать вам правду,— вдруг резко возразил Габриел,— мне до смерти надоела моя родная страна!

— Почему? — спросила мисс Айворз.

Габриел не ответил, слишком взволнованный собственными словами.

— Почему? — спросила мисс Айворз.

Пора было меняться дамами, и, так как Габриел все молчал, мисс Айворз сказала горячо:

— Конечно, вам нечего ответить.

Чтобы скрыть свое волнение, Габриел стал танцевать с необыкновенным рвением. Он избегал взгляда мисс Айворз, так как заметил кислую гримасу на ее лице. Но когда они снова встретились в общем кругу, он с удивлением почувствовал, что она крепко пожимает ему руку. Мгновение она лукаво смотрела на него, пока он не улыбнулся. Затем, когда цепь опять пришла в движение, она встала на цыпочки и шепнула ему на ухо:

— Англофил!

Когда лансье окончилось, Габриел отошел в дальний угол, где сидела мать Фредди Мэлинза. Это была толстая болезненная старуха, вся седая. Так же, как сын, она слегка заикалась. Ей уже сказали, что Фредди здесь и что он почти совсем трезв. Габриел спросил ее, хорошо ли она доехала, не качало ли их на пароходе. Она

жила у своей замужней дочери в Глазго и каждый год приезжала в Дублин погостить. Она ровным голосом ответила, что нисколько не качало и капитан был к ней очень внимателен. Она рассказала также о том, как хорошо живет ее дочь в Глазго и как много у них там знакомых. Пока она говорила, Габриел пытался забыть о неприятном разговоре с мисс Айворз. Конечно, она восторженная девушка, или женщина, или что она там такое, но, право, всему своё время. Пожалуй, не следовало так отвечать ей. Но она не имела права перед всеми называть его англофилом, даже в шутку. Она хотела сделать из него посмешище, устраивая ему этот допрос и тараща на него свои кроличьи глаза.

Он увидел, что жена пробирается к нему между вальсирующими парами. Подойдя, она сказала ему на ухо:

— Габриел, тетя Кэт спрашивает, будешь ли ты резать гуся, как всегда, или нет. Мисс Дейли нарежет окорок, а я — пудинг.

— Хорошо, — сказал Габриел.

— Она устроит так, чтобы молодежь поужинала раньше, и мы будем в своей компании.

— Ты танцевала? — спросил Габриел.

— Конечно. Разве ты меня не видел? Из-за чего вы поспорили с Молли Айворз?

— И не думали спорить. Откуда ты взяла? Это она сказала?

— Да, сказала что-то в этом духе. Я уговариваю этого мистера д'Арсси спеть. Он ужасно ломается.

— Мы вовсе не спорили, — сказал Габриел недовольным тоном, — просто она уговаривала меня поехать в западную Ирландию, а я отказался.

Его жена радостно хлопнула в ладоши и слегка подпрыгнула.

— Поедем, Габриел, — воскликнула она, — мне так хочется еще раз побывать в Голуэе!

— Поезжай, если хочешь, — холодно ответил Габриел.

Она секунду смотрела на него, потом повернулась к миссис Мэлинз и сказала:

— Любезный у меня муженек, правда, миссис Мэлинз?

Она не торопясь отошла, а миссис Мэлинз, словно не было никакого перерыва, продолжала рассказывать ему, какие замечательные места есть в Шотландии и

какие замечательные виды. Ее зять каждый год возит их на озеро, и они там удят рыбу. Ее зять изумительный рыболов. Однажды он поймал замечательную рыбу, и повар в отеле зажарил ее им на обед.

Габриел едва слышал, что она говорила. Теперь, когда до ужина оставалось уже немного, он опять начал думать о своей речи и о цитате из Браунинга. Когда он увидел, что Фредди Мэлинз направляется к матери, он уступил ему место и отошел в амбразуру окна. Комната уже опустела, и из столовой доносился звон ножей и тарелок. Те, кто еще оставался в гостиной, устали танцевать и тихо разговаривали, разбившись на группы. Теплые дрожащие пальцы Габриела забарабанили по холодному оконному стеклу. Как, наверно, свежо там, на улице. Как приятно было бы пройтись одному — сперва вдоль реки, потом через парк! Ветви деревьев, наверно, все в снегу, а на памятнике Веллингтону¹ белая шапка из снега. Насколько приятней было бы оказаться там, чем за столом, с гостями!

Он быстро просмотрел главные пункты своей речи: ирландское гостеприимство, печальные воспоминания, три грации, Парис, цитата из Браунинга. Он повторил про себя фразу из своей рецензии: «Кажется, что слушаешь музыку, разъедаемую мыслью». Мисс Айворз похвалила рецензию. Искренне или нет? Есть ли у нее какая-нибудь личная жизнь, помимо всех этих громких слов? Они никогда не ссорились до этого вечера. Неприятно, что она тоже будет сидеть за ужином и смотреть на него своим критическим, насмешливым взглядом, когда он будет говорить. Она-то будет рада, если он провалится. Внезапно ему пришла в голову мысль, подбодрившая его. Он скажет, имея в виду тетю Кэт и Джулию: «Леди и джентльмены, поколение, которое сейчас уходит от нас, имело, конечно, свои недостатки, но зато, на мой взгляд, ему присущи добродетели — гостеприимство, юмор, человечность, которых не хватает, быть может, новому, чрезмерно серьезному и чрезмерно образованному поколению». Очень хорошо; это будет камешек в огород мисс Айворз. Конечно, его тетки, в

¹ У восточного входа в Феникс-Парк стоит памятник герцогу Веллингтону (1763—1852). Хотя Веллингтон по происхождению ирландец, в стране его воспринимали как символ английского владения.

сущности, просто невежественные старухи, но разве в этом дело?

Шум в гостиной привлек его внимание. Мистер Браун шествовал от двери, галантно сопровождая тетю Джулию, которая, опустив голову и улыбаясь, опиралась на его руку. Неровные хлопки провожали ее до самого рояля и постепенно стихли, когда Мэри Джейн села на табурет, а тетя Джулия, уже не улыбаясь, стала рядом, повернувшись так, чтобы ее голос был лучше слышен. Габриел узнал вступление. Это была старинная песня, которую часто пела Джулия,— «В свадебном наряде»¹. Ее голос, сильный и чистый, твердо вел мелодию, с блеском выполняя трудные места, и, хотя она пела в очень быстром темпе, в фиоритурах она не пропустила ни единой нотки. Ощущение от ее голоса, если не смотреть на лицо певицы, было такое же, как от быстрого и уверенного полета. Когда она кончила, Габриел громко зааплодировал вместе с остальными, и громкие аплодисменты донеслись от невидимых слушателей из столовой. Они звучали так искренне, что легкая краска появилась на лице тети Джулии, когда она наклонилась поставить на этажерку старую нотную тетрадь с ее инициалами на кожаном переплете. Фредди Мэлинз, все время державший голову набок, чтобы лучше слышать, продолжал еще аплодировать, когда остальные уже перестали, и что-то оживленно говорил своей матери, которая медленно и важно кивала головой. Наконец он тоже больше не в силах был аплодировать, вскочил и через всю комнату поспешно подбежал к тете Джулии и обеими руками крепко пожал ее руку, и встряхивал ее каждый раз, когда ему не хватало слов или заиканье прерывало его речь.

— Я только что говорил матери,— сказал он,— никогда еще вы так не пели, никогда! Нет, право, такой звук... никогда еще не слышал. Что? Не верите? Истинная правда. Честью вам клянусь. Такой свежий, и такой чистый, и... и... такой свежий... никогда еще не было.

Тетя Джулия, широко улыбаясь, пробормотала что-то насчет комплиментов и осторожно высвободила ру-

¹ Ария из оперы Винченцо Беллини (1802—1835) «Пуритане» (1834), завоевавшая особую популярность благодаря своим пленительно-страстным мелодиям.

ку. Приосанившись, мистер Браун произнес, обращаясь к окружающим тоном ярмарочного зазывалы, представляющего публике какое-нибудь чудо природы:

— Мое последнее открытие — мисс Джулия Моркан!

Он сам от души расхохотался над своей шуткой, но Фредди Мэлинз повернулся к нему и сказал:

— Такие удачные открытия не часто у вас бывали, Браун, смею вас уверить. Могу только сказать, что ни разу еще не слышал, чтобы она так пела, за все годы, что ее знаю. И это истинная правда.

— Я тоже не слышал,— сказал мистер Браун,— ее голос стал еще лучше, чем прежде.

Тетя Джулия пожала плечами и сказала не без гордости:

— Лет тридцать тому назад у меня был неплохой голос.

— Я всегда говорю Джулии,— горячо сказала тетя Кэт,— что она просто зря пропадает в этом хоре. Она меня и слушать не хочет.

Она повернулась к гостям, словно взывая к ним в споре с непослушным ребенком, а тетя Джулия смотрела прямо перед собой, на лице ее блуждала улыбка: она предалась воспоминаниям.

— Да,— продолжала тетя Кэт,— никого не хочет слушать и мучается с этим хором с утра до вечера, да еще и по ночам тоже. В первый день Рождества с шести утра начинают, вы только подумайте! И чего ради, спрашивается?

— Ради того, чтобы послужить Господу Богу, тетя Кэт. Разве не так?— сказала Мэри Джейн, поворачиваясь кругом на вращающемся табурете и улыбаясь.

Тетя Кэт гневно накинулась на племянницу:

— Это все очень хорошо, Мэри Джейн,— послужить Господу Богу, я это и сама знаю, но скажу: не делает чести папе изгонять из церковного хора женщин¹, которые всю жизнь отдали этому делу. Да еще ставить над ними мальчишек-молокососов. Надо думать, это для блага церкви, раз папа так постановил. Но это несправедливо, Мэри Джейн, неправильно и несправедливо.

¹ Имеется в виду решение папы Пия X (1835—1914), принятое им самолично, без согласования с кардиналами, о недопущении в церковный хор женщин, как неспособных выполнять духовное предназначение церковного песнопения.

Она совсем разгорячилась и еще долго и много говорила бы в защиту сестры, потому что это была наиболее болезненная тема, но Мэри Джейн, видя, что все танцоры возвращаются в гостиную, сказала умиротворяющим тоном:

— Тетя Кэт, ты вводишь в соблазн мистера Брауна, который и так не нашей веры.

Тетя Кэт обернулась к мистеру Брауну, ухмыльнувшемуся при упоминании о его вероисповедании, и сказала поспешно:

— Не подумайте, ради Бога, что я сомневаюсь в правоте папы. Я всего только глупая старуха и никогда бы не посмела. Но есть все же на свете такие понятия, как простая вежливость и благодарность. Будь я на месте Джулии, я бы напрямик заявила этому отцу Хили...

— И кроме того, тетя Кэт,— сказала Мэри Джейн,— мы все хотим есть, а когда люди хотят есть, они легко ссорятся.

— А когда люди хотят пить, они тоже легко ссорятся,— прибавил мистер Браун.

— Так что лучше сперва поужинаем,— сказала Мэри Джейн,— а спор закончим после.

У дверей в гостиную Габриел застал свою жену и Мэри Джейн, которые уговаривали мисс Айворз остаться ужинать. Но мисс Айворз, уже надевшая шляпу и теперь застегивавшая пальто, не хотела оставаться. Ей совсем не хочется есть, да она и так засиделась.

— Ну, каких-нибудь десять минут, Молли,— говорила миссис Конрой.— Это вас не задержит.

— Надо же вам подкрепиться,— говорила Мэри Джейн,— вы столько танцевали.

— Право, не могу,— сказала мисс Айворз.

— Вам, наверное, было скучно у нас,— огорченно сказала Мэри Джейн.

— Что вы, что вы, наоборот,— сказала мисс Айворз,— но теперь вы должны меня отпустить.

— Но как же вы дойдете одна?— спросила миссис Конрой.

— Тут всего два шага, по набережной.

Поколебавшись с минуту, Габриел сказал:

— Если разрешите, я вас провожу, мисс Айворз, раз уж вам так необходимо идти.

Но мисс Айворз замахала руками.

— И слышать не хочу,— воскликнула она.— Ради

Бога, идите ужинать и не беспокойтесь обо мне. Отлично дойду одна.

— Чудачка вы, Молли,— в сердцах сказала миссис Конрой.

— Веанпacht libh!¹ — со смехом крикнула мисс Айворз, сбегая по лестнице.

Мэри Джейн посмотрела ей вслед; она была огорчена, а миссис Конрой перегнулась через перила, прислушиваясь, когда хлопнет парадная дверь. Габриел подумал про себя, не он ли причина этого внезапного ухода. Но нет, она вовсе не казалась расстроенной, смеялась, уходя.

Внезапно из столовой появилась тетя Кэт, торопясь, и спотыкаясь, и беспомощно ломая руки.

— Где Габриел? — воскликнула она. — Ради всего святого, куда девался Габриел? Там все уже сидят за столом и некому резать гуся!

— Я тут, тетя Кэт,— крикнул Габриел с внезапным оживлением,— хоть целое стадо гусей разрежу, если вам угодно.

Жирный подрумяненный гусь лежал на одном конце стола, а на другом конце, на подстилке из гофрированной бумаги, усыпанной зеленью петрушки, лежал большой окорок, уже без кожи, обсыпанный толчеными сухарями, с бумажной бахромой вокруг кости; и рядом — ростбиф с пряностями. Между этими солидными яствами вдоль по всему столу двумя параллельными рядами вытянулись тарелки с десертом: две маленькие башенки из красного и желтого желе; плоское блюдо с кубиками бланманже и красного мармелада; большое зеленое блюдо в форме листа с ручкой в виде стебля, на котором были разложены горстки темно-красного изюма и горки очищенного миндаля, и другое такое же блюдо, на котором лежал слипшийся засахаренный инжир; соусник с кремом, посыпанным сверху тертым мускатным орехом; небольшая вазочка с конфетами — шоколадными и еще другими, в обертках из золотой и серебряной бумаги; узкая стеклянная ваза, из которой торчало несколько длинных стеблей сельдерея. В центре стола, по бокам подноса, на котором возвышалась пирамида из апельсинов и яблок, словно часовые на страже, стояли два старинных пузатых хрустальных графинчика: один —

¹ До свидания (*гэльск.*).

с портвейном, другой — с темным хересом. На опущенной крышке рояля дожидался своей очереди пудинг на огромном желтом блюде, а за ним три батареи бутылок — с портером, элем и минеральной водой, подобранных по цвету мундира: первые два в черном с красными и коричневыми ярлыками, последняя и не очень многочисленная — в белом с зелеными косыми перевязями.

Габриел с уверенным видом занял свое место во главе стола, поглядел на лезвие ножа и решительно воткнул вилку в гуся. Теперь он чувствовал себя отлично; он умел мастерски разрезать жаркое и больше всего на свете любил сидеть вот так, во главе уставленного яствами стола.

— Мисс Ферлонг,— сказал он,— что вам дать? Крылышко или кусочек грудки?

— Грудку, пожалуйста, только самый маленький кусочек.

— Мисс Хиггинс, а вам?

— Что хотите, мне все равно, мистер Конрой.

Пока Габриел и мисс Дейли передавали тарелки с гусем, окороком и ростбифом, Лили обходила всех гостей с блюдом, на котором, завернутый в белую салфетку, лежал горячий рассыпчатый картофель. Это была идея Мэри Джейн, она же хотела было сделать к гусю яблочный соус, но тетя Кэт сказала, что она всю жизнь ела просто жареного гуся, без всяких яблочных соусов, и дай Бог, чтобы и впредь было не хуже. Мэри Джейн угощала своих учениц и следила за тем, чтобы им достались лучшие куски, а тетя Кэт и тетя Джулия откупоривали возле рояля и передавали на стол бутылки с портером и элем — для мужчин и бутылки с минеральной водой — для дам. Было много суеты, смеха, шума — от голосов, отдававших противоречивые приказания, от звона ножей, и вилок, и стаканов о горлышко графинов и хлопанья пробок. Как только гостей обнесли первой порцией гуся, Габриел тотчас начал резать по второй, не положив еще ничего на свою тарелку. Это вызвало шумные протесты, и Габриел в виде уступки отхлебнул хороший глоток портера, так как разрезать гуся оказалось нелегкой работой. Мэри Джейн уже спокойно сидела и ужинала, но тетя Кэт и тетя Джулия все еще семенили вокруг стола, наталкивались друг на друга, наступали друг другу на ноги и отдавали друг другу приказания, которых ни та, ни другая не слушали. Ми-

стер Браун умолял их сесть за стол, о том же просил и Габриел, но они отнекивались, так что наконец Фредди Мэлинз встал и, схватив тетю Кэт, под общий смех силком усадил ее на стул.

Когда всем было все подано, Габриел, улыбаясь, сказал:

— Ну-с, если кому угодно получить, как говорят в просторечье, добавок, пусть тот соблаговолит высказаться.

Хор голосов потребовал, чтобы он сам наконец приступил к ужину, и Лили поднесла ему три картофелины, которые она сберегла для него.

— Слушаюсь,— любезно сказал Габриел и отхлебнул еще портера.— Пожалуйста, леди и джентльмены, забудьте на несколько минут о моем существовании.

Он начал есть и не принимал участия в разговоре, заглушавшем стук тарелок, которые убирала Лили. Темой разговора была оперная труппа, гастролировавшая в Королевском театре. Мистер Бартелл д'Арси, тенор, смуглый молодой человек с изящными усиками, очень хвалил первое контральто, но мисс Ферлонг находила ее исполнение вульгарным. Фредди Мэлинз сказал, что в мюзик-холле во втором отделении выступает негритянский царек и у него замечательный тенор, лучший из всех, какие он когда-либо слышал.

— Вы его слышали?— спросил он через стол у мистера Бартелла д'Арси.

— Нет,— небрежно ответил мистер Бартелл д'Арси.

— Видите ли,— пояснил Фредди Мэлинз,— мне очень интересно знать ваше мнение. По-моему, у него замечательный голос.

— Тедди постоянно делает необыкновенные открытия,— с дружеской насмешкой сказал мистер Браун, обращаясь ко всему столу.

— А почему бы у него не быть хорошему голосу?— резко спросил Фредди Мэлинз.— Потому, что он чернокожий?

Никто не ответил, и Мэри Джейн снова перевела разговор на классическую оперу. Одна из ее учениц достала ей контрамарку на «Миньон»¹. Прекрасное было ис-

¹ «Миньон» (1866) — одна из самых популярных французских опер XIX столетия на музыку Амбруаза Тома (1811—1896) и либретто Мишеля Карре и Жюля Барбье.

полнение, но она не могла не вспомнить о бедной Джорджине Бернс. Мистер Браун ударился в воспоминания — о старых итальянских труппах, когда-то приезжавших в Дублин, о Тьетенс, об Ильме де Мурзка, о Кампанини, о великом Требелли, Джульини, Равелли, Арамбуро. Да, в те дни, сказал он, в Дублине можно было услышать настоящее пение. Он рассказал также о том, как в старом Королевском театре¹ галерка каждый вечер бывала битком набита, как однажды итальянский тенор пять раз бисировал арию «Пусть, как солдат, я умру»² и всякий раз брал верхнее «до»; как иной раз ребята с галерки выпрягали лошадей из экипажа какой-нибудь примадонны и сами везли ее по улице до отеля. Почему теперь не ставят знаменитых старых опер — «Динору», «Лукрецию Борджиа»?³ Да потому, что нет таких голосов, чтобы могли в них петь. Вот почему.

— Ну,— сказал мистер Бартелл д'Арси,— думаю, что и сейчас есть певцы не хуже, чем тогда.

— Где они? — вызывающе спросил мистер Браун.

— В Лондоне, в Париже, в Милане,— с жаром ответил мистер Бартелл д'Арси.— Карузо, например, наверно, не хуже, а, пожалуй, и лучше тех, кого вы называли.

— Может быть,— сказал мистер Браун,— но сильно сомневаюсь.

— Ах, я бы все отдала, только бы послушать Карузо,— сказала Мэри Джейн.

— Для меня,— сказала тетя Кэт, обгладывавшая косточку,— существовал только один тенор, который очень мне нравился. Но вы, наверно, о нем и не слышали.

— Кто же это, мисс Моркан? — вежливо спросил мистер Бартелл д'Арси.

— Паркинсон,— сказала тетя Кэт.— Я его слышала, когда он был в самом расцвете, и скажу вам, такого чистого тенора не бывало еще ни у одного мужчины.

— Странно,— сказал мистер Бартелл д'Арси.— Я никогда о нем не слышал.

¹ Сгорел в 1890 г., на его месте был построен Королевский театр.

² Ария из оперы «Маритана» У. В. Уоллеса.

³ «Динора» (полное название «Плоэрмельское прощение», 1852), комическая опера Джакомо Мейербера (1791—1864) на либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре. «Лукреция Борджиа» (1833) — итальянская опера на либретто Феличе Романи по мотивам одноименной пьесы В. Гюго.

— Нет, нет, мисс Моркан права,— сказал мистер Браун.— Я припоминаю, я слышал о старике Паркинсо-не, но сам он — это уж не на моей памяти.

— Прекрасный, чистый, нежный и мягкий, настоя-щий английский тенор,— восторженно сказала тетя Кэт.

Габриел доел жаркое, и на стол поставили огромный пудинг. Опять застучали вилки и ложки. Жена Габриела раскладывала пудинг по тарелкам и передавала их дальше. На полпути их задерживала Мэри Джейн и подбавляла малинового или апельсинового желе или бланманже и мармеладу. Пудинг готовила тетя Джулия, и теперь на нее со всех сторон сыпались похвалы. Сама она находила, что он недостаточно румяный.

— Ну, мисс Моркан,— сказал мистер Браун,— в та-ком случае я как раз в вашем вкусе; я, слава Богу, до-статочно румяный.

Все мужчины, кроме Габриела, съели немного пу-динга, чтобы сделать приятное тете Джулии, Габриел никогда не ел сладкого, поэтому для него оставили сельдерей. Фредди Мэлинз тоже взял стебелек сельде-рея и ел его с пудингом. Он слышал, что сельдерей очень полезен при малокровии, а он как раз сейчас лечился от малокровия. Миссис Мэлинз, за все время ужина не проронившая ни слова, сказала, что ее сын думает через неделю-другую уехать на гору Меллерей¹. Тогда все заговорили о горе Меллерей, о том, какой там жи-вительный воздух и какие гостеприимные монахи — ни-когда не спрашивают платы с посетителей.

— Вы хотите сказать,— недоверчиво спросил мистер Браун,— что можно туда поехать и жить, словно в го-стинице, и кататься как сыр в масле, а потом уехать и ничего не заплатить?

— Конечно, почти все что-нибудь жертвуют на мо-настырь, когда уезжают,— сказала Мэри Джейн.

— Право, недурно бы, чтобы и у протестантов были такие учреждения,— простодушно сказал мистер Браун.

Он очень удивился, узнав, что монахи никогда не разговаривают, встают в два часа ночи и спят в гробах. Он спросил, зачем они это делают.

— Такой устав ордена,— твердо сказала тетя Кэт.

— Ну, да,— сказал мистер Браун,— но зачем?

¹ На горе Меллерей, расположенной в южной части Ирландии, находится монастырь траппистов, ордена, отличающегося очень строгими правилами в духе восточной аскезы.

Тетя Кэт повторила, что таков устав, вот и все. Мистер Браун продолжал недоумевать. Фредди Мэлинз объяснил ему, как умел, что монахи делают это во искупление грехов, совершенных всеми грешниками на земле. Объяснение было, по-видимому, не совсем ясным, потому что мистер Браун ухмыльнулся и сказал:

— Очень интересная мысль, но только почему все-таки гроб для этого удобней, чем пружинный матрац?

— Гроб,— сказала Мэри Джейн,— должен напоминать им о смертном часе.

По мере того как разговор становился все мрачней, за столом водворялось молчание, и в тишине стало слышно, как миссис Мэлинз невнятным шепотом говорила своему соседу:

— Очень почтенные люди, эти монахи, очень благочестивые.

Теперь по столу передавали изюм и миндаль, инжир, яблоки и апельсины, шоколад и конфеты, и тетя Джулия предлагала всем портвейна или хереса. Мистер Бартелл д'Арси сперва отказался и от того, и от другого, но один из его соседей подтолкнул его локтем и что-то шепнул ему, после чего он разрешил наполнить свой стакан. По мере того как наполнялись стаканы, разговор смолкал. Настала тишина, нарушаемая только бульканьем вина и скрипом стульев. Все три мисс Моркан смотрели на скатерть. Кто-то кашлянул, и затем кто-то из мужчин легонько постучал по столу, призывая к молчанию. Молчание воцарилось, Габриел отодвинул свой стул и встал.

Тотчас в знак одобрения стук стал громче, но потом мгновенно стих. Габриел всеми своими десятью дрожащими пальцами оперся о стол и нервно улыбнулся присутствующим. Взгляд его встретил ряд обращенных к нему лиц, и он перевел глаза на люстру. В гостиной рояль играл вальс, и Габриел, казалось, слышал шелест юбок, задевавших о дверь. На набережной под окнами, может быть, стояли люди, смотрели на освещенные окна и прислушивались к звукам вальса. Там воздух был чист. Подальше раскинулся парк, и на деревьях лежал снег. Памятник Веллингтону был в блестящей снежной шапке; снег кружился, летя на запад над белым пространством Пятнадцати Акров¹.

¹ Центральная часть Феникс-Парка.

Он начал:

— Леди и джентльмены! Сегодня, как и в прошлые годы, на мою долю выпала задача, сама по себе очень приятная, но, боюсь, слишком трудная для меня, при моих слабых ораторских способностях.

— Что вы, что вы,— сказал мистер Браун.

— Как бы то ни было, прошу вас, не приписывайте недостатки моей речи недостатку усердия с моей стороны и уделите несколько минут внимания моей попытке облечь в слова то, что я чувствую.

Леди и джентльмены, не в первый раз мы собираемся под этой гостеприимной кровлей, вокруг этого гостеприимного стола. Не в первый раз мы становимся объектами или, быть может, лучше сказать — жертвами гостеприимства неких известных нам особ.

Он описал рукой круг в воздухе и сделал паузу. Кто засмеялся, кто улыбнулся тете Кэт, тете Джулии и Мэри Джейн, которые покраснели от удовольствия. Габриел продолжал смелее:

— С каждым годом я все больше чувствую, что среди традиций нашей страны нет традиции более почетной и более достойной сохранения, чем традиция гостеприимства. Из всех стран Европы — а мне пришлось побывать во многих — одна лишь наша родина поддерживает эту традицию. Мне возразят, пожалуй, что у нас это скорее слабость, чем достоинство, которым можно было бы хвалиться. Но даже если так, это, на мой взгляд, благородная слабость, и я надеюсь, что она еще долго удержится в нашей стране. В одном, по крайней мере, я уверен: пока под этой кровлей будут жить три упомянутые мной особы — а я от всего сердца желаю им жить еще многие годы,— до тех пор не умрет среди нас традиция радушного, сердечного, учтливового ирландского гостеприимства, традиция, которую нам передали наши отцы и которую мы должны передать нашим детям.

За столом поднялся одобрителный ропот. Габриел вдруг вспомнил, что мисс Айворз нет среди гостей и что она ушла крайне неучтиво; и он продолжал уверенным голосом:

— Леди и джентльмены!

Растет новое поколение, воодушевляемое новыми идеями и исповедующее новые принципы. Это серьезное, полное энтузиазма поколение, и, даже если эти новые

идеи ошибочны, а силы расходуются впустую, порывы их, на мой взгляд, искренни. Но мы живем в скептическую и, если позволено мне будет так выразиться, разъедаемую мыслью эпоху, и я начинаю иногда бояться, что этому образованному и сверхобразованному поколению не хватает, быть может, доброты, гостеприимства, благодушия, которые отличали людей в старые дни. Прислушиваясь сегодня к именам великих певцов прошлого, я думал о том, что мы, надо сознаться, живем в менее щедрую эпоху. Те дни можно без преувеличения назвать щедрыми днями, и если они теперь ушли от нас без возврата, то будем надеяться, по крайней мере, что в таких собраниях, как сегодня, мы всегда будем вспоминать о них с гордостью и любовью, будем хранить в сердцах наших память о великих умерших, чьи имена и чью славу мир не скоро забудет.

— Слушайте, слушайте,— громко сказал мистер Браун.

— Но есть и более грустные мысли,— продолжал Габриел, и его голос приобрел мягкие интонации,— которые всегда будут посещать нас во время таких собраний, как сегодня: мысли о прошлом, о юности, о переменах, о друзьях, которых уже нет с нами. Наш жизненный путь усеян такими воспоминаниями; и если бы мы всегда им предавались, мы не нашли бы в себе мужества продолжать наш труд среди живых. А у нас, у каждого, есть долг по отношению к живым, есть привязанности, и жизнь имеет право, законное право, требовать от нас, чтобы мы отдали ей большую часть себя.

Поэтому я не буду долго останавливаться на прошлом. Я не позволю своей речи обратиться в угрюмую проповедь. Мы собрались здесь на краткий час вдали от суеты и шума повседневности. Мы собрались здесь как друзья, как коллеги, объединенные чувством дружбы и также, до известной степени, духом истинной «*самарадерие*»¹, мы собрались здесь как гости — если позволено мне будет так выразиться — трех граций дублинского музыкального мира.

Все разразилось смехом и аплодисментами при этих словах. Тетя Джулия тщетно просила по очереди всех своих соседей объяснить ей, что сказал Габриел.

¹ Товарищество (франц.).

— Он сказал, что мы — три грации, тетя Джулия, — ответила Мэри Джейн.

Тетя Джулия не поняла, но с улыбкой посмотрела на Габриела, который продолжал с прежним воодушевлением:

— Леди и джентльмены!

Я не стану пытаться сегодня играть роль Париса. Я не стану пытаться сделать выбор между ними. Это неблагоприятная задача, да она мне и не по силам. Ибо, когда я смотрю на них — на старшую ли нашу хозяйку, о добром, слишком добром сердце которой знают все с ней знакомые; на ее ли сестру, одаренную как бы вечной юностью, чье пение было для нас сегодня сюрпризом и откровением; на младшую ли из наших хозяек — талантливую, трудолюбивую, всегда веселую, самую любящую из племянниц, — я должен сознаться, леди и джентльмены, что я не знаю, кому из них отдать предпочтение.

Габриел взглянул на своих теток и, видя широкую улыбку на лице тети Джулии и слезы на глазах тети Кэт, поспешил перейти к заключению. Он высоко поднял стакан с портвейном, гости тоже выжидательно взяли за стаканы, и громко сказал:

— Выпьем же за всех трех вместе. Пожелаем им здоровья, богатства, долгой жизни, счастья и благоденствия; пусть они еще долго занимают высокое, по праву им доставшееся место в рядах своей профессии, так же как и любовью и уважением уготованное им место в наших сердцах!

Все гости встали со стаканами в руках и, повернувшись к трем оставшимся сидеть хозяикам, дружно подхватили песню, которую затянул мистер Браун:

Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Никто не станет отрицать.

Тетя Кэт, не скрываясь, вытирала глаза платком, и даже тетя Джулия, казалось, была взволнована. Фредди Мэлинз отбивал такт вилкой, и поющие, повернувшись друг к другу, словно совещаюсь между собой, запели с увлечением:

Разве что решится
Бессовестно солгать...

Потом, снова повернувшись к хозяйкам, они запели:

Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Никто не станет отрицать.

За этим последовали шумные аплодисменты, подхваченные за дверью столовой другими гостями и возобновлявшиеся много раз, меж тем как Фрэдди Мэлинз, высоко подняв вилку, дирижировал ею, словно церемониймейстер.

Холодный утренний воздух ворвался в холл, где они стояли, и тетя Кэт крикнула:

— Закройте кто-нибудь дверь. Миссис Мэлинз простудится.

— Там Браун, тетя Кэт,— сказала Мэри Джейн.

— Этот повсюду,— сказала тетя Кэт, понизив голос. Мэри Джейн засмеялась.

— Ну вот,— сказала она лукаво,— а он такой внимательный.

— Да, наш пострел везде поспел,— сказала тетя Кэт тем же тоном.

При этом она сама добродушно рассмеялась и добавила поспешно:

— Да скажи ему, Мэри Джейн, чтобы он вошел в дом и закрыл за собой дверь. Надеюсь, что он меня не слышал.

В эту минуту передняя дверь распахнулась и на пороге появился мистер Браун, хохоча так, что, казалось, готов был лопнуть. На нем было длинное зеленое пальто с воротником и манжетами из поддельного каракуля, на голове — круглая меховая шапка. Он показывал куда-то в сторону заметенной снегом набережной, откуда доносились долгие пронзительные свистки.

— Тедди там сзывает кебы со всего Дублина,— сказал он.

Из чулана позади конторы вышел Габриел, натягивая на ходу пальто, и, оглядевшись, сказал:

— Грета еще не выходила?

— Она одевается, Габриел,— сказала тетя Кэт.

— Кто там играет? — спросил Габриел.

— Никто. Все ушли.

— Нет, тетя Кэт, — сказала Мэри Джейн. — Бартелл д'Арси и мисс О'Каллаган еще не ушли.

— Кто-то там бренчит на рояле, во всяком случае, — сказал Габриел.

Мэри Джейн посмотрела на Габриела и мистера Брауна и сказала, передернув плечами:

— Дрожь берет даже смотреть на вас, таких закутаных. Ни за что не хотела бы быть на вашем месте. Идти по холоду в такой час!

— А для меня, — мужественно сказал мистер Браун, — самое приятное сейчас было бы хорошенько пройтись где-нибудь за городом или прокатиться на резвой лошадке.

— У нас дома когда-то была хорошая лошадка и двуколка, — грустно сказала тетя Джулия.

— Незабвенный Джонни, — сказала Мэри Джейн и засмеялась. Тетя Кэт и Габриел тоже засмеялись.

— А чем Джонни был замечателен? — спросил мистер Браун.

— Блаженной памяти Патрик Моркан, наш дедушка, — пояснил Габриел, — которого в последние годы жизни иначе не называли, как «старый джентльмен», занимался тем, что изготавливал столярный клей.

— Побойся Бога, Габриел, — сказала тетя Кэт смеясь, — у него был крахмальный завод.

— Ну уж, право, не знаю, клей он делал или крахмал, — сказал Габриел, — но только была у старого джентльмена лошадь, по прозвищу Джонни. Джонни работал у старого джентльмена на заводе, ходил себе по кругу и вертел жернов. Все очень хорошо. Но дальше начинается трагедия. В один прекрасный день старый джентльмен решил, что недурно бы и ему вместе с высшим обществом выехать в парк в собственном экипаже — полюбоваться военным парадом.

— Помилуй, господи, его душу, — сокрушенно сказала тетя Кэт.

— Аминь, — сказал Габриел. — Итак, как я уже сказал, старый джентльмен запряг Джонни в двуколку, надел свой самый лучший цилиндр, свой самый лучший шелковый галстук и с великой пышностью выехал из дома своих предков, помещавшегося, если не ошибаюсь, где-то на Бэк-Лейн.

Все засмеялись, даже миссис Мэлинз, а тетя Кэт сказала:

— Ну что ты, Габриел, он вовсе не жил на Бэк-Лейн. Там был только завод.

— Из дома своих предков,— продолжал Габриел,— выехал он на Джонни. И все шло отлично, пока Джонни не завидел памятник королю Билли¹. То ли ему так понравилась лошадь, на которой сидит король Билли, то ли ему померещилось, что он опять на заводе, но только он, недолго думая, давай ходить вокруг памятника.

Габриел в своих галошах медленно прошелся по холлу под смех всех присутствующих.

— Ходит и ходит себе по кругу,— сказал Габриел,— а старый джентльмен, кстати весьма напыщенный, пришел в крайнее негодование: «Но-о, вперед, сэр! Что это вы выдумали, сэр! Джонни! Джонни! В высшей степени странное поведение! Не понимаю, что это с лошадыю!»

Смех, не умолкавший, пока Габриел изображал в лицах эту сцену, был прерван громким стуком в дверь. Мэри Джейн побежала открыть и впустила Фредди Мэлинза. У Фредди Мэлинза шляпа съехала на затылок, он ежился от холода, пытел и отдувался после своих трудов.

— Я достал только один кеб,— сказал он.

— Найдем еще на набережной,— сказал Габриел.

— Да,— сказала тетя Кэт,— идите уж, не держите миссис Мэлинз на сквозняке.

Мистер Браун и Фредди свели миссис Мэлинз по лестнице и после весьма сложных маневров впихнули ее в кеб. Затем туда же влез Фредди Мэлинз и долго возился, усаживая ее поудобней, а мистер Браун стоял рядом и давал советы. Наконец ее устроили, и Фредди Мэлинз пригласил мистера Брауна сесть в кеб. Кто-то что-то говорил, и затем мистер Браун влез в кеб. Кебмен закутал себе ноги полостью и, нагнувшись, спросил адрес. Все снова заговорили, и кебмен получил сразу два разноречивых приказания от Фредди Мэлинза и от мистера Брауна, высунувшихся в окна по бокам кеба — один с одной стороны, другой — с другой. Вопрос был

¹ Имеется в виду статуя короля Вильгельма Оранского (1650—1702) на Колледж-Грин — эту статую чтили протестанты и ненавидели католики, которые уничижительно называли короля Билли и пользовались любой возможностью изуродовать ее — вымазывали краской, писали оскорбления.

в том, где именно по дороге ссадить мистера Брауна; тетя Кэт, тетя Джулия и Мэри Джейн, стоя в дверях, тоже приняли участие в споре, поддерживая одни мнения, оспаривая другие и сопровождая все это смехом. Фредди Мэлинз от смеха не мог говорить. Он ежесекундно то высовывал голову в окно, то втягивал ее обратно, к великому ущербу для своей шляпы, и сообщал своей матери о ходе спора, пока наконец мистер Браун, перекрывая общий смех, не закричал сбитому с толку кебмену:

— Знаете, где Тринити-колледж?

— Да, сэр,— сказал кебмен.

— Гоните во всю мочь туда.

— Слушаю, сэр,— сказал кебмен.

Он стегнул лошадь кнутом, и кеб покатил по набережной, провожаемый смехом и прощальными взглядами.

Габриел не вышел на порог. Он остался в холле и смотрел на лестницу. Почти на самом верху, тоже в тени, стояла женщина. Он не видел ее лица, но мог различить терракотовые и желто-розовые полосы на юбке, казавшиеся в полутьме черными и белыми. Это была его жена. Она облокотилась о перила, прислушиваясь к чему-то. Габриела удивила ее неподвижность, и он напряг слух, стараясь услышать то, что слушала она. Но он мало что мог услышать: кроме смеха и шума спорящих голосов на пороге — несколько аккордов на рояле, несколько нот, пропетых мужским голосом.

Он неподвижно стоял в полутьме, стараясь уловить мелодию, которую пел голос, и глядя на свою жену. В ее позе были грация и тайна, словно она была символом чего-то. Он спросил себя, символом чего была эта женщина, стоящая во мраке лестницы, прислушиваясь к далекой музыке. Если бы он был художником, он написал бы ее в этой позе. Голубая фетровая шляпа оттеняла бы бронзу волос на фоне тьмы, и темные полосы на юбке рельефно ложились бы рядом со светлыми. «Далекая музыка» — так он назвал бы эту картину, если бы был художником.

Хлопнула входная дверь, и тетя Кэт, тетя Джулия и Мэри Джейн, все еще смеясь, вернулись в холл.

— Невозможный человек этот Фредди,— сказала Мэри Джейн.— Просто невозможный.

Габриел ничего не ответил и показал на лестницу,

туда, где стояла его жена. Теперь, когда входная дверь была закрыта, голос и рояль стали слышной. Габриел поднял руку, призывая к молчанию. Песня была на старинный ирландский лад, и певец, должно быть, не был уверен ни в словах, ни в своем голосе. Этот голос, далекий и осипший, неуверенно выводил мелодию, которая лишь усиливала грусть слов:

Ах, дождь мне мочит волосы,
И роса мне мочит лицо,
Дитя мое уже холодное...

— Боже мой,— воскликнула Мэри Джейн,— это же поет Бартелл д'Арси. А он ни за что не хотел петь сегодня. Ну, теперь я его заставлю спеть перед уходом.

— Заставь, заставь, Мэри Джейн,— сказала тетя Кэт.

Мэри Джейн пробежала мимо остальных, направляясь к лестнице, но раньше, чем она успела подняться по ступенькам, пение прекратилось и хлопнула крышка рояля.

— Какая досада! — воскликнула она.— Он идет вниз, Грета?

Габриел услышал, как его жена ответила «да», и увидел, что она начала спускаться по лестнице. В нескольких шагах позади нее шли мистер Бартелл д'Арси и мисс О'Каллаган.

— О, мистер д'Арси,— воскликнула Мэри Джейн,— ну можно ли так поступать — обрывать пение, когда мы все с таким восторгом вас слушали!..

— Я его упрасивала весь вечер,— сказала мисс О'Каллаган,— и миссис Конрой тоже, но он сказал, что простужен и не может петь.

— Ах, мистер д'Арси,— сказала тетя Кэт,— не стыдно вам так выдумывать?

— Что, вы не слышите, что я совсем охрип? — грубо сказал мистер д'Арси.

Он поспешно прошел в кладовую и стал надевать пальто. Остальные, смущенные его грубостью, не нашлись что сказать. Тетя Кэт, сдвинув брови, показывала знаками, чтоб об этом больше не говорили. Мистер д'Арси тщательно укутывал горло и хмурился.

— Это от погоды,— сказала тетя Джулия после молчания,

— Да, сейчас все простужены,— с готовностью поддержала тетя Кэт,— решительно все.

— Говорят,— сказала Мэри Джейн,— что такого снега не было уже лет тридцать, и я сегодня читала в газете, что по всей Ирландии выпал снег.

— Я люблю снег,— грустно сказала тетя Джулия.

— Я тоже,— сказала мисс О'Каллаган,— без снега и рождество не рождество.

— Мистер д'Арси не любит снега, бедняжка,— сказала тетя Кэт улыбаясь.

Мистер д'Арси вышел из кладовки, весь укутанный и застегнутый, и, как бы извиняясь, поведал им историю своей простуды. Все принялись давать ему советы и выражать сочувствие и упрашивать его быть осторожней, потому что ночной воздух так вреден для горла. Габриел смотрел на свою жену, не принимавшую участия в разговоре. Она стояла как раз против окошечка над входной дверью, и свет от газового фонаря играл на ее блестящих бронзовых волосах; Габриел вспомнил, как несколько дней тому назад она сушила их после мытья перед камином. Она стояла сейчас в той же позе, как на лестнице, и, казалось, не слышала, что говорят вокруг нее. Наконец она повернулась, и Габриел увидел, что на ее щеках — румянец, а ее глаза сияют. Его охватила внезапная радость.

— Мистер д'Арси,— сказала она,— как называется эта песня, что вы пели?

— Она называется «Девушка из Аугрима»¹,— сказал мистер д'Арси,— но я не мог ее толком вспомнить. А что? Вы ее знаете?

— «Девушка из Аугрима»,— повторила она.— Я не могла вспомнить название.

— Очень красивый напев,— сказала Мэри Джейн.— Жаль, что вы сегодня не в голосе.

— Мэри Джейн,— сказала тетя Кэт,— не надоедай мистеру д'Арси. Я больше не разрешаю ему надоедать.

Видя, что все готовы, она повела их к двери; и начались прощания:

— Доброй ночи, тетя Кэт, и спасибо за приятный вечер.

— Доброй ночи, Габриел, доброй ночи, Грета.

¹ Народная ирландская песня. Аугрим — небольшой городок на западе Ирландии.

— Доброй ночи, тетя Кэт, и спасибо за все. Доброй ночи, тетя Джулия.

— Доброй ночи, Греточка, я тебя и не заметила.

— Доброй ночи, мистер д'Арси. Доброй ночи, мисс О'Каллаган.

— Доброй ночи, мисс Моркан.

— Доброй ночи еще раз.

— Доброй ночи всем. Счастливо добраться.

— Доброй ночи. Доброй ночи.

Было еще темно. Тусклый желтый свет навис над домами и над рекой; казалось, небо опускается на землю. Под ногами слякоть, и снег только полосами и пятнами лежал на крышах, на парапете набережной, на прутьях ограды. В густом воздухе фонари еще светились красным светом, и за рекой Дворец четырех палат¹ грозно вздымался в тяжелое небо.

Она шла впереди, рядом с мистером Бартеллом д'Арси, держа под мышкой туфли, завернутые в бумагу, а другой рукой подбирая юбку. Сейчас в ней уже не было грации, но глаза Габриела все еще сияли счастьем. Кровь стремительно бежала по жилам, в мозгу проносились мысли — гордые, радостные, нежные, смелые.

Она шла впереди, ступая так легко, держась так прямо, что ему хотелось бесшумно побежать за ней, поймать ее за плечи, шепнуть ей на ухо что-нибудь смешное и нежное. Она казалась такой хрупкой, что ему хотелось защитить ее от чего-то, а потом остаться с ней наедине. Минуты их тайной общей жизни зажглись в его памяти, как звезды. Сиреневый конверт лежал на столе возле его чашки, и он гладил его рукой. Птицы чирикали в плюще, и солнечная паутина занавески мерцала на полу; он не мог есть от счастья. Они стояли в толпе на перроне, и он засовывал билет в ее теплую ладонь под перчатку. Он стоял с ней на холоде, глядя сквозь решетчатое окно на человека, который выдувал бутылки возле ревушей печи. Было очень холодно.

Ее лицо, душистое в холодном воздухе, было совсем близко от его лица, и внезапно он крикнул человеку, стоявшему у печи:

— Что, сэръ, огонь горячий?

Но человек не расслышал его сквозь рев печи. И хо-

¹ Четыре палаты — дублинские судебные учреждения.

рошо, что не расслышал. Он бы, пожалуй, ответил грубостью. Волна еще более бурной радости накатила на него и разлилась по жилам горячим потоком. Как нежное пламя звезд, минуты их интимной жизни, о которой никто не знал и никогда не узнает, вспыхнули и озарили его память. Он жаждал напомнить ей об этих минутах, заставить ее забыть тусклые годы их совместного существования и помнить только эти минуты восторга. Годы, чувствовал он, оказались не властны над их душами. Дети, его творчество, ее домашние заботы не погасили нежное пламя их душ. Однажды в письме к ней он написал: «Почему все эти слова кажутся мне такими тусклыми и холодными? Не потому ли, что нет слова, достаточно нежного, чтобы им назвать тебя?»

Как далекая музыка, дошли к нему из прошлого эти слова, написанные им много лет тому назад. Он жаждал остаться с ней наедине. Когда все уйдут, когда он и она останутся в комнате отеля, тогда они будут вдвоем, наедине. Он тихо позовет:

— Грета!

Может быть, она сразу не услышит; она будет раздеваться. Потом что-то в его голосе поразит ее. Она обернется и посмотрит на него...

На Уайнтаверн-Стрит им попался кеб. Он был рад, что шум колес мешает им разговаривать. Она смотрела в окно и казалась усталой. Мелькали здания, дома, разговор то начинался, то стихал. Лошадь вяло трусила под тяжелым утренним небом, таща за собой старую дребезжащую коробку, и Габриел опять видел себя и ее в кебе, который несся на пристань к пароходу, навстречу их медовому месяцу.

Когда кеб проезжал через мост О'Коннелла, мисс О'Каллаган сказала:

— Говорят, что всякий раз, как переезжаешь через мост О'Коннелла, непременно видишь белую лошадь.

— На этот раз я вижу белого человека,— сказал Габриел.

— Где? — спросил мистер Бартелл д'Арси.

Габриел показал на памятник¹, на котором пятнами

¹ Имеется в виду статуя Данииля О'Коннелла (1775—1847); которого ниже Габриел назовет Дэном. Лидер ирландского национально-освободительного движения, его либерального крыла. Боролся против ограничения избирательных прав католиков. После проведения в Ирландии акта об эмансипации католиков в 1829 г. его стали называть «Освободителем».

лежал снег. Потом дружески кивнул ему и помахал рукой.

— Доброй ночи, Дэн,— сказал он весело.

Когда кеб остановился перед отелем, Габриел выпрыгнул и, невзирая на протесты мистера Бартелла д'Арси, заплатил кебмену. Он дал ему шиллинг на чай. Кебмен приложил руку к шляпе и сказал:

— Счастливого Нового года, сэр.

— И вам тоже,— сердечно ответил Габриел.

Она оперлась на его руку, когда выходила из кеба и потом, когда они вместе стояли на тротуаре, прощаясь с остальными. Она легко оперлась на его руку, так же легко, как танцевала с ним вместе несколько часов тому назад. Он был счастлив тогда и горд; счастлив, что она принадлежит ему, горд, что она так грациозна и женственна. Но теперь, после того, как в нем воскресло столько воспоминаний, прикосновение ее тела, певучее, и странное, и душистое, пронзило его внезапным и острым желанием. Под покровом ее молчания он крепко прижал к себе ее руку, и, когда они стояли перед дверью отеля, он чувствовал, что они ускользнули от своих жизней и своих обязанностей, ускользнули от своего дома и от своих друзей и с трепещущими и сияющими сердцами идут навстречу чему-то новому.

В вестибюле в большом кресле с высокой спинкой дремал старик. Он зажег в конторе свечу и пошел впереди них по лестнице. Они молча шли за ним, ноги мягко ступали по ступенькам, покрытым толстым ковром. Она поднималась по лестнице вслед за швейцаром, опустив голову, ее хрупкие плечи сгибались, словно под тяжестью, талию туго стягивал пояс. Ему хотелось обнять ее, изо всех сил прижать к себе, его руки дрожали от желания схватить ее, и, только вонзив ногти в ладони, он смог подавить неистовый порыв. Швейцар остановился на ступеньке — поправить оплывшую свечу. Они тоже остановились, ступенькой ниже. В тишине Габриел слышал, как падает растопленный воск на поднос, как стучит в груди его собственное сердце.

Швейцар повел их по коридору и открыл дверь. Потом он поставил тоненькую свечу на туалетный столик и спросил, в котором часу их разбудить.

— В восемь,— сказал Габриел.

Швейцар показал на электрический выключатель на

стене и начал бормотать какие-то извинения, но Габриел прервал его:

— Нам не нужен свет. Нам довольно света с улицы. А это,— прибавил он, показывая на свечу,— тоже унесите.

Швейцар взял свечу, но не сразу, так как был поражен столь странным приказанием. Потом пробормотал: «Доброй ночи» — и вышел. Габриел повернул ключ в замке.

Призрачный свет от уличного фонаря длинной полосой шел от окна к двери. Габриел сбросил пальто и шапку на кушетку и прошел через комнату к окну. Он постоял, глядя вниз на улицу, выжидая, пока немного стихнет его волнение. Потом он повернулся и прислонился к комоду, спиной к свету. Она уже сняла шляпу и мантию и стояла перед большим трюмо, расстегивая корсаж. Габриел подождал несколько минут, наблюдая за ней, потом сказал:

— Грета!

Она медленно повернулась от зеркала и по световой полосе пошла к нему. У нее было такое задумчивое и усталое лицо, что слова застыли на губах Габриела. Нет, сейчас еще не время.

— У тебя усталый вид,— сказал он.

— Я устала немножко,— ответила она.

— Тебе нехорошо? Или нездоровится?

— Нет, просто устала.

Она подошла к окну и остановилась, глядя на улицу. Габриел еще подождал и, чувствуя, что им овладевает смущение, сказал внезапно:

— Кстати, Грета!

— Что?

— Знаешь, этот Фредди Мэллинз...— быстро сказал он.

— Ну?

— Он, оказывается, не так уж безнадежен,— продолжал Габриел фальшивым тоном,— вернул мне советен, который я ему одолжил. А я на этот долг уже махнул рукой. Жаль, что он все время с этим Брауном. Сам он, право, неплохой парень.

Он весь дрожал от досады. Почему она кажется такой далекой? Он не знал, как начать. Или она тоже чем-то раздосадована? Если б она обернулась к нему, сама подошла! Взять ее такой было бы насильем. Он должен

сперва увидеть ответное пламя в ее глазах. Он жаждал победить ее отчужденность.

— Когда ты дал ему этот содерен? — спросила она, помолчав.

Габриел сделал усилие над собой, чтобы не послать ко всем чертям пьянчужку Мэлинза вместе с его содереном. Он всем своим существом тянулся к ней, жаждал стиснуть в объятиях ее тело, подчинить ее себе. Но он сказал:

— На рождество, когда он затеял торговлю рождественскими открытками на Генри-Стрит.

От гнева и желанья его трясло, как в лихорадке. Он и не заметил, как она отошла от окна. Секунду она стояла перед ним, странно глядя на него. Затем, внезапно привстав на цыпочки и легко положив ему руки на плечи, она поцеловала его.

— Ты очень добрый, Габриел,— сказала она.

Габриел, дрожа от радости, изумленный этим неожиданным поцелуем и странной фразой, которую она произнесла, начал нежно гладить ее по волосам, едва прикасаясь к ним пальцами. Они были мягкие и шелковистые после мытья. Сердце его переполнилось счастьем. Как раз тогда, когда он так этого ждал, она сама подошла к нему. Может быть, их мысли текли согласно. Может быть, она почувствовала неудержимое желанье, которое было в нем, и ей захотелось покориться. Теперь, когда она так легко уступала, он не понимал, что его смущало раньше.

Он стоял, держа ее голову между ладонями. Потом быстро обнял ее одной рукой и, привлекая ее к себе, тихо сказал:

— Грета, дорогая, о чем ты думаешь?

Она промолчала и не ответила на его объятие. Он снова тихо сказал:

— Скажи мне, Грета, что с тобой? Мне кажется, я знаю. Я знаю, Грета?

Она ответила не сразу. Потом вдруг воскликнула, заливаясь слезами:

— Я думаю об этой песне, «Девушка из Аугрима».

Она вырвалась, отбежала к кровати и, схватив спинку руками, спрятала лицо. Габриел на миг окаменел от удивления, потом подошел к ней. В трюмо он мельком увидел себя во весь рост — широкий выпуклый пластрон рубашки, лицо, выражение которого всегда его удивля-

ло, когда ему случилось увидеть себя в зеркале, поблескивавшая золотая оправа очков. Он остановился в нескольких шагах от нее и спросил:

— Да в чем дело? Почему ты плачешь?

Она подняла голову и вытерла глаза кулаком, как ребенок. Голос его прозвучал мягче, чем он хотел:

— Грета, почему?

— Я вспомнила человека, который давно-давно пел эту песню.

— Кто же это? — спросил Габриел, улыбаясь.

— Один человек, которого я знала еще в Голуэе, когда жила у бабушки, — сказала она.

Улыбка сошла с лица Габриела. Глухой гнев начал скопляться в глубине его сердца, и глухое пламя желания начало злобно тлеть в жилах.

— Ты была в него влюблена? — иронически спросил он.

— Это был мальчик, с которым я дружила, — ответила она, — его звали Майкл Фюрей. Он часто пел эту песню, «Девушка из Аугрима». Он был слабого здоровья.

Габриел молчал. Он не хотел, чтобы она подумала, что его интересуется этот мальчик со слабым здоровьем.

— Я его как сейчас вижу, — сказала она через минуту. — Какие у него были глаза — большие, темные! И какое выражение глаз — какое выражение!

— Так ты до сих пор его любишь? — сказал Габриел.

— Мы часто гуляли вместе, — сказала она, — когда я жила в Голуэе.

Внезапная мысль пронеслась в мозгу Габриела.

— Может быть, тебе поэтому так хочется поехать в Голуэй вместе с этой Айворз? — холодно спросил он.

Она взглянула на него и спросила удивленно:

— Зачем?

Под ее взглядом Габриел почувствовал себя неловко. Он пожал плечами и сказал:

— Почему я знаю? Чтоб повидаться с ним.

Она отвернулась и молча стала смотреть туда, где от окна шла полоса света.

— Он умер, — сказала она наконец. — Он умер, когда ему было только семнадцать лет. Разве это не ужасно — умереть таким молодым?

— Кто он был? — все еще иронически спросил Габриел.

— Он работал на газовом заводе,— сказала она.

Габриел почувствовал себя униженным — оттого, что его ирония пропала даром, оттого, что Гретой был вызван из мертвых этот образ мальчика, работавшего на газовом заводе. Когда он сам был так полон воспоминаниями об их тайной совместной жизни, так полон нежности, и радости, и желанья, в это самое время она мысленно сравнивала его с другим. Он вдруг со стыдом и смущением увидел себя со стороны. Комический персонаж, мальчишка на побегушках у своих теток, сентиментальный неврастеник, исполненный добрых намерений, ораторствующий перед пошляками и приукрашивающий свои животные влечения, жалкий фат, которого он только что мельком увидел в зеркале. Инстинктивно он повернулся спиной к свету, чтобы она не увидела краски стыда на его лице.

Он еще пытался сохранить тон холодного допроса, но его голос прозвучал униженно и тускло, когда он заговорил.

— Ты была влюблена в этого Майкла Фюрея? — сказал он.

— Он был мне очень дорог,— сказала она.

Голос ее был приглушенным и печальным. Габриел, чувствуя, что теперь ему уже не удастся создать такое настроение, как ему хотелось, погладил ее руку и сказал тоже печально:

— А отчего он умер таким молодым, Грета? От чихотки?

— Я думаю, что он умер из-за меня,— ответила она.

Безотчетный страх вдруг охватил Габриела: в тот самый час, когда все было так близко, против него встало какое-то неосязаемое мстительное существо, в своем бесплотном мире черпавшее силы для борьбы с ним. Но он отогнал этот страх усилием воли и продолжал гладить ее руку. Он больше не задавал ей вопросов, потому что чувствовал, что она сама ему расскажет. Ее рука была теплой и влажной; она не отвечала на его прикосновение, но он продолжал ее гладить, точь-в-точь как в то весеннее утро гладил ее первое письмо к нему.

— Это было зимой,— сказала она,— в начале той зимы, когда я должна была уехать от бабушки и поступить в монастырскую школу здесь, в Дублине. А он в это время лежал больной в своей комнате в Голуэе, и ему не разрешали выходить; о болезни уже написали

его родным, в Оутэрард. Говорили, что у него чахотка или что-то в этом роде. Я так до сих пор и не знаю.

Она помолчала с минуту, потом вздохнула.

— Бедный мальчик,— сказала она.— Он очень любил меня и был такой нежный. Мы подолгу гуляли вместе, Габриел. Он учился петь, потому что это полезно для груди. У него был очень хороший голос, у бедняжки.

— Ну, а потом? — спросил Габриел.

— Потом мне уже пора было уезжать из Голуэя в монастырскую школу, а ему в это время стало хуже, и меня к нему не пустили. Я написала ему, что уезжаю в Дублин, а летом приеду и надеюсь, что к лету он будет совсем здоров.

Она помедлила, стараясь овладеть своим голосом, потом продолжала:

— В ночь перед отъездом я была у бабушки, в ее доме на Нанз-Айленд, укладывала вещи, как вдруг я услышала, что кто-то кидает камешки в окно. Окно было такое мокрое, что я ничего не могла рассмотреть; тогда я сбежала вниз, как была, в одном платье, и выбежала в сад через черный ход, и там, в конце сада, стоял он и весь дрожал.

— Ты ему не сказала, чтобы он шел домой? — спросил Габриел.

— Я умоляла его сейчас же уйти, сказала, что он умрет, если будет тут стоять под дождем. Но он сказал, что не хочет жить. Я как сейчас помню его глаза. Он стоял у стены, под деревом.

— И он ушел домой? — спросил Габриел.

— Да, он ушел домой. А через неделю после того, как я приехала в монастырь, он умер, и его похоронили в Оутэрарде, где жили его родные. О, тот день, когда я узнала, что он умер!

Она умолкла, задыхаясь от слез, и, не в силах бороться с собой, бросилась ничком на постель и, рыдая, спрятала лицо в одеяло. Габриел еще минуту нерешительно держал ее руку в своих; потом, не смея вторгаться в ее горе, осторожно отпустил ее и тихо отошел к окну.

Она крепко спала.

Габриел, опершись на локоть, уже без всякого враждебного чувства смотрел на ее спутанные волосы и полуоткрытый рот, прислушиваясь к ее глубокому дыха-

нию. Так, значит, в ее жизни было это романтическое воспоминание: из-за нее умерли. Теперь он уже почти без боли думал о том, какую жалкую роль в ее жизни играл он сам, ее муж. Он смотрел на нее, спящую, с таким чувством, словно они никогда не были мужем и женой. Он долго с любопытством рассматривал ее лицо, ее волосы; он думал о том, какой она была тогда, в расцвете девической красоты, и странная дружеская жалость к ней проникла в его душу. Он даже перед самим собой не соглашался признать, что ее лицо уже утратило красоту; но он знал, что это не то лицо, ради которого Майкл Фюрей не побоялся смерти.

Может быть, она не все ему рассказала. Его взгляд обратился к стулу, на который она, раздеваясь, бросила свою одежду. Шнурок от нижней юбки свисал на пол. Один ботинок стоял прямо: мягкий верх загнулся набок; другой ботинок упал. Он с удивлением вспомнил, какая буря чувств кипела в нем час тому назад. Что ее вызвало? Ужин у теток, его собственная нелепая речь, вино и танцы, дурачества и смех, когда они прощались в холле, удовольствие от ходьбы вдоль реки по снегу. Бедная тетя Джулия. Она тоже скоро станет тенью, как Патрик Моркан и его лошадь. Он поймал это отсутствующее выражение в ее лице, когда она пела «В свадебном наряде». Может быть, скоро он будет сидеть в этой же самой гостиной, одетый в черное, держа цилиндр на коленях. Шторы будут опущены, и тетя Кэт будет сидеть рядом, плача и сморкаясь, и рассказывать ему о том, как умерла Джулия. Он будет искать слова утешения, но только беспомощные и ненужные слова будут приходить в голову.

Как холодно в комнате, у него застыли плечи. Он осторожно вытянулся под простыней, рядом с женою. Один за другим все они станут тенью. Лучше смело перейти в иной мир на гребне какой-нибудь страсти, чем увядать и жалко тускнеть с годами. Он думал о том, что та, что лежала с ним рядом, долгие годы хранила в своем сердце память о глазах своего возлюбленного — таких, какими они были в ту минуту, когда он сказал ей, что не хочет жить.

Слезы великодушия наполнили глаза Габриела. Он сам никогда не испытал такого чувства, ни одна женщина не пробудила его в нем; но он знал, что такое чувство — это и есть любовь. Слезы застилали ему глаза, и

в полумраке ему казалось, что он видит юношу под деревом, с которого капает вода. Другие тени обступали его. Его душа погружалась в мир, где обитали сонмы умерших. Он ощущал, хотя и не мог постичь, их неверное мерцающее бытие. Его собственное «я» растворялось в их сером неосязаемом мире; материальный мир, который эти мертвецы когда-то создавали и в котором жили, таял и исчезал.

Легкие удары по стеклу заставили его взглянуть на окно. Снова пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега, серебряные и темные, косо летели в свете от фонаря. Настало время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты были правы: снег шел по всей Ирландии. Он ложился повсюду — на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на Алленских болотах и летел дальше, к западу, мягко ложась на темные мятежные волны Шаннона¹. Снег шел над одиноким кладбищем на холме, где лежал Майкл Фюрей. Снег густо намело на покосившиеся кресты, на памятники, на прутья невысокой ограды, на голые кусты терна. Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний час, ложился легко на живых и мертвых.

¹ Алленские болота — болотистая местность в 25 милях от Дублина. Шаннон — самая большая река Ирландии протяженностью в 368 километров — представляет собой ряд озер, соединенных друг с другом протоками.

— *Полупен зугахрука в юности* —

— *A portrait of the artist as a young man* —

Глава I

Et ignotas animum
dimittit in artes¹.

Овидий. *Метаморфозы*, VIII, 18

Однажды, давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коровушка Му-му, шла и шла и встретила на дороге хорошенького-прехорошенького мальчика, а звали его Бу-бу...

Папа рассказывал ему эту сказку, папа смотрел на него через стеклышко. У него было волосатое лицо.

Он был мальчик Бу-бу. Му-му шла по дороге, где жила Бетти Берн: она продавала лимонные леденцы.

О, цветы дикой розы
На зеленом лугу.

Он пел эту песню. Это была его песня.

О, таритатам лозы...

Когда намочишь в постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама подкладывает клеенку. От нее такой чудный запах.

От мамы пахнет приятнее, чем от папы. Она играет ему на рояле матросский танец, чтобы он плясал. Он плясал:

Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ди.
Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, ля-ля.

Дядя Чарльз и Дэнти хлопали в ладоши. Они старше папы и мамы, но дядя Чарльз еще старше Дэнти.

¹ И к ремеслу незнакомому дух устремил (лат.).

У Дэнти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта¹, а щетка с зеленой² бархатной спинкой в честь Парнелла³. Дэнти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей листик папиросной бумаги.

Вэнсы жили в доме семь. У них другие папы и мамы. Это папа и мама Эйлин. Когда они вырастут большие, он женится на Эйлин. Он спрятался под стол. Мама сказала:

— Проси прощения, Стивен.

Дэнти сказала:

— А не попросишь, прилетит орел и выключит тебе глаза.

И выключит тебе глаза,
Проси прощения, егоза,
Проси прощения, егоза,
И выключит тебе глаза...

Проси прощения, егоза,
И выключит тебе глаза,
И выключит тебе глаза,
Проси прощения, егоза

* * *

На больших спортивных площадках толпились мальчишки. Все кричали, и воспитатели их громко подбадривали. Вечерний воздух был бледный и прохладный, и после каждой атаки и удара футболистов лоснящийся кожаный шар, как тяжелая птица, взлетал в сером свете. Он топтался в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, подальше от грубых ног, и время от

¹ Майкл Дэвитт (1846—1906) — активный участник движения фениев, ирландских мелкобуржуазных революционеров 50—60-х годов XIX в., выступавших против английского колониального гнета и массового сгона с земли ирландских арендаторов английскими ленд-лордами.

² Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии.

³ Чарльз Стюарт Парнелл (1846—1981) — ирландский политический деятель. В 1875 г. стал членом британского парламента; в 1877 г. возглавил движение за «гомруль», участники которого боролись за предоставление Ирландии политической автономии, а также за учреждение ирландского парламента в Дублине. Джойс считал, что Парнелл был, «быть может, самым большим человеком, который когда-либо вел за собой ирландцев».

времени делал вид, что бегаёт. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих, и глаза у него были слабые и слезились. Роди Кикем не такой: он будет капитаном третьей команды, говорили мальчишки.

Роди Кикем хороший мальчик, а Вонючка Роуч — противный. У Роди Кикема щитки для ног в шкафу в раздевалке и корзинка со сладостями в столовой. У Вонючки Роуча огромные руки. Он говорит, что постный пудинг — это месиво в жиже. А как-то раз он спросил:

— Как тебя зовут?

Стивен ответил:

— Стивен Дедал.

А Вонючка Роуч сказал:

— Что это за имя?

И когда Стивен не нашёлся, что ответить, Вонючка Роуч спросил:

— Кто твой отец?

Стивен ответил:

— Джентльмен.

Тогда Вонючка Роуч спросил:

— А он не мировой судья?

Он топтался в самом хвосте своей команды, делая иногда короткие перебежки. Руки его посинели от холода. Он засунул их в боковые карманы своей серой подпоясанной куртки. Пояс — это такая штука над карманами. А вот в драке о тех, кто победил, говорят: за пояс заткнул.

Как-то один мальчик сказал Кэнтуэллу:

— Я бы тебя мигом за пояс заткнул.

А Кэнтуэлл ответил:

— Поди тягайся с кем-нибудь еще. Попробуй-ка Сесила Сандера за пояс заткнуть. Я посмотрю, как он тебе даст под зад.

Так некрасиво выражаться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. В первый день в приемной замка¹ она, когда прощалась с ним, слегка подняла свою вуаль, чтобы поцеловать его, и нос и глаза у нее были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплачется. Мама красивая, но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему два пятишил-

¹ Колледж, основанный иезуитским орденом, помещается в замке Клонгоуз, приобретенном орденом в 1814 г.

линговика — пусть у него будут карманные деньги. И папа сказал, чтобы он написал домой, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Потом у двери ректор пожал руки папе и маме, и сутана его развевалась на ветру, а коляска с папой и мамой стала отъезжать. Они махали руками и кричали ему из коляски:

— Прощай, Стивен, прощай.

— Прощай, Стивен, прощай.

Вокруг него началась свалка из-за мяча, и, страшаясь этих горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, толкались и брыкались. Потом желтые ботинки Джека Лотена наподдали мяч и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать. Скоро все поедут домой. После ужина, в классе, он переправит число, приклеенное у него в парте, с семидесяти семи на семьдесят шесть.

Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь, на холоде. Небо бледное и холодное, а в главном здании, в замке, огни. Он думал, из какого окна Гамильтон Роуэн¹ бросил свою шляпу на изгородь и были ли тогда цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда он был в замке, тамошний служитель показал ему следы солдатских пуль на двери и дал ореховый сухарик, какие едят в общине. Как хорошо и тепло смотреть на огни в замке. Совсем как в книжке. Может быть, Лестерское аббатство было такое. А какие хорошие фразы были в учебнике д-ра Корнуэлла. Они похожи на стихи, но это только примеры, чтобы научиться писать правильно:

Уолси² умер в Лестерском аббатстве,
Где погребли его аббаты,
Растения съедают черви,
Животных съедает рак.

¹ Арчибальд Гамильтон Роуэн (1751—1834) — герой ирландского восстания 1798 г. После поражения восстания Роуэн, спасаясь от английских солдат, укрылся в библиотеке замка Клонгоуз, из окна которой, желая подразнить своих преследователей, он выбросил шляпу. Ему удалось бежать во Францию.

² Томас Уолси (1475—1530) — кардинал, крупный английский государственный деятель времен короля Генриха VIII. Резко возражая против первого бракоразводного процесса короля, впал в немилость. Умер по пути в Лондон, где должен был предстать перед судом по обвинению в предательстве.

Хорошо бы лежать сейчас на коврике у камина, подперев голову руками, и думать про себя об этих фразах. Он вздрогнул, будто по телу пробежала холодная липкая вода. Подло было со стороны Уэллса столкнуть его в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на игральную кость, которой Уэллс выиграл сорок раз в бабки. Какая холодная и липкая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула в жижу. Мама с Дэнти сидели у камина и дожидались, когда Бриджет подаст чай. Мама поставила ноги на решетку, и ее вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. Дэнти знала массу всяких вещей. Она учила его, где находится Мозамбикский пролив, и какая самая длинная река в Америке, и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл знает больше, чем Дэнти, потому что он священник, но папа и дядя Чарльз оба говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А иногда Дэнти делала такой звук после обеда и подносила руку ко рту: это была отрыжка.

Голос с дальнего конца площадки крикнул:

— Все домой!

Потом голоса из младшего и приготовительного классов подхватили:

— Домой! Все домой!

Мальчики сходились со всех сторон раскрасневшиеся и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Роди Кикем держал мяч за скользкую шнуровку. Один мальчик попросил поддать еще напоследок, но он шел себе и даже ничего не ответил. Саймон Мунен сказал, чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:

— Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза.

Какое странное слово «подлиза». Мальчик обозвал так Саймона Мунена потому, что Саймон Мунен связывал иногда фальшивые рукава¹ на спине надзирателя Макглэйда, а тот делал вид, что сердится. Противный звук у этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостиницы в Уиклоу, а потом папа вынул пробку за печочку и грязная вода стала стекать через отверстие в

¹ Деталь одежды некоторых монашеских орденов.

раковине. А когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук: д л и з с. Только громче.

Он вспоминал это и белые стены уборной, и ему делалось сначала холодно, а потом жарко. Там было два крана, которые надо было повернуть, и тогда шла вода холодная и горячая. Ему сделалось сначала холодно, а потом чуть-чуть жарко. И он видел слова, напечатанные на кранах. В этом было что-то странное.

А в коридоре тоже было холодно и воздух был какой-то особенный и сырой. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Все одну и ту же, и, когда мальчики не шумят в рекреационном зале, ее слышно.

Урок арифметики начался. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:

— Ну, кто победит? Живей, Йорк! Живей, Ланкастер!¹

Стивен старался изо всех сил, но пример был очень трудный, и он сбился. Маленький шелковый значок с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Он был не очень силен в арифметике, но старался изо всех сил, чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал очень строгое лицо, но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лотен хрустнул пальцами, и отец Арнолл посмотрел в его тетрадку и сказал:

... — Верно. Bravo, Ланкастер! Алая роза победила. Не отставай, Йорк! Ну-ка поднатужьтесь.

Джек Лотен поглядывал на них со своего места. Маленький шелковый значок с алой розой казался очень нарядным на его синей матроске. Стивен почувствовал, что его лицо тоже покраснело, когда он вспомнил, как мальчики держали пари, кто будет первым учеником в подготовительном: Джек Лотен или он. Были недели, когда Джек Лотен получал билет первого ученика, а были недели, когда он получал билет первого ученика. Его белый шелковый значок дрожал и дрожал все время, пока он решал следующий пример и слушал голос отца Арнолла. Потом все его рвение пропало и он почувствовал, как лицо у него сразу похолодело. Он подумал, что оно, должно быть, стало совсем белым, раз так

¹ Намек на гражданскую войну в Англии в конце XV в. между сторонниками династий Йорков и Ланкастеров, эмблема первой — белая, а второй — алая роза.

похолодело. Он не мог решить пример, но это было не важно. Белые розы и алые розы: какие красивые цвета! И билеты первого, второго и третьего ученика тоже очень красивые: розовые, бледно-желтые и сиреневые. Бледно-желтые, сиреневые и розовые розы тоже красивые. Может быть, дикие розы как раз такие; и ему вспомнилась песенка о цветах дикой розы на зеленом лугу. А вот зеленых роз не бывает. А может быть, где-нибудь на свете они и есть.

Раздался звонок, и все классы потянулись один за другим по коридорам в столовую. Он сидел и смотрел на два кусочка масла у своего прибора, но не мог есть липкий хлеб. И скатерть была влажная и липкая. Но он проглотил залпом горячий жидкий чай, который плеснул ему в кружку неуклюжий слугитель в белом фартуке. Вонючка Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он как помой. У них отцы — мировые судьи, говорили мальчики.

Все мальчики казались ему очень странными. У них у всех были папы и мамы и у всех разные костюмы и голоса. Ему так хотелось очутиться дома и положить голову маме на колени. Но это было невозможно, и тогда ему захотелось, чтобы игры, уроки и молитвы уже кончились и он бы лежал в постели.

Он выпил еще кружку горячего чая, а Флеминг спросил:

— Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?

— Я не знаю,— сказал Стивен.

— Наверное, живот болит,— сказал Флеминг,— от этого ты и бледный такой. Ничего, пройдет.

— Да,— согласился Стивен.

Но у него болел не живот. Он подумал, что у него болит сердце, если только это место может болеть. Флеминг очень добрый, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он положил локти на стол и стал зажимать, а потом открывать уши. Тогда всякий раз, как он открывал уши, он слышал шум в столовой. Это был такой гул, как от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гул затихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Доки поезд гудел вот так, а потом, когда он вошел в туннель, гул затих. Он закрыл глаза, и поезд пошел — гул, потом тихо, снова гул — тихо. Приятно слышать, как он гудит,

потом затихает, и вот опять выскочил из туннеля, гудит, затих.

Потом мальчишки старших классов построились и пошли по дорожке посреди столовой. Пэдди Рэт, и Джими Маги, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец, который ходил в шерстяном берете. Потом поднялись из-за стола младшие классы и приготовительные. И у каждого мальчика была своя, особенная походка.

Он сидел в углу рекреационной, делая вид, что следит за игрой в домино, и раз или два ему удалось услышать песенку газа. Надзиратель стоял у двери с мальчишками, и Саймон Мунен завязывал узлом его фальшивые рукава. Он рассказывал им что-то о Таллабеге¹.

Потом он отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и спросил:

— Скажи-ка, Дедал, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?

— Да,— ответил Стивен.

Уэллс повернулся к другим мальчишкам и сказал:

— Слышите, этот мальчик говорит, что он каждый день целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Мальчишки перестали играть и все повернулись и засмеялись. Стивен вспыхнул под их взглядами и сказал:

— Нет, я не целую.

Уэллс подхватил:

— Слышите, этот мальчик говорит, что он не целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Все опять засмеялись. Стивен пытался засмеяться вместе с ними. Он почувствовал, что ему стало сразу жарко и неловко. Как же надо было ответить? Он ответил по-разному, а Уэллс все равно смеялся. Но Уэллс, верно, знает, как надо ответить, потому что он в третьем классе. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но боялся взглянуть Уэллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Уэллса. Это Уэллс столкнул его накануне в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на его игральную кость, которой он сорок раз выиграл в бабки. Это было подло с его стороны, все мальчишки так говорили. А какая холодная

¹ Другая иезуитская закрытая школа, в 1886 г. объединившаяся с Клонгоузом.

и тинистая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула — плюх! — прямо в жижу.

Холодная тина проползла по его телу, и, когда прозвонил звонок на занятия и классы потянулись из рекреационной залы, он почувствовал, как холодный воздух в коридоре и на лестнице забирается ему под одежду. Он все еще думал, как нужно было ответить. Как же нужно — целовать или не целовать маму? Что значит целовать? Поднимешь вот так лицо, чтобы сказать маме «спокойной ночи», а мама наклонит свое. Это и есть целовать. Мама прижимала губы к его щеке, губы у нее мягкие, и они чуть-чуть охладили его щеку и издавали такой коротенький тонкий звук: пц. Зачем это люди прикладываются так друг к другу лицами?

Усевшись на свое место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, с семидесяти семи на семьдесят шесть. Рождественские каникулы были еще так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь Земля все время вертится.

На первой странице его учебника географии была нарисована Земля. Большой шар посреди облаков. У Флеминга была коробка цветных карандашей, и однажды вечером во время пустого урока Флеминг раскрасил Землю зеленым, а облака коричневым. Это вышло, как две щетки у Дэнти в шкафу; щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта. Но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал.

Он открыл географию, чтобы учить урок, но не мог запомнить названий в Америке. Все разные места с разными названиями. Все они в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.

Он опять открыл первую страницу и прочел то, что когда-то написал на этом листе: вот он сам, его фамилия и где он живет.

*Стивен Дедал
Приготовительный класс
Клонгоуз Вуд Колледж
Сэллинз
Графство Килдер
Ирландия*

*Европа
Земля
Вселенная.*

Это было написано его рукой, а Флеминг однажды вечером в шутку написал на противоположной странице:

*Стивен Дедал — меня зовут,
Родина моя — Ирландия,
Клонгоуз — мой приют,
Небо — моя надежда.*

Он прочел стихи наоборот, но тогда получились не стихи. Тогда он прочитал снизу вверх всю первую страницу и дошел до своего имени. Вот это он сам. И он опять прочел все сверху вниз. А что после Вселенной? Ничего. Но, может быть, есть что-нибудь вокруг Вселенной, что отмечает, где она кончается и с какого места начинается это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной; но, может быть, там идет вокруг такой тоненький ободок. Все и везде — как это? — даже подумать нельзя. Такое под силу только Богу. Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только Бог. Бог — так зовут Бога, так же как его зовут Стивен. Dieu — так будет Бог по-французски, и так тоже зовут Бога, и, когда кто-нибудь молится Богу и говорит Dieu, Бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках и Бог понимает все, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках, все-таки Бог всегда остается тем же Богом, и его настоящее имя Бог.

Он очень устал от этих мыслей. Ему казалось, что голова у него сделалась очень большой. Он перевернул страницу и сонно посмотрел на круглую зеленую Землю посреди коричневых облаков. Он начал раздумывать, что правильнее — стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды отпорол ножницами зеленый бархат со щетки, которая была в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл — дурной человек¹. Он думал — спорят ли теперь об этом дома? Это называ-

¹ Имеется в виду скандал из-за связи Парнелла с замужней женщиной Китти О'Ши, который послужил поводом для разногласий в лагере его сторонников. Ирландская католическая церковь подвергла его травле.

лось политикой. И было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси — на другой, но мама и дядя Чарльз не были ни на какой стороне. Каждый день про это что-нибудь писали в газетах.

Его огорчало, что он не совсем понимает, что такое политика, и не знает, где кончается Вселенная. Он почувствовал себя маленьким и слабым. Когда еще он будет таким, как мальчики в классе поэзии и риторики?¹ У них голоса как у больших и большие башмаки, и они проходят тригонометрию. До этого еще очень далеко. Сначала будут каникулы, а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять еще один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из туннеля, и еще похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр — каникулы; туннель — наружу; гул — тихо; как это еще далеко! Хорошо бы скорей в постель и спать. Вот только еще молитва в церкви — и в постель. Его знобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда простыни немножко согреются. Сначала, как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся теплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым. Он опять зевнул. Вечерние молитвы — и в постель; он потянулся, и опять ему захотелось зевнуть. Приятно будет через несколько минут. Он почувствовал, как тепло ползет по холодным шуршащим простыням, все жарче, жарче, пока его всего не бросило в жар и не стало совсем жарко, и все-таки его чуть-чуть знобило и все еще хотелось зевать.

Прозвонил звонок на вечерние молитвы, и они пошли парами всем классом вниз по лестнице и по коридорам в церковь. Свет в коридорах тусклый, и в церкви свет тусклый. Скоро все погаснет и заснет. В церкви холодный, ночной воздух, а мраморные колонны такого цвета, как море ночью. Море холодное и днем и ночью, но ночью оно холодней. У мола, внизу, около их дома, холодно и темно. А дома уж кипит на огне котелок, чтобы варить пунш.

Священник читал молитвы у него над головой, и память его подхватывала стих за стихом:

¹ Мальчики старших классов.

Господи! Отверзи уста мои,
И уста мои возвестят хвалу Твою,
Поспеши, Боже, избавить меня,
Поспеши, Господи, на помощь мне.

В церкви стоял холодный, ночной запах. Но это был святой запах. Он не похож на запах старых крестьян, которые стояли на коленях позади них во время воскресной службы. То был запах воздуха, и дождя, и торфа, и грубой ткани. Но крестьяне были очень благочестивые. Они дышали ему в затылок и вздыхали, когда молились. Они живут в Клейне, сказал один мальчик. Там были маленькие домики, и он видел женщину, которая стояла у полуоткрытой двери с ребенком на руках, когда они ехали мимо из Сэллинза. Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом в темноте, освещенной тлеющим жаром, в теплой полутьме вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев! Страшно заблудиться в темноте! Ему стало страшно, когда он об этом подумал. Он услышал голос священника, произносившего последнюю молитву. Он тоже стал молиться, думая все время о темноте там, снаружи, среди деревьев.

«Посети, Господи, обитель сию и избавь нас от козней лукавого, да охранят нас святые ангелы твои и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами. Аминь».

Пальцы его дрожали, когда он раздевался в дортуаре. Он подгонял их. Ему нужно было раздеться, стать на колени, прочитать молитвы и лечь в постель, прежде чем потушат газ. Он стянул чулки, быстро надел ночную рубашку, стал, дрожа, на колени около кровати и наспех прочел молитвы, боясь, что газ потушат. Плечи его тряслись, когда он шептал:

Господи, спаси папу и маму и сохрани их мне!
Господи, спаси моих маленьких братьев
и сестер и сохрани их мне!
Господи, спаси Дэнти и дядю Чарльза
и сохрани их мне!

Он перекрестился и быстро юркнул в постель, завернув ноги в подол рубашки, съежившись в комок под холодной белой простыней, дрожа всем телом. Он не упадет в ад после смерти, а дрожь скоро пройдет. Голос

в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи. Он взглянул на секунду из-под одеяла и увидел желтые занавески спереди и по бокам кровати, которые закрывали его со всех сторон. Газ тихонько потушили.

Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридорам или к себе, в комнату в конце коридора? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, будто она ходит здесь по ночам и у нее глаза огромные, как фонари на каретах? Говорят, что это призрак убийцы. Дрожь ужаса прошла по его телу. Он увидел темный вестибюль замка. Старые слуги в старинных ливреях собрались в гладильной над лестницей. Это было очень давно. Старые слуги сидели тихо. Огонь пылал в камине, но внизу было темно. Кто-то¹ поднимался по лестнице, ведущей из вестибюля. На нем был белый маршальский плащ, лицо бледное и отрешенное. Он прижимал руки к сердцу. Он отрешенно смотрел на старых слуг. Они смотрели на него, и узнали лицо и одежду своего господина, и поняли, что он получил смертельную рану. Но там, куда они смотрели, была только тьма, только темный, безмолвный воздух. Господин их получил смертельную рану на поле сражения под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы, рука его была прижата к сердцу. У него было бледное, странное лицо, и одет он был в белое маршальское одеяние.

О, как холодно и непривычно жутко думать об этом! Как холодно и непривычно жутко в темноте. Странные, бледные лица кругом, огромные глаза, похожие на фонари. Это призраки убийц, тени маршалов, смертельно раненных на поле сражения далеко-далеко за морем. Что хотят сказать они, почему у них такие странные лица!

«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней...»

Домой на каникулы! Как это будет хорошо! Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кебы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору.

Ура! Ура! Ура!

Кебы поедут мимо часовни, все снимут шапки. Весе-

¹ Замком Клонгоуз в XVIII в. владела семья Браунов. Сын ирландского якобита Максимилиан фон Браун (1705—1757) стал маршалом в австрийской армии. Погиб в битве под Прагой в 1757 г. По преданию, в годовщину своей смерти призрак Брауна является слугам замка.

ло выезжают на проселочную дорогу. Возчики указывают кнутами на Боденстаун¹. Мальчики кричат «ура!». Проезжают мимо дома арендатора Джолли. Ура, ура и еще раз ура! Проезжают через Клейн, с криками, весело раскланиваясь, с ними тоже раскланиваются. Крестьянки стоят у полуоткрытых дверей, кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе — запах Клейна: зимний воздух, дождь, тлеющий торф и грубая ткань крестьянской одежды.

Поезд битком набит мальчиками: длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад и вперед, отпирая, закрывая, распахивая и захлопывая двери. Они в темно-синих с серебром мундирах; у них серебряные свистки и ключи весело позвякивают: клик-клик, клик-клик.

И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Эллина. Телеграфные столбы мимо... мимо...

Поезд мчится дальше и дальше... Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зеленых веток. Плющ и остролист² вокруг трюмо, и плющ и остролист, зеленый и алый, переплетаются вокруг канделябров. Зеленый плющ и алый остролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и остролист ради него и ради Рождества.

Как хорошо!

Все домашнее. Здравствуй, Стивен! Радостные возгласы. Мама целует его. А нужно ли целовать? А папа его теперь маршал, это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен.

Шум...

Это был шум отдергивающихся занавесок, плеск воды в раковинах. Шум пробужденья, одеванья и мытья в дортуаре; надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались... Бледный солнечный свет падал на желтые отдернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело — тоже очень горячие.

¹ Кладбище, где похоронен ирландский политический деятель Теобальд Вулф Тон (1763—1798), боровшийся за независимость Ирландии. Пытался высадиться в Ирландии с помощью французов и свергнуть английское владычество. Попытка была неудачной, и Тон покончил жизнь самоубийством.

² Традиционные рождественские украшения.

Он поднялся и сел на край кровати. Он чувствовал слабость. Он попытался натянуть чулок. Чулок казался отвратительно шершавым на ощупь. Солнечный свет такой странный и холодный.

Флеминг спросил:

— Ты что, заболел?

Он сам не знал. Тогда Флеминг сказал:

— Полезай обратно в постель. Я скажу Макглэйду, что ты заболел.

— Он болен.

— Кто?

— Скажите Макглэйду.

— Ложись обратно.

— Он болен?

Какой-то мальчик держал его под руки, пока он стаскивал прилипший к ноге чулок и ложился обратно в горячую постель.

Он съежился под простыней, радуясь, что она еще теплая. Он слышал, как мальчики говорили о нем, одеваясь к обедне. Подло — столкнуть его в очко уборной, говорили они. Потом их голоса затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:

— Дедал, ты не наябедничаешь на нас, правда?

Перед ним было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.

— Я не нарочно. Правда, не скажешь?

Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Он помотал головой и сказал «нет» и почувствовал себя счастливым.

Уэллс сказал:

— Честное слово, я не нарочно. Я пошутил. Не сердись.

Лицо и голос исчезли. Просит прощения, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь... Растения съедают черви, животных съедает рак, или наоборот. Как это было давно, тогда на площадке, в сумерках, он топтался в хвосте своей команды, и тяжелая птица пролетела низко в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси умер там. Аббаты погребли его сами.

Теперь это было уже лицо не Уэллса, а надзирателя. Он не притворяется. Нет, нет, он в самом деле болен. Он не притворяется. И он почувствовал руку надзирателя на своем лбу и почувствовал, какой горячий и влаж-

ный у него лоб под рукой надзирателя. Как будто прикоснулась крыса — скользкая, влажная и холодная. У всякой крысы два глаза, чтобы смотреть. Гладкие, прилизанные, скользкие шкурки; маленькие ножки, поджатые, чтобы прыгать, черные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать. А вот тригонометрии они никогда не поймут. Дохлые, они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падаль.

Надзиратель опять вернулся, это его голос говорит ему, что надо встать, что отец настоятель сказал, что надо встать, одеться и идти в лазарет. И в то время, как он одевался, торопясь изо всех сил, надзиратель сказал:

— Вот мы теперь пойдем к брату Майклу и скажем, что у нас в животике бунт.

Надзиратель говорил так, потому что он добрый. Это все для того, чтобы рассмешить его. Но он не мог смеяться, потому что щеки и губы у него дрожали, и тогда надзиратель сам засмеялся. А потом крикнул:

— Живо марш! Сено, солома!

Они пошли вместе вниз по лестнице, и по коридору, и мимо ванной. Проходя мимо двери ванной, он со смутным страхом вспомнил теплую, торфяного цвета болотистую воду, теплый влажный воздух, шум окунающихся тел, запах полотенец, похожий на запах лекарства.

Брат Майкл стоял в дверях лазарета, а из дверей темной комнаты, справа от него, шел запах, похожий на запах лекарства. Это от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, и брат Майкл отвечал и называл надзирателя «сэр». У него были рыжеватые с проседью волосы и какой-то странный вид. Как странно, что он навсегда останется только братом. И так странно, что его нельзя называть «сэр», потому что он брат и не похож на остальных. Разве он не такой же благочестивый! Чем он хуже других!

В комнате были две кровати, и на одной кровати лежал мальчик, и, когда они вошли, он крикнул:

— Привет, приготовишка Дедал! Что там, наверху?

— Наверху небо,— сказал брат Майкл.

Это был мальчик из третьего класса, и в то время как Стивен раздевался, он попросил брата Майкла дать ему ломоть поджаренного хлеба с маслом.

— Ну дайте, пожалуйста,— просил он.

— Ему еще с маслом! — сказал брат Майкл. — Выпишем тебя из лазарета, когда придет доктор.

— Выпишете? — переспросил мальчик. — Я еще не совсем выздоровел.

Брат Майкл повторил:

— Выпишем, будь уверен. Я тебе говорю.

Он нагнулся помешать огонь в камине. У него была длинная спина, как у лошади, которая возит конку. Он важно потряхивал кочергой и кивал головой мальчику из третьего класса.

Потом брат Майкл ушел, и немного погодя мальчик из третьего класса повернулся лицом к стене и уснул.

Вот он и в лазарете. Значит, он болен. Написали ли они домой, папе и маме? А еще лучше, если бы кто-нибудь из священников поехал и сказал им. Или он мог бы написать письмо, чтобы тот передал.

Дорогая мама!

Я болен. Я хочу домой! Пожалуйста, приезжай и возьми меня домой. Я в лазарете.

Твой любящий сын

Стивен.

Как они далеко! За окном сверкает холодный солнечный свет. А вдруг он умрет? Ведь умереть можно и в солнечный день. Может быть, он умрет раньше, чем придет мама. Тогда в церкви отслужат заупокойную мессу, как было, когда умер Литтл, — ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в черное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придет, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в черном с золотом облачении, и на алтаре, и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. И потом гроб медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины за главной липовой аллеей. И Уэллс пожалеет о том, что сделал. И колокол будет медленно звонить.

Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, которой его научила Бриджет:

Дин-дон, колокол, звени.

Прощай навеки, мама!

На старом кладбище меня схорони

Со старшим братцем рядом.

Гроб с черною каймою,

Шесть ангелов со мною:
Молятся двое, двое поют,
А двое душу понесут.

Как красиво и грустно! Какие красивые слова, где говорится «на старом кладбище меня схорони». Дрожь прошла по его телу. Как грустно и как красиво! Ему хотелось плакать, не о себе, а над этими словами, такими красивыми и грустными, как музыка. Колокол гудит. Прощай навеки! Прощай!

Холодный солнечный свет потускнел. Брат Майкл стоял у его кровати с чашкой бульона в руках. Он обрадовался, потому что во рту у него пересохло и горело. До него доносились крики играющих на площадке. Ведь день в колледже шел своим порядком, как если бы и он был там. Потом брат Майкл собрался уходить, и мальчик из третьего класса попросил его, чтобы он непременно пришел еще раз и рассказал ему все новости из газет. Он сказал Стивену, что его фамилия Этти и что отец его держит целую уйму скаковых лошадей, все призовые рысаки, и что отец его может сказать брату Майклу, на какую лошадь ему поставить, потому что брат Майкл очень добрый и всегда рассказывает ему новости из газет, которые каждый день получают в общине. В газетах масса всяких новостей, происшествия, кораблекрушения, спорт и политика.

— Теперь в газетах все только и пишут о политике,— сказал он.— Твои родители, наверно, тоже разговаривают об этом?

— Да,— сказал Стивен.

— Мои тоже,— сказал он.

Потом он подумал минутку и сказал:

— У тебя странная фамилия — Дедал, и у меня тоже странная — Этти. Моя фамилия — это название города, а твоя похожа на латынь.

Потом он спросил:

— Ты хорошо отгадываешь загадки?

Стивен ответил:

— Не очень.

Тогда он сказал:

— А ну-ка отгадай, чем графство Килдер похоже на грамматику?

Стивен подумал, какой бы мог быть ответ, потом сказал:

— Сдаюсь.

— Потому что и там и тут «эти». Понятно? Этти — город в графстве Килдэр, а в грамматике местоимение — эти.

— Понятно,— сказал Стивен.

— Это старая загадка,— сказал тот.

Помолчав несколько секунд, он сказал:

— Знаешь что?

— Что? — спросил Стивен.

— Ведь эту загадку можно загадать и по-другому.

— По-другому? — переспросил Стивен.

— Ту же самую загадку,— сказал он.— Знаешь, как загадать ее по-другому?

— Нет,— сказал Стивен.

— И не можешь догадаться?

Он смотрел на Стивена, приподнявшись на постели. Потом откинулся на подушки и сказал:

— Можно загадать по-другому, но как — не скажу.

Почему он не говорил? Его отец, у которого столько скаковых лошадей, должно быть, тоже мировой судья, как отец Сорина и Вонючки Роуча. Он вспомнил о своем отце, как тот пел, когда мама играла на рояле, и всегда давал ему шиллинг, если он просил несколько пенсов, и ему стало обидно за него, что он не мировой судья, как отцы у других мальчиков. Тогда зачем же его отдали сюда, вместе с ними? Но папа говорил ему, что он здесь будет свой, потому что пятьдесят лет тому назад его дедушка подносил здесь адрес Освободителю¹. Людей того времени можно узнать по их старинным костюмам. В то время все было так торжественно — и он подумал, что, может быть, в то время воспитанники в Клонгоузе носили голубые куртки с медными пуговицами, и желтые жилеты, и шапки из кроличьих шкур, и пили пиво, как взрослые, и держали собственных гончих для охоты на зайцев.

Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет стал еще слабее. Теперь над площадкой, наверное, серый, облачный свет. На площадке тихо. Мальчики, должно быть, в классе решают задачи, или отец Арнолл читает им вслух.

¹ Имеется в виду Даниел О'Коннелл.

Странно, что ему не дают никакого лекарства. Может быть, брат Майкл принесет с собой, когда вернется. Говорили, что, когда попадешь в лазарет, дают пить какую-то вонючую жидкость. Он чувствовал себя лучше, чем прежде. Хорошо бы выздоравливать потихоньку. Тогда можно попросить книжку. В библиотеке есть книжка о Голландии. В ней чудесные иностранные названия и картинки необыкновенных городов и кораблей. Так интересно их рассматривать!

Какой бледный свет в окне! Но это приятно. На стене огонь вздымается и падает. Это похоже на волны. Кто-то подложил углей, и он слышал голоса. Они разговаривали. Это шумели волны. Или это волны разговаривали между собой, вздымаясь и падая?

Он увидел море волн — длинные темные валы вздымались и падали, темные, в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на маяке в бухте, куда входил корабль, и он увидел множество людей, собравшихся на берегу, чтобы посмотреть на корабль, входящий в гавань. Высокий человек стоял на борту, глядя на темный плоский берег, и при свете маяка он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла¹.

Он увидел, как брат Майкл протянул руку к толпе, и услышал громкий скорбный голос, пронесшийся над водой:

— Он умер. Мы видели его мертвым.

Скорбные причитания в толпе:

— Парнелл! Парнелл! Он умер!

В глубокой скорби они, стеная, упали на колени.

И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и в зеленой бархатной мантии, спускавшейся с плеч, шествующую гордо и безмолвно мимо толпы, которая стояла на коленях у самой воды.

* * *

Высокая груда раскаленного докрасна угля пылала в камине, а под увитыми плющом рожками люстры был накрыт рождественский стол. Они немножко опоздали, а

¹ Стивен мысленно представляет себе, как в Дублин привезли тело Парнелла, скончавшегося в Англии 6 октября 1891 г.

обед все еще не был готов; но он будет готов сию минуту, сказала мама. Они ждали, когда откроются двери и войдут служанки с большими блюдами, накрытыми тяжелыми металлическими крышками.

Все ждали: дядя Чарльз сидел в глубине комнаты у окна, Дэнти и мистер Кейси — в креслах по обе стороны камина, а Стивен — на стуле между ними, положив ноги на каминную решетку. Мистер Дедал посмотрел на себя в зеркало над камином, подкрутил кончики усов и, отвернув фалды фрака, стал спиной к огню, но время от времени он поднимал руку и снова покручивал то один, то другой кончик уса. Мистер Кейси, склонив голову набок и улыбаясь, пощелкивал себя по шее. И Стивен улыбался; теперь он знал, что это неправда, будто у мистера Кейси кошелек с серебром в горле. Ему было смешно подумать, как это мистер Кейси мог так его обманывать. А когда он попытался разжать его руку, чтобы посмотреть, не там ли этот кошелек с серебром, оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси сказал ему, что эти три пальца у него скрючились с тех пор, как он делал подарок для королевы Виктории ко дню ее рождения¹. Мистер Кейси постукивал себя по шее и улыбался Стивену сонными глазами, а мистер Дедал сказал:

— М-да. Ну, прекрасно. А хорошо мы прошлись! Не правда ли, Джон? М-да... Будет у нас сегодня обед, хотел бы я знать? М-да... Здорово мы озоном надышались. Неплохо, черт возьми.

Он обернулся к Дэнти и сказал:

— А вы сегодня совсем не выходили, миссис Райорден?

Дэнти нахмурилась и ответила коротко:

— Нет.

Мистер Дедал отпустил фалды фрака и подошел к буфету. Он достал с полки большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наливать в графин, нагибаясь то и дело, чтобы посмотреть, сколько он налил. Затем, поставив кувшин обратно в буфет, он налил немного виски в две рюмки, прибавил немного воды и возвратился с рюмками к камину.

¹ Имеется в виду время, которое мистер Кейси провел в тюрьме, где он, вероятно, щипал паклю.

— Рюмочку перед обедом для аппетита, Джон,— сказал он.

Мистер Кейси взял рюмку, выпил и поставил ее около себя на камин. Потом сказал:

— А я сейчас вспомнил нашего приятеля Кристофера, как он гонит...

Он захохотал, потом добавил:

— Гонит шампанское для своих ребят¹.

Мистер Дедал громко рассмеялся.

— Это Кристи-то? — сказал он.— Да в любой бородавке на его плешивой голове хитрости побольше, чем у полдюжины плутов!

Он нагнул голову, закрыл глаза и, смачно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

— А ведь каким простачком прикидывается! Как сладко поет, мошенник! Этакая святая невинность!

Мистер Кейси все еще не мог оправиться от кашля и смеха. По физиономии, по голосу отца Стивен узнал, услышал хозяина гостиницы, и ему стало смешно.

Мистер Дедал вставил в глаза монокль и, посмотрев на сына, сказал спокойно и ласково:

— А ты, малыш, что смеешься, а?

Вошли служанки и поставили блюда на стол. За ними вошла миссис Дедал и пригласила всех к столу.

— Садитесь, прошу вас,— сказала она.

Мистер Дедал подошел к своему месту и сказал:

— Садитесь, миссис Риордан.

— Садитесь, Джон, голубчик.

Он посмотрел в ту сторону, где сидел дядя Чарльз и прибавил:

— Пожалуйста, сэръ, птичка ждет.

Когда все уселись, он положил руку на крышку блюда, но, тотчас же спохватившись, отдернул ее и сказал:

— Ну, Стивен.

Стивен встал, чтобы прочитать молитву перед едой.

«Благослови нас, Господи, и благослови даяния сии, что милостью Твоею ниспосылаешь нам во имя Христа— Спасителя нашего. Аминь».

Все перекрестились, и мистер Дедал, вздохнув от удовольствия, поднял с блюда тяжелую крышку, унизанную по краям блестящими каплями.

¹ Подразумевается, что этот человек изготовлял бомбы, которые поставлял фениям.

Стивен смотрел на жирную индейку, которую еще утром он видел на кухонном столе, связанную и проткнутую спицей. Он знал, что папа заплатил за нее гинею у Данна¹ на Д'Ольер-стрит и продавец долго тыкал ее в грудь, чтобы показать, какая это хорошая птица, и он вспомнил голос продавца:

— Берите эту, сэр. Спасибо скажете. Знатная птица.

Почему это мистер Баррет в Клонгоузе называет индюшкой свою линейку, которой бьют по рукам? Но Клонгоуз далеко, а горячий, густой запах индейки, окорока и сельдерея поднимается от блюд и тарелок, и большое пламя в камине взлетает высоко и ярко, а зеленый плющ и алый остролист вызывают чувство такой радости! А потом, когда обед кончится, подадут громадный плам-пудинг, обсыпанный чищенным миндалем и украшенный остролистом, струйка синеватого огня бежит вокруг него, а маленький зеленый флажок развевается на вершукше.

Это был его первый рождественский обед, и он думал о своих маленьких братьях и сестрах, которые дожидались теперь в детской, когда появится пудинг, как и он дожидался столько раз. В форменной куртке с низким отложным воротником он чувствовал себя необычно и по-взрослому, и, когда его одели сегодня утром, чтобы идти к мессе, и мама привела его в гостиную, папа заплакал. Это потому, что он вспомнил о своем папе. Так и дядя Чарльз сказал.

Мистер Дедал накрыл блюдо крышкой и с аппетитом принялся за еду.

— Бедняга Кристи,— промолвил он,— кажется, он совсем запутался в своих плутнях.

— Саймон,— сказала миссис Дедал,— ты не предложил соуса миссис Риордан.

Мистер Дедал схватил соусник.

— В самом деле,— воскликнул он.— Миссис Риордан, простите несчастного грешника.

Дэнти закрыла свою тарелку руками и сказала:

— Нет, благодарю вас.

Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу:

— А у вас, сэр?

— Все в порядке, Саймон.

¹ Фешенебельный магазин рядом с колледжем Святой Троицы в Дублине.

— Вам, Джон?

— Мне хватит. Про себя не забудьте.

— Тебе, Мэри? Давай тарелку, Стивен. Ешь, ешь, скорей усы вырастут. Ну-ка!

Он щедро налил соуса в тарелку Стивена и поставил соусник на стол. Потом он спросил дядю Чарльза, нежное ли мясо. Дядя Чарльз не мог говорить, потому что у него был полон рот, но он кивнул головой.

— А ведь хорошо наш приятель ответил канонику? А? — сказал мистер Дедал.

— Я не думал, что он на это способен, — сказал мистер Кейси.

— «Я заплачу церковный сбор, отец мой, когда вы перестанете обращать дом Божий в трибуну для агитации»¹.

— Нечего сказать, недурной ответ, — сказала Дэнти, — своему духовному отцу. Особенно для человека, который называет себя католиком.

— Им остается винить только себя, — сказал мистер Дедал с нарочитой кротостью. — Будь они поумней, они занимались бы только религией, а не совались бы не в свои дела.

— Это и есть религия, — сказала Дэнти, — они исполняют свой долг, предостерегая народ.

— Мы приходим в дом господен, — сказал мистер Кейси, — смиренно молиться нашему Создателю, а не слушать предвыборные речи.

— Это и есть религия, — повторила Дэнти. — Они правильно поступают. Они должны наставлять свою паству.

— И агитировать с амвона? — спросил мистер Дедал.

— Разумеется, — сказала Дэнти. — Это касается общественной нравственности. Какой же это священник, если он не будет объяснять своей пастве, что хорошо и что дурно.

Миссис Дедал опустила нож с вилкой и сказала:

— Ради Бога, ради Бога, избавьте нас от этих политических споров хоть на сегодня, в такой день!

— Совершенно верно, мэм, — сказал дядя Чарльз. — Довольно, Саймон. И больше ни слова.

¹ Намек на осуждение Парнелла с амвона католического храма.

— Хорошо, хорошо,— скороговоркой ответил мистер Дедал.

Он решительным жестом снял крышку с блюда и спросил:

— А ну-ка? Кому еще индейки?

Никто не ответил. Дэнти повторила:

— Хорошие речи для католика, нечего сказать.

— Миссис Риордан, умоляю вас,— сказала миссис Дедал,— оставим этот разговор хоть сегодня.

Дэнти повернулась к ней и сказала:

— По-вашему, я должна сидеть и слушать, как издеваются над пастырями церкви?

— Никто против них слова не скажет,— подхватил мистер Дедал,— если они перестанут вмешиваться в политику.

— Епископы и священники Ирландии сказали свое слово,— возразила Дэнти,— им нужно повиноваться.

— Пусть они откажутся от политики,— вмешался мистер Кейси,— а не то народ откажется от церкви.

— Слышите? — сказала Дэнти, обращаясь к миссис Дедал.

— Мистер Кейси! Саймон! Довольно, прошу вас,— умоляла миссис Дедал.

— Нехорошо! Нехорошо! — сказал дядя Чарльз.

— Как! — воскликнул мистер Дедал.— И мы должны были отступить от него¹ по указке англичан!

— Он был уже недостоин вести народ,— сказала Дэнти.— Он жил во грехе, у всех на виду.

— Все мы грешники, окаянные грешники,— невозмутимо ответил мистер Кейси.

— «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят,— сказала миссис Риордан.— Лучше было бы ему, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и бросили его в море, нежели бы он соблазнил одного из малых сих». Вот слова Священного писания.

— И очень скверные слова, если хотите знать мое мнение,— холодно заметил мистер Дедал.

— Саймон! Саймон! — одернул его дядя Чарльз.— При мальчике!

— Да, да,— спохватился мистер Дедал.— Я же говорю... Я хотел сказать... Скверные слова говорил но-

¹ Имеется в виду Парнелл.

сильщик на станции. Вот так, хорошо. Ну-ка, Стивен, подставляй тарелку, дружище. Да смотри доедай все.

Он передал полную тарелку Стивену и положил дяде Чарльзу и мистеру Кейси по большому куску индейки, обильно политой соусом. Миссис Дедал ела очень мало, а Дэнти сидела сложив руки на коленях. Лицо у нее было красное. Мистер Дедал поковырял вилкой остатки индейки и сказал:

— Тут есть еще лакомый кусочек, называется он архиерейский кусочек. Леди и джентльмены, кому угодно?..

Он поднял на вилке кусок индейки. Никто не ответил. Он положил его к себе на тарелку и сказал:

— Мое дело предложить. Но, пожалуй, я съем его сам. Я что-то за последнее время сдал.

Он подмигнул Стивену, накрыл блюдо и опять принялся за еду. Пока он ел, все молчали.

— А погода все-таки разгулялась! — сказал он. — И приезжих много в городе.

Никто не ответил. Он опять заговорил:

— По-моему, в этом году больше приезжих, чем в прошлое Рождество.

Он обвел взглядом лица присутствующих, склоненные над тарелками, и, не получив ответа, выждал секунду и сказал с досадой:

— Все-таки испортили мой рождественский обед!

— Не может быть ни счастья, ни благодати, — процедила Дэнти, — в доме, где нет уважения к пастырям церкви.

Мистер Дедал со звоном швырнул вилку и нож на тарелку.

— Уважение! — сказал он. — Это к Билли-то¹ с его бестыжей болтовней или к этому толстопузому обжоре из Арма² Уважение?!

— Князя церкви! — язвительно вставил мистер Кейси.

— Конюх лорда Лейтрима³, — добавил мистер Дедал.

¹ Архиепископ Дублинский (1841—1921), участвовал в кампании против Парнелла.

² Майкл Лог (1840—1924) — архиепископ Армаский, противник Парнелла.

³ Намек на то, что ирландская церковь — служанка английских властей. Лорд Лейтрим, английский землевладелец в Ирландии, был известен своей жестокостью. Убит ирландскими повстанцами. Его конюх пытался помешать убийству.

— Они помазанники Божии,— сказала Дэнти.— Гордость страны!

— Обжора толстопузый,— повторил мистер Дедал.— Он только и хорош, когда спит. А посмотрели бы вы, как он в морозный денек уписывает у себя свинину с капустой! Красавец!

Он скорчил тупую рожу и зачмокал губами.

— Право, Саймон, не надо так говорить при мальчике. Это нехорошо.

— О да, он все припомнит, когда вырастет,— подхватила Дэнти с жаром,— все эти речи против Бога, религии и священников, которых наслышался в родном доме.

— Пусть он припомнит,— закричал ей мистер Кейси через стол,— и речи, которыми священники и их прихвостни разбили сердце Парнеллу и свели его в могилу. Пусть он и это припомнит, когда вырастет.

— Сукины дети!— воскликнул мистер Дедал.— Когда ему пришлось плохо, тут-то они его и предали! Накинулись и загрызли, как крысы поганые! Подлые псы! Они и похожи на псов. Ей-богу, похожи!

— Они правильно сделали,— крикнула Дэнти.— Они повиновались своим епископам и священникам. Честь и хвала им!

— Но ведь это просто ужасно!— воскликнула миссис Дедал.— Ни одного дня в году нельзя провести без этих ужасных споров.

Дядя Чарльз, умиротворяюще подняв руки, сказал:

— Тише, тише, тише! Разве нельзя высказывать свое мнение без гнева и без ругательств! Право же, нехорошо.

Миссис Дедал стала шепотом успокаивать Дэнти, но Дэнти громко ответила:

— А я не буду молчать! Я буду защищать мою церковь и веру, когда их поносят и оплевывают вероотступники.

Мистер Кейси резко отодвинул тарелку на середину стола и, положив локти на стол, заговорил хриплым голосом, обращаясь к хозяину дома:

— Скажите, я рассказывал вам историю о знаменитом плевке?

— Нет, Джон, не рассказывали,— ответил мистер Дедал.

— Как же,— сказал мистер Кейси,— весьма поучи-

тельная история. Это случилось не так давно в графстве Уиклоу, где мы и сейчас с вами находимся.

Он остановился и, повернувшись к Дэнти, произнес со сдержанным негодованием:

— Позвольте мне заметить вам, сударыня, что если вы имели в виду меня, так я не вероотступник. Я католик, каким был мой отец, и его отец, и отец его отца еще в то время, когда мы скорей готовы были расстаться с жизнью, чем предать свою веру.

— Тем постыдней для вас,— сказала Дэнти,— говорить то, что вы говорили сейчас.

— Рассказывайте, Джон,— сказал мистер Дедал улыбаясь.— Мы вас слушаем.

— Тоже мне католик!— повторила Дэнти иронически.— Самый отъявленный протестант не позволил бы себе таких выражений, какие я слышала сегодня.

Мистер Дедал начал мотать головой из стороны в сторону, напевая сквозь зубы наподобие деревенского певца.

— Я не протестант, повторяю вам еще раз,— сказал мистер Кейси, вспыхнув.

Мистер Дедал, все так же подвывая и мотая головой, вдруг запел хриплым, гнусавым голосом:

*Придите, о вы, католики,
Которые к мессе не ходят!*

Он взял нож и вилку и, снова принимаясь за еду, весело сказал мистеру Кейси:

— Рассказывайте, мы слушаем, Джон, это полезно для пищеварения.

Стивен с нежностью смотрел на лицо мистера Кейси, который, подперев голову руками, уставился прямо перед собой. Он любил сидеть рядом с ним у камина, глядя в его суровое, темное лицо. Но его темные глаза никогда не смотрели сурово, и было приятно слушать его неторопливый голос. Но почему же он против священников? Ведь тогда, выходит, Дэнти права. Он слышал, как папа говорил, будто в молодости Дэнти была монахиней, а потом, когда ее брат разбогател на браслетах и побрякушках, которые он продавал дикарям, ушла из монастыря в Аллеганы. Может быть, поэтому она против Парнелла? И еще— она не любит, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин протестантка, а когда Дэнти была молодая, она знала детей, которые водились с

протестантами, и протестанты издевались над литанией пресвятой девы. «*Башня из слоновой кости*,— говорили они.— *Золотой чертог!*»¹ Как может быть женщина башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же тогда прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоусе, темные волны, свет в бухте и горестные стоны людей, когда они слышали весть.

У Эйлин были длинные белые руки. Как-то вечером, когда они играли в жмурки, она прижала ему к глазам свои руки: длинные, белые, тонкие, холодные и нежные. Это и есть слоновая кость. Холодная и белая, вот что значит башня из слоновой кости.

— Рассказ короткий и занятный,— сказал мистер Кейси.— Это было как-то в Арклоу в холодный, пасмурный день, незадолго до того, как умер наш вождь. Помилуй, Господи, его душу!

Он устало закрыл глаза и остановился. Мистер Дедал взял кость с тарелки и, отдирая мясо зубами, сказал:

— До того, как его убили, вы хотите сказать?

Мистер Кейси открыл глаза, вздохнул и продолжал:

— Однажды он приехал в Арклоу. Мы были на митинге, и, когда митинг кончился, нам пришлось пробиваться сквозь толпу на станцию. Такого рева и воя мне еще никогда не приходилось слышать! Они поносили нас на все лады. А одна старуха, пьяная старая ведьма, почему-то привязалась именно ко мне. Она приплясывала в грязи рядом со мной, визжала и выкрикивала мне прямо в лицо: *Гонитель священников! Парижская биржа! Мистер Фокс²! Китти О'Ши!*

— И что же вы сделали, Джон? — спросил мистер Дедал.

— Я не мешал ей визжать,— сказал мистер Кейси.— Было очень холодно, и, чтобы подбодрить себя, я (прошу извинить меня, мадам) заложил за щеку порцию талламорского табаку, ну и, само собой, слова я не мог сказать, потому что рот был полон табачного сока.

— Ну и что же, Джон?

¹ Слова из католической молитвы, обращенной к деве Марии.

² Парижская биржа — фенианская организация, которую возглавлял Парнелл в 1888 г. Парнелла несправедливо обвинили в незаконном использовании денег, что отразилось на его репутации лидера движения. Мистер Фокс — одно из имен, которое Парнелл использовал в переписке с Китти О'Ши.

— Ну так вот. Я не мешал ей — пусть орет сколько душе угодно про Китти О'Ши и все такое, — пока наконец она не обозвала эту леди таким словом, которое я не повторю, чтобы не осквернять ни наш рождественский обед, ни ваш слух, мадам, ни свой собственный язык.

Он замолчал. Мистер Дедал, подняв голову, спросил:

— Ну и что же вы сделали, Джон?

— Что я сделал? — сказал мистер Кейси. — Она приблизилась ко мне свою отвратительную старую рожу, и у меня был полон рот табачного сока. Я наклонился к ней и сказал: «Тьфу!» — вот так.

Он отвернулся в сторону и показал, как это было.

— Тьфу! Прямо в глаз ей плюнул.

Он прижал руку к глазу и завопил, словно от боли:

— «Ой, Иисусе Христе, дева Мария, Иосиф! — вопила она. — Ой, я ослепла, ой, умираю!»

Он поперхнулся и, давась от смеха и кашля, повторил:

— «Ослепла, совсем ослепла!»

Мистер Дедал громко захохотал и откинулся на спинку стула, дядя Чарльз мотал головой из стороны в сторону. У Дэнти был очень сердитый вид, и, пока они смеялись, она не переставала повторять:

— Очень хорошо, нечего сказать, очень хорошо!

Нехорошо плевать женщине в глаза.

Но каким же словом она обозвала Китти О'Ши, если мистер Кейси даже не захотел повторить его? Он представил себе мистера Кейси среди толпы: вот он стоит на тележке и произносит речь. За это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды к ним пришел сержант О'Нил, он стоял в передней и тихо разговаривал с папой, нервно покусывая ремешок своей каски. И в тот вечер мистер Кейси не поехал поездом в Дублин, а к дому подкатила телега, и он слышал, как папа говорил что-то о дороге через Кэбинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелла так же, как и папа, но ведь и Дэнти — тоже, потому что однажды, когда на эспланаде играл оркестр, она ударила одного господина зонтиком по голове за то, что тот снял шляпу, когда под конец заиграли: «Боже, храни королеву!»

Мистер Дедал презрительно фыркнул.

— Э, Джон, — сказал он. — Так им и надо. Мы не-

счастный, задавленный попами народ. Так всегда было и так будет до скончания века.

Дядя Чарльз покачал головой и сказал:

— Да, плохи наши дела, плохи!

Мистер Дедал повторил:

— Задавленный попами и покинутый Богом народ!

Он показал на портрет своего деда направо от себя, на стене.

— Видите вы этого старика, Джон? — сказал он. — Честный ирландец — в его время люди жили не только ради денег. Он был одним из Белых Ребят, приговоренных к смерти. В тысяча семьсот шестидесятом году он был осужден на смерть как белый повстанец¹. О наших друзьях-церковниках он любил говорить, что никого из них с собой за стол не посадит.

Дэнти вспыхнула:

— Мы должны гордиться тем, что нами управляют священники! Они — зеница ока Божьего. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его.

— Выходит, нам нельзя любить свою родину? — спросил мистер Кейси. — Нельзя идти за человеком, который был рожден, чтобы вести нас?

— Изменник родины, — возразила Дэнти. — Изменник, прелюбодей! Пастыри нашей церкви правильно поступили, отвернувшись от него. Пастыри всегда были истинными друзьями Ирландии.

— И вы этому верите? — сказал мистер Кейси.

Он ударил кулаком по столу и, сердито сдвинув брови, начал отгибать один палец за другим.

— Разве ирландские епископы не предали нас во времена унии², когда епископ Лэниген поднес верноподданнический адрес маркизу Корнуоллису³? Разве епископы и священники не продали в тысяча восемьсот

¹ Имеются в виду Белые Ребята — одна из крестьянских организаций в Ирландии, появившихся в начале 60-х годов XVIII в. Обычно они действовали ночью, надевая поверх одежды белые рубашки (отсюда название). Закон 1765 г. предписывал смертную казнь за участие в этой организации.

² В 1799 г. английское правительство решило распустить ирландский парламент в Дублине и объединить его с английским парламентом в Лондоне. Эта акция уничтожила политическую независимость ирландского парламента. В Ирландии сторонниками унии были священнослужители.

³ Чарльз Корнуоллис (1738—1805) — английский генерал и политический деятель, с 1798 по 1801 г. — вице-король Ирландии.

двадцать девятом году чаяния своей страны за свободу католической религии? Не обличили фенианского движения с кафедры и в исповедальнях? Не обесчестили прах Теренса Белью Макмэнуса¹?

Лицо Кейси гневно пылало, и Стивен чувствовал, что и его щеки начинают пылать от волнения, которое поднималось в нем от этих слов.

Мистер Дедал захохотал злобно и презрительно.

— О Боже,— вскричал он.— Я и забыл старикашку Пола Каллина². Вот еще тоже зеница ока Божьего!

Дэнти перегнулась через стол и выкрикнула в лицо мистеру Кейси:

— Правильно, правильно! Они всегда поступали правильно! Бог, нравственность и религия прежде всего!

Миссис Дедал, видя, как она разгневана, сказала ей:

— Миссис Риордан, поберегите себя, не отвечайте им.

— Бог и религия превыше всего! — кричала Дэнти.— Бог и религия превыше всего земного!

Мистер Кейси поднял сжатый кулак и с силой ударил им по столу.

— Хорошо,— крикнул он хрипло,— если так — не надо Ирландии Бога!

— Джон, Джон! — вскричал мистер Дедал, хватая гостя за рукав.

Дэнти застыла, глядя на него в ужасе: щеки у нее дергались. Мистер Кейси с грохотом отодвинул стул и, перегнувшись к ней через весь стол, стал водить рукой у себя под глазами, как бы отметая в сторону паутину.

— Не надо Ирландии Бога! — кричал он.— Слишком много его было в Ирландии. Хватит с нас! Долой Бога!

— Богохульник! Дьявол! — взвизгнула Дэнти, вскакивая с места, и только что не плюнула ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедал усадили мистера Кейси обратно на стул, они пытались успокоить его. Он смотрел перед собой темными, пылающими глазами и повторял:

¹ Теренс Белью Макмэнус (1828—1860) — ирландский патриот, умер в Сан-Франциско, торжественно погребен в Дублине.

² Пол Каллин (1803—1878) — архиепископ, противник ирландских борцов за независимость. Осуждал демонстрации во время похорон Макмэнуса.

— Долой Бога, долой!

Дэнти с силой оттолкнула свой стул в сторону и вышла из-за стола, уронив кольцо от салфетки, которое медленно покатилося по ковру и остановилось у ножки кресла. Миссис Дедал быстро поднялась и направилась за ней к двери.

В дверях Дэнти обернулась, щеки у нее дергались и пылали от ярости, она крикнула на всю комнату:

— Исчадие ада! Мы победили! Мы сокрушили его насмерть! Сатана!

Дверь с треском захлопнулась.

Оттолкнув державших его, мистер Кейси уронил голову на руки и зарыдал.

— Несчастный Парнелл! — громко простонал он. — Наш погибший король!

Он громко и горько рыдал.

Стивен, подняв побелевшее от ужаса лицо, увидел, что глаза отца полны слез.

* * *

Стоя небольшими группами, мальчики разговаривали. Один сказал:

— Их поймали у Лайенс-Хилл.

— Кто поймал?

— Мистер Глисон и священник. Они ехали на телеге.

Тот же мальчик прибавил:

— Мне это рассказал один из старшего класса.

Флеминг спросил:

— А почему они бежали?

— Я знаю почему, — сказал Сесил Сандер. — Потому что стащили деньги из комнаты ректора.

— Кто стащил?

— Брат Кикема. А потом они поделились.

— Значит, украли? Как же они могли?

— Много ты знаешь, Сандер! — сказал Уэллс. — Я точно знаю, почему они удрали.

— Почему?

— Меня просили не говорить, — сказал Уэллс.

— Ну расскажи, — закричали все. — Не бойся, мы тебя не выдадим.

Стивен вытянул голову вперед, чтобы лучше слы-

шать. Уэллс огляделся по сторонам, не идет ли кто. Потом проговорил шепотом:

— Знаете церковное вино, которое хранится в ризнице в шкафу?

— Да.

— Так вот, они выпили его, а когда стали искать виновных, по запаху их и узнали. Вот почему они скрылись, если хотите знать.

Мальчик, который заговорил первым, сказал:

— Да, да, я тоже так слышал от одного старшеклассника.

Все молчали. Стивен стоял среди них, не решаясь проронить ни слова, и слушал. Его чуть-чуть мутило от страха, он чувствовал слабость во всем теле. Как они могли так поступить? Он представил себе тихую темную ризницу. Там были деревянные шкафы, где лежали аккуратно сложенные по сгибам стихари. Это не часовня, но все-таки разговаривать можно только шепотом. Тут святое место. И он вспомнил летний вечер, когда его привели туда в день процессии к маленькой часовне в лесу, чтобы надеть на него облачение прислужника. Странное и святое место. Мальчик, который держал кадило, медленно размахивал им взад и вперед в дверях, а серебряная крышка чуть-чуть оттягивалась средней цепочкой, чтобы не погасли угли. Уголь был древесный, и, когда мальчик медленно размахивал кадилом, уголь тихонько горел и от него шел кисловатый запах. А потом, когда все облачились, мальчик протянул кадило ректору и ректор насыпал в него полную ложку ладана, и ладан зашипел на раскаленных углях.

Мальчики разговаривали, собравшись группками там и сям на площадке. Ему казалось, что все они стали меньше ростом. Это оттого, что один из гонщиков, ученик второго класса, накануне сшиб его с ног. Велосипед столкнул его на посыпанную шлаком дорожку, и очки его разлетелись на три части, и немного золы попало в рот.

Вот поэтому мальчики и казались ему меньше и гораздо дальше от него, а штанги ворот стали такими тонкими и далекими, и мягкое серое небо поднялось так высоко вверх. Но на спортивной площадке никого не было, потому что все собрались играть в крикет; некоторые говорили, что капитаном будет Барнс, другие считали, что Флауэрс. И по всей площадке бросали, на-

поддавали и запускали в воздух мячи. Удары крикетной биты разносились в мягком сером воздухе. Пик, пак, пок, пек — капельки воды в фонтане, медленно падающие в переполненный бассейн.

Этти, который до сих пор помалкивал, тихо сказал: — И все вы не то говорите.

Все повернулись к нему.

— Почему?

— А ты знаешь?

— Кто тебе сказал?

— Расскажи, Этти!

Этти показал рукой через площадку туда, где Саймон Мунен прогуливался один, гоня ногой камешек.

— Спросите у него, — сказал он.

Мальчики посмотрели туда, потом сказали:

— А почему у него?

— Разве и он тоже?

Этти понизил голос и сказал:

— Знаете, почему эти ребята удрали? Я скажу вам, но только не признавайтесь, что знаете.

— Ну, рассказывай, Этти, ну пожалуйста. Мы не проговоримся.

Он помолчал минутку, потом прошептал таинственно:

— Их застали с Саймоном Муненом и Киком Бойлом вечером в уборной.

Мальчики посмотрели на него и спросили:

— Застали?

— А что они делали?

Этти сказал:

— Щупались.

Все молчали.

— Вот почему, — сказал Этти.

Стивен взглянул на лица товарищей, но они все смотрели на ту сторону площадки. Ему хотелось спросить кого-нибудь, что это значит — щупаться в уборной? Почему пять мальчиков из старшего класса убежали из-за этого? Это шутка, подумал он. Саймон Мунен всегда очень хорошо одет, а как-то раз вечером он показал ему шар со сливочными конфетами, который мальчики из футбольной команды подкатали ему по коврику посреди столовой, когда он стоял у двери. Это было в тот вечер, после состязания с бэктайвской командой, а шар был точь-в-точь как зеленое с красным яблоко, только он открывался, а внутри был набит сливочной

карамелью. А один раз Бойл сказал, что у слона два «кика», вместо того, чтобы сказать — клыка, поэтому его и прозвали Кик Бойл. Но некоторые мальчики называли его Леди Бойл, потому что он всегда следил за своими ногтями, заботливо подпиливая их.

У Эйлин тоже были длинные тонкие прохладные белые руки, потому что она — девочка. Они были как слоновая кость, только мягкие. Вот что означало *БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ*, но протестанты этого не понимали и потому смеялись. Однажды они стояли с ней и смотрели на двор гостиницы. Коридорный прилаживал к столбу длинную полосу флага, а по солнечному газону взад и вперед носился фокстерьер. Она засунула руку к нему в карман, где была его рука, и он почувствовал, какая прохладная, тонкая и мягкая у нее кисть. Она сказала, что очень забавно иметь карманы. А потом вдруг повернулась и побежала, смеясь, вниз по петляющей дорожке. Ее светлые волосы струились по спине, как золото на солнце. *БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ. ЗОЛОТОЙ ЧЕРТОГ*. Когда думаешь над чем-то, тогда начинаешь понимать.

Но почему в уборной? Ведь туда ходишь только по нужде. Там такие толстые каменные плиты, и вода капает весь день из маленьких дырочек, и стоит такой неприятный запах затхлой воды. А на двери одной кабины нарисован красным карандашом бородатый человек в римской тоге с кирпичом в каждой руке и внизу подпись к рисунку: «Балбес стену воздвигал»¹.

Кто-то из мальчиков нарисовал это для смеха. Лицо вышло очень смешное, но все-таки похоже на человека с бородой. А на стене другой кабины было написано справа налево очень красивым почерком: «Юлий Цезарь написал Белую Галку»².

Может быть, они просто забрались туда, потому что мальчики писали здесь ради шуток всякие такие вещи. Но все равно это неприятно, то, что сказал Этти и как он это сказал. Это уже не шутка, раз им пришлось убежать.

¹ Каламбур, основанный на искаженном звучании имени Луция Корнелия Балбуса из Гадеса (Кадис), одного из друзей Юлия Цезаря.

² Игра слов, построенная на созвучии с названием труда Цезаря «*Commentarii de bello Gallico*» — «Записки о галльской войне».

Он посмотрел вместе со всеми через площадку, и ему стало страшно.

А Флеминг сказал:

— Что же, теперь нам всем из-за них попадет?

— Не вернусь я сюда после каникул, вот увидишь, не вернусь,— сказал Сесил Сандер.— По три дня молчать в столовой, а чуть что — еще угодишь под штрафную линейку.

— Да,— сказал Уэллс.— А Баррет повадился свертывать штрафную тетрадку, так что, если развернуть, никак не сложишь по-старому — теперь не узнаешь, сколько тебе положено ударов.

— Я тоже не вернусь.

— Да,— сказал Сесил Сандер,— а классный инспектор был сегодня утром во втором классе.

— Давайте поднимем бунт,— сказал Флеминг.— А?

Все молчали. Воздух был очень тихий, удары крикетной биты раздавались медленнее, чем раньше: пик, пок.

Уэллс спросил:

— Что же им теперь будет?

— Саймона Мунена и Кика высекут,— сказал Этти,— а ученикам старшего класса предложили выбрать: порку или исключение.

— А что они выбрали? — спросил мальчик, который заговорил первым.

— Все выбрали исключение, кроме Корригена,— ответил Этти.— Его будет пороть мистер Глисон.

— Я знаю, почему Корриген так выбрал,— сказал Сесил Сандер,— и он прав, а другие мальчики нет, потому что ведь про порку все забудут, а если тебя исключат из колледжа, так это на всю жизнь. А потом, ведь Глисон будет не больно пороть.

— Да уж лучше пусть он этого не делает,— сказал Флеминг.

— Не хотел бы я быть на месте Саймона Мунена или Кика,— сказал Сесил Сандер.— Но вряд ли их будут пороть. Может, только закатят здоровую порцию по рукам.

— Нет, нет,— сказал Этти,— им обоим всыпят по мягкому месту.

Уэллс почесался и сказал плаксивым голосом:

— Пожалуйста, сэр, отпустите меня, сэр...

Этти хмыльнулся, засучил рукава куртки и сказал:

Теперь уже поздно хныкать,
Терпи, коль виноват,
Живей спускай штанишки
Да подставляй свой зад.

Мальчики засмеялись, но он чувствовал, что они все-таки побаиваются. В тишине мягкого серого воздуха он слышал то тут, то там удары крикетной биты: пок, пок. Это был только звук удара, но когда тебя самого ударят, чувствуешь боль. Линейка, которой били по рукам, тоже издавала звук, но не такой. Мальчики говорили, что она сделана из китового уса и кожи со свинцом внутри, и он старался представить себе, какая от этого боль. Звуки бывают разные. У длинной тонкой тросточки звук высокий, свистящий, и он постарался представить себе, какая от нее боль. Эти мысли заставляли его вздрагивать, и ему делалось холодно, и от того, что говорил Этти — тоже. Но что тут смешного? Его передергивало, но это потому, что, когда спускаешь штанишки, всегда делается немножко холодно и чуть-чуть дрожишь. Так бывает и в ванной, когда раздеваешься. Он думал: кто же будет им снимать штаны — сами мальчики или наставник? Как можно смеяться над этим?!

Он смотрел на засученные рукава и на запачканные чернилами худые руки Этти. Он засучил рукава, чтобы показать, как засучит рукава мистер Глисон. Но у мистера Глисона круглые, сверкающие белизной манжеты и чистые белые пухлые руки, а ногти длинные и острые. Может быть, он тоже подпиливает их, как Леди Бойл. Только это были ужасно длинные и острые ногти. Такие длинные и жестокие, хотя белые пухлые руки были совсем не жестокие, а ласковые. И хотя Стивен дрожал от холода и страха, представляя себе жестокие длинные ногти и высокий, свистящий звук плетки и озноб, проходящий по коже в том месте, где кончается рубашка, когда раздеваешься, все же он испытывал чувство странного и тихого удовольствия, представляя себе белые пухлые руки, чистые, сильные и ласковые. И он подумал о том, что сказал Сесил Сандер: мистер Глисон не будет больно сечь Корригена. А Флеминг сказал: не будет, потому что он сам знает, что ему лучше этого не делать. А вот почему — не понятно.

Голос далеко на площадке крикнул:

— Все домой!

За ним другие голоса подхватили:

— Домой, все домой!

На уроке чистописания он сидел сложив руки и слушал медленный скрип перьев. Мистер Харфорд прохаживался взад и вперед, делая маленькие поправки красным карандашом и подсаживаясь иногда к кому-нибудь из мальчиков, чтобы показать, как держать перо. Он старался прочесть по буквам первую строчку на доске, хотя и знал, что там было написано,— ведь это была последняя фраза из учебника: *«Усердие без разумения подобно кораблю без руля»*. Но черточки букв были как тонкие невидимые нити, и, только крепко-накрепко зажмурив правый глаз и пристально вглядываясь левым, он мог разобрать округлые очертания прописных букв.

Но мистер Харфорд был очень добрый и никогда не злился. Все другие учителя ужасно злились. Но почему им придется отвечать за то, что сделали ученики старшего класса? Уэллс сказал, что они выпили церковное вино из шкафа в ризнице и что это узнали по запаху. Может быть, они украли дароносицу и думали убежать и продать ее где-нибудь? Но ведь это страшный грех — войти тихонько ночью, открыть темный шкаф и украсть сверкающий золотом сосуд, в вине которого претворяется сам Господь во время богослужения среди цветов и свечей, когда ладан облаками поднимается по обе стороны и прислужник размахивает кадилом, а Доминик Келли один ведет первый голос в хоре. Конечно, Бога там не было, когда они украли дароносицу. Но даже прикасаться к ней — невообразимый великий грех. Он думал об этом с благоговейным ужасом: страшный, невообразимый грех; сердце его замирало, когда он думал об этом в тишине, под легкий скрип перьев. Но ведь открыть шкаф и выпить церковное вино, и чтобы потом узнали по запаху, кто это сделал,— тоже грех, хотя не такой страшный и невообразимый. Только чуть-чуть тошнит от запаха вина. В тот день, когда он первый раз причащался в церкви, он закрыл глаза и открыл рот и высунул немножко язык, и, когда ректор нагнулся, чтобы дать ему святое причастие, он почувствовал слабый винный запах от дыхания ректора. Красивое слово — «вино». Представляешь себе темный пурпур, потому что виноградные грозди темно-пурпурные — те, что растут в Греции, около домов, похожих на белые храмы. И все же слабый запах от дыхания ректора вызвал у него

тошноту в день его первого причастия. День первого причастия — это самый счастливый день в жизни. Однажды несколько генералов спросили Наполеона, какой самый счастливый день в его жизни. Они думали, что он назовет день, когда он выиграл какое-нибудь большое сражение, или день, когда он сделался императором. Но он сказал:

— Господа, самый счастливый день в моей жизни — это день первого святого причастия.

Вошел отец Арнолл, и начался урок латыни, и он по-прежнему сидел, прислонившись к спинке парты со сложенными руками. Отец Арнолл раздал тетрадки с упражнениями и сказал: классная работа никуда не годится и чтобы все сейчас же переписали урок с поправками. Но самой плохой была тетрадка Флеминга, потому что страницы у нее слиплись от клякс. И отец Арнолл поднял ее за краешек и сказал, что подавать такую тетрадку — значит просто оскорблять учителя. Потом он вызвал Джека Лотена просклонять существительное *tagē*¹, но Джек Лотен остановился на творительном падеже единственного числа и не знал, как будет во множественном.

— Стыдись, — сказал отец Арнолл строго. — Ты же — первый ученик!

Потом он вызвал другого мальчика, а потом еще и еще. Никто не знал. Отец Арнолл стал очень спокойным и делался все спокойнее и спокойнее по мере того, как вызванные ученики пытались и не могли ответить. Только лицо у него было хмурое, и глядел он пристально, а голос был спокойный. Наконец он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. Отец Арнолл вдруг захлопнул книгу и закричал:

— Стань на колени сейчас же посреди класса. Такого лентяя я еще не видывал. А вы все переписывайте упражнения!

Флеминг медленно поднялся со своего места, вышел на середину и стал на колени между двумя крайними партами. Остальные мальчики наклонились над своими тетрадками и начали писать. В классе воцарилась тишина, и Стивен, бросив робкий взгляд на хмурое лицо отца Арнолла, увидел, что оно покраснело от раздражения.

¹ Море (лат.).

Грех ли, что отец Ариолл сердится, или ему можно сердиться, когда мальчики ленивы,— ведь от этого они лучше учатся? Или, может быть, он только делает вид, что сердится? И это ему можно, потому что он священник и сам знает, что считается грехом, и, конечно, не согрешит. Но если он согрешит как-нибудь нечаянно, где ему исповедоваться? Может быть, он пойдет исповедоваться к главе общины? А если глава общины согрешит, то пойдет к ректору, а ректор к провинциалу¹, а провинциал к генералу иезуитов. Это иезуитский орден, а он слышал, как папа говорил, что все иезуиты очень умные люди. Они могли бы сделаться очень важными людьми, если бы не стали иезуитами. И он старался представить себе, кем бы мог сделаться отец Арнолл, и Педди Баррет, и мистер Макглэйд, и мистер Глисон, если бы они не стали иезуитами. Представить это себе было трудно, потому что приходилось воображать их по-разному, в разного цвета сюртуках и брюках, с усами и с бородой и в разных шляпах.

Дверь бесшумно отворилась и закрылась. Быстрый шепот пронесся по классу: классный инспектор. Секунду стояла мертвая тишина, затем раздался громкий стук линейкой по последней парте. Сердце у Стивена екнуло.

— Не нуждается ли здесь кто-нибудь в порке, отец Арнолл? — крикнул классный инспектор. — Нет ли здесь ленивых бездельников, которым требуется порка?

Он дошел до середины класса и увидел Флеминга на коленях.

— Ага! — воскликнул он. — Кто это такой? Почему он на коленях? Как твоя фамилия?

— Флеминг, сэр.

— Ага, Флеминг! И конечно, лентяй, я уж вижу по глазам. Почему он на коленях, отец Арнолл?

— Он плохо написал латинское упражнение,— сказал отец Арнолл,— и не ответил ни на один вопрос по грамматике.

— Ну конечно,— закричал инспектор,— конечно. Отъявленный лентяй. По глазам видно.

Он стукнул по парте и крикнул:

— Встань, Флеминг! Живо!

Флеминг медленно поднялся с колен.

¹ Один из высших чинов в структуре иезуитского ордена. Провинциалы и генералы подчиняются непосредственно папе римскому.

— Руку! — крикнул инспектор.

Флеминг протянул руку. Линейка опустилась с громким щелкающим звуком: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

— Другую!

Линейка снова отсчитала шесть громких быстрых ударов.

— На колени! — крикнул инспектор.

Флеминг опустился на колени, засунув руки под мышки, и лицо у него исказилось от боли, хотя Стивен знал, что руки Флеминга жесткие, потому что Флеминг натирал их смолой. Но, может быть, ему было очень больно — ведь удары были ужасно громкие. Сердце у Стивена падало и замирало.

— Все за работу! — крикнул инспектор. — Нам здесь не нужны лентяи, бездельники и плуты, отлынивающие от работы! Все за работу! Отец Долан будет навещать вас каждый день. Отец Долан придет завтра. — Он толкнул одного из учеников линейкой в бок и сказал: — Ну-ка, ты! Когда придет отец Долан?

— Завтра, сэр, — раздался голос Тома Ферлонга.

— Завтра, и завтра, и еще завтра, — сказал инспектор. — Запомните это хорошенько. Отец Долан будет приходить каждый день. А теперь пишите. А ты кто такой?

Сердце у Стивена упало.

— Дедал, сэр.

— Почему ты не пишешь, как все?

— Я... свои...

От страха он не мог говорить.

— Почему он не пишет, отец Арнолл?

— Он разбил очки, — сказал отец Арнолл, — и я освободил его от занятий.

— Разбил? Это еще что такое? Как тебя зовут? — спросил инспектор.

— Дедал, сэр.

— Поди сюда, Дедал. Вот еще ленивый плутишка! Я по лицу вижу, что ты плут. Где ты разбил свои очки?

Стивен, торопясь, ничего не видя от страха и спотыкаясь, вышел на середину класса.

— Где ты разбил свои очки? — переспросил инспектор.

— На беговой дорожке, сэр.

— Ага, на беговой дорожке! — закричал инспектор. — Знаю я эти фокусы!

Стивен в изумлении поднял глаза и на мгновение увидел белесовато-серое, немолодое лицо отца Долана, его лысую белесовато-серую голову с пухом по бокам, стальную оправу очков и бесцветные глаза, глядящие сквозь стекла. Почему он сказал, что знает эти фокусы?

— Ленивый маленький бездельник! — кричал инспектор. — Разбил очки! Обычные ваши фокусы! Протяни руку сейчас же!

Стивен закрыл глаза и вытянул вперед свою дрожащую руку ладонью кверху. Он почувствовал, что инспектор на мгновение коснулся его пальцев, чтобы выпрямить их, услышал шелест взметнувшегося вверх рукава сутаны и свист линейки, взвившейся для удара. Язвящий, обжигающий, жесткий, хлесткий удар, будто переломили палку, заставил его дрожащую руку скорчиться, подобно листу на огне, и от звука удара и боли жгучие слезы выступили у него на глазах. Все тело дрожало от страха, и рука дрожала, и скорчившаяся пылающая багровая кисть вздрагивала, как лист, повисший в воздухе. Рыдание готово было сорваться с губ, вопль, чтобы его отпустили. Но хотя слезы жгли ему глаза и руки тряслись от боли и страха, он подавил жгучие слезы и вопль, застрявшие у него в горле.

— Другую руку! — крикнул инспектор.

Стивен опустил свою изуроданную, дрожащую руку и протянул левую. Опять шелест рукава сутаны, и свист линейки, взвившейся для удара, и громкий обрушившийся треск, и острая, невыносимая обжигающая боль заставила его ладонь и пальцы сжаться в одну багровую вздрагивающую массу. Жгучие слезы брызнули у него из глаз, и, пылая от стыда, боли и страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело парализовал страх, и, корчась от стыда и отчаяния, он почувствовал, как сдавленный стон рвется у него из груди и жгучие слезы брызжут из глаз и текут по горящим щекам.

— На колени! — крикнул классный инспектор.

Стивен быстро опустился на колени, прижимая к бокам избитые руки. Он испытывал такую жалость к этим избитым и мгновенно распухшим от боли рукам, будто это были не его собственные, а чьи-то чужие руки, которые он жалел. И на коленях, подавляя последние

утихавшие в горле рыдания и прижимая к бокам обжигающую жестокую боль, он представил себе свои руки, протянутые ладонями вверх, и твердое прикосновение рук инспектора, когда тот выпрямлял его дрожащие пальцы, и избитую, распухшую, покрасневшую мякоть ладони, и беспомощно вздрагивающие в воздухе пальцы.

— Все за работу! — крикнул инспектор, обернувшись в дверях.— Отец Долан будет проверять каждый день, нет ли здесь ленивых шалопаев и бездельников, нуждающихся в порке. Каждый день! Каждый день!

Дверь за ним затворилась.

Присмиревший класс продолжал переписывать упражнения. Отец Арнолл поднялся со своего стула и начал прохаживаться среди парт, ласковыми словами подбадривая мальчиков и объясняя им их ошибки. Голос у него сделался очень ласковый и мягкий. Затем он вернулся к своему столу и сказал Флемингу и Стивену:

— Можете идти на место, оба.

Флеминг и Стивен поднялись, пошли к своим партам и сели. Стивен, весь красный от стыда, поспешно открыл книгу одной рукой и нагнулся над ней, уткнувшись лицом в страницы.

Это было нечестно и жестоко, потому что доктор запретил ему читать без очков, и он написал домой папе сегодня утром, чтобы прислали другие. И отец Арнолл сказал ему, что он может не заниматься, пока не пришлют очки. А потом его обозвали плутом перед всем классом и побили, а он всегда шел первым или вторым учеником и считался вождем Йорков. Почему классный инспектор решил, что это плутни? Он почувствовал прикосновение пальцев инспектора, когда они выпрямляли его руку, и сначала ему показалось, что инспектор хочет поздороваться с ним, потому что пальцы были мягкие и крепкие; но тут же послышалось шуршание взмывшего вверх рукава сутаны и удар. Жестоко и нечестно заставлять его потом стоять на коленях посреди класса. И отец Арнолл сказал им, что они могут вернуться оба на место, не сделав между ними никакой разницы. Он слышал тихий и мягкий голос отца Арнолла, поправлявшего упражнения. Может быть, он раскаивается теперь и старается быть добрым. Но это нечестно и жестоко. Классный инспектор — священник, но это нечестно и жестоко. И его белесовато-серое лицо и бесцвет-

ные глаза за очками в стальной оправе смотрели жестоко, потому что он сперва выпрямил его руку своими крепкими мягкими пальцами, но только для того, чтобы ударить посильнее и погромче.

— Я считаю, что это гнусная подлость, вот и все,— сказал Флеминг в коридоре, когда классы вереницей тянулись в столовую.— Бить человека, когда он ни в чем не виноват.

— А ты правда нечаянно разбил свои очки? — спросил Вонючка Роуч.

Стивен почувствовал, как сердце его сжалось от слов Флеминга, и ничего не ответил.

— Конечно, нечаянно,— сказал Флеминг.— Я бы не стал терпеть. Я бы пошел и пожаловался ректору.

— Да,— живо подхватил Сесил Сандер,— и я видел, как он занес линейку за плечо. А он не имеет права так делать.

— А здорово больно было? — спросил Вонючка Роуч.

— Да, очень,— сказал Стивен.

— Я бы этого не потерпел от Плешивки, и ни от какого другого плешивки,— повторил Флеминг.— Просто гнусная и низкая подлость. Я бы пошел сразу после обеда к ректору и пожаловался ему.

— Конечно, пойди, конечно,— сказал Сесил Сандер.

— Да, да, иди, иди к ректору, Дедал, и пожалуйся на него,— подхватил Вонючка Роуч,— ведь он сказал, что придет завтра и опять побьет тебя.

— Да, да, пожалуйся ректору,— закричали все.

Несколько мальчиков из второго класса слышали это, и один из них сказал:

— Сенат и римский народ постановили, что Дедал был наказан незаслуженно.

Это было незаслуженно, это было нечестно и жестоко. Сидя в столовой, он снова и снова восстанавливал в памяти все пережитое, пока ему не пришло в голову: а вдруг по лицу его можно заподозрить в плутовстве? И он пожалел, что у него нет маленького зеркальца, чтобы проверить, так ли это. Но нет, быть того не может, и это несправедливо, и жестоко, и нечестно.

Он не мог есть темно-серые рыбные котлеты, которые им давали во время великого поста по средам; на одной из картофелин был след заступа. Да, да, он делает так, как говорили мальчики. Он пойдет и скажет ректору, что его наказали незаслуженно. Вот так же по-

ступил когда-то один великий человек, чей портрет есть в учебнике истории. И ректор объявит, что он наказан незаслуженно,— ведь сенат и римский народ всегда оправдывали таких людей и объявляли, что они были наказаны незаслуженно. Это были те самые великие люди, чьи имена стояли в вопроснике Ричмела Мэгнолла¹. И в истории, и в рассказах Питера Парли² про Грецию и Рим было про этих людей и про их дела. Сам Питер Парли изображен на картинке на первой странице. Там нарисована дорога через равнину, поросшая по обеим сторонам травой и кустарником, а Питер Парли в широкополой шляпе, как у протестантского пастора, с толстой палкой в руках быстро шагает по дороге в Грецию и в Рим.

Ведь это совсем не трудно — сделать то, что надо. Просто, когда он выйдет вместе со всеми после обеда, пойти не по коридору, а по лестнице, которая ведет в замок, только и всего; повернуть направо и быстро взбежать по лестнице, и через несколько секунд он очутится в низком, темном, узком коридоре, который ведет в комнату ректора. И все мальчики считают, что это нечестно, и даже мальчик из второго класса, который сказал про сенат и римский народ.

Что-то будет? Он услышал, как ученики старшего класса поднялись из-за стола; он слышал их шаги по ковровой дорожке посреди столовой. Пэдди Рэт и Джими Мэджи, и испанец, и португалец, а пятым шел большой Корриген, которого будет сечь мистер Глисон. А его классный инспектор обозвал плутом и побил ни за что; и, напрягая свои больные заплаканные глаза, он смотрел на широкие плечи Корригена, который, опустив свою черную голову, шел мимо него позади всех. Но ведь он что-то такое сделал, и, кроме того, мистер Глисон не будет его сечь больно. Он вспомнил, каким большим казался Корриген в бане. У него кожа такого же торфяного цвета, как болотистая вода в мелком конце бассейна, и, когда он идет по проходу, ноги его громко шлепают по мокрым плитам и ляжки слегка трясутся при каждом шаге, потому что он толстый.

Столовая уже наполовину опустела, и мальчики ве-

¹ Ричмел Мэгнолл — автор учебника географии и истории, очень популярного в XIX в.

² Питер Парли — псевдоним Сэмюэля Гудрича (1793—1860), американского издателя, выпустившего серию книг для детей.

реницей шли к выходу. Он пойдет по лестнице прямо наверх, потому что за дверями столовой никогда не бывает ни классного надзирателя, ни инспектора. Нет, он не пойдет. Ректор станет на сторону классного инспектора и скажет, что это все фокусы, и тогда все равно инспектор будет приходить каждый день, но это еще хуже, потому что он страшно обозлится на мальчика, который пожаловался на него ректору. Мальчики уговаривают его пойти, а ведь сами-то не пошли бы. Они уже забыли обо всем. Нет, лучше и ему забыть, и, может, классный инспектор только так сказал, что будет приходить каждый день. Нет, лучше просто не попадаться ему на глаза, потому что, если ты маленький и неприметный, тебя не тронут.

Мальчики за его столом поднялись. Он встал и пошел в паре вслед за другими к выходу. Нужно решать. Вот уже совсем близко дверь. Если он пойдет со всеми дальше, то уже не попадет к ректору, потому что ему никак нельзя будет уйти с площадки. А если пойдет и его все равно накажут, все будут дразнить его и рассказывать про маленького Дедала, который ходил к ректору жаловаться на классного инспектора.

Он шел по дорожке, пока не оказался перед дверью. Нет. Нельзя. Он не может. Он вспомнил лысую голову инспектора, его жестокие бесцветные глаза и услышал голос, переспросивший дважды, как его фамилия. Почему он не мог запомнить с первого раза? Оттого что не слушал первый раз или оттого, что насмеялся над его фамилией? У великих людей в истории фамилии похожи на его, и никто над ними не насмеялся. Пусть он насмеяется над своей собственной фамилией: если ему уж так хочется. Долан — похоже на фамилию женщины, которая приходила к ним стирать.

Он шагнул за дверь, быстро повернув направо, пошел по лестнице и, прежде чем успел подумать, не вернуться ли назад, очутился в низком, темном, узком коридоре, ведущем в замок. Едва перешагнув порог в коридор, он, не поворачивая головы, увидел, что все мальчики, гуськом выходявшие из столовой, смотрят ему вслед.

Он шел узким, темным коридором мимо низеньких дверок в кельи общины. Он вглядывался в полумрак прямо перед собой направо и налево и думал: вот здесь должны быть портреты на стенах. Кругом было темно

и тихо, а глаза у него были больные и опухшие от слез, так что он не мог ничего рассмотреть. Но ему казалось, что портреты святых и великих людей ордена молча смотрели на него со стен, когда он проходил мимо: св. Игнатий Лойола¹ с раскрытой книгой в руке, указывающий перстом на слова «Ad Majorem Dei Gloriam»², св. Франциск Ксаверий³, указывающий на свою грудь, Лоренцо Риччи⁴ в берете, точно классный наставник, и три патрона благочестивых отроков — св. Станислав Костка, св. Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс — все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кенни⁵ в кресле, закутанный в большой плащ.

Он вышел на площадку над главным входом и осмотрелся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь были следы солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак в белом одеянии маршала.

Старик прислужник подметал в конце площадки. Он спросил старика, где комната ректора, тот показал на дверь в противоположном конце и провожал его взглядом, пока он не подошел и не постучался.

Никто не ответил. Он постучал громче, и сердце у него упало, когда приглушенный голос произнес:

— Войдите.

Он повернул ручку, открыл дверь и ощупью старался найти ручку второй, внутренней, двери, обитой зеленым войлоком. Он нашел ее, нажал и вошел в комнату.

Ректор сидел за письменным столом и писал. На столе стоял череп, а в комнате был странный запах, как от кожаной обивки на старом кресле.

Сердце его сильно билось от того, что он находился в таком торжественном месте, и от того, что в комнате была тишина; он смотрел на череп и на ласковое лицо ректора.

— Ну, в чем дело, мальчуган? — спросил ректор. — Что случилось?

¹ Игнатий Лойола (1419(?) — 1556) — основатель иезуитского ордена.

² К вящей славе Божьей (лат.) — девиз иезуитского ордена.

³ Франциск Ксаверий (1506—1552) — ученик Игнатия Лойолы, один из первых иезуитов-миссионеров.

⁴ Лоренцо Риччи (1703—1775) — с 1758 г. генерал ордена иезуитов

⁵ Питер Кенни — иезуитский священник, основавший Клонгоузский колледж.

Стивен судорожно проглотил подступивший у него к горлу комок и сказал:

— Я разбил свои очки, сэр.

Ректор открыл рот и произнес:

— О!

Потом улыбнулся и сказал:

— Ну что ж, если мы разбили очки, придется написать домой, чтобы нам прислали новые.

— Я написал домой, сэр,— сказал Стивен,— и отец Арнолл сказал, чтобы я не занимался до тех пор, пока их не пришлют.

— Ну что же, отлично,— сказал ректор.

Стивен опять судорожно глотнул, стараясь остановить дрожь в ногах и в голосе.

— Но...

— Но что же?

— Отец Долан пришел сегодня и побил меня за то, что я не писал упражнении.

Ректор смотрел на него молча, и Стивен чувствовал, как кровь приливает у него к щекам и слезы вот-вот брызнут из глаз.

Ректор сказал:

— Твоя фамилия Дедал, не так ли?

— Да, сэр.

— А где ты разбил свои очки?

— На беговой дорожке, сэр. Какой-то мальчик задел меня велосипедом, и я упал, а они разбились. Я не знаю фамилии того мальчика.

Ректор опять молча посмотрел на него. Потом он улыбнулся и сказал:

— Ну, я уверен, что это просто недоразумение, отец Долан не знал, конечно.

— Но я сказал ему, что разбил их, сэр, а он накал меня.

— Ты говорил ему, что написал домой, чтобы тебе прислали новые?

— Нет, сэр.

— Ну, тогда, конечно, отец Долан не понял. Можешь сказать, что я освободил тебя от занятий на несколько дней.

Стивен, дрожа от страха и боясь, что у него вот-вот прервется голос, добавил поспешно:

— Да, сэр, но отец Долан сказал, что он придет завтра и опять побьет меня за это.

— Хорошо,— проговорил ректор,— это недоразумение, я сам поговорю с отцом Доланом. Ну, все?

Стивен почувствовал, что слезы застилают ему глаза, и прошептал:

— О да, спасибо, сэр.

Ректор протянул ему руку через стол с той стороны, где стоял череп, и Стивен на секунду почувствовал его холодную, влажную ладонь.

— Ну, до свидания,— сказал ректор, отнимая руку и кивая.

— До свидания, сэр,— сказал Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и осторожно закрыв за собой обе двери.

Но миновав старика прислужника на площадке и снова очутившись в низком, узком, темном коридоре, он зашагал быстрее. Все быстрее шагал он, торопясь в полутьме, задыхаясь от волнения. Локтем толкнул дверь в конце коридора, сбегал вниз по лестнице, еще двумя коридорами и — на волю.

Он уже слышал крики играющих на площадке. Он бросился бегом, быстрее, быстрее, пересек беговую дорожку и, запыхавшись, остановился на площадке около своего класса.

Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его со всех сторон тесным кругом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать.

— Ну, расскажи, расскажи!

— Что он сказал?

— Ты вошел к нему?

— Что он сказал?

— Расскажи, расскажи!

Он рассказал им, что говорил он и что говорил ректор, и, когда он кончил, все как один подбросили фуражки в воздух и закричали:

— Ура!..

Поймав фуражки, они снова запустили их вверх и снова закричали:

— Ура! Ура!

Потом сплели руки, усадили его и таскали до тех пор, пока он не начал вырываться. А когда он вырвался и убежал, они рассыпались в разные стороны и снова стали подбрасывать фуражки в воздух и свистели, когда они взвивались вверх, выкрикивая:

— Ура!

А потом они испустили три грозных крика на страх Плешивке Долану и троекратное «ура» в честь Конми и объявили его лучшим ректором со времен основания Клонгоуза.

Крики замерли вдали в мягком сером воздухе. Он был один. Ему было легко и радостно. Но все равно он не будет задаваться перед отцом Доланом, он будет очень тихим и послушным. И ему захотелось сделать отцу Долану что-нибудь хорошее, чтобы показать ему, что он не задается.

Воздух был мягкий, серый и спокойный; приближались сумерки. Запах сумерек стоял в воздухе, так пахнут поля в деревне, где они выкапывали репу во время прогулки к усадьбе майора Бартона и тут же ее очищали и ели на ходу; так пахнет маленький лес за беседкой, где растут чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в короткой и дальней подаче мяча. В мягкой серой тишине слышался глухой стук, и в этом покое со всех сторон раздавались удары крикетной биты: пик, пок, пак — точно капельки воды в фонтане, мягко падающие в переполненный бассейн.

Глава II

Дядя Чарльз курил такое ядовитое зелье, что в конце концов племянник предложил ему наслаждаться утренней трубкой в маленьком сарайчике в глубине сада.

— Отлично, Саймон. Превосходно! — спокойно сказал старик. — Где угодно. В сарае так в сарае, оно даже здоровее.

— Черт возьми, — с жаром сказал мистер Дедалус, — я просто не представляю себе, как это вы только можете курить такую дрянь! Ведь это же чистый порох, честное слово!

— Прекрасный табак, Саймон, — отвечал старик, — очень смягчит и освежает!

С тех пор каждое утро дядя Чарльз, тщательно причесав и пригладив волосы на затылке и водрузив на голову вычищенный цилиндр, отправлялся в свой сарай. Когда он курил, из-за косяка двери виднелся только край его цилиндра и головка трубки. Его убежище, как называл он вонючий сарай, который с ним делили кошка и садовый инструмент, служило ему также студией для вокальных упражнений, и каждое утро он с увлечением мурлыкал себе под нос какую-нибудь из своих любимых песен: «В сень ветвей удались», или «Голубые очи, золотые кудри», или «Рощи Бларни», а серые и голубые кольца дыма медленно поднимались из трубки и исчезали в ясном воздухе.

В первую половину лета в Блэкроке дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. Дядя Чарльз был крепкий старик с резкими чертами лица, здоровым за-

гаром и седыми бакенбардами. В будние дни ему поручалось заказывать провизию, и он отправлялся из дома на Кэрисфорт-авеню, на главную улицу города, в лавки, где обычно семья делала покупки. Стивен любил ходить с ним по магазинам, потому что дядя Чарльз от души угощал всем, что было выставлено в открытых ящиках и бочках. Бывало, он схватит кисть винограда прямо вместе с опилками или штуки три яблок и щедро оделит ими мальчика, а хозяин криво улыбается; если же Стивен делает вид, что не хочет брать, он хмурится и говорит:

— Берите, сэръ, слышите, что я говорю! Это полезно для кишечника!

Когда заказ был принят, они отправлялись в парк, где старинный приятель отца Стивена, Майк Флинн, поджидал их на скамейке. Тут начинался для Стивена бег вокруг парка. Майк Флинн стоял на дорожке у выхода к вокзалу с часами в руках, а Стивен пробегал круг по правилам Майка Флинна — высоко подняв голову, выбрасывая колени и плотно прижав руки к бокам. Когда утренний бег заканчивался, тренер делал ему замечания и иногда показывал, как надо бежать, и сам пробегал несколько шагов, забавно шаркая ногами в старых синих брезентовых туфлях. Кучка изумленных детей и нянек собиралась вокруг и глазела на него, не расходясь даже тогда, когда он снова усаживался с дядей Чарльзом и заводил разговор о спорте и политике. Хотя папа говорил, что лучшие бегуны нашего времени прошли через руки Майка Флинна, Стивен часто с жалостью поглядывал на дряблое, обросшее щетиной лицо своего тренера, склонившееся над длинными желтыми от табака пальцами, которые скручивали самокрутку, смотрел на его кроткие выцветшие голубые глаза, которые вдруг рассеянно устремлялись в голубую даль, когда длинные распухшие пальцы переставали крутить, а табачные волокна и крошки сыпались обратно в кiset.

По дороге домой дядя Чарльз часто заходил в церковь, и, так как Стивен не мог дотянуться до кропильницы со святой водой, старик погружал в нее руку и быстро опрыскивал водой одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он опускался на колени, предварительно подстелив красный носовой платок, и читал громким шепотом по захватанному, потемневшему молитвеннику,

в котором внизу на каждой странице были напечатаны начальные слова молитв. Стивен не разделял его набожности, но из уважения к ней становился рядом на колени. Он часто гадал: о чем так усердно молится дядя Чарльз? Может быть, о душах в чистилище или просит ниспослать ему счастливую смерть, а может быть, о том, чтобы Бог вернул ему хоть часть того большого состояния, которое он промотал в Корке.

По воскресеньям Стивен с отцом и дядюшкой ходили на прогулку. Несмотря на свои мозоли, старик был отличный ходок, и нередко они проходили десять, а то и двенадцать миль. В маленькой деревушке Стиллорген дорога разветвлялась. Они или отправлялись налево к Дублинским горам или шли на Гоутстаун и оттуда в Дандрам и возвращались домой через Сэндифорд. Во время ходьбы или на привале в какой-нибудь грязной придорожной харчевне старшие неизменно вели разговоры на излюбленные темы — о политических делах в Ирландии, о Манстере¹ или о каких-нибудь давних событиях в семье, а Стивен с жадностью слушал. Непонятные слова он повторял про себя снова и снова, пока не заучивал их наизусть, и через них постепенно учился постигать окружающий его мир. Час, когда ему тоже надо будет принять участие в жизни этого мира, казался ему близким, и втайне он начинал готовиться к великому делу, которое, как он чувствовал, было предназначено ему, но сущность которого он только смутно предугадывал.

После обеда он был предоставлен самому себе; он зачитывался растрепанной книжкой — переводом «Графа Монте-Кристо». Образ этого мрачного мстителя связывался в его воображении со всем непонятным и страшным, о чем он только догадывался в детстве. По вечерам на столе в гостиной он мастерил из переводных картинок, бумажных цветов, тонкой разноцветной бумаги и золотых и серебряных бумажных полосок, в которые заворачивают шоколад, дивную пещеру на острове. Когда он разорял это сооружение, утомившись его мишурным блеском, перед ним вставало яркое виде-

¹ Манстер — южная и самая большая из четырех провинций Ирландии, жители которой в XVI и XVII вв. очень резко выступали против английского владычества, за что подвергались репрессиям.

ние Марсея, залитая солнцем садовая ограда и Мерседес.

За Блэкроком, на ведущей в горы дороге, в саду, где росли розы, стоял маленький белый домик, и в этом домике, говорил он себе, жила другая Мерседес. Идя на прогулку или возвращаясь домой, он всегда отсчитывал расстояние до этого места и в мечтах переживал длинный ряд чудесных, как в книге, приключений, и в конце появлялся сам: постаревший и печальный, он стоял в залитом лунным светом саду с Мерседес, которая много лет тому назад предала его любовь, и печально и гордо произносил:

«Мадам, я не ем мускатного винограда».

Он подружился с мальчиком по имени Обри Миллз и вместе с ним основал в парке союз искателей приключений. В петлице куртки у Обри висел свисток, на поясе — велосипедный фонарь, а у других мальчиков за поясом были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, вычитавший где-то, что Наполеон любил одеваться просто, отказался от всяких знаков отличия, и это доставляло ему особое удовольствие, когда он держал совет со своими подчиненными. Участники союза совершали набеги на сады старых дев или собирались в крепости замка¹, где устраивали сражения на заросших косматым мхом скалах; потом устало брели домой, и в носу у них сохранялся застоявшийся запах пляжа, а руки и волосы были насквозь пропитаны едким маслянистым соком морских водорослей.

Обри и Стивену привозил молоко один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на тележке в Каррик-майнз, где паслись коровы. Пока он доил, мальчики по очереди катались по полю верхом на смирной кобыле. Но когда наступила осень, коров загнали с пастбища домой, и, едва Стивен увидел вонючий скотный двор в Стрэдбруке — отвратительные зеленые лужи, кучи жидкого навоза и клубы пара от кормушек с отрубями, — его чуть не стошнило. Коровы, казавшиеся на воле в солнечные дни такими красивыми, теперь вызывали в нем гадливое чувство, и он даже смотреть не мог на молоко.

¹ Имеется в виду замок Мартелло с его фортификационными башнями.

Приближение сентября в этом году не огорчало его, потому что больше не надо было возвращаться в Клонгоус. Майк Флинн слег в больницу, и тренировки в парке прекратились. Обри начал ходить в школу, и его отпускали гулять не больше чем на час после обеда. Союз распался, и не было уже больше ни вечерних набегов, ни сражений на скалах. Стивен иногда ездил с молочником развозить вечерний удой, и эти поездки по холодку прогоняли из его памяти вонь скотного двора, а клочки сена и коровьей шерсти на одежде молочника больше не вызывали в нем отвращения. Когда тележка останавливалась у какого-нибудь дома, он ждал: вот покажется на секунду до блеска начищенная кухня или мягко освещенная передняя, и он увидит, как служанка подставит кушин, а потом закроет дверь. Ему казалось, что неплохо так жить, развозя каждый вечер молоко,— были бы теплые перчатки и полный карман имбирных пряников на дорогу. Но то же предчувствие, от которого сжималось сердце и вдруг подкашивались ноги во время тренировок в парке, то же предвидение, которое заставляло его смотреть с недоверием на дряблое, обросшее щетиной лицо тренера, уныло склонявшееся над длинными, в пятнах, пальцами, отгоняло все его представления о будущем. Смутно он понимал, что у отца неприятности: поэтому-то его больше не посылали в Клонгоуз. С некоторых пор он стал замечать в доме небольшие перемены, и эти перемены, нарушавшие то, что он всегда считал неизменным, всякий раз наносили маленький удар по его детскому представлению о мире. Честолюбие, которое временами он чувствовал, шевелилось только на дне его души и не искало выхода. Когда он прислушивался к стуку лошадиных копыт, цокающих по рельсам конки на Рок-роуд, и слышал грохот огромного бидона, который подпрыгивал позади него, сумрак, такой же как и на земле, заволакивал его сознание.

Он мысленно возвращался к Мерседес, и, когда перед ним вставал ее образ, в крови зарождалось странное беспокойство. Временами лихорадочный жар охватывал его и гнал бродить в сумерках по тихим улицам. Мирная тишина садов, приветливые огни окон проливали отрадный покой в его смятенное сердце. Крики играющих детей раздражали его, а их глупые голоса острее, чем даже в Клонгоузе, заставляли чувствовать,

что он не похож на других. Ему не хотелось играть. Ему хотелось встретить в действительном мире тот неуловимый образ, который непрестанно мерещился его душе. Он не знал ни где, ни как искать его. Но предчувствие говорило ему, что без всяких усилий с его стороны образ этот когда-нибудь предстанет перед ним. Они встретятся спокойно, как если бы уже знали друг друга и условились встретиться где-нибудь под аркой или в каком-нибудь другом более укромном месте. Они будут одни — кругом темнота и молчание, и в это мгновение беспредельной нежности он преобразится. Он исчезнет у нее на глазах, обратится в нечто бесплотное, а потом мгновенно преобразится. Слабость, робость, неопытность спадут с него в этот волшебный миг.

* * *

Однажды утром у ворот остановились два больших желтых фургона и люди, тяжело топая, вошли в дом, чтобы увезти обстановку. Мебель потащили к фургонам через палисадник, где повсюду валялась солома и обрывки веревок. Когда все благополучно погрузили, фургоны с грохотом покатались по улице, и из окна конки Стивен, сидевший рядом с заплаканной матерью, увидел, как они тряслись по Мэрион-роуд.

Камин в гостиной не разгорался в тот вечер, и мистер Дедал прислонил кочергу к прутьям решетки и ждал, когда займется пламя. Дядя Чарльз дремал в углу полупустой, не застеленной ковром комнаты. Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, затоптанный грузчиками. Стивен сидел на низенькой скамеечке около отца, слушая его длинный бессвязный монолог. Вначале он понимал очень немного или вовсе ничего не понимал, но постепенно стал улавливать, что у папы были враги и что предстоит какая-то борьба. Он чувствовал, что и его вовлекают в эту борьбу, что на него возлагаются какие-то обязательства. Неожиданный отъезд, так внезапно нарушивший его мечты и спокойную жизнь в Блэкроке, переезд через унылый туманный город, мысль о неуютном голом помещении, в котором они теперь будут жить, заставляли сжиматься его сердце. И снова какое-то прозрение, предчувствие буду-

шего охватывало его. Он понимал теперь, почему служанки часто шептались между собой в передней и почему папа, стоя на коврике у камина, спиной к огню, часто во весь голос говорил что-то дяде Чарльзу, а тот убеждал его сесть и пообедать.

— Я еще не сдался, Стивен, сынок,— говорил мистер Дедал, яростно тыкая кочергой в вялый огонь в камине,— мы еще повоюем, черт подери (Господи, прости меня), да и как еще повоюем!

Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз сделался таким бестолковым, что его нельзя было посылать с поручениями, а из-за беспорядка, царившего в доме после переезда, Стивен был свободнее, чем в Блэкроке. Вначале он только отваживался бродить по соседней площади или спускался до середины одного переулка — но потом, мысленно составив себе план города, смело отправился по одной из центральных улиц и дошел до таможни. Он бесцельно бродил по набережным мимо доков, с удивлением глядя на множество поплавков, покачивавшихся на поверхности воды в густой желтой пене, на толпы портовых грузчиков, на грохочущие подводы, на неряшливо одетых, бородатых полисменов. Огромность и необычность жизни, о которой говорили ему тюки товаров, сваленные вдоль стен или свисавшие из недр пароходов, снова будили в нем то беспокойство, которое заставляло его блуждать по вечерам из сада в сад в поисках Мерседес. И среди этой новой кипучей жизни он мог бы вообразить себя в Марселе, но только здесь не было ни яркого неба, ни залитых солнцем решетчатых окон винных лавок. Смутная неудовлетворенность росла в нем, когда он смотрел на набережные, и на реку, и на низко нависшее небо, и все же он продолжал блуждать по городу день за днем, точно и в самом деле искал кого-то, кто ускользал от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам, и, хотя они шли мимо веселого ряда сверкающих огнями магазинов, украшенных к Рождеству, он оставался молчалив, угрюмая замкнутость не покидала его. Причин для угрюмости было много — и прямых и косвенных. Ему досаждало, что он еще так юн, что поддается каким-то глупым неумным порывам, досаждала перемена в их жизни, превратившая мир, в котором он жил, во что-то убогое и фальшивое. Однако досада не

привнесла ничего нового в его восприятие окружающего мира. Он терпеливо, отстраненно отмечал все то, что видел, и втайне впитывал этот губительный дух.

Он сидел на табуретке в кухне у своей тети. Лампа с рефлектором висела на покрытой лаком стене над камином, и при этом свете тетя читала лежавшую у нее на коленях вечернюю газету. Она долго смотрела на снимок улыбающейся женщины, потом сказала задумчиво:

— Красавица Мейбл Хантер.

Кудрявая девочка поднялась на цыпочки и, поглядев на снимок, тихо спросила:

— В какой это пьесе, мама?

— В пантомиме, детка.

Девочка прижала кудрявую головку к руке матери и, глядя на портрет, прошептала, словно завороченная:

— Красавица Мейбл Хантер.

Словно завороченная, она, не отрываясь, смотрела на эти лукаво усмехающиеся глаза и восхищенно шептала:

— Ах, какая прелесть.

Мальчик, который вошел с улицы, тяжело ступая и согнувшись под мешком угля, слышал ее слова. Он проворно сбросил на пол свою ношу и подбежал посмотреть. Он тянул к себе газету покрасневшими и черными от угля руками, отталкивая девочку и жалуясь, что ему не видно.

Он сидит в узкой тесной столовой в верхнем этаже старого с темными окнами дома. Пламя очага пляшет на стене, а за окном над рекой сгущается призрачная мгла. Старуха возится у очага, готовит чай и, не отрываясь от своего занятия, тихо рассказывает, что сказали священник и доктор. И еще она говорит, какие перемены наблюдаются в последнее время у больной, какие странности в поступках и речах. Он слушает эти речи, а мысли его поглощены приключениями, которые разворачиваются перед ним в тлеющих углях — под арками и сводами, в извилистых галереях и тесных пещерах.

Внезапно он чувствует какое-то движение в дверях. Там, в сумраке, в темном проеме приоткрытой двери, повис череп. Жалкое существо, похожее на обезьяну, стоит там, привлеченное звуками голосов у очага. Ноющий голос спрашивает:

— Это Жозефина?

Суетящаяся старуха, не отходя от очага, живо откликается:

— Нет, Эллен, это Стивен!

— А... Добрый вечер, Стивен.

Он отвечает на приветствие и видит на лице в дверях бессмысленную улыбку.

— Тебе что-нибудь нужно, Эллен? — спрашивает старуха.

Но та, не отвечая на вопрос, говорит:

— Я думала, это Жозефина. Я приняла вас за Жозефину, Стивен.— Она повторяет это несколько раз и тихонько смеется.

Он сидит на детском вечере в Харольд-кроссе. Молчаливая настороженность все сильнее завладевает им, и он почти не принимает участия в играх. Дети, надев колпаки, которые достались им в хлопучках, прыгают и пляшут, но он, хоть и пытается разделить их веселье, все равно чувствует себя таким унылым среди всех этих задорных треуголок и чепцов.

Но когда, выступив со своей песенкой, он уютно устраивается в тихом уголке, одиночество становится ему приятно. Веселье, которое в начале вечера казалось ненастоящим, бессмысленным, действует теперь, как успокаивающий ветерок, приятно пробегающий по чувствам, прячущий от чужих взглядов лихорадочное волнение крови, когда через хоровод танцующих, сквозь этот шум музыки и смеха, взгляд ее устремляется к его уголку, ласкающий, дразнящий, ищущий, волнующий сердце.

В передней одеваются последние дети. Вечер кончился. Она набрасывает шаль, и, когда они вместе идут к конке, пар от свежего теплого дыхания весело клубится над ее закутанной головой и башмачки ее бесечно постукивают по замерзшей дороге.

То был последний рейс. Гнедые облезлые лошади чувствовали это и потряхивали бубенчиками в остратку ясной ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головой в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях валялось несколько цветных билетиков. С улицы не было слышно шагов ни в ту, ни в другую сторону. Ни один звук не нарушал тишины ночи, только гнедые облезлые лошади терлись друг о друга мордами и потряхивали бубенцами.

Они, казалось, прислушивались: он на верхней ступеньке, она на нижней. Она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, когда разговор замолкал, а раза два стояла минуту совсем близко от него, забыв сойти вниз, но потом сошла. Сердце его плясало, послушное ее движениям, как поплавок на волне. Он слышал, что говорили ему ее глаза из-под шали, и знал, что в каком-то туманном прошлом, в жизни или в мечтах, он уже слышал такие речи. Он видел, как она охорашивается перед ним, дразня его своим нарядным платьем, сумочкой и длинными черными чулками, и знал, что уже тысячи раз поддавался этому. Но какой-то голос, прорывавшийся изнутри сквозь стук его мятущегося сердца, спрашивал: примет ли он ее дар, за которым нужно только протянуть руку. И ему вспомнился день, когда он стоял с Эйлин, глядя на двор гостиницы, где коридорный прилаживал к столбу длинную полоску флага, а фокстерьер носился взад и вперед по солнечному газону, и она вдруг засмеялась и побежала вниз по отлогой дорожке. Вот и теперь, как тогда, он стоял безучастный, не двигаясь с места,— словно спокойный зритель, наблюдающий разыгрывающуюся перед ним сцену.

«Ей тоже хочется, чтобы я прикоснулся к ней,— думал он.— Поэтому она и пошла со мной. Я мог бы легко прикоснуться, когда она становится на мою ступеньку: никто на нас не смотрит. Я мог бы обнять и поцеловать ее».

Но ничего этого он не сделал; и потом, сидя в пустой конке и мрачно глядя на рифленую подножку, он изорвал в мелкие клочки свой билет.

На следующий день он просидел несколько часов у себя за столом в пустой комнате наверху. Перед ним было новое перо, новая изумрудно-зеленого цвета тетрадь и новая чернильница. По привычке он написал наверху на первой странице заглавные буквы девиза иезуитского ордена: A.M.D.G. На первой строчке вывел заглавие стихов, которые собирался писать: К Э. Он знал, что так полагается, потому что видел подобные заглавия в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и проведя под ним волнистую линию, он задумался и стал машинально чертить что-то на обложке. Ему вспомнилось, как он сидел у себя за столом в Брэе на следующий день после рождественского обеда и пы-

тался написать стихи о Парнелле на обороте дублика-
тов отцовских закладных. Но тема никак не давалась
ему, и, отказавшись от попытки, он исписал весь лист
фамилиями и адресами своих одноклассников:

Родерик Кикем
Джек Лотен
Энтони Максуйни
Саймон Мунен

Казалось, у него ничего не получится и теперь, но, размышляя о том вечере, он почувствовал себя увереннее. Все, что представлялось незначительным, обыденным, исчезло, в воспоминаниях не было ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей, даже он и она отступили куда-то вдаль. Стихи говорили только о ночи, о нежном дыхании ветерка и девственном сиянии луны; какая-то неизъяснимая грусть таилась в сердцах героев, молча стоявших под обнаженными деревьями, а лишь только наступила минута прощанья, поцелуй, от которого один из них удержался тогда, соединил обоих. Закончив стихотворение, он поставил внизу страницы буквы L. D. S.¹, и, спрятав тетрадку, пошел в спальню матери и долго рассматривал свое лицо в зеркале на ее туалетном столике.

Но долгая пора досуга и свободы подходила к концу. Однажды отец пришел домой с ворохом новостей и выкладывал их без умолку в течение всего обеда. Стивен дожидался прихода отца, потому что в этот день на обед было баранье рагу и он знал, что отец предложит ему макать хлеб в подливку. Но на этот раз подливка не доставила ему никакого удовольствия, потому что при упоминании о Клонгоузе у него что-то подступило к горлу.

— Я чуть было не налетел на него², — рассказывал в четвертый раз мистер Дедал, — как раз на углу площади.

— Так он сможет это устроить? — спросила миссис Дедал. — Я говорю насчет Бельведера³.

¹ Laus Deo Semper — вечно Бога хвалит (лат.). Обычная пометка на сочинениях в иезуитских школах.

² Имеется в виду отец Конми — ректор Клонгоузского колледжа.

³ Иезуитский колледж.

— Ну еще бы, конечно,— сказал мистер Дедал.— Я же говорил тебе, ведь он теперь провинциал ордена.

— Мне и самой очень не хотелось отдавать его в школу христианских братьев¹,— сказала миссис Дедал.

— К черту христианских братьев!— вскричал мистер Дедал.— Якшаться со всякими замарашками Пэдди да Майки! Нет, пусть уж держится иезуитов, раз он у них начал. Они ему и потом пригодятся. У них есть возможности обеспечить положение в жизни.

— И ведь это очень богатый орден, не правда ли, Саймон?

— Еще бы! А как живут? Ты видела, какой у них стол в Клонгоузе? Слава Богу, кормятся как бойцовые петухи!

Мистер Дедал пододвинул свою тарелку Стивену, чтобы тот доел остатки.

— Ну, а тебе, Стивен, теперь придется приналечь,— сказал он.— Довольно ты погулял.

— Я уверена, что он теперь будет стараться изо всех сил,— сказала миссис Дедал,— тем более что и Морис будет с ним.

— Ах, Господи, я и забыл про Мориса,— сказал мистер Дедал.— Поди сюда, Морис, негодник. Поди ко мне, дурачок. Ты знаешь, что я тебя пошлю в школу, где тебя будут учить складывать К—О—Т—кот. И я тебе куплю за пенни хорошенький носовой платочек, чтобы ты им вытирал нос. Вот здорово будет, а?

Морис, просияв, уставился сначала на отца, а потом на Стивена. Мистер Дедал вставил монокль в глаз и пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен жевал хлеб и не глядел на отца.

— Да, кстати,— сказал наконец мистер Дедал,— ректор, то есть, вернее, провинциал, рассказал мне, что произошло у тебя с отцом Доланом. А ты, оказывается, бесстыжий плут.

— Неужели он так и сказал, Саймон?

— Да нет!— засмеялся мистер Дедал.— Но он рассказал мне этот случай со всеми подробностями. Мы ведь долго болтали с ним о том о сем... Ах да, кстати! Ты знаешь, что он мне, между прочим, рассказал? Кто,

¹ Христианские братья — см. прим. к с. 24.

ты думаешь, сел на его место в общине? Впрочем, про это потом. Ну так вот, мы с ним болтали по-приятельски, и он спросил меня, ходит ли наш приятель по-прежнему в очках, и рассказал всю историю.

— Он был недоволен, Саймон?

— Недоволен! Как бы не так! «Мужественный малыш»,— сказал он.

Мистер Дедал передразнил жеманную, гнусавую манеру провинциала:

— «Ну и посмеялись же мы вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом». «Берегитесь, отец Долан,— сказал я,— как бы юный Дедалус не выдал вам двойную порцию по рукам!» Ну и посмеялись же мы все! Ха, ха, ха!

Мистер Дедал повернулся к жене и воскликнул своим обычным голосом:

— Видишь, в каком духе их там воспитывают! О, иезут— это дипломат во всем, до мозга костей.

Он повторил опять, подражая голосу провинциала:

— «Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. Ха, ха, ха!»

* * *

Вечером перед школьным спектаклем под духов день Стивен стоял у гардеробной и смотрел на маленькую лужайку, над которой были протянуты гирлянды китайских фонариков. Он видел, как гости, спускаясь по лестнице из главного здания, проходили в театр. Распорядители во фраках, старожилы Бельведера, дежурили у входа в театр и церемонно провожали гостей на места. При внезапно вспыхнувшем свете фонарика он увидел улыбающееся лицо священника.

Святые дары были убраны из ковчега¹, а первые скамейки отодвинуты назад, чтобы возвышение перед алтарем и пространство перед ним оставались свободными. У стены были поставлены гантели, булавы, в углу свалены гири, а среди бесчисленных груд гимнастических туфель, фуфаек и рубашек, засунутых кое-как в ко-

¹ Шкафчик на алтаре, где находится дарохранильница.

ричневые мешки, стоял большой деревянный, обшитый кожей конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену и вокруг выстроится команда участников состязания, которое состоится в конце спортивной программы.

Стивен, хоть он и был выбран старшиной гимнастического класса в награду за свои успехи в письменных работах, в первом отделении программы не участвовал, но в спектакле, который шел во втором отделении, у него была главная комическая роль учителя. Его выбрали на эту роль из-за его фигуры и степенных манер. Он был уже второй год в Бельведере и учился в предпоследнем классе.

Вереница маленьких мальчиков в белых гольфах и фуфайках, топая, пробежала через ризницу в церковь. В ризнице и в церкви толпились взволнованные наставники и ученики. Пухлый лысый сержант пробовал ногой трамплин возле коня. Худощавый молодой человек в длинном пальто, который должен был жонглировать булавами, стоял рядом и с интересом наблюдал: блестящие посеребренные булавы торчали из его глубоких боковых карманов. Откуда-то доносился глухой треск деревянных шаров, команда готовилась к выходу; минуто спустя взволнованный наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей, суетливо хлопая крыльями сутаны и покрикивая на отстающих. Группа одетых неаполитанскими крестьянами мальчиков репетировала танец в глубине церкви — одни разводили руками над головой, другие, приседая, размахивали корзинками с искусственными фиалками. В темном углу придела за аналоем тучная старая дама стояла на коленях, утопая в ворохе своих пышных черных юбок. Когда она поднялась, стало видно фигурку в розовом платье, в парике с золотыми локонами, в старомодной соломенной шляпке, с подведенными бровями и искусно подрумяненными и напудренными щечками. Тихий изумленный шепот пробежал по церкви при виде этой девической фигурки. Один из наставников, улыбаясь и кивая, подошел к темному углу и, поклонившись тучной старой даме, сказал любезно:

— Что это — хорошенькая молодая леди или кукла, миссис Тэллен?

И, нагнувшись, чтобы заглянуть под поля шляпки в улыбающееся накрашенное личико, он воскликнул:

— Не может быть! Да ведь это маленький Бerti Тэллен!

Стивен со своего наблюдательного поста у окна услышал, как старая леди и священник засмеялись, потом услышал восхищенный шепот школьников позади, подошедших посмотреть на маленького мальчика, который должен был исполнить соло — танец соломенной шляпки.

Нетерпеливый жест вырвался у Стивена. Он опустил край занавески и, сойдя со скамейки, на которой стоял, вышел из церкви.

Он прошел через здание колледжа и остановился под навесом у самого сада. Из театра напротив доносился глухой шум голосов и всплески меди военного оркестра. Свет уходил вверх сквозь стеклянную крышу, а театр казался праздничным ковчегом, бросившим якорь среди тесноты домов и закрепившимся у причала на хрупких цепях фонарей. Боковая дверь театра внезапно открылась — и полоса света протянулась через лужайку. С ковчега грянул внезапно гром музыки — первые такты вальса, дверь снова закрылась, и теперь до слушателя долетали только слабые звуки мелодии. Выразительность вступительных тактов, их томность и плавное движение вызвали в нем то же неизъяснимое чувство, которое заставляло его беспокожно метаться весь день и минуту тому назад прорвалось в его нетерпеливом жесте. Беспокойство выплескивалось из него, словно волна звуков, и на гребне накатывающей музыки плыл ковчег, волоча за собой цепи фонарей. Потом шум — будто выстрелила игрушечная артиллерия — нарушил движение. Это аудитория аплодисментами приветствовала появление на сцене гимнастов.

В конце навеса, прилегавшего к улице, в темноте мелькнула красная светящаяся точка. Шагнув туда, он почувствовал легкий приятный запах. Двое мальчиков стояли и курили в дверном проеме; и еще издали он узнал по голосу Курона.

— Вот идет благородный Дедал! — крикнул высокий гортанный голос. — Привет истинному другу!

Вслед за приветствием раздался тихий деланный смех, и Курон, отвесив поклон, стал постукивать тросточкой по земле.

— Да, это я, — сказал Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Курона на его товарища.

Спутника Курона он видел впервые, но в темноте,

при вспыхивающем свете сигареты, он разглядел бледное, несколько фатоватое лицо, по которому медленно блуждала улыбка, высокую фигуру в пальто и котелке. Курон не потрудился представить их друг другу и вместо этого сказал:

— Я только что говорил моему другу Уоллису: вот была бы потеха, если бы ты сегодня вечером изобразил ректора в роли учителя. Превосходная вышла бы штука!

Курон не очень успешно попытался передразнить педантичный бас ректора, и сам, рассмеявшись над своей неудачей, обратился к Стивену:

— Покажи-ка, Дедал, ты так здорово его передразниваешь: «А если-и и це-еркви не послу-ушает, то будет он тебе-е, как язы-ычник и мы-ытарь».

Но тут его прервал тихий нетерпеливый возглас Уоллиса, у которого сигарету заело в мундштуке.

— Черт побери этот проклятый мундштук,— ворчал Уоллис, вынув его изо рта и презрительно улыбаясь.— Всегда в нем вот так застревает. А вы с мундштуком курите?

— Я не курю,— ответил Стивен.

— Да,— сказал Курон,— Дедал примерный юноша. Он не курит, не ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девочками — и того не делает, и сего не делает!

Стивен покачал головой, глядя с улыбкой на покрасневшее и оживленное лицо своего соперника, с горбатым, как птичий клюв, носом. Его часто удивляло, что у Винсента Курона при птичьей фамилии и лицо совсем как у птицы. Прядь бесцветных волос торчала на лбу, как взъерошенный хохолок. Лоб был низкий, выпуклый, и тонкий горбатый нос выступал между близко посаженными, навывкате, глазами, светлыми и невыразительными. Соперники были друзьями по школе. Они сидели рядом в классе, рядом молились в церкви, болтали друг с другом после молитвы за утренним чаем. Ученики в первом классе были безликие тупицы, и потому Курон и Стивен фактически возглавляли класс. Они вместе ходили к ректору, когда нужно было выпросить свободный денек или избавиться от наказания провинившегося.

— Да, кстати,— сказал Курон.— Я видел, как прошел твой родитель.

Улыбка сбежала с лица Стивена. Всякий раз, когда

кто-нибудь заговаривал с ним об отце, будь то товарищ или учитель, он сразу настораживался. Молча, с опаской, он ждал, что скажет Курон дальше. Но Курон многозначительно подтолкнул его локтем и сказал:

— А ты, оказывается, хитрюга.

— Почему же? — спросил Стивен.

— С виду он и воды не замутит, — сказал Курон, — а на самом деле хитрюга.

— Позвольте узнать, что вы имеете с виду? — спросил Стивен вежливо.

— Действительно, позвольте! — сказал Курон. — Мы ведь видели ее, Уоллис? А? Красотка, черт побери. А до чего любопытна! «А какая роль у Стивена, мистер Дедал? А будет ли Стивен петь, мистер Дедал?» Твой папаша так и вперил в нее свой монокль: я думаю, он тебя тоже раскусил. Ну и что, меня бы это не смутило! Прелесть девочка, правда, Уоллис?

— Да, недурна, — спокойно отвечал Уоллис, снова вставляя мундштук в угол рта.

Острый гнев на секунду охватил Стивена от этих бестактных намеков в присутствии постороннего. Он не видел ничего забавного в том, что девочка интересовалась им и спрашивала про него. Весь день он не мог думать ни о чем другом, как только об их прощании на ступеньках конки в Харолд-Кроссе, о волнующих переживаниях того вечера и о стихах, которые он тогда написал. Весь день он представлял себе, как снова встретится с ней, потому что он знал, что она придет на спектакль. То же беспокойное томление теснило ему грудь, как и тогда на вечере, но теперь оно не находило выхода в стихах. Два года легли между «теперь» и «тогда», два года, за которые он многое узнал, отрезали для него этот выход, и весь день сегодня томительная нежность поднималась в нем темной волной, и, захлебнувшись сама в себе, падала, отступала и снова набегала и росла, пока он наконец не дошел до полного изнеможения, но тут шуточный разговор наставника с загримированным мальчиком вырвал у него нетерпеливый жест.

— Так что лучше кайся, — продолжал Курон, — ведь мы тебя уличили на этот раз. И нечего тебе больше прикидываться святошей, все ясно как Божий день!

Тихий деланный смех сорвался с его губ, и он, на-

гнувшись, легонько ударил Стивена тростью по ноге, как бы в знак порицания.

Гнев Стивена уже прошел. Он не чувствовал себя ни польщенным, ни задетым, ему просто хотелось отделаться шуткой. Он уже почти не обижался на то, что ему казалось глупой бестактностью, он знал, что никакие слова не коснутся того, что происходит в его душе, и улыбнулся так же фальшиво, как и его соперник.

— Кайся,— повторил Курон снова, ударяя его тростью по ноге.

Удар, хоть и шуточный, был сильнее первого. Стивен почувствовал легкое, почти безболезненное жжение и, покорно склонив голову, как бы изъявляя готовность продолжать шутку товарища, стал читать «Confiteor»¹. Эпизод закончился благополучно. Курон и Уоллис снисходительно засмеялись такому кощунству.

Стивен машинально произносил слова молитвы, они как будто сами срывались с его губ, а ему в эту минуту вспоминалась другая сцена, она словно по волшебству всплыла в его памяти, когда он вдруг заметил у Курона жестокие складки в уголках улыбающегося рта, почувствовал знакомый удар трости по ноге и услышал знакомое слово предостережения:

— Кайся!

* * *

Это произошло в конце первого семестра, в первый год его пребывания в колледже. Его чувствительная натура все еще страдала от немилосердных ударов убогой бренной жизни. А душа все еще пребывала в смятении, угнетенная безрадостным зрелищем Дублина. Два года он жил, зачарованный мечтами, а теперь очнулся в совершенно незнакомом мире, где каждое событие, каждое новое лицо кровно задевало его, приводя в уныние или пленяя, и, пленяя или приводя в уныние, всегда вызывало в нем тревогу и мрачные раздумья. Весь свой досуг он проводил за чтением писателей-бунтарей, их язвительность и неистовые речи западали ему в душу и бередили его мысли, пока не изливались в его незрелых писаниях.

Сочинение было для него важнее всего в учебной не-

¹ Покаянная молитва.

деле, и каждый вторник по дороге из дома в школу он или выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать, прежде чем он дойдет до определенного места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и таким образом загадывал, будет он первым по сочинению или нет.

И вот пришел вторник, когда счастливая полоса успехов внезапно кончилась. Мистер Тейт, учитель английского, показал на него пальцем и отрывисто сказал:

— У этого ученика в сочинении ересь.

Наступила тишина. Не нарушая ее, мистер Тейт скреб рукой между колен, и в классе слышалось только легкое похрустывание его туго накрахмаленных манжет и воротничка. Стивен не поднимал глаз. Было серое весеннее утро, и глаза у него все еще были слабые и болели. Он чувствовал, что пропал, что его изобличили, что разум его убог, и дома у него убого, и ощущал жестокий край шершавого вывернутого наизнанку воротника, впившегося ему в шею.

Громкий, короткий смешок мистера Тейта ослабил напряженное молчание в классе.

— Вы, может быть, не знали этого? — сказал он.

— Чего именно? — спросил Стивен.

Мистер Тейт вытащил руки, ходившие между колен, и развернул письменную работу.

— Вот здесь. Относительно создателя и души. Мм... мм... мм... Ага! Вот... «Без возможности когда-либо приблизиться». Это ересь.

— Я хотел сказать: «Без возможности когда-либо достигнуть», — пробормотал Стивен.

Это была уступка, и мистер Тейт, успокоившись, сложил сочинение и, передавая ему, сказал:

— О! Да! «Когда-либо достигнуть». Это другое дело.

Но класс не успокоился так скоро. Хотя никто не заговаривал с ним об этом после урока, он чувствовал вокруг себя всеобщее смутное злорадство.

Спустя несколько дней после публичного выговора он шел по Драмкондра-роуд, собираясь опустить письмо, и вдруг услышал, как кто-то крикнул:

— Стой!

Он обернулся и увидел трех мальчиков из своего класса, приближавшихся к нему в сумерках. Окликнувший его был Курон, который быстро шагал между двумя товарищами, рассекая перед собой воздух тонкой

тросточкой в такт шагам. Боланд, его приятель, шагал рядом, улыбаясь во весь рот, а Нэш, запыхавшись от ходьбы и мотая своей большой рыжей головой, плелся позади.

Как только мальчики повернули на Клонлифф-роуд, зашел разговор о книгах и писателях, о том, кто какие книги читал и сколько книг в шкафах дома у родителей. Стивен слушал их с некоторым удивлением, потому что Боланд считался в классе первым тупицей, а Нэш — первым лентяем. И в самом деле, когда речь зашла о любимых писателях, Нэш заявил, что самый великий писатель — это капитан Мэрриет¹.

— Чепуха! — сказал Курон. — Спроси-ка Дедала. Кто, по-твоему, самый великий писатель, Дедал? А?

Стивен, почувствовав насмешку, спросил:

— Из прозаиков?

— Да.

— Я думаю, Ньюмен².

— Кардинал Ньюмен? — спросил Боланд.

— Да, — ответил Стивен.

Веснушчатое лицо Нэша так и расплылось от смеха, когда он, повернувшись к Стивену, спросил:

— И тебе нравится кардинал Ньюмен?

— Многие находят, что у Ньюмена превосходный стиль, — пояснил Курон двум своим приятелям, — но, конечно, он не поэт.

— А кто, по-твоему, величайший поэт? — спросил Боланд.

— Конечно, лорд Теннисон³, — ответил Курон.

— Да, конечно, лорд Теннисон, — сказал Нэш. — У нас дома есть полное собрание его стихов в одном томе.

Тут Стивен, забыв обеты молчания, которые он давал про себя, не выдержал:

— Теннисон — поэт? Да он просто рифмоплет!

— Ты что! — сказал Курон. — Все знают, что Теннисон — величайший поэт.

¹ Фредерик Мэрриет (1792—1848) — второстепенный английский писатель, автор популярных повестей из морской жизни.

² Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — писатель, выдающийся стилист, известный богослов. Был англиканским священником и в 1845 г. принял католичество.

³ Альфред Теннисон (1809—1892) — известный английский поэт; писатели поколения Джойса уже не увлекались его поэзией, находя ее плоской и неглубокой.

— А кто, по-твоему, величайший поэт? — спросил Боланд, подталкивая соседа.

— Конечно, Байрон, — ответил Стивен.

Сначала Курон, а за ним и другие разразились презрительным хохотом.

— Что вы смеетесь? — спросил Стивен.

— Над тобой смеемся, — сказал Курон. — Байрон — величайший поэт? Только невежды считают его поэтом.

— Вот так прекрасный поэт! — сказал Боланд.

— А ты лучше помалкивай, — сказал Стивен, смело повернувшись к нему. — Ты знаешь о поэзии только то, что сам же написал во дворе на заборе. За это тебе и хотели всыпать.

Про Боланда действительно говорили, будто он написал во дворе на заборе стишок про одного мальчика, который часто возвращался из колледжа домой верхом на пони:

Тайсон ехал в Иерусалим,
Упал и зашиб свой задосолим¹.

Этот выпад заставил обоих приспешников замолчать, но Курон не унимался:

— Во всяком случае, Байрон был еретик и распутник к тому же.

— А мне нет дела, какой он был, — огрызнулся Стивен.

— Тебе нет дела, еретик он или нет? — вмешался Нэш.

— А ты что знаешь об этом? — вскричал Стивен. — Ты, кроме примеров в учебниках, никогда лишней строчки не прочитал, и ты, Боланд, — тоже.

— Я знаю, что Байрон был дурной человек, — сказал Боланд.

— А ну-ка, держите этого еретика, — крикнул Курон.

В ту же секунду Стивен оказался пленником.

— Недаром Тейт заставил тебя поджечь хвост в прошлый раз из-за ереси в сочинении, — сказал Курон.

— Вот я ему скажу завтра, — пригрозил Боланд.

— Это ты-то? — сказал Стивен. — Ты рот побоишься открыть!

¹ Баллада неизвестного автора. Существует несколько вариантов, многие из которых непростойны.

— Побоюсь?

— Да, побоишься!

— Не зазнавайся! — крикнул Курон, ударяя Стивена тростью по ноге.

Это было сигналом к нападению. Нэш держал его сзади за обе руки, а Боланд схватил длинную сухую капустную кочерыжку, торчавшую в канаве. Как ни вырывался и ни отбрыкивался Стивен, стараясь избежать ударов трости и одеревеневшей кочерыжки, его миглом притиснули к изгороди из колючей проволоки.

— Признайся, что твой Байрон никуда не годится.

— Нет.

— Признайся.

— Нет.

— Признайся.

— Нет. Нет.

Наконец после отчаянной борьбы ему каким-то чудом удалось вырваться. Хохоча и издеваясь, его мучители направились к Джонсис-роуд, а он, почти ничего не видя от слез, брел, спотыкаясь, в бешенстве сжимая кулаки и всхлипывая.

И сейчас, когда под одобрительные смешки своих слушателей произносил слова покаянной молитвы, а в памяти отчетливо и живо всплыл этот жестокий эпизод, он с удивлением спрашивал себя, почему теперь он не чувствует вражды к своим мучителям. Он ничего не забыл, ни их трусости, ни их жестокости, но воспоминание не вызывало в нем гнева. Вот почему всякие описания иступленной любви и ненависти, которые он встречал в книгах, казались ему неестественными. Даже и в тот вечер, когда он, спотыкаясь, брел домой по Джонсис-роуд, он чувствовал, словно какая-то сила снимает с него этот внезапно обуявший его гнев с такой же легкостью, как снимают мягкую спелую кожу.

Он продолжал стоять с двумя приятелями под навесом, рассеянно слушая их болтовню и взрывы аплодисментов в театре. Она сидела там среди других и, может быть, ждала, когда он появится на сцене. Он попытался представить себе ее, но не мог. Он помнил только, что голова у нее была покрыта шалью, похожей на капор, а ее темные глаза манили и обезоруживали его. Он спрашивал себя, думала ли она о нем, как он о ней. Потом, в темноте, незаметно для тех обоих, он прикоснулся кончиками пальцев одной руки к ладони другой,

чуть-чуть, едва-едва скользнув по ней. Но ее пальцы касались легче и настойчивее, и внезапное воспоминание об их прикосновении полоснуло его сознание и его тело как невидимая волна.

Вдоль ограды к ним под навес бежал мальчик. Он запыхался и едва переводил дух от волнения.

— Эй, Дедал,— крикнул он.— Дойл просто из себя выходит. Иди скорее одеваться к выходу! Скорей!

— Он пойдет,— сказал Курон, надменно растягивая слова,— когда сочтет нужным.

Мальчик повернулся к Курону и повторил:

— Но ведь Дойл сердится.

— Передай от меня Дойлу наилучшие пожелания и что я плевать на него хотел,— ответил Курон.

— Ну, а мне придется идти,— сказал Стивен, для которого не существовало таких вопросов чести.

— Я бы не пошел,— сказал Курон,— черта с два, ни за что не пошел бы! Разве так обращаются к старшим ученикам? Подумаешь, из себя выходит! Достаточно с него, что ты выступаешь в его дурацкой пьесе.

Эта свойственная многим его товарищам заносчивость, которую Стивен с недавнего времени стал замечать в своем сопернике, нимало не влияла на его привычку к спокойному повиновению. Он не доверял такому бунтарству и сомневался в искренности такой дружбы, видя в ней грустные предзнаменования зрелости. Вопрос чести, затронутый сейчас, как и все подобные вопросы, казался ему неважным. Когда в погоне за какой-то неуловимой мечтой мысль его вдруг нерешительно останавливалась, отказываясь от этой погони, он слышал над собой неотвязные голоса своего отца и учителей, которые призывали его быть прежде всего джентльменом и правоверным католиком. Теперь эти голоса казались ему бессмысленными. Когда в колледже открылся класс спортивной гимнастики, он услышал другой голос, призывавший его быть сильным, мужественным, здоровым, а когда в колледж проникли веяния борьбы за национальное возрождение¹, еще один голос стал увещевать его быть верным родине и помочь вос-

¹ Речь идет о Гэльской лиге, организованной в 1893 году и объединившей многих ирландских писателей и ученых, которые поставили своей целью возродить интерес к языку и культуре Ирландии и противопоставить их английскому языку и английской культуре.

кресить ее язык, ее традиции. Он уже предвидел, что в обычной, мирской суете житейский голос будет побуждать его восстановить своим трудом утраченное отцовское состояние, как сейчас голос сверстников призывал быть хорошим товарищем, выгораживать их или спасать от наказания и стараться всеми способами выпросить свободный день для класса. И смешанный гул всех этих бессмысленных голосов заставлял его останавливаться в нерешительности и прерывать погоню за призраками. Время от времени он ненадолго прислушивался к ним, однако счастливым он чувствовал себя только вдали от них, когда они не могли настичь его, когда он оставался один или среди своих призрачных друзей.

В ризнице пухлый румяный иезуит и какой-то пожилой человек, оба в поношенных синих халатах, копались в ящике с гримом. Мальчики, которых уже загримировали, прохаживались тут же или растерянно топтались на одном месте, осторожно ощупывая свои раскрашенные лица кончиками пальцев. Молодой иезуит, гостивший в колледже, стоял посреди ризницы, засунув руки в глубокие боковые карманы, и плавно раскачивался на одном месте, то приподнимаясь на носки, то опускаясь на каблуки. Его маленькая голова с шелковистыми завитками рыжих волос и гладко выбритое лицо как нельзя лучше гармонировали с идеально чистой сутаной и с начищенными до блеска ботинками.

Наблюдая за этой раскачивающейся фигурой и стараясь разгадать значение насмешливой улыбки священника, Стивен вспомнил, как отец перед отправкой его в Клонгоуз говорил, что иезуита всегда можно узнать по умению одеваться. И тут же подумал, что в характере отца есть что-то общее с этим улыбающимся, хорошо одетым священником, и вдруг ощутил осквернение священнического сана и самой ризницы, в тишину которой сейчас врывались громкая болтовня и шутки, а воздух был отравлен запахом грима и газовых рожков.

Пока пожилой человек в синем халате наводил ему морщины на лбу и накладывал синие и черные тени вокруг рта, он рассеянно слушал голос пухлого молодого иезуита, убеждавшего его говорить громко и отчетливо. Он услышал, как оркестр заиграл «Лилию Киларни»¹, и

¹ Увертюра к одноименной опере Юлия Бенедикта (1804—1885).

подумал, что вот сейчас, через несколько секунд, поднимется занавес. Он не испытывал страха перед сценой, но роль, в которой он должен был выступать, казалась ему унижительной. Кровь прилила к его накрашенным щекам, когда он вспомнил некоторые свои реплики. Он представил себе, как она смотрит на него из зала серьезными, манящими глазами, и вмиг все его сомнения исчезли, уступив место спокойной уверенности. Его как будто наделили другой природой — он вдруг поддался заразительному детскому веселью, и оно растопило, вытеснило его угрюмую недоверчивость. На один редкостный миг он словно весь преобразился, охваченный истинно мальчишеской радостью; стоя за кулисами вместе с другими участниками спектакля, он вместе с ними смеялся от души, когда два здоровых священника рывками потащили вверх дергающийся и перекосившийся занавес.

Спустя несколько секунд он очутился на сцене среди ярких огней и тусклых декораций перед бесчисленными лицами, смотревшими на него из пустоты пространства. Он с удивлением обнаружил, что пьеса, которая на репетициях казалась ему бессвязной и безжизненной, внезапно обрела какую-то собственную жизнь. Она словно разворачивалась сама, а он и его партнеры только помогали ей своими репликами. Когда представление окончилось и занавес опустился, он услышал, как пустота загрохотала аплодисментами, и сквозь щель сбоку увидел, как сплошная, состоящая из бесчисленных лиц масса, перед которой он только что выступал, сейчас разорвалась и распалась на маленькие оживленные группы.

Он быстро сбежал со сцены, переделся и вышел через придел церкви в сад. Теперь, когда представление окончилось, каждая жилка в нем жадно ждала нового приключения. Он бросился бегом, словно в погоню за ним. Все двери театра были распахнуты настежь, и зал уже опустел. На проволоках, которые представлялись ему якорными цепями ковчега, несколько фонарей, уныло мигая, покачивались на ночном ветру. Он поспешно взбежал на крыльцо, выходящее в сад, словно боясь упустить какую-то добычу, и протиснулся сквозь толпу в вестибюле, мимо двух иезуитов, которые наблюдали за разездом, раскланиваясь и обмениваясь рукопожатиями с гостями. Волнуясь, он проталкивался вперед,

делая вид, что страшно торопится, едва замечая улыбки, усмешки и удивленные взгляды, которыми люди встречали и провожали его напудренную голову.

У входа он увидел свою семью, поджидавшую его у фонаря. С одного взгляда он обнаружил, что все в этой группе свои, и с досадой сбежал вниз по лестнице.

— Мне нужно зайти по делу на Джорджис-стрит,— быстро сказал он отцу.— Я приду домой попозже.

Не дожидаясь расспросов отца, он перебежал дорогу и сломя голову помчался с горы. Он не отдавал себе отчета, куда бежит. Гордость, надежда и желание, словно растоптанные травы, источали свой ядовитый дурман в его сердце и затемняли рассудок. Он мчался вниз по склону в чаду этого внезапно хлынувшего на него дурмана уязвленной гордости, растоптанной надежды и обманутого желания. Этот дурман поднимался ввысь перед его горящим взором густыми ядовитыми клубами и постепенно исчезал в вышине, пока воздух наконец не сделался снова ясным и холодным.

Туман все еще застилал ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила, сродни той, которая часто приказывала ему позабыть гнев и недовольство, заставила его остановиться. Не двигаясь, он стоял и смотрел на темное крыльцо морга и на темный, мощный булыжник переулок. Он прочел его название «Лоттс» на стене дома и медленно вдохнул тяжелый терпкий запах.

«Конская моча и гнилая солома,— подумал он.— Этим полезно дышать. Успокоит мое сердце. Вот теперь оно совсем спокойно. Пойду обратно».

* * *

Стивен опять сидел с отцом в поезде на вокзале Кингс-бридж. Они ехали вечерним поездом в Корк. Когда паровоз запыхтел, разводя пары, и поезд отошел от платформы, Стивен вспомнил свое детское изумление во время поездки в Конгоус несколько лет тому назад и все подробности первого дня в школе. Но теперь он уже не изумлялся. Он смотрел на проплывавшие мимо поля, на безмолвные телеграфные столбы, мелькавшие за окном через каждые четыре секунды, на маленькие, скудно освещенные станции с недвижимыми дежурными на платформе, вырванные на секунду из тьмы и тут же от-

брошенные назад, как искры из-под копыт ретивого скакуна.

Он безучастно слушал рассказы отца о Корке, о днях его молодости,— отец неизменно вздыхал или прикладывался к фляжке всякий раз, как речь заходила о ком-нибудь из умерших друзей или когда вдруг вспоминал о том, что заставило его предпринять эту поездку. Стивен слушал, но не испытывал жалости. Покойники, о которых вспоминал отец, были все ему незнакомы, кроме дяди Чарльза, да и его образ тоже начал стираться в памяти. Он знал, что имущество отца будут продавать с аукциона, и воспринимал свое разорение как грубое посягательство мира на его мечты.

В Мэриборо он заснул. А когда проснулся, уже проехали Мэллоу; отец спал, растянувшись на соседней скамье. Холодный предутренний свет чуть брезжил над бесплодными полями, над деревьями, над спящими домами. Страх перед этим спящим миром завладевал его воображением, когда он смотрел на тихие деревни и слышал, как глубоко дышит и ворочается во сне отец. Соседство невидимых спящих людей наполняло его смутным ужасом, как будто они могли причинить ему зло, и он стал молиться, чтобы поскорее наступил день. Молитва его, не обращенная ни к Богу, ни к святым, началась с дрожи, когда прохладный утренний ветер задул из щелей двери ему в ноги, и окончилась лихорадочным бормотанием каких-то нелепых слов, которые он невольно подгонял под мерный ритм поезда; безмолвно, каждые четыре секунды, телеграфные столбы, как тактовые черты, четко отмечали ритм. Эта бешеная мелодия притупила его страх, и, прислонившись к оконному переплету, он опять закрыл глаза.

Было еще очень рано, когда поезд с грохотом подкатил к Корку и в номере гостиницы «Виктория» Стивен снова лег спать. Яркий теплый солнечный свет струился в окно, и Стивен слышал, как шумит улица. Отец стоял перед умывальником и тщательно разглядывал в зеркало свои волосы, лицо и усы, вытягивал шею над кувшином с водой, поворачивал голову, чтобы получше себя увидеть. А сам в это время тихонько напевал, забавно растягивая слова:

По юности и глупости
Жениться можно вмиг,

Поэтому, красавица,
Бегу, бегу.

Ведь от жены не лечат,
А жены нас калечат,
Нет, лучше я сбегу
В А-ме-ри-ку!

Мила моя красотка,
Жива и весела,
Как старое доброе виски
Свежа, крепка.

Но время убегает,
И красота линяет,
И свежесть выдыхается,
Как горная роса.

Ощущение теплого солнечного города за окном и мягкие модуляции отцовского голоса, которыми он украшал странную, печально-шутливую песенку, разогнали тени ночной тоски Стивена. Он вскочил и начал одеваться и, когда песенка кончилась, сказал отцу:

— Куда лучше, чем эти ваши «Придите все»¹.

— Ты находишь? — сказал мистер Дедал.

— Мне нравится эта песенка, — сказал Стивен.

— Хорошая старинная песенка, — сказал мистер Дедал, закручивая кончики усов. — Но если бы ты только слышал, как пел ее Мик Лейси! Бедняга Мик Лейси! Как он умел оттенить каждую нотку, какие чудеса творил с этой песенкой, у меня так не получается. Вот кто, бывало, умел спеть «Придите все» — слушаешь, душа радуется.

Мистер Дедал заказал на завтрак паштет и за едой расспрашивал официанта о местных новостях, и всякий раз у них получалась ужасная путаница, потому что официант имел в виду теперешнего хозяина, а мистер Дедал — его отца или даже деда.

— Надеюсь, хоть Королевский колледж стоит на месте, — заметил мистер Дедал. — Хочу показать его своему сынишке.

На улице Мардайк деревья были в цвету. Они вошли

¹ Песня, часто исполнявшаяся на улицах Дублина, с обязательным зачином: «Придите все, достойные ирландцы, послушать мою песню».

в ворота колледжа, и словоохотливый сторож повел их через дворик в здание. Но через каждые десять — пятнадцать шагов они останавливались на усыпанной щебнем дорожке и между отцом и сторожем происходил следующий диалог:

— Да не может быть! Неужели бедняга Толстопуз умер?

— Да, сэр, умер.

Во время этих остановок Стивен растерянно топтался на месте позади собеседников, беспокояно ожидая, когда можно будет не спеша двинуться вперед. Но к тому моменту, когда они пересекли дворик, его беспокойство почти перешло в бешенство. Он удивлялся, как это отец, которого он считал человеком пронизательным и недоверчивым, мог обмануться льстивой угодливостью сторожа, а забавный южный говор, развлекавший его целое утро, теперь раздражал.

Они вошли в анатомический театр, где мистер Дедал с помощью сторожа начал разыскивать парту со своими инициалами. Стивен брел позади, удрученный более чем когда-либо мраком, тишиной и царившей здесь атмосферой сухой науки. На одной из парт он прочел слово *Foetus*¹, вырезанное в нескольких местах на закапанном чернилами дереве. Его бросило в жар от этой неожиданной надписи: он словно почувствовал рядом с собой этих студентов, и ему захотелось скрыться от них. Картина той жизни, которую никогда не могли вызвать в его воображении рассказы отца, внезапно выросла перед ним из этого вырезанного на парте слова. Плечистый, усатый студент старательно вырезал перочинным ножом букву за буквой. Другие студенты стояли или сидели рядом, гогоча над тем, что выходило у него из-под ножа. Один из них толкнул его под локоть. Плечистый обернулся, нахмурившись, на нем была широкая серая блуза и темно-коричневые ботинки.

Стивена окликнули. Он быстро сбежал вниз по ступенькам аудитории, словно спасаясь от этого видения, и стал разглядывать инициалы отца, чтобы спрятать свое пылающее лицо.

Но слово и картина, вызванная им, продолжали мелькать у него перед глазами, когда он шел обратно по дворику к воротам колледжа. Он был потрясен тем,

¹ Плод, зародыш (лат.).

что наткнулся в жизни на какие-то следы того, что до сих пор казалось ему гнусной болезнью его психики. Чудовищные видения, преследовавшие его, всплывали в памяти, с внезапным неистовством они вырастали перед ним из одних только слов. Он быстро поддался им и позволил захватить и растлить свое воображение, хотя и не переставал удивляться, откуда они берутся — из какого гнездилища чудовищных призраков. А когда эти видения одолевали его, каким же жалким и приниженным чувствовал он себя с окружающими, как метался и как был противен самому себе.

— А вот и бакалея! Та самая! — вскричал мистер Дедал. — Ты много раз слышал от меня о ней, ведь правда, Стивен? Да, мы частенько закахивали сюда целой компанией¹, и наши имена были тогда известны всем. Гарри Пирд, малыш Джек Маунтен и Боб Дайес, и еще француз Морис Мориарти, и Том О'Грейди, и Мик Лейси, о котором я тебе говорил нынче утром, и Джоун Корбет, и добрая душа бедняжка Джонни Киверс.

Листья деревьев на улице Мардайк шелестели и перешептывались в солнечном свете. Мимо прошла команда игроков в крикет, стройные молодые люди в спортивных брюках и куртках, и один из них нес длинный зеленый мешок с крикетными воротами. В тихом переулке уличные музыканты-немцы — пять человек в выцветших солдатских мундирах — играли на помятых инструментах обступившим их уличным мальчишкам и досужим рассыльным. Горничная в белом чепце и фартуке поливала цветы в ящике на подоконнике, который сверкал на солнце, как пласт известняка. Из другого, открытого настежь окна доносились звуки рояля, поднимавшиеся все выше и выше, гамма за гаммой до дискантов.

Стивен шел рядом с отцом, слушая рассказы, которые он уже слышал и раньше, все те же имена исчезнувших и умерших собутыльников, друзей отцовской юности. От легкой тошноты у него щемило сердце. Он думал о своем двусмысленном положении в Бельведере — ученик-стипендиат, первый ученик в классе, боящийся собственного авторитета, гордый, обидчивый, подозрительный, отбивающийся от убожества жизни и от своего собственного разнузданного воображения. Буквы, вырезан-

¹ Во многих бакалейных лавках в Ирландии продавались алкогольные напитки.

ные на запачканной деревянной парте, пялились на него, издеваясь над слабостью его плоти, над его бесплодными порывами, заставляя его презирать себя за грязное дикое буйство. Слюна у него во рту сделалась горькой и застряла в горле, и от легкой тошноты мутилось в голове, так что на минуту он даже закрыл глаза и шел вслепую.

А голос отца рядом с ним продолжал:

— Когда ты выбьешься в люди, Стивен, а я очень на это надеюсь, помни одно: что бы ты ни делал, держись порядочных людей. Когда я был молод, я, можно сказать, жил полной жизнью, и друзья у меня были прекрасные, порядочные люди. И каждый из нас был чем-нибудь да славен. У одного голос был хороший, у другого — актерский талант, кто мог недурно спеть какой-нибудь веселенький куплетик, кто был первоклассным гребцом или первым на теннисном корте, а кто превосходным рассказчиком. Мы всем интересовались, брали от жизни все, что могли, и, можно сказать, пожили в свое удовольствие, и никому от этого не было никакого вреда. Но все мы были порядочными людьми, Стивен, по крайней мере я так думаю, и честными ирландцами. Вот и мне бы хотелось, чтобы и ты с такими людьми водился — с честными, добропорядочными. Я с тобой говорю как друг, Стивен, я вовсе не считаю, что сын должен бояться отца. Нет, я с тобой держусь запросто, так же, как, бывало, твой дед держался со мной, когда я был в твоём возрасте. Мы с ним были скорее как братья, а не как отец с сыном. Никогда не забуду, как он в первый раз поймал меня с трубкой. Помню, стою я в конце Саут-террас с шелкоперами вроде меня, и мы, конечно, корчим из себя взрослых и воображаем о себе невесть что, и у каждого торчит трубка в зубах. И вдруг мимо идет отец. Он ничего не сказал, даже не остановился. А на следующий день, в воскресенье, мы пошли с ним гулять, и вот, когда возвращались домой, он вдруг вынимает портсигар и говорит: «Да, кстати, Саймон, я и не знал, что ты куришь». Я, конечно, в ответ что-то мямлю, а он протягивает мне портсигар и говорит: «Хочешь отведать хорошего табачку, попробуй-ка эти сигары. Мне их один американский капитан подарил вчера вечером в Куинстауне».

Стивен услышал смешок отца, который почему-то был больше похож на всхлипывание.

— Он в то время был самый красивый мужчина в Корке. Правду тебе говорю. Женщины на улицах оставались и глядели ему вслед.

Тут голос отца прервался громким рыданием, и Стивен невольно широко открыл глаза. В потоке света, внезапно хлынувшем ему в зрачки, он увидел волшебный мир — темную клубящуюся массу неба и облаков, на которую озерами пролился темно-розовый свет. Самый мозг его был болен и отказывался ему служить. Он едва мог разобрать буквы на вывесках магазинов. Своим чудовищным образом жизни он словно отторг себя от действительности. Ничто из этой действительности не трогало и не привлекало его, если он не слышал в этом отголоска того, что вопило в нем самом. Немой, бесчувственный к зову лета, радости, дружбы, он был неспособен откликнуться ни на какой земной или человеческий призыв, и голос отца раздражал и угнетал его. Он едва понимал собственные мысли и медленно повторял про себя: «Я — Стивен Дедал. Я иду рядом с моим отцом, которого зовут Саймон Дедал. Мы в Корке, в Ирландии. Корк — это город. Мы остановились в гостинице «Виктория». Виктория. Стивен. Саймон. Саймон. Стивен. Виктория. Имена».

Воспоминания детства вдруг сразу потускнели. Он старался воскресить в памяти самые яркие минуты и не мог. В памяти всплывали только имена: Дэнти, Парнелл, Клейн, Клонгоуз. Маленького мальчика учила географии старая женщина, у которой были две щетки в шкафу. Потом его отправили в колледж. Он в первый раз причащался, ел шоколадки, которые прятал в своей крикетной шапочке, и смотрел, как плясал и прыгал огонь на стене в маленькой комнате в лазарете, и представлял себе, как он умрет, как ректор в черном с золотом облачении будет служить над ним мессу и как его похоронят на маленьком кладбище за главной липовой аллеей. Но он не умер тогда. Парнелл умер. Не было ни мессы в церкви, ни похоронной процессии. Парнелл не умер, а растаял, как туман на солнце. Он исчез или ушел из жизни, потому что его больше не существует. Как странно представить себе, что он вот так ушел из жизни, не умер, а растаял на солнце или блуждает, затерявшись где-то во вселенной! И странно было видеть, как на секунду снова появился маленький мальчик: вот он — в серой с поясом куртке. Руки засунуты в бо-

ковые карманы, а штанишки прихвачены ниже колен круглыми подвязками.

Вечером того дня, когда имущество было продано, Стивен покорно ходил за отцом по городу из бара в бар. Рыночным торговцам, служанкам в барах, официантам, нищим, которые просили милостыню, мистер Дедал неизменно рассказывал одно и то же: что он старый уроженец Корка, что за тридцать лет жизни в Дублине он не избавился от южного акцента и что этот юнец рядом с ним — его старший сын, самый настоящий дублинский бездельник.

Рано утром они вышли из кафе «Ньюком», где чашка в руке мистера Дедала громко позвякивала о блюдечко, а Стивен, двигая стулом и покашливая, старался заглушить это позвякивание — позорный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим: фальшивые ухмылки рыночных торговцев, заигрывания и смешки буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедал, поощрения и комплименты отцовских друзей. Они говорили ему, что он очень похож на своего деда, мистер Дедал соглашался, что сходство есть, только Стивен не так красив. Они находили, что по его речи можно узнать, что он из Корка, и заставили его признать, что река Ли красивее Лиффи¹. Один из них, желая проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из «Дилектуса»² и спросил, как правильно говорить: «Tempora mutantur nos et mutamur in illis» или «Tempora mutantur et nos mutamur in illis»³. Другой юркий старикашка, которого мистер Дедалус называл Джонни Кэшмен, привел его в полное замешательство, спросив, где девушки красивее — в Дублине или в Корке.

— Он не из того теста, — сказал мистер Дедал. — Не приставай к нему. Он серьезный, рассудительный мальчик, ему никогда и в голову не приходит думать о таких пустяках.

— Тогда, значит, он не сын своего отца, — сказал старикашка.

¹ Ли — река, на которой стоит Корк. Лиффи — река, на которой стоит Дублин.

² «Дилектус» — собрание латинских изречений.

³ «Времена меняются, и мы меняемся с ними» (лат.). Первый вариант — неправильный.

— Вот это я уж, право, не знаю,— сказал мистер Дедал, самодовольно улыбаясь.

— Твой отец,— сказал старикашка Стивену,— был в свое время первый юбочник в Корке. Ты этого не знал?

Стивен, опустив глаза, разглядывал вымощенный кафелем пол бара, куда они зашли по пути.

— Да будет тебе, еще собьешь его с толку,— сказал мистер Дедал.— Бог с ним.

— Зачем мне сбивать его *с толку*? Я ему в дедушки гожусь. Ведь я и в самом деле дедушка,— сказал Стивену старикашка.— А ты не знал?

— Нет,— сказал Стивен.

— Как же,— отвечал старикашка.— У меня двое карапузов-внучат в Сандиз Уэлле. А что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню, когда еще он в красном камзоле ездил на псовую охоту. Тебя тогда и на свете не было.

— И никто и не думал, что будет,— сказал мистер Дедал.

— Как же!— повторил старикашка.— Да больше того, я даже твоего прадеда помню, старого Джона Стивена Дедала. Вот был отчаянный дуэлянт! А? Что, какая память?

— Выходит, три, нет, четыре поколения,— сказал один из собеседников.— Так тебе уже, Джонни Кэшмен, глядишь, скоро сто стукнет.

— Я вам скажу, сколько мне лет,— отвечал старикашка.— Мне ровно двадцать семь.

— Верно, Джонни,— сказал мистер Дедал.— Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. А ну-ка, прикончим что здесь еще осталось да начнем другую. Эй! Тим, Том, или как там тебя зовут, дай-ка нам еще бутылочку такого же. Честное слово, мне самому кажется, что мне восемнадцать, а вот сын мой вдвое моложе меня, а куда он против меня годится!

— Полегче, Дедал, придется тебе, пожалуй, ему уступить,— сказал тот, который говорил до этого.

— Ну нет, черт возьми!— вскричал мистер Дедал.— Я партию тенора спою получше его и барьер возьму получше, и на охоте ему за мной не угнаться, попробуй он со мной лис травить, как мы, бывало, лет трид-

цать тому назад травили с ребятами из Керри! А уж они в этом толк понимали.

— Но он побьет тебя вот в чем,— сказал старикашка, постучав себя по лбу, и осушил стакан.

— Будем надеяться, что он будет таким же порядочным человеком, как его отец, вот все, что я могу сказать,— ответил мистер Дедал.

— Лучшего и желать не надо,— сказал старикашка.

— И поблагодарим Бога, Джонни,— сказал мистер Дедал,— за то, что мы жили долго, а зла сделали мало.

— А добра мало делали

— А добра много делали, Саймон,— торжественно присовокупил старикашка.— Слава тебе, Господи, и пожили долго, и добра делали много.

Стивен смотрел, как поднялись три стакана и отец и два его старых друга выпили за свою молодость. Судьба или характер, словно какая-то бездна, отделяли его от них. Казалось, ум его был злее и старше: он холодно светил над их спорами, радостями и огорчениями, словно луна над более юной землей. Он не ощущал в себе биения жизни, молодости, которое когда-то так полно ощущали они. Ему были не знакомы ни радость дружеского общения, ни сила крепкого мужского здоровья, ни сыновнее чувство. Ничто не шевелилось в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбной похоти. Детство его умерло или исчезло, а вместе с ним и его душа, способная на простые радости, и он скитался по жизни, как тусклый диск луны.

Ты не устала ли? Твой бледен лик, луна,
Взбираясь ввысь, на землю ты глядишь
И странствуешь одна...²

Он повторял про себя строки из Шелли. Противопоставление жалкого человеческого бессилия высшей упорядоченной энергии, недоступной человеку, отрезвило его, и он забыл свою собственную, бессильную жалкую печаль.

¹ Графство Керри — на юго-западе Ирландии. Паренек из Керри стал известен благодаря роману Питера Финли Данна «Мистер Дули в мирное время и на войне» (1898), в котором выведен образ повесы, прожигателя жизни.

² Отрывок из стихотворения Перси Биши Шелли «К луне» (1820).

Мать Стивена, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу пустынной Фостерплейс, а Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где прохаживался взад и вперед часовой-шотландец. Когда они вошли в большой холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои чеки на имя директора Ирландского банка — один на тридцать и другой на три фунта. И эту сумму, его стипендию, и премию за письменную работу кассир быстро отсчитал банкнотами и звонкой монетой. С деланным спокойствием Стивен рассовал их по карманам и покорно протянул руку через широкий барьер добродушному кассиру, который, разговорившись с отцом, захотел поздравить Стивена и пожелать ему блестящего будущего. Его раздражали их голоса, и ему не стоялось на месте. Но кассир, задерживая других посетителей, распространялся о том, что времена пошли не те и что по нынешним понятиям самое важное — это дать сыну хорошее образование, конечно, если позволяют деньги. Мистер Дедалус медлил уходить, поглядывая то по сторонам, то вверх на потолок, и пояснял торопившему его Стивену, что они находятся в здании старого Ирландского парламента¹, в палате общин.

— Господи! — благоговейно говорил мистер Дедалус, — подумать только, какие люди были в те времена — Хили-Хатчинсон, Флуд. Генри Граттан, Чарльз Кендал Буш!² А дворянчики, которые ворочают делами теперь! Тоже мне вожди ирландского народа! Да их, Стивен, рядом с теми даже и на кладбище представить себе нельзя! Да, Стивен, дружище, это все равно как, знаешь, в песенке поется: «Майский день в июльский полдень».

Пронзительный октябрьский вечер гулял вокруг банка. У троих, ожидавших на краю грязного тро-

¹ «Акт об унии» (1801) уничтожил независимый парламент в Ирландии, и его здание было продано в 1802 г. Ирландскому банку.

² Джон Хили-Хатчинсон (1724—1794) — известный ирландский государственный деятель и экономист, сторонник равноправия католиков, выступал с требованиями свободной торговли и политических реформ. Генри Флуд (1732—1791) — ирландский государственный деятель и оратор, играл важную роль в оппозиции Ирландии английскому владычеству. Генри Граттан (1746—1820) — ирландский государственный деятель, оратор, борец за ирландскую независимость. Чарльз Кендал Буш (1767—1843) — ирландский судья и оратор, сторонник Генри Граттана в борьбе против «Акта об унии».

туара, посинели щеки и слезились глаза. Стивен заметил, как легко одета его мать, и вспомнил, что несколько дней тому назад видел в витрине магазина Бернардо накидку за двадцать гиней.

— Ну вот, получили,— сказал мистер Дедал.

— Неплохо бы пойти пообедать,— сказал Стивен.

— Только куда?

— Пообедать? — сказал мистер Дедал.— Ну что ж — это, пожалуй, недурно.

— Только куда-нибудь, где не очень дорого,— сказала миссис Дедал.

— Второй разряд?

— Да, куда-нибудь поскромнее.

— Идемте,— сказал Стивен нетерпеливо.— Дорого или нет — это неважно.

Он шел впереди них мелкими неровными шагами и улыбался. Они старались не отставать от него и тоже улыбались его стремительности.

— Да не волнуйся ты,— сказал отец.— Держи себя как подобает взрослому юноше. Что мы сломя голову летим, нам ведь не приз брать!

В трате денег на развлечения и удовольствия незаметно проходил день, и премия в руках Стивена быстро таяла. Из города доставляли на дом большие пакеты сладостей, конфет, сушеных фруктов. Каждый день Стивен составлял меню для всего семейства, а вечером втроем или вчетвером отправлялись в театр смотреть «Ингомара» или «Даму из Лиона»¹. В кармане куртки у него всегда были припасены плитки венского шоколада на всю компанию, а в карманах брюк позвякивали пригоршни серебряных и медных монет. Он всем покупал подарки, взялся отделывать заново свою комнату, сочинял какие-то проекты, непрестанно переставлял книги на полках, изучал всевозможные прейскуранты, завел в доме строгий порядок на республиканских началах, по которому на каждого члена семьи ложились определенные обязанности. Открыл ссудную кассу для своих домашних и раздавал ссуды охотникам брать взаймы только ради удовольствия выписывать квитанции и подсчитывать проценты на выданные суммы. Когда эти

¹ «Ингомар, варвар» (1851) — популярная во времена Джойса пьеса. «Дама из Лиона» («Лионская красавица», 1838) — историческая драма Э. Дж. Булвер-Литтона (1803—1873), второстепенного английского писателя, очень популярного в конце XIX века.

возможности иссякли, он стал кататься по городу на конке. Потом наступил конец развлечениям. Розовая эмалевая краска в жестянке высохла, деревянная обшивка в его комнате осталась недокрашенной, а плохо приставшая штукатурка осыпалась со стен.

Семья вернулась к обычному образу жизни. У матери уже больше не было повода упрекать его за мотовство. Он тоже вернулся к своей прежней школьной жизни, а все его нововведения пошли прахом. Республика развалилась. Судная касса закрылась с большим дефицитом. Правила жизни, которые он установил для себя, нарушились сами собой.

Какая это была нелепая затея! Он пытался воздвигнуть плотину порядка и изящества против грязного течения внешней жизни и подавить правилами поведения, деятельными интересами и новыми семейными отношениями мощный водоворот внутри себя. Тщетно. И снаружи и внутри поток перехлестнул через его преграды: оба течения опять неистово столкнулись над обрушившимся молом.

Он ясно понимал и свою собственную бесплодную отчужденность. Он не приблизился ни на шаг к тем, к кому старался подойти, и не преодолел беспокойного чувства стыда и затаенной горечи, которые отделяли его от матери, брата и сестры. Он почти не ощущал кровной связи с ними, скорее какую-то таинственную связь молочного родства, словно он был приемыш, их молочный брат.

Он снова пытался утолить свое жадное неистовое томление, перед которым все другое казалось пустым и чуждым. Его не тревожило, что он впал в смертный грех, что жизнь стала сплетением лжи и уверток. Перед мучительным желанием перенести в действительность чудовищные видения терзавшей его похоти исчезло все, не оставалось ничего святого. Цинично и терпеливо позволял он своему разнузданному воображению в тайном сладострастии осквернять постыдными подробностями любой образ, случайно остановивший его внимание. Встречная незнакомка, которая днем казалась ему целомудренной, недоступной, являлась ночью из темных лабиринтов сна, лицо ее дышало лукавым сладострастием, глаза горели животной похотью. И только утро тревожило его смутными воспоминаниями темных оргий, острым унижительным чувством греха.

Его снова потянуло бродить. Туманные осенние вечера влекли его из переулка в переулок, как когда-то много лет тому назад они водили его по тихим улицам Блэк-рока. Но ни подстриженные палисадники, ни приветливые огни окон теперь уже не наполняли его чувством отрадного покоя. И только по временам, когда наступало затишье, и желания и похоть, изнуравшие его, сменялись томной слабостью, образ Мерседес вставал из глубин его памяти. Он снова видел маленький белый домик по дороге в горы и сад с цветущими розами и вспоминал печальный гордый жест отказа и слова, которые он должен был произнести там, стоя рядом с ней в залитом лунным светом саду после стольких лет разлуки и скитаний. В эти минуты тихие речи Клода Мельнота¹ звучали в памяти и утоляли его тревогу. Нежное предчувствие свидания, которого он когда-то ждал, снова наполнило его душу, несмотря на ужасную действительность, лежавшую между былыми надеждами и настоящим, предчувствие благословенной встречи, когда бессилие, робость и неопытность мгновенно спадут с него.

Эти минуты проходили, и изнуравшее пламя похоти вспыхивало снова. Стихи замирали у него на губах, и нечленораздельные крики и непристойные слова рвались из сознания, требуя выхода. Кровь бунтовала. Он бродил взад и вперед по грязным улицам, вглядываясь в черноту переулков и ворот, жадно прислушиваясь к каждому звуку. Он выл, как зверь, потерявший след добычи. Он жаждал согрешить с существом себе подобным, заставить это существо согрешить и насладиться с ним грехом. Он чувствовал, как что-то темное неудержимо движется на него из темноты, неумолимое и шепчущее, словно поток, который, набегаая, заполняет его собой. Этот шепот, словно нарастая во сне, бился ему в уши, неуловимые струи пронизывали все его существо. Его пальцы судорожно сжимались, зубы стискивались от нестерпимой муки этого проникновения. На улице он протягивал руки, чтобы удержать нечто хрупкое, зыбкое, ускользающее и манящее, и крик, который он уже давно сдерживал в горле, слетел с его губ. Он вырывался, как вырывается стон отчаяния несчастных грешников в преисподней, и замирал хрипом яростной мольбы,

¹ Герой пьесы Булвер-Литтона «Дама из Лиона».

воплем неутоленной похоти, воплем, который был не чем иным, как эхом непристойной надписи, увиденной им на мокрой стене писсуара.

Как-то он забрел в лабиринт узких грязных улиц. Из вонючих переулков до него доносились шум, пьяные возгласы, брань, хриплый рев пьяных голосов. Все это мало его трогало, и он гадал, куда это его занесло, не в еврейский ли квартал. Женщины и молодые девушки в длинных кричащих платьях, надушенные, прохаживались по улице от дома к дому. Его охватила дрожь, и в глазах потемнело. Перед затуманенным взором, на фоне облачного неба, желтые рожки фонарей запылали, как свечи перед алтарем. У дверей и в освещенных передних кучками собирались женщины, как бы готовясь к какому-то обряду. Он попал в другой мир: он проснулся от тысячелетнего сна.

Он стоял посреди улицы, и сердце его неистово колотилось в груди. Молодая женщина в красном платье положила руку ему на плечо и заглянула в глаза.

— Добрый вечер, милашка Вилли! — весело сказала она.

В комнате у нее было тепло и светло. Большая кукла сидела, раздвинув ноги, в широком кресле около кровати. Он смотрел, как она расстегивает платье, видел гордые, уверенные движения ее надушенной головы и старался заставить себя вымолвить хоть слово, чтобы казаться непринужденным.

И когда он стоял так молча посреди комнаты, она подошла к нему и обняла его — обняла весело и спокойно. Ее круглые руки крепко обхватили его, и, видя ее серьезное и спокойное запрокинутое лицо, ощущая теплое, спокойное, мерное дыхание ее груди, он едва не разразился истерическим плачем. Слезы радости и облегчения сияли в его восхищенных глазах, и губы его разомкнулись, хотя и не произнесли ни слова.

Она провела своей звенящей рукой по его волосам и назвала его плутишкой.

— Поцелуй меня, — сказала она.

Губы его не шевельнулись, не поцеловали ее. Ему хотелось, чтобы она держала его в своих объятиях крепко, ласкала тихо-тихо. В ее объятиях он вдруг почувствовал себя сильным, бесстрашным и уверенным. Но губы его не шевельнулись, не поцеловали ее.

Внезапным движением она пригнула его голову и

прижала свои губы к его губам, и он прочел смысл ее движений в откровенном устремленном на него взгляде. Это было выше его сил. Он закрыл глаза, отдаваясь ей душой и телом, забыв обо всем на свете, кроме теплого прикосновения ее мягко раздвинутых губ. Целуя, они касались не только губ, но и его сознания, как будто хотели что-то передать ему, и вдруг, на миг, он ощутил неведомое доселе и робкое прикосновение, которое было темнее, чем греховное забытье, мягче, чем запах или звук.

Глава III

После унылого дня стремительные декабрьские сумерки, кувыряясь, подобно клоуну, падали на землю, и, глядя из классной комнаты в унылый квадрат окна, он чувствовал, как желудок его требует пищи. Он надеялся, что на обед будет жаркое — репа, морковь и картофельное пюре с жирными кусками баранины, плавающими в сильно наперченном мучнистом соусе. Питай все это в себя, подзуживало его брюхо.

Ночь будет темная, глухая ночь. Чуть стемнеет, желтые фонари вспыхнут там и сям в грязном квартале публичных домов. Он пойдет бродить по переулкам, подходя туда все ближе и ближе, будет дрожать от волнения и страха, пока ноги его сами не завернут за темный угол. Проститутки как раз начнут выходить на улицу, готовясь к ночи, лениво зевая после дневного сна и поправляя шпильки в волосах. Он спокойно пройдет мимо, дожидаясь внезапной вспышки желания или внезапного призыва мягкого надушенного тела, который пронзит его возлюбившую грех душу. И в настороженном ожидании этого призыва чувства его, притупляемые только желанием, будут напряженно отмечать все, что унижает и задевает их: глаза — кольцо пивной пены на непокрытом столе, фотографию двух стоящих навтыжку солдат, кричащую афишу; уши — протяжные оклики приветствий.

— Хэлло, Берти, чем порадуешь, дружок?

— Это ты, цыпочка?

— Десятый номер, крошка Нелии дожидается тебя.

— Пришел скоротать вечерок, милашка?

Уравнение на странице его тетради развернулось

пышным хвостом в глазках и звездах, как у павлина; и когда глазки и звезды показателей взаимно уничтожились, хвост начал медленно складываться. Показатели появлялись и исчезали, словно открывающиеся и закрывающиеся глазки, глазки открывались и закрывались, словно вспыхивающие и угасающие звезды. Огромный круговорот звездной жизни уносил его усталое сознание прочь за пределы и вновь возвращал обратно к центру, и это движение сопровождала отдаленная музыка. Что это была за музыка? Музыка стала ближе, и он вспомнил строки Шелли о луне, странствующей одиноко, бледной от усталости. Звезды начали крошиться, и облако тонкой звездной пыли понеслось в пространство.

Серый свет стал тускнеть на странице, где другое уравнение разворачивалось, медленно распуская хвост. Это его собственная душа вступала на жизненный путь, разворачиваясь, грех за грехом, рассыпая тревожные огни пылающих звезд и снова свертываясь, медленно исчезая, гася свои огни и пожары. Они погасли все, и холодная тьма заполнила хаос.

Холодное трезвое безразличие царило в его душе. В исступлении первого греха он почувствовал, как волна жизненной силы хлынула из него, и боялся, что тело или душа его будут искалечены этим извержением. Но жизненная волна вынесла его на гребне вон из него самого и, схлынув, вернула обратно. А его тело и душа остались невредимыми, и темное согласие установилось между ними. Хаос, в котором угас его пыл, обратился в холодное, равнодушное познание самого себя. Он совершил смертный грех, и не однажды, а множество раз, и знал, что уже первый грех грозит ему вечным проклятием, а каждый новый умножает его вину и кару. Дни, занятия и раздумья не принесут ему искупления — источник животворящей благодати перестал орошать его душу. Подавая нищим, он убегал, не выслушав их благодарности, и устало надеялся, что хоть так заслужит какие-то крохи благодати. Благочестие покинуло его. Какая польза в молитвах, когда он знал, что душа его жаждет гибели? Гордость, благоговейный страх не позволяли ему произнести ни единой молитвы на ночь, хотя он знал, что в Божьей власти было лишить его жизни во время сна и ввергнуть его душу в ад, прежде чем он успеет попросить о милосердии. Гордое сознание

собственного греха, страх, лишенный любви к Богу, внушали ему, что собственное преступление слишком велико, чтобы его можно было искупить полностью или частично лицемерным поклонением Всевидающему и Всезнающему.

— Знаете, можно подумать, Эннис, будто у вас не голова, а чурбан. Вы что же — не понимаете, что такое иррациональная величина?

Бестолковый ответ разбудил дремавшее в нем презрение к его школьным товарищам. По отношению к другим он больше не испытывал ни стыда, ни страха. Утром в воскресные дни, проходя мимо церкви, он холодно смотрел на молящихся; по четыре человека в ряд, обнажив голову, стояли они на паперти, мысленно присутствуя на богослужении, которого не могли ни видеть, ни слышать. Унылая набожность и тошнотворный запах дешевого бриллиантина от их волос отталкивали его от святыни, которой они поклонялись. Он лицемерил вместе с другими, но скептически не доверял их простодушию, которое можно было с такой легкостью обмануть.

На стене в его спальне висела украшенная заставкой грамота о присвоении ему звания префекта¹ братства пресвятой девы Марии в колледже. По субботам, когда братство сходилось в церковь к службе, он занимал почетное место справа от алтаря, преклонив колена на маленькой обитой материей скамеечке, и вел свое крыло хора во время богослужения. Это фальшивое положение не мучило его. Если минутами его и охватывало желание подняться со своего почетного места, покаяться перед всеми в своей лицемерии и покинуть церковь, одного взгляда на окружавшие лица бывало достаточно, чтобы подавить этот порыв. Образные пророчества псалмов укрощали его бесплодную гордость. Пышные славословия Марии пленяли его душу: нард, мирра и ладан — символы ее царственного рода, поздно цветущее дерево и поздний цветок — символы веками возрастающего культа ее среди людей. И когда в конце службы наступала его очередь читать Священное писание, он читал его приглушенным голосом, убаюкивая свою совесть музыкой слов:

¹ Староста, старший ученик в некоторых привилегированных учебных заведениях Англии и Ирландии.

«Quasi cedrus exaltata sum in Jibanon et guasi cupressus in monte Sion. Quasi uliva speciosa in campis et guasi platanus exaltata sum juxta aguam in plateis. Sicut cinnamomum et balsamum aromatisans odorem dedi et guasi myrrha electa dedi suavitatem odoris»¹.

Грех, отвернувший от него лик Господен, невольно приблизил его к заступнице всех грешников². Ее очи, казалось, взирали на него с кроткой жалостью, ее святость, непостижимое сияние, окутывающее ее хрупкую плоть, не унижали прибегающего к ней грешника. Если когда-нибудь внутренний голос и убеждал его отказаться от греха и покаяться, то это был голос, звавший посвятить себя служению ей. Если когда-нибудь душа его, стыдливо возвращаясь в свою обитель после того, как затихало безумие похоти, владевшей его телом, и устремлялась к той, чей символ — утренняя звезда, «ясная, мелодичная, возвещающая о небесах и дарующая мир»³, это было в те мгновения, когда имя ее тихо произносилось устами, на которых еще дрожали гнусные, срамные слова и похотливая сладость развратного поцелуя.

Это было странно. Он пытался объяснить себе, как это могло быть. Но сумрак, сгущавшийся в классе, окутал его мысли. Прозвенел звонок. Учитель задал примеры и вышел. Курон рядом со Стивеном фальшиво затянул:

Мой друг, прекрасный Бомбадос⁴.

Эннис, который выходил из класса, вернулся и объявил:

— За ректором пришел прислужник.

Высокий ученик позади Стивена сказал, потирая руки:

— Вот это повезло! Может проваландаться целый

¹ «Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерехоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание». (Библия. Книга Премудрости Иисуса, сына Сираха.)

² Имеется в виду дева Мария.

³ Строчки из книги Дж. Г. Ньюмена «Славословия Марии-Богоматери» (1849). Проза Ньюмена часто используется Джойсом в «Портрете».

⁴ Строка из оперетты времен Джойса.

час. Раньше половины третьего он не вернется. А там ты можешь надолго завести его вопросами по катехизису, Дедал.

Стивен, откинувшись на спинку парты и рассеянно водя карандашом по тетрадке, прислушивался к болтовне, которую время от времени Курон прерывал окриками:

— Да тише вы! Нельзя же подымать такой гвалт!

Странно было и то, что ему доставляло какую-то горькую радость проникать в самый корень суровых догматов церкви, проникать в ее темные умолчания только для того, чтобы услышать и глубже почувствовать, что он осужден. Изречение святого Иакова о том, что тот, кто согрешит против одной заповеди, грешит против всех, казалось ему напыщенной фразой, пока он не заглянул во тьму собственной души. Из дурного семени разврата взошли другие смертные грехи: самоуверенная гордость и презрение к другим, алчность к деньгам, за которые можно было купить преступные наслаждения, зависть к тем, кто превосходил его в пороках, и клеветнический ропот против благочестивых, жадная прожорливость, тупая распалляющая злоба, с которой он предавался своим похотливым мечтаниям, трясина духовной и телесной спячки, в которой погрязло все его существо.

Часто, сидя за партой, он спокойно смотрел в суровое пронизательное лицо ректора и развлекался, придумывая каверзные вопросы. Если человек украл в юности фунт стерлингов и приобрел с помощью этого фунта большое состояние, сколько он должен вернуть — только ли украденный фунт с процентами, которые на него выросли, или же все состояние? Если крещение совершается мирянином и он окропит водою младенца, прежде чем произнесет соответствующие слова, можно ли считать младенца крещеным? Можно ли считать действительным крещение минеральной водой? Первая заповедь блаженства обещает нищим духом царствие небесное, почему же вторая гласит, что кроткие наследуют землю? Почему таинство причастия представлено и хлебом и вином и в чем — только в хлебе или только в вине — претворяется тело и кровь Христовы, его дух и божественная сущность? В маленькой частице, в крошке освященного хлеба полностью присутствует тело и кровь Христовы или только часть крови и часть тела?

Если вино обратится в уксус, а хлеб причастия заплесневет и рассыплется после освящения, будет ли в них все равно присутствовать Христос как Бог и как человек?

— Идет, идет!

Один из учеников, стороживший у окна, увидел, как ректор вышел из главного здания. Все катехизисы открылись, и все молча уткнулись в книги. Ректор вошел и занял свое место на кафедре. Высокий ученик тихонько подтолкнул Стивена сзади, чтобы он задал ректору какой-нибудь трудный вопрос.

Но ректор не попросил дать ему катехизис и не начал спрашивать урок. Он сложил руки на столе и сказал:

— В среду мы начнем духовные упражнения в честь святого Франциска Ксаверия, память которого мы празднуем в субботу. Духовные упражнения будут продолжаться со среды до пятницы. В пятницу, после дневной молитвы, исповедь будет продолжаться до вечера. Тем из учащихся, у кого есть свой духовник, я советую не менять его. В субботу в девять часов утра будет обедня и общее причастие для всего колледжа. В субботу занятий нет. Суббота и воскресенье — праздники, но из этого вовсе не следует, что понедельник — тоже праздник. Прошу вас, не впадайте в это заблуждение. Мне кажется, Дедал, вы склонны впасть в подобное заблуждение.

— Я, сэр? Почему, сэр?

Легкая волна сдержанного смеха пробежала по классу от суровой улыбки ректора. Сердце Стивена начало медленно съеживаться и замирать, как поникший цветок.

Ректор продолжал таким же серьезным тоном:

— Всем вам, я полагаю, известна история жизни святого Франциска Ксаверия, патрона нашего колледжа. Святой Франциск происходил из старинного испанского рода и, как вы, конечно, помните, был одним из первых последователей святого Игнатия. Они встретились в Париже, где Франциск Ксаверий преподавал философию в университете. Этот блестящий молодой дворянин, ученый, писатель, прочувствовал всем сердцем учение великого основателя нашего ордена и, как должно быть вам известно, согласно своему желанию был послан святым Игнатием проповедовать слово Божие индусам. Его ведь называют апостолом Индии. Он

изъездил весь Восток: из Африки в Индию, из Индии в Японию, обращая язычников в христианство. За один месяц окрестил десять тысяч идолопоклонников. Потерял способность владеть правой рукой, оттого что ему беспрестанно приходилось поднимать ее над головой тех, кого он крестил. Потом он намеревался отправиться в Китай, чтобы завоевать еще новые души для Господа, но умер от лихорадки на острове Сань-цзян. Великий святой Франциск Ксаверий! Великий воин Господен!

Ректор помолчал, потом, покачивая перед собой сцепленными руками, продолжал:

— В нем была вера, которая движет горами! Завоевать десять тысяч душ для Господа за единый месяц! Вот истинный победитель, верный девизу нашего ордена: *ad maiorem Dei gloriam!* Великая власть у этого святого на небесах, помните это! Власть просить Господа помочь нам в наших несчастьях, власть испросить для нас все, о чем мы молимся, если это пойдет нам на благо, и, превыше всего, власть обрести для нас благодать раскаяния, если мы согрешили. Великий святой, святой Франциск Ксаверий! Великий ловец душ!

Он перестал покачивать руками и, прижав их ко лбу, испытующе обвел своих слушателей взглядом темных суровых глаз.

В тишине и сумраке их темное пламя вспыхивало красноватым блеском. Сердце Стивена сжалось, как цветок пустыни, чувствующий издали приближение самума.

* * *

— «Во всех делах твоих помни о конце твоём и вовек не согрешишь» — слова, дорогие мои братья во Христе, взятые из книги Экклесиаста, глава седьмая, стих сороковой¹. Во имя отца и сына и святого духа!

Стивен сидел в церкви на первой скамейке. Отец Арнолл сидел за столиком слева от алтаря. Тяжелый плащ спускался у него с плеч, лицо осунулось, и голос был хриплым от насморка. Лицо старого учителя, так неожиданно появившееся перед ним, напомнило Стивену жизнь в Клонгоузе: большие спортивные площадки,

¹ У Джойса неправильная ссылка на библейский текст: в книге Экклесиаста таких слов нет, но есть в книге Премудрости Иисуса, сына Сираха, 7, 39.

толпы мальчиков, очко уборной, маленькое кладбище за главной липовой аллеей, где он мечтал быть похороненным; пламя камина, пляшущее на стене в лазарете, где он лежал больной, грустное лицо брата Майкла. И по мере того, как эти воспоминания всплывали перед ним, душа его снова становилась душой ребенка.

— Мы сегодня собрались, дорогие мои младшие братья во Христе, на один недолгий миг, вдалеке от мирской суеты, чтобы почтить память одного из величайших святых, апостола Индии и патрона нашего колледжа святого Франциска Ксаверия. Из года в год, дорогие мои, и с таких давних пор, что ни вы, ни я не можем этого помнить, воспитанники колледжа собирались в этой самой церкви для ежегодных духовных упражнений перед праздником в честь своего патрона. Много времени утекло с тех пор, и многое переменялось. Даже за последние несколько лет уже на ваших глазах произошли перемены. Некоторые из тех, что совсем недавно сидели на этих скамейках, теперь далеко от нас — где-нибудь в знойных тропиках: кто на служебном посту, кто посвятил себя науке, кто путешествует по неизведанным местам отдаленных стран, а кто, может быть, уже призван Господом к иной жизни и держит перед ним ответ. И вот идут годы, неся с собой и дурное и хорошее, а память великого святого по-прежнему чтится воспитанниками колледжа, и духовные упражнения в течение нескольких дней предшествуют празднику, установленному нашей святой церковью для увековечивания имени и славы одного из достойнейших сынов католической Испании.

Теперь спросим себя, что же означают «духовные упражнения» и почему они считаются наиболее душеспасительными для всех тех, кто стремится перед Богом и людьми вести истинно христианскую жизнь? Духовные упражнения, дорогие мои,— это отрешение на некоторое время от суеты жизни, от повседневной суеты мирской с тем, чтобы проверить состояние нашей совести, поразмыслить о тайнах святой религии и уяснить себе, зачем вы существуете в этом мире. В течение этих немногих дней я постараюсь изложить вам несколько мыслей, касающихся четырех Последних Вещей. А это, как вы знаете из катехизиса: смерть, Страшный суд, ад и рай. Мы постараемся уразуметь их как можно лучше в течение этих дней, дабы через уразумение обрести вечное

благо для душ наших. Запомните, дорогие мои, что мы посланы в этот мир только для одной-единственной цели: исполнить святую волю Божию и спасти нашу бессмертную душу. Все остальное — тлен. Насущно одно — спасение души. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир и потеряет свою бессмертную душу? Увы, дорогие мои, ничто в этом бренном мире не может вознаградить нас за такую потерю.

Поэтому я прошу вас, друзья мои, отложить на эти несколько дней все мысли о мирском, об уроках, развлечениях и честолюбивых надеждах и не думать ни о чем ином, кроме как о состоянии душ ваших. Вряд ли мне следует напоминать вам, что в эти дни духовных упражнений поведение ваше должно отличаться спокойствием и благочестием и вам следует избегать неподобающих шумных развлечений. Старшие должны следить, чтобы эти правила не нарушались. И я особенно надеюсь, что префекты и члены братства нашей пресвятой девы и братства святых ангелов будут подавать достойный пример своим товарищам.

Постараемся же совершить этот обряд в честь святого Франциска всем сердцем и всем помышлением нашим. И да пребудет благословение Божие с вами в ваших занятиях. Но что прежде всего и важней всего — пусть эти духовные упражнения будут для вас тем, на что через несколько лет, когда вы окажетесь очень далеко от этого колледжа и совсем в другой обстановке, вы сможете оглянуться с радостью и благодарностью и возблагодарить Бога за то, что он ниспослал вам возможность заложить первый камень благочестивой, достойной, ревностной христианской жизни. И если среди присутствующих здесь в эту минуту есть бедная душа, которую постигло безмерное несчастье, которая лишилась святой благодати Божьей и впала в тяжкий грех, я горячо уповаю и молюсь, чтобы эти духовные упражнения стали переломом в жизни бедной души. Молю Господа предстательством усердного слуги его, Франциска Ксаверия, привести душу сию к чистосердечному раскаянию, и да удостоится она ныне через причастие святых даров в день святого Франциска вступить в вечный союз с Богом. Для праведного и неправедного, для святого и грешного да будут эти духовные упражнения памятными на всю жизнь.

Помогите мне, мои дорогие младшие братья во Хри-

сте! Помогите мне вашим благочестивым вниманием, вашим собственным усердием, вашим поведением. Изгоните из вашего разума все мирские помышления и думайте только о Последних Вещах: смерти, Страшном суде, аде и рае. Кто помнит о них, вовек не согрешит, говорит Экклезиаст. Кто помнит о них, у того они всегда перед глазами во всех его делах и помышлениях. Он будет вести праведную жизнь и умрет праведной смертью, веруя и зная, что, если он многим жертвовал в своей земной жизни, ему воздастся во сто крат и в тысячу крат в жизни будущей, в царствии без конца, вечным блаженством, друзья мои, коего я желаю вам от всего сердца, всем и каждому, во имя отца и сына и святого духа. Амины!

Возвращаясь домой в толпе притихших товарищей, он чувствовал, как густой туман обволакивает его сознание. В оцепенении чувств он ждал, когда туман рассеется и откроется то, что под ним скрыто. За обедом он ел с угрюмой жадностью, и, когда обед кончился и на столе остались груды салных тарелок, он встал и подошел к окну, слизывая языком жир во рту и облизывая губы. Итак, он опустился до состояния зверя, который оближивает морду после еды. Это конец; и слабые проблески страха начали пробиваться сквозь туман, окутывающий его сознание. Он прижал лицо к оконному стеклу и стал смотреть на темневшую улицу. Тени прохожих вырастали там и сям в сером свете. И это была жизнь. Буквы, складываясь в слово «Дублин», тяжело давили ему на мозг, угрюмо отталкивая одна другую с медленным и грубым упорством. Душа плавилась и задыхалась под толщей жира, в тупом страхе падала в зловещую бездну, а тело — вялое, мерзкое, беспомощное человеческое тело — полностью подчинял себе какой-то похотливый бог.

На следующий день была проповедь о смерти и о Страшном суде, и душа его медленно пробуждалась от вялого отчаяния. Слабые проблески страха обратились в ужас, когда хриплый голос проповедника дохнул смертью на его душу. Он испытал ее агонию. Он чувствовал, как предсмертный холод ползет у него от конечностей к сердцу, предсмертный туман заволакивает глаза, мозговые центры, еще недавно озаренные светом мысли, угасают один за другим, как фонари; капли предсмертного пота выступают на коже; отмирают обессиленные

мышцы, язык коснеет, заплетается, немеет, сердце бьется все слабее, слабее, вот оно уже не бьется вовсе, и дыхание, бедное дыхание, бедный беспомощный человеческий дух всхлипывает, прерывается, хрипит и клокочет в горле. Нет спасения! Нет! Он, он сам, его тело, которому он во всем уступал, умирает. В могилу его! Заколотите этот труп в деревянный ящик, несите его вон из дома на плечах наемников. Долой с глаз людских, в глубокую яму, в землю, в могилу, где он будет гнить и кормить червей, где его будут жрать юркие, прожорливые крысы.

И пока друзья его стоят в слезах у его смертного одра, душа грешника предстает перед судом. В последнее мгновение вся земная жизнь пройдет перед взором души, и, прежде чем в душе родится единая мысль, тело умрет, и объятая ужасом душа предстанет перед судом Божиим. Бог, который долго был милосердным, теперь воздает по заслугам. Он долго терпел, увещевал грешную душу, давал ей время раскаяться, щадил и щадил ее. Но это время прошло. Было время грешить и наслаждаться, время издеваться над Богом и заветами его святой церкви, время презирать его могущество, попирать его заповеди, обманывать окружающих, время совершать грех за грехом и скрывать свои пороки от людей. Но это время прошло. Настал час Божий: и Бога уже нельзя ни провести, ни обмануть. Каждый грех выступит тогда из своего тайного убежища, самый мятежный в послушании божественной воли и самый постыдный для жалкой, испорченной человеческой природы, самое малое несовершенство и самая отвратительная жестокость. Что пользы тогда, что ты был великим императором, великим полководцем, чудесным изобретателем, ученейшим среди ученых. Все равны перед судом Божиим. Он наградит праведных и покарает грешных. Единого мига достаточно, чтобы свершить суд над человеческой душой. В тот самый миг, когда умирает тело, душу взвешивают на весах. Суд совершен, и душа переходит в обитель блаженства или в темницу чистилища или, стеная, низвергается в преисподнюю.

Но это еще не все. Правосудие Божие должно быть явлено людям, и после этого суда предстоит другой суд. Настал последний день, день Страшного суда. Звезды небесные падут на землю, как плоды смоковницы, сотрясаемой ветром. Солнце, великое светило вселенной,

станет подобно власянице; луна станет как кровь. Небо скроется, свернувшись, как свиток. Архангел Михаил, архистратиг небесного воинства, величественный и грозный, явится в небесах. Одной ногой он ступит на море, другой — на сушу, и медный глас его трубы возвестит конец сущего. Три трубных гласа архангельской трубы наполнят всю вселенную. Время есть, время было, но времени больше не будет. С последним трубным гласом души всего рода человеческого ринутся в Иосафатскую долину¹ богатые и бедные, благородные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого человеческого существа, когда-либо жившего, души тех, кому надлежало родиться, все сыновья и дочери Адама — все соберутся в этот великий день. И вот грядет высший судия! Не смиренный агнец Божий, не кроткий Иисус из Назарета, не скорбный сын человеческий, не добрый пастырь. Его увидят грядущим на облаках в великой силе и славе, и все девять чинов Ангельских явятся в свите его: ангелы и архангелы, троны, власти, князья, могущества, силы небесные, херувимы и серафимы — Бог-вседержитель, Бог предвечный! Он заговорит, и голос его дойдет во все концы вселенной до самой бездны преисподней. Высший судия, он изречет приговор, и уже не будет иного. Он призовет праведных одесную себя и скажет им войти в царство вечного блаженства, уготованное им. Неправедных же прогонит прочь, и воскликнет в великом гневе: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». О, какая мука для несчастных грешников! Друзья будут оторваны от друзей, дети от родителей, мужья от жен. Несчастный грешник будет простирать руки к тем, кто был дорог ему в этой земной жизни, к тем, чья простота и благочестие вызывали в нем, может быть, насмешку, к тем, кто увещевал его и старался вернуть на праведный путь, к доброму брату, к милой сестре, к матери и отцу, которые так беззаветно любили его. Но поздно! Праведные отвернутся от погибших, осужденных душ, которые теперь предстанут пред их очами во всей своей отвратительной мерзости. О, вы, лицемеры, вы, гробы поваленные! Вы, являвшие миру сладко улыбающийся лик, тогда как душа ваша есть зловонное скопище греха, — что станет с вами в этот грозный день?

¹ По Библии, место Страшного суда.

А этот день придет, придет неминуемо, должен прийти — день смерти, день Страшного суда. Удел человека — умереть и после смерти предстать перед судом Божиим. Мы знаем, что мы должны умереть. Мы не знаем, когда и как, от долгой ли болезни или от несчастного случая. Не ведаем ни дня, ни часа, когда придет Сын человеческий. Будьте готовы, помните, что вы можете умереть каждую минуту. Смерть — наш общий удел. Смерть и суд, принесенные в мир грехом наших прародителей, — темные врата, закрывающиеся за нашим земным существованием, врата, которые открываются в неведомое, врата, через которые должна пройти каждая душа, одна, лишенная всякой опоры, кроме своих добрых дел, без друга, брата, родителя или наставника, которые могли бы помочь ей, одна, трепещущая душа. Да пребудет мысль эта всегда с нами, и тогда мы не сможем грешить. Смерть, источник ужаса для грешника, — благословенная минута для того, кто шел путем праведным, исполнял долг, предназначенный ему в жизни, возносил утренние и вечерние молитвы, приобщался святых тайн и творил добрые милосердные дела. Для набожного, верующего католика, для праведного человека смерть не может быть источником ужаса. Вспомните, как Аддисон, великий английский писатель, лежа на смертном одре, послал за порочным молодым графом Уорвиком¹, дабы дать ему возможность увидеть, как приемлет свой конец христианин. Да, только набожный, верующий католик, он один может воскликнуть в своем сердце:

Смерть! Где жало твое?

Ад! Где твоя победа?

Каждое слово этой проповеди было обращено к нему. Против его греха, мерзостного, тайного, направлен был гнев Божий. Нож проповедника нащупал самую глубину его раскрывшейся совести, и он почувствовал, что душа его — гнойник греха. Да, проповедник прав! Божий час настал. Как зверь в берлоге, его душа зарылась в собственной мерзости, но глас ангельской трубы

¹ Джозеф Аддисон (1672—1719) — английский писатель, эссеист, поэт и политический деятель; граф Уорвик — его приемный сын. Точных свидетельств этой сцены нет. Однако один из современников Аддисона, друг и душеприказчик поэта, Томас Тикелл (1688—1740) пишет об этом случае в своем стихотворении «Графу Уорвику на смерть мистера Аддисона» (1721).

вызвал ее на свет из греховной тьмы. Весть о Страшном суде, провозглашенная архангелом, разрушила в единый миг самонадеянное спокойствие. Вихрь последнего дня ворвался в сознание. И грехи, эти блудницы с горящими глазами, бросились врассыпную от этого урагана, пища, как мыши, и прикрываясь космами волос.

Когда он переходил площадь по дороге домой, звонкий девичий смех коснулся его пылающих ушей. Этот хрупкий радостный звук смутил его сердце сильнее, чем архангельская труба; не смея поднять глаза, он отвернулся и, проходя мимо, глянул в тень разросшегося кустарника. Стыд хлынул волной из его смятенного сердца и затопил все его существо. Образ Эммы возник перед ним, и под ее взглядом стыд новой волной хлынул из его сердца. Если бы она только знала, чему она подвергалась в его воображении, как его животная похоть терзала и топтала ее невинность! Это ли юношеская любовь? Рыцарство? Поэзия? Мерзкие подробности падения душили его своим зловонием. Пачка открыток, измазанных сажей, которые он прятал под решеткой камина и перед которыми часами грешил мыслью и делом, глядя на откровенные или притворно стыдливые сцены разврата; чудовищные сны, населенные обезьяноподобными существами; девки со сверкающими распаленными глазами, длинные гнусные письма, которые он писал, упиваясь своими откровенными излияниями, и носил тайком при себе день за днем только затем, чтобы незаметно в темноте подбросить их в траву или засунуть под дверь или в щель забора, где какая-нибудь девушка, проходя, могла бы увидеть их и прочесть потихоньку. Какое безумие! Неужели это правда и он все это делал? От постыдных воспоминаний, которые теснились в памяти, холодный пот проступил у него на лбу.

Когда муки стыда утихли, он попытался поднять свою душу из ее жалкой немощи. Бог и пресвятая дева были слишком далеко от него. Бог слишком велик и суров, а пресвятая дева слишком чиста и непорочна. Но он представил себе, что стоит рядом с Эммой где-то в бескрайней равнине и смиренно, в слезах склоняется и целует ее рукав на сгибе локтя.

В бескрайней равнине, под нежным прозрачным вечерним небом, где облако плывет на запад по бледно-зеленому морю небес, они стоят рядом — дети, заблудшие во грехе. Своим грехом они глубоко прогневили

величие Божие, хотя это был всего только грех двоих детей, но они не прогневили ее, «чья красота не красота земная, опасная для взора, но подобна утренней звезде — ее знамени, ясна и мелодична»¹. Глаза ее, устремленные на него, смотрят без гнева и без укоризны. Она соединяет их руки и говорит, обращаясь к их сердцам:

— Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма, в небесах сейчас тихий вечер. Вы согрешили, но ведь вы — мои дети. Вот сердце, которое любит другое сердце. Возьмитесь за руки, дорогие мои дети, и вы будете счастливы вместе, и сердца ваши будут любить друг друга.

Церковь была залита тусклым, багровым светом, проникавшим сквозь опущенные жалюзи, а в узкую щель между жалюзи и оконной рамой луч бледного света врывался, как копье, и скользил по рельефным украшениям подсвечников на алтаре, которые тускло поблескивали, подобно броне ангельских доспехов, изношенных в бою.

Дождь лил на церковь, на сад, на колледж. Дождь будет идти беззвучно, непрерывно. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, затопит траву и кусты, затопит дома и деревья, затопит памятники и вершины гор. Все живое беззвучно захлебнется: птицы, люди, слоны, свиньи, дети; беззвучно будут плыть тела посреди груд обломков рушащейся вселенной. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, пока лицо земли не скроется под водой².

Ведь это может быть. А почему нет?

— «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою». Слова, дорогие мои братья во Христе, из книги пророка Исайи, глава пятая, четырнадцатый стих. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Проповедник достал часы без цепочки из внутреннего кармана сутаны и, молча посмотрев на циферблат, бесшумно положил их перед собой на стол.

Он начал ровным голосом:

— Вы знаете, дорогие мои друзья, что Адам и Ева — наши прародители, и вы помните, что Бог сотворил их, дабы они заняли место, опустевшее на небесах после падения Люцифера и восставших с ним ангелов. Люцифер, как мы знаем, был сын зари, светлый, могущест-

¹ Дж. Ньюмен. «Славословия Марии-Богоматери».

² В сознании Стивена возникает картина Всемирного потопа.

венный ангел, и все же он пал. Он пал, а с ним пала треть небесного воинства, он пал и вместе со своими восставшими ангелами был низвергнут в ад. Какой грех совершил он, мы не знаем. Богословы утверждают, что это был грех гордыни, греховный помысел, зачатый в одно мгновение: *pop serviam* — не буду служить. Это мгновение было его гибелью. Он оскорбил величие Господа грешным помыслом одного мгновения, и Господь низринул его с неба в преисподнюю на веки вечные!

Тогда Господь сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в Дамасской долине, в этом чудесном, сияющем светом и красками саду, изобилующем роскошной растительностью. Плодородная земля оделяла их своими дарами; звери и птицы служили и повиновались им. Неведомы были Адаму и Еве страдания, которые унаследовала наша плоть,— болезни, нужда, смерть. Все, что мог сделать для них всемогущий и милостивый Бог,— все было им дано. Но одно условие поставил Господь Бог — повиновение его слову. Они не должны были вкушать плоды от запретного древа.

Увы, дорогие друзья мои, они тоже пали. Сатана, когда-то сияющий ангел, сын зари, ныне лукавый враг, явился им во образе змеи, самой коварной из всех тварей земных. Он завидовал им. Низвергнутый с высоты величия своего, он не мог перенести мысли, что человек, созданный из глины, получит в обладание то, что он по собственной вине утратил навеки. Он пришел к жене, сосуду слабейшему, и, влив яд своего красноречия ей в уши, обещал,— о, святотатственное обещание! — что, если она и Адам вкусят запретного плода, они станут как Боги, подобны самому Создателю. Ева поддалась обману лукавого соблазнителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не хватило мужества устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал свое дело. Они пали.

И тогда в саду раздался глас Божий, призывающий свое творение, человека, к ответу. И Михаил, архистратиг небесного воинства, с огненным мечом в руке, явился перед преступной четой и изгнал их из рая в мир, в мир болезней и нужды, жестокости и отчаяния, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда сколь милосерден был Господь! Он сожалел над нашими несчастными падшими прародителя-

ми и обещал, что, когда исполнится час, он пошлет с небес на землю того, кто сделает их снова чадами Божиими, наследниками небесного престола; спасителем падшего человека будет едиnorodный сын Божий, второе лицо пресвятой Троицы, вечное слово.

Он пришел. Он родился от пречистой девы Марии, девы-матери. Он родился в бедном хлеве в Иудее и жил смиренным плотником до тридцати лет, пока не наступил час его. Тогда, преисполненный любви к людям, он пошел проповедовать им Евангелие царства Божия.

Слушали ли они его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали как обыкновенного преступника, насмеялись над ним как над безумцем, предпочли помиловать вместо него разбойника, убийцу; нанесли ему пять тысяч ударов, возложили на его главу терновый венец; иудейская чернь и римские солдаты волокли его по улицам, сорвали с него одежды, пригвоздили к кресту, пронзили ему ребро копьем, и из раненого тела нашего Господа потекла кровь с водой.

Но даже тогда, в час величайших мучений, наш милосердный искупитель сжалился над родом человеческим. И там, на Голгофе, он основал святую католическую церковь, которую по его обетованию не одолеют врата ада. Он воздвиг ее на вековечной скале и наделил ее своею благодатью, таинством святого причастия и обещал, что если люди будут послушны слову его церкви, они обрящут жизнь вечную, но если после всего того, что для них сделано, они будут упорствовать в своих пороках — их уделом будет вечное мучение: ад.

Голос проповедника замер. Он замолчал, сложил на мгновение ладони, потом разнял их. И заговорил снова:

— Теперь попробуем на минуту представить себе, насколько это в наших силах, что являет собой эта обитель отверженных, созданная правосудием разгневанного Бога для вечной кары грешников. Ад — это тесная, мрачная, смрадная темница, обитель дьяволов и погибших душ, охваченная пламенем и дымом. Бог создал эту темницу тесной в наказание тем, кто не желал подчиниться его законам. В земных тюрьмах бедному узнику остается, по крайней мере, свобода движений, будь то в четырех стенах камеры или в мрачном тюремном дворе. Совсем не то в преисподней. Там такое огромное скопище осужденных, что узники стиснуты в этой ужасной темнице, толщина стен коей достигает четырех ты-

сяч миль, и они стиснуты так крепко и так беспомощны, что, как говорит святой подвижник Ансельм¹ в книге о подобиях, они даже не могут вынуть червей, гложащих их глаза.

Они лежат в крошечной тьме. Ибо, не забудьте, огонь преисподней не дает света. Как, по велению Божию, огонь Вавилонской печи² потерял свой жар, сохранив свет, так, по велению Божию, огонь преисподней, сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. Это вечно свирепствующая буря тьмы, темного пламени и темного дыма, горячей серы, где тела, нагроможденные друг на друга, лишены малейшего доступа воздуха. Из всех кар, которыми поразил Господь землю Фараонову, поистине ужаснейшей считалась тьма. Как же тогда определить тьму преисподней, которая будет длиться не три дня, но веки вечные?

Ужас этой тесной и темной тюрьмы усиливается еще от ее чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира устремятся туда, словно в огромную сточную яму, когда истребляющий огонь последнего дня зажжет мир своим очистительным пламенем. А чудовищная масса серы, горящая там, наполняет всю преисподнюю невыносимым смрадом, и самые тела осужденных распространяют такое ядовитое зловоние, что даже единого из них, говорит святой Бонавентура³, достаточно для того, чтобы отравить весь мир. Самый воздух нашей вселенной, эта чистейшая стихия, становится смрадным и удушливым, когда слишком долго нет в нем движения. Представьте себе, какой должен быть смрад в преисподней! Вообразите себе зловонный и разложившийся труп, который лежит и гниет в могиле, превращаясь в липкую, гнойную жижу. И представьте себе, что этот труп становится добычей пламени, пожираемый огнем горячей серы и распространяющий кругом густой, удушливый, омерзительно тошнотворный смрад. Вообразите себе этот омерзительный смрад, уси-

¹ Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — теолог, представитель схоластики. С 1093 г. — архиепископ Кентерберийский.

² По Библии, царь Навуходоносор приказал бросить в Вавилонскую печь трех юношей, не поклонявшихся языческим богам, но огонь не тронул их, а убил лишь их мучителей.

³ Бонавентура — Джованни Фиданца (1221—1373) — итальянский философ и католический церковный деятель, один из крупнейших представителей поздней схоластики, кардинал, был причислен к лику святых (1482) и к числу пяти величайших учителей церкви.

ленный в миллионы миллионов раз несчетным количеством зловонных трупов, скученных в смрадной тьме,— огромный смрадный человеческий гнойник. Вообразите себе все это, и вы получите некоторое представление о смраде преисподней.

Но как ни ужасен этот смрад, это еще не самая тяжкая из телесных мук, на которую обречены осужденные. Пытка огнем — величайшая пытка, которой тираны подвергали своих подданных. Поднесите на одно мгновение палец к пламени свечи — и вы поймете, что значит пытка огнем. Но наш земной огонь создан Богом на благо человеку, для поддержания в нем искры жизни и на помощь ему в трудах его, тогда как огонь преисподней совсем другого свойства и создан Богом для мучения и кары нераскаявшихся грешников. Наш земной огонь сравнительно быстро пожирает свою жертву, особенно если предмет, на который он направлен, обладает высокой степенью горючести. И человек с его изобретательностью сумел создать химические средства, способные ослабить или задержать процесс горения. Но ядовитая сера, которая горит в преисподней,— вещество, предназначенное для того, чтобы гореть вечно, гореть с неослабевающей яростью. Более того, наш земной огонь, сжигая, разрушает, и чем сильнее он горит, тем скорее затихает, но огонь преисподней жжет не истребляя, и, хотя он пылает с неистовой силой, он пылает вечно.

Наш земной огонь, как бы огромно и свирепо ни было его пламя, всегда имеет пределы, но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно. Известно, что сам сатана на вопрос некоего воина ответил, что, если бы целую громадную гору низвергли в пылающий океан преисподней, она сгорела бы в одно мгновение, как капля воска. И этот чудовищный огонь терзает тела осужденных не только извне! Каждая обреченная душа превращается в свой собственный ад, и необъятное пламя бушует в ее недрах. О, как ужасен удел этих погибших созданий! Кровь кипит и клокочет в венах, плавится мозг в черепе, сердце пылает и разрывается в груди; внутренности — докрасна раскаленная масса горячей плоти, глаза, эта нежная ткань, пылают как расплавленные ядра.

Но все, что я говорил о ярости, свойствах и беспредельности этого пламени,— ничто по сравнению с мощью, присущей ему как орудию божественной воли, ка-

рающей душу и тело. Этот огонь, порожденный гневом Божьим, действует не сам по себе, но как орудие божественного возмездия. Как вода крещения очищает душу вместе с телом, так и карающий огонь истязает дух вместе с плотью. Каждое из чувств телесных подвергается мучениям, и вместе с ними страдает и душа. Зрение казнится абсолютной непроницаемой тьмой, обоняние — гнуснейшим смрадом, слух — воем, стенаниями и проклятиями, вкус — зловонной, трупной гнилью, неопикуемой зловонной грязью, осязание — раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. И среди всех этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своем подвергается вечному мучению неисчислимыми языками пламени, зажженного в пропасти разгневанным величием всемогущего Бога и раздуваемого гневом его дыхания в вечно разъяренное, в вечно усиливающееся пламя.

Вспомните также, что мучения в этой адской темнице усиливаются соседством других осужденных. Близость зла на земле столь опасна, что даже растения как бы инстинктивно растут поодаль от того, что для них губительно и вредно. В аду все законы нарушены, там нет понятий семьи, родины, дружеских, родственных отношений. Осужденные воют и вопят, и мучения и ярость их усугубляются близостью других осужденных, которые, подобно им, испытывают мучения и неистовствуют. Всякое чувство человечности предано забвению, вопли страждущих грешников проникают в отдаленнейшие углы необъятной бездны. С уст осужденных срываются слова хулы против Бога, слова ненависти к окружающим их грешникам, проклятий против всех сообщников по греху. В древние времена существовал закон, по которому отцеубийцу, человека, поднявшего преступную руку на отца, зашивали в мешок с петухом, обезьяной и змеей и бросали в море. Смысл этого закона, кажущегося нам таким жестоким, в том, чтобы покарать преступника соседством злобных, вредоносных тварей. Но что ярость бессловесных тварей по сравнению с яростью проклятий, которые извергаются из пересохших ртов и горящих глоток, когда грешники в преисподней узнают в других страдальцах тех, кто помогал им и поощрял их во грехе, тех, чьи слова заронили в их сознание первые семена дурных мыслей и дурных поступков, тех, чьи бесстыдные наущения привели их ко греху, тех, чьи

глаза соблазняли и совращали их со стези добродетели, и тогда они обращают всю ярость на своих сообщников, поносят и проклинаят их. Но неоткуда ждать им помощи, и нет для них надежды. Раскаиваться поздно.

И наконец представьте себе, какие ужасные мучения доставляет погибшим душам — и соблазнительям и соблазненным — соседство с бесами. Бесы эти мучают осужденных вдвойне: своим присутствием и своими упреками. Мы не в состоянии представить себе, как ужасны эти бесы. Святая Екатерина Сиенская, которая однажды видела беса, пишет, что предпочла бы до конца своей жизни идти по раскаленным угольям, нежели взглянуть еще один-единственный раз на это страшное чудовище. Бесы эти, некогда прекрасные ангелы, сделались столь же уродливы и мерзки, сколь прежде были прекрасны. Они издеваются и глумятся над погибшими душами, которых сами же увлекли к гибели. И они, эти гнусные демоны, заменяют в преисподней голос совести. Зачем ты грешил? Зачем внимал соблазну друзей? Зачем уклонялся от благочестивой жизни и добрых дел? Зачем не сторонился греха? Зачем не избегал дурного знакомства? Зачем не боролся со своим распутством, со своей развращенностью? Зачем не слушал советов духовного отца? Зачем, согрешив в первый, во второй, в третий, в четвертый и в сотый раз, ты не раскаялся в своих дурных поступках и не обратился к Богу, который только и ждал раскаяния, чтобы отпустить тебе грехи? Но теперь время раскаяния прошло. Время есть, время было, но больше времени не будет. Было время грешить тайком, предаваться гордыне и лени, наслаждаться беззаконием, уступать прихотям своей изменной природы, жить, как твари лесные, нет, хуже, чем твари! Потому что у тех, по крайней мере, нет разума, который направлял бы их. Было время, но больше времени не будет. Бог говорил с тобой бесчисленными голосами, но ты не хотел слушать. Ты не одолел гордыни и злобы в сердце своем, не возвратил добро, в беззакониижитое, не повиновался заветам святой церкви, пренебрегал обрядами, не расстался с бесчестными сообщниками, не избегал соблазнов. Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи глумления и упреков, ненависти и отвращения. Да, отвращения, потому что даже они, сами бесы, согрешившие, но согрешившие грехом, единственно совместимым с их ангельской природой —

бунтом разума,— даже они, мерзкие бесы, отвернутся с отвращением и гадливостью от зрелища этих неслыханных грехов, которыми жалкий человек оскверняет и оскорбляет храм духа святого, оскверняет и бесчестит самого себя.

О, дорогие мои младшие братья во Христе, да минует нас вовеки страшный удел слышать речи сии! Да минует нас вовеки сей страшный удел. Я горячо молю Господа, чтобы в последний день страшной расплаты ни единая душа из тех, что присутствует ныне в этом храме, не оказалась среди несчастных созданий, которым великий судия повелит скрыться от очей его, чтобы ни для одного из нас не прозвучал страшный приговор отвержения: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!»

Он вышел из придела церкви, ноги подкашивались; кожа на голове холодела, словно ее коснулись пальцы призрака. Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, на стенах которого висели пальто и макинтоши, как преданные казни злодеи — безглавые, истекающие кровью, бесформенные. И с каждым шагом его все сильнее охватывал ужас, что он уже умер, что душа его вырвалась из своей телесной оболочки и что он стремглав несется в бездну.

Пол ускользал у него из-под ног, и он тяжело опустился за парту, не глядя открыл какую-то книгу и уткнулся в нее. Каждое слово — о нем. Да, это так. Бог — всемогущ. Бог может призвать его сию минуту, вот сейчас, когда он сидит за партой, прежде чем он успеет осознать, что это конец. Бог уже призвал его. Как? Так, сразу? Все тело его сжалось, словно чувствуя приближение жадных языков пламени, скорчилось, словно его опалил огненный вихрь. Он умер. Да. Его судят. Огненная волна взметнулась и опалила его тело! Одна, другая. Мозг начал раскаляться. Еще волна. Мозг закипает, бурлит в раскаляющейся коробке черепа. Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом и вызывают тысячью голосов:

— Ад! ад! ад! ад!

Голоса раздались около него:

— Он говорил об аде.

— Ну что? Все он вам втолковал?

— Еще как. Чуть со страха не умерли.

— С вами только так и надо. Не мешало бы почаще вас наставлять, тогда, может, учиться будете лучше.

В изнеможении он откинулся на спинку парты. Он не умер. Бог пощадил его и на этот раз. Он все еще был в обычной обстановке, в школе. У окна, глядя на нудный дождь, стоят мистер Тейт и Винсент Курон: разговаривают, шутят, кивают головами.

— Хоть бы разгулялось. Я договорился с приятелем прокатиться на велосипеде к Малахайду¹. Но на дорогах, верно, грязь по колено.

— Может быть, еще разгуляется, сэр.

Такие знакомые голоса, обыденные разговоры, тишина классной, когда голоса замолкли, молчание, наполненное чавканьем спокойно пасущегося стада, — мальчики мирно жевали свои завтраки. Все это успокаивало его истерзанную душу.

Еще есть время. О, дева Мария, прибежище грешников, заступись! О, дева непорочная, спаси от пучины смерти!

Урок английского начался беседой на историческую тему. Короли, фавориты, интриганы, епископы, словно безмолвные призраки, проходили под покровом имен. Все они умерли, и все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир, если он потерял свою душу? Наконец он понял: жизнь человеческая лежала вокруг него, как мирная долина, на которой трудились люди-муравьи, а их мертвые покоились под могильными холмами. Локоть соседа по парте коснулся его, и он словно почувствовал толчок в сердце. И, отвечая на вопрос учителя, услышал свой собственный голос, проникнутый спокойствием смирения и раскаяния.

Его душа погружалась все глубже в покаянный покой, не в силах более переносить мучений страха, и, погружаясь, возносила робкую молитву. О да, он будет помилован: он раскается в сердце своем и будет прощен, и тогда там, над ним, на небесах, увидят, как он искупит свое прошлое. Всей жизнью, каждым часом ее! О, только дайте время!

— Всем, Господи! Всем, всем!

Кто-то приоткрыл дверь и сказал, что исповедь в церкви уже началась. Четверо мальчиков вышли из класса, и он слышал, как другие проходили по коридо-

¹ Курорт на берегу Ирландского моря.

ру. Трепетный холодок полоснул сердце, едва ощутимый, как легкое дуновение ветра. Но, молча прислушиваясь и страдая, он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к сердцу и ощутил, как оно сжимается и замирает, как содрогаются его сосуды.

Спасения нет. Он должен исповедаться, рассказать все, что делал и думал, обо всех грехах. Но как? Как?

— Отец, я...

Исповедь! Эта мысль холодным, сверкающим клинком вонзалась в его слабую плоть. Но только не здесь, не в школьной церкви. Он исповедуется во всем, в каждом грехе деяния и помысла, покается чистосердечно, но только не здесь — среди товарищей. Подальше отсюда, где-нибудь в глухом закоулке он выбормочет свой позор; и он смиренно молил Бога не гневаться на него за то, что у него не хватает смелости исповедаться в школьной церкви, и в полном самоуничтожении мысленно просил прощения, взывая к отроческим сердцам своих товарищей.

А время шло.

Он снова сидел в первом ряду в церкви. Дневной свет за окном медленно угасал, солнце, проникавшее сквозь выгоревшие красные занавеси, казалось солнцем последнего дня, когда души всех созываются на Страшный суд.

— «Отвержен я от очей Твоих» — слова, дорогие мои младшие братья во Христе, из псалма 30-го, стих 23-й. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Проповедник говорил спокойным, приветливым голосом. Лицо у него было доброе, он сложил руки, мягко сомкнув кончики пальцев, и это было похоже на маленькую хрупкую клетку.

— Сегодня утром мы беседовали с вами об аде, пытались представить его или, как говорит святой основатель нашего ордена в своей книге духовных упражнений, дать ему определение места. Иными словами, мы постарались вообразить чувственной стороной нашего разума, нашим воображением материальную природу этой страшной темницы и физические страдания, коим подвергаются все, кто пребывает в аду. Сейчас мы попытаемся осмыслить природу духовных мучений ада.

Помните, что грех — двойное преступление. С одной стороны, это гнусное поощрение низменных инстинктов нашей греховной природы, склонной ко всему скотскому

и подлomu, а с другой — это слушание голоса нашей высшей природы, всего чистого и святого в нас, слушание самого святого создателя. Поэтому смертный грех карается в преисподней двумя различными видами кары: физической и духовной.

Так вот, самая страшная из всех духовных мук — мука утраты. Она настолько велика, что превосходит все другие. Святой Фома¹, величайший учитель церкви, прозванный ангельским доктором, говорит, что самое страшное проклятие состоит в том, что человеческое разумение лишается божественного света и помыслы его упорно отвращаются от благодати Божией. Помните, что Бог — существо бесконечно благое и потому утрата его — лишение бесконечно мучительное. В этой жизни мы не можем ясно представить себе, что значит такая утрата, но осужденные в преисподней в довершение своих страданий полностью осознают то, чего они навек лишились, и знают, что в этом виноваты лишь они одни. В самое мгновение смерти распадаются узы плоти, и душа тотчас же устремляется к Богу, к средоточию своего бытия. Запомните, дорогие друзья мои, души наши жаждут воссоединиться с Богом. Мы исходим от Бога, живем Богом, мы принадлежим Богу; принадлежим ему неотъемлемо. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет в этой любви. И как же может быть иначе? Каждый вздох, каждый помысел, каждое мгновение нашей жизни исходит от неистощимой благодати Божьей. И если тяжко матери разлучаться с младенцем, человеку — быть отторгнутым от семьи и дома, другу — оторваться от друга, подумайте только, какая мука, какое страдание для бедной души лишиться присутствия бесконечно благого и любящего создателя, который из ничего вызвал эту душу к бытию, поддерживая ее в жизни, любил ее беспредельной любовью. Итак, быть отлученным навеки от высшего блага, от Бога, испытывать муку этого отлучения, сознавая, что так будет всегда, — величайшая утрата, какую способна перенести сотворенная душа, — *roepa damni* — мука утраты.

Вторая кара, которой подвергаются души осужденных в аду, — муки совести. Как в мертвом теле зарож-

¹ Фома Аквинский (1225—1274) — один из крупнейших представителей средневековой схоластики.

даются от гниения черви, так в душах грешников от гниения греха возникают нескончаемые угрызения, жало совести, или, как называет его папа Иннокентий III, червь с тройным жалом. Первое жало, которым уязвляет этот жестокий червь,— воспоминание о минувших радостях. О, какое ужасное воспоминание! В море всепожирающего пламени гордый король вспомнит пышное величие своего двора; мудрый, но порочный человек — книги и приборы; ценитель искусств — картины, статуи и прочие сокровища; тот, кто наслаждался изысканным столом,— роскошные пиры, искусно приготовленные яства, тонкие вина; скупец вспомнит свои сундуки с золотом; грабитель — несправедливо приобретенное богатство; злобные, мстительные, жестокие убийцы — свои кровавые деяния и злодейства; сластолюбцы и прелюбодеи — постыдные, гнусные наслаждения, которым они предавались. Они вспомнят все это и проклянут себя и свои грехи. Ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе, обреченной на страдания в адском пламени на веки вечные! Какое бешенство и ярость охватит их при мысли, что они променяли небесное блаженство на прах земной, на горсть металла, на суетные почести, на плотские удовольствия, на минутное щекотание нервов! Они раскаются, и в этом раскаянии — второе жало червя совести, запоздалое, тщетное сокрушение о содеянных грехах. Божественное правосудие считает необходимым, чтобы разум этих отверженных был непрестанно сосредоточен на совершенных ими грехах, и, более того, как утверждает святой Августин, Бог даст им свое собственное понимание греха, и грех предстанет перед ними во всей чудовищной гнусности таким, каким предстанет он перед очами Господа Бога. Они увидят свои грехи во всей их мерзости и раскаются, но слишком поздно. И тогда пожалеют о возможностях, которыми пренебрегли. И это последнее, самое язвительное и жестокое жало червя совести. Совесть скажет: у тебя было время и была возможность, но ты не каялся. В благочестии воспитывали тебя родители. Тебе в помощь были даны святыне дары, божья благодать и индульгенции. Служитель Божий был рядом с тобой, дабы наставлять, направлять тебя на путь истинный, отпускать грехи твои, сколько бы их ни было и как бы они ни были мерзостны, лишь бы ты только исповедался и раскаялся. Нет. Ты не хотел этого. Ты пренебрег служителями святой церкви, ты

уклонялся от исповеди, ты погрязал все глубже и глубже в мерзости греха. Бог взывал к тебе, предупреждал тебя, призывал вернуться к нему. О, какой позор, какое горе! Владыка вселенной умолял тебя, творение из глины, любить его, вдохнувшего в тебя жизнь, повиноваться его законам. Нет! Ты не хотел этого. А теперь, если бы ты еще мог плакать и затопил бы ад своими слезами, все равно весь этот океан раскаяния не даст того, что дала бы одна-единственная слеза искреннего покаяния, пролитая в твоей земной жизни. Ты молишь теперь об одном-единственном мгновении земной жизни, дабы покаяться. Напрасно. Время прошло и прошло навеки.

Таково тройное жало совести, этого червя, который гложет сердце грешников в аду. Охваченные адской злобой, они проклинают себя, и свое безумие, и дурных сообщников, увлекавших их к гибели, проклинают дьяволов, искушавших их в жизни, а теперь, в вечности, издевающихся над ними, хулят и проклинают самого всевышнего, чье милосердие и терпение они презрели и осмеяли, но чьего правосудия и власти им не избежать.

Следующая духовная пытка, которой подвергаются осужденные в аду,— это мука неизбежности страданий. Человек в своей земной жизни способен творить злые дела, но он не способен творить их все сразу, ибо часто одно зло мешает и противодействует другому, подобно тому как один яд часто служит противоядием другому. В аду же, наоборот, одно мучение не только не противодействует другому, а усугубляет его. И мало этого: так как духовные наши качества более совершенные, нежели наши телесные ощущения, они сильнее подвержены страданиям. Так, каждое свойство души, подобно ощущению, подвергается своей особой муке: воображение терзается чудовищными кошмарами, способность чувствовать — попеременно отчаянием и яростью, сознание и разум — внутренним беспросветным мраком, более ужасным, нежели мрак внешний, царящий в этой страшной темнице. Злоба, пусть бессильная, которой одержимы падшие души,— это злоба, не имеющая границ, длящаяся без конца, никогда не убывающая. Это чудовищное состояние мерзости даже представить себе нельзя, если только не осознать всю гнусность греха и отвращение, которое питает к нему всевышний.

Наряду с этой мукой неизбежности страданий существует, казалось бы, противоположная ей мука напря-

женности страдания. Ад — это средоточие зла, а как вам известно, чем ближе к центру, тем сильнее напряжение. Никакая посторонняя или противодействующая сила не ослабляет, не утоляет ни на йоту страданий в преисподней. И даже то, что само по себе есть добро, в аду становится злом. Общение, источник утешений для несчастных на земле, там будет нескончаемой пыткой; знание, к которому обычно жадно стремятся как к высшему благу разума, там будет ненавистней, чем невежество; свет, к которому тянутся все твари — от царя природы до ничтожной травинки в лесу, — там вызывает жгучую ненависть. В земной жизни наши страдания не бывают чрезмерно длительны или чрезмерно велики, потому что человек либо преодолевает их силой привычки, либо изнемогает под их тяжестью, и тогда им наступает конец. Но к страданиям в аду нельзя привыкнуть, потому что, при всем их чудовищном напряжении, они в то же время необычайно многообразны: одна мука как бы воспламеняется от другой и, вспыхивая, присоединяет к ее пламени еще более яростное пламя. И как бы ни изнемогали грешники от этих многообразных неизбывных мучений, их изнеможению нет конца, ибо душа грешника сохраняется и пребывает во зле, дабы увеличить страдания. Неизбывность мук, беспредельная напряженность пыток, бесконечная смена страданий — вот чего требует оскорбленное величие Божие, вот чего требует святыня небес, отринутая ради порочного и гнусного потворства развращенной плоти, вот к чему взывает кровь невинного агнца Божия, пролитая во искупление грешников, поправная мерзейшими из мерзких.

Но последнее, тягчайшее из всех мучений преисподней — это ее вечность. Вечность! Какое пугающее, какое чудовищное слово! Вечность! Может ли человеческий разум постичь ее? Вдумайтесь: вечность мучений! Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, они все равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно. Они вечны, но в то же время и неизбывны в своем многообразии, невыносимы в своей остроте. Переносить целую вечность даже укус насекомого было бы невыразимым мучением. Каково же испытать вечно многообразие мук ада? Всегда! Во веки веков! Не год, не столетие, но вечно. Попробуйте только представить себе страшный смысл этого слова. Вы, конечно, не раз видели песок на морском берегу. Видели,

из каких крошечных песчинок состоит он. И какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, схваченной играющим ребенком! Теперь представьте себе гору песка в миллионы миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, простирающуюся на миллионы миль в ширь необъятного пространства и в миллионы миль толщиной; представьте себе эту громадную массу многочисленных песчинок, умноженную во столько раз, сколько листьев в лесу, капель воды в беспредельном океане, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, атомов в воздушном пространстве и представьте себе, что раз в миллион лет маленькая птичка прилетает на эту гору и уносит в клюве одну крошечную песчинку. Сколько миллионов, миллионов веков пройдет, прежде чем эта птичка унесет хотя бы один квадратный фут этой громады? Сколько столетий истечет, прежде чем она унесет все? Но по прошествии этого необъятного периода времени не пройдет и одного мгновения вечности. К концу всех этих биллионов и триллионов лет вечность едва начнется. И если эта гора возникнет снова и снова будет прилетать птичка и уносить ее, песчинку за песчинкой, и если эта гора будет возникать и исчезать столько раз, сколько звезд в небе, атомов во вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, то даже после того, как это произойдет бесчисленное количество раз, не минует и одного мгновения вечности, даже тогда, по истечении этого необъятного периода времени, столь необъятного, что от самой мысли о нем у нас кружится голова, вечность едва начнется.

Один святой (насколько я помню, один из основателей нашего ордена) сподобился видения ада. Ему казалось, что он стоит в громадной темной зале, тишина которой нарушается только тиканьем гигантских часов. Часы тикали не переставая, и святому показалось, что непрестанно повторялись слова: всегда, никогда, всегда, никогда. Всегда быть в аду, никогда — на небесах; всегда быть отринутым от лица Божьего, никогда не удостоиться блаженного видения; всегда быть добычей пламени, жертвой червей, жертвой раскаленных прутьев, никогда не уйти от этих страданий; всегда терзаться угрызениями совести, гореть в огне воспоминаний, задыхаться от мрака и отчаяния, никогда не избавиться от этих мук; всегда проклинать и ненавидеть мерзких бе-

сов, которые с сатанинской радостью упиваются страданиями своих жертв, никогда не узреть сияющего покрова блаженных духов; всегда взывать из бездны пламени к Богу, молить о едином мгновении отдыха, о передышке от этих неслыханных мук, никогда, ни на единый миг не обрести прощения Божьего; всегда страдать, никогда не познать блаженства; всегда быть проклятым, никогда не спастись; всегда, никогда! всегда, никогда! О чудовищная кара! Вечность нескончаемых мучений, нескончаемых телесных и духовных мук — и ни единого луча надежды, ни единого мига передышки, только муки, беспредельные по своей силе, неистощимо многообразные муки, которые вечно сохраняют вечно снедаемую жертву; вечность отчаяния, разъедающего душу и терзающего плоть, вечность, каждое мгновение которой само по себе вечность муки, — вот страшная кара, уготованная всемогущим и справедливым Богом тем, кто умирает в смертном грехе.

Да, справедливым. Люди, которые способны думать лишь в пределах ограниченного человеческого разума, не могут понять, что за единый тяжкий грех Бог подвергает вечному, неизбывному наказанию в адском пламени. Они думают так потому, что, ослепленные соблазнами плоти и невежеством человеческого разума, не способны постичь чудовищную мерзость греха. Они думают так, ибо не способны понять, насколько может быть отвратителен и гнусен легкий проступок. Если бы всемогущий создатель решил остановить своей властью все зло и все несчастья в мире: войны, болезни, разбой, преступления, смерти, убийства — при условии, что останется безнаказанным один-единственный проступок — ложь, гневный взгляд, минутная лень, он бы, великий всемогущий Бог, не сделал этого, потому что всякий грех делом или помышлением есть нарушение его закона, а Бог не был бы Богом, если бы он не покарал поправшего его закон.

Один грех — одно мгновение восставшей гордыни разума сокрушило славу Люцифера и треть ангельского воинства. Один грех — одно мгновение безумия и слабости изгнало Адама и Еву из рая и принесло смерть и страдания в мир. Дабы искупить последствия этого греха, единородный сын Божий сошел на землю, жил, страдал и умер, распятый на кресте после трех часов величайшей муки.

О, дорогие мои младшие братья во Христе, неужели мы оскорбим доброго искупителя и вызовем его гнев? Неужели мы снова станем топтать его распятое, истерзанное тело? Плевать в этот лик, полный любви и скорби? Неужели и мы, подобно жестоким иудеям и грубым воинам, станем поносить кроткого, милосердного спасителя, который ради нас испил горькую чашу страданий? Каждое греховное слово — рана, наносимая его нежному телу. Каждое грешное деяние — терний, впивающийся в его чело. Каждый нечистый помысел, которому мы сознательно поддаемся, — острое копье, пронзающее это святое любящее сердце. Нет, нет. Ни одно человеческое существо не решится совершить то, что так глубоко оскорбляет величие Божие, что карается вечностью страданий, что распинает снова сына Божия и снова предаёт его глумлению.

Молю Господа, чтобы мои слабые увещевания укрепили в благочестии идущих по истинному пути, поддержали колеблющихся и вернули к благодати бедную заблудшую душу, если такая есть между нами. Молю Господа — и вы помолитесь вместе со мной, — чтобы он помог нам раскаяться в наших грехах. А теперь прошу вас всех преклонить колена здесь, в этой скромной церкви перед ликом Божиим, и повторить за мной молитву покаяния. Он здесь в ковчеге, исполненный любви к роду человеческому и готовый утешить страждущего. Не бойтесь. Как бы многочисленны и тяжки ни были ваши грехи, они простятся вам, если вы раскаетесь. Да не удержит вас суетный стыд. Ведь Господь Бог — наш милосердный создатель, который желает грешнику не вечной гибели, а покаяния и праведной жизни.

Он призывает вас к себе. Вы — дети его. Он создал вас из ничего. Он любит вас, как только один Бог может любить. Руки его простерты, чтобы принять вас, даже если вы согрешили против него. Прииди к нему, бедный грешник, бедный, жалкий, заблудший грешник. Ныне час, угодный Господу.

Священник встал, повернулся к алтарю и в наступившей темноте опустил на колени. Он подождал, пока все стали на колени и пока не затих малейший шорох. Тогда, подняв голову, он начал с жаром произносить слово за словом покаянную молитву. И мальчики повторяли за ним слово за словом. Стивен, у которого

язык прилип к гортани, склонил голову и молился про себя.

- Господи, Боже мой,
- Господи, Боже мой,
- Истинно сокрушаюсь я,
- Истинно сокрушаюсь я,
- Ибо прогневил тебя, Господи,
- Ибо прогневил тебя, Господи,
- И ненависты мне грехи мои
- И ненависты мне грехи мои
- Паче всякой скверны и зла,
- Паче всякой скверны и зла,
- Ибо совершил противное святой воле твоей,
- Ибо совершил противное святой воле твоей,
- Ты же, Господи, всесильный и благой,
- Ты же, Господи, всесильный и благой,
- И достоин всяческого поклонения,
- И достоин всяческого поклонения,
- Ныне, Господи, упование мое,
- Ныне, Господи, упование мое,
- Милостью твоею святою заступи,
- Милостью твоею святою заступи,
- Да не прогневолю тебя до конца дней моих,
- Да не прогневолю тебя до конца дней моих,
- И да будет жизнь моя искуплением грехов.
- И да будет жизнь моя искуплением грехов.

* * *

После обеда он пошел наверх к себе в комнату, чтобы побыть наедине со своей душой, и на каждой ступеньке душа его как будто вздыхала и, вздыхая, карабкалась вместе с ним, поднимаясь наверх из вязкой мглы.

На площадке у двери он остановился, потом нажал на ручку и быстро отворил дверь. Он медлил в страхе, душа его томилась вместе с ним, и он молился беззвучно, чтобы смерть не коснулась его чела, когда он перешагнет порог, и чтобы бесы, населяющие тьму, не посмели овладеть им. Он ждал неподвижно на пороге, словно у входа в какую-то темную пещеру. Там были лица и глаза, стерегущие его, они стерегли зорко и выжидали.

— Мы, конечно, прекрасно знали, что, хотя это, несомненно, должно было выясниться, ему будет чрезвы-

чайно трудно сделать усилие, постараться заставить себя, постараться сделать попытку признать духовного посланника, и мы, конечно, прекрасно знали...

Шепчущие глаза стерегли зорко и выжидающе, шепчущие голоса наполнили темные недра пещеры. Его охватил острый духовный и телесный ужас, но, смело подняв голову, он решительно вошел в комнату. Знакомая комната, знакомое окно. Он убеждал себя, что шепот, доносившийся из тьмы, абсолютно бессмыслен. Он убеждал себя, что это просто его комната с настежь открытой дверью.

Он закрыл дверь, быстро шагнув к кровати, стал на колени и закрыл лицо руками. Руки у него были холодные и влажные, и все тело ныло от озноба. Физическое изнеможение, озноб и усталость томили его, мысли путались. Зачем стоит он на коленях, как ребенок, лепечущий молитвы на ночь? Чтобы побыть наедине со своей душой, заглянуть в свою совесть, честно признать свои грехи, вспомнить, когда, как и при каких обстоятельствах он их совершил, и оплакать их. Но плакать он не мог. Он не мог даже вспомнить их. Он ощущал только боль, чувствовал, как изнывают его душа и тело, как одурманено и истомлено все его существо — память, воля, сознание, плоть.

Это бесы стараются спутать его мысли, затуманить совесть, овладеть им через его трусливую, погрязшую во грехе плоть, и, робко умоляя Бога простить ему его слабость, он поднялся, лег на кровать и, закутавшись в одеяло, снова закрыл лицо руками. Он согрешил. Он согрешил так тяжко против Бога и небес, что недостойн больше называться сыном Божиим.

Неужели он, Стивен Дедал, совершал эти поступки? Совесть его вздохнула в ответ. Да, он совершал их тайно, мерзко, неоднократно. И хуже всего, что в своей греховной жесточенности он осмеливался носить маску святости перед алтарем, хотя душа его насквозь прогнила. А Господь пощадил его. Грехи, как толпа прокаженных, обступили его, дышали на него, надвигались со всех сторон. Он силился забыть их в молитве и, стиснув руки, крепко закрыл глаза. Но душа не успокаивалась. Глаза его были закрыты, но он видел все те места, где грешил; уши его были плотно зажаты, но он все слышал. Всеми силами души желал ничего не видеть и ничего не слышать. Он желал так сильно, что все тело его содрог-

нулось и душа вдруг успокоилась, но лишь на мгновение. И тогда он увидел.

Пустырь с засохшими сорняками, чертополохом, кустами крапивы. В этой жесткой поросли — продавленные жестянки, комья земли, кучи засохших испражнений. Белесый болотный туман поднимается от нечистот и пробивается сквозь колючие серо-зеленые сорняки. Мерзкий запах, такой же слабый и смрадный, как болотистый туман, клубится, ползет из жестянок, от затвердевшего навоза.

В поле бродят какие-то существа: одно, три, шесть. Они бесцельно слоняются туда и сюда. Козлоподобные твари с мертвенными человеческими лицами, рогатые, с жидкими бородами. Они полны злобной ненависти, они бродят туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты. Оскалом ехидного злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой — монотонно скулит, когда его борода цепляется за пучки бурьяна. Невнятные слова срываются с их пересохших губ. Они кружат, кружат по полю, продираются сквозь сорняки, снуют туда и сюда в плевелах, цепляясь длинными хвостами за гремящие жестянки. Они движутся медленными кругами, все ближе и ближе к нему. Невнятные слова срываются с их губ; длинные, со свистом рассекающие воздух хвосты облеплены вонючим дерьмом, страшные лица тянутся кверху...

— Спасите!

Он в ужасе отбросил одеяло, высвободил лицо и шею. Вот его преисподняя, Бог дал ему увидеть ад, уготованный его грехам, — гнусный, вонючий, скотский ад развратных, похотливых, козлоподобных бесов. Его, его ад!

Он соскочил с кровати: зловоние хлынуло ему в горло, сводя и выворачивая внутренности. Воздуха! Воздуха небес! Шатаясь, он добрался до окна, почти теряя сознание от тошноты. Около умывальника его схватила судорога, и в беспомощности, сжимая руками холодный лоб, он скорчился в приступе мучительной рвоты.

Когда приступ миновал, он с трудом добрался до окна, поднял раму и сел в углу ниши, облокотившись на подоконник. Дождь перестал. Ключки тумана плыли от одной светящейся точки к другой, и казалось, что город

прядет вокруг себя мягкий кокон желтоватой мглы. Небеса были тихи и слабо сияли, воздух был сладостен для дыхания, как в лесной чаще, омытой дождем, и среди тишины, мерцающих огней и мирного благоухания он дал обет своему сердцу.

Он молился:

«Однажды он хотел сойти на землю в небесной славе, но мы согрешили. И он не мог явиться нам, иначе как скрыв свое величие и сияние, ибо он Бог. И он явил себя не в славе могущества, но в слабости, и тебя, творение рук своих, послал к нам, наделив тебя красотой смирения и сиянием, посильным нашему зрению. И теперь самый лик твой и тело твое, о мати преблагая, говорит нам о предвечном не подобием земной красоты, опасной для взора, но подобием утренней звезды, являющейся твоим знамением. Ты, как она, ясна, мелодична, дышишь чистотой небес и разливаешь мир. О предвестница дня! О светоч паломника! Наставляй нас и впредь, как наставляла прежде. Во мраке ночи, в ненастной пустыне веди нас к спасителю нашему Иисусу Христу, в приют и убежище наше!»

Глаза его застилала слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.

Когда совсем стемнело, он вышел из дому. Первое же прикосновение сырого темного воздуха и стук двери, захлопнувшейся за ним, снова смутили его совесть, успокоенную молитвой и слезами. Покайся! Покайся! Недостаточно успокоить совесть слезой и молитвою. Он должен пасть на колени перед служителем святого духа и поведать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как входная дверь, открываясь, заденет за порог, чтобы впустить его, прежде чем он снова увидит стол в кухне, накрытый для ужина, он падет на колени и исповедуется. Ведь это так просто.

Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. Сколько плит на тротуаре этой улицы, сколько улиц в этом городе, сколько городов в мире! А вечности нет конца. И он пребывает в смертном грехе. Согрешить только раз — все равно смертный грех. Это может случиться в одно мгновение. Но как же так, сразу? Одним взглядом, одним помыслом. Глаза видят прежде, чем ты пожелаешь увидеть. И потом миг — и случилось. Но разве эта часть тела что-то разумеет?

Змея — коварнейшая из всех тварей земных. В одно мгновение она понимает, чего ей хочется, и потом греховно продлевает свою похоть мгновение за мгновением. Чувствует, понимает и вожделеет. Как это ужасно! Кто создал ее такой, эту скотскую часть тела, способную понимать скотски и скотски вожделеть? Что это: он сам или нечто нечеловеческое, движимое каким-то низменным духом? Его душа содрогнулась, когда он представил себе эту вялую змеевидную жизнь, которая питается нежнейшими соками его существа и раздувается, наливаясь похотью. О, зачем это так? Зачем?

В смиренном унижении и в страхе перед Богом, который создал все живое и все сущее, он весь сжался перед нарастающим мраком этой мысли. Безумие! Кто мог подсказать ему такую мысль? И весь сжавшись в темноте, униженный, он безмолвно молился своему ангелу-хранителю, чтобы тот прогнал мечом своим демона, нашептывающего ему соблазны.

Шепот стих, и тогда он ясно понял, что его собственная душа грешила умышленно и словом, и делом, и помышлением, а орудием греха было его тело. Покайся! Покайся в каждом грехе. Как сможет он рассказать духовнику то, что сделал? Но он должен, должен. Как объяснить ему, не сгорев со стыда? А как мог он делать это без стыда? Безумец! Покайся! А может быть, и вправду он снова будет свободен и безгрешен? Может быть, священник облегчит его душу! О Боже милосердный!

Он шел все дальше и дальше по тускло освещенным улицам, боясь остановиться хоть на секунду, боясь, как бы не показалось, что он стремится избежать того, что его ждет, и еще больше страхась приблизиться к тому, к чему его неудержимо влекло. Как прекрасна должна быть душа, исполненная благодати, когда Господь взирает на нее с любовью!

Неряшливые продавщицы со своими корзинами сидели на тумбах. Их сальные волосы прядями свисали на лоб. Такие неприглядные, сгорбившиеся, сидят среди грязи. Но души их открыты Господу, и, если их души исполнены благодати, они сияют светом и Бог взирает на них с любовью.

Холод унижения дохнул на его душу. Как же низко он пал, если чувствует, что души этих девушек угодней Богу, нежели его душа! Ветер пронесся над ним к ми-

риадам других душ, которым милость Божия сияла то сильнее, то слабей, подобно звездам, свет которых то ярче, то бледнее. Мерцающие души уплывают прочь, они то ярче, то бледнее и угасают в пронсящемся вихре. Одна погибла: крошечная душа, его душа. Она вспыхнула и погасла, забытая, погибшая. Конец: мрак, холод, пустота, ничто.

Ощущение действительности медленно возвращалось к нему из необъятности вечного времени — неозаренного, неосознанного, непрожитого. Его по-прежнему окружала убогая жизнь: привычные возгласы, газовые рожки лавок, запах рыбы, и спиртного, и мокрых опилок, прохожие — мужчины и женщины. Старуха с керосиновым бидоном в руке собиралась переходить улицу. Он нагнулся к ней и спросил, есть ли здесь поблизости церковь.

— Церковь, сэр? Да, на Черч-стрит.

— Черч-стрит?

Она взяла бидон в другую руку и указала ему дорогу. И когда она протянула из-под бахромы платка свою сморщенную, воняющую керосином руку, он нагнулся к ней ближе, испытывая грустное облегчение от ее голоса.

— Благодарю вас.

— Пожалуйста, сэр.

Свечи в главном приделе перед алтарем были уже потушены, но благовоние ладана еще плыло в темном притворе. Бородатые, с набожными лицами прислужники уносили балдахин через боковую дверь, а ризничий направлял их неторопливыми жестами и советами. Несколько усердных прихожан еще молились в боковом приделе, стоя на коленях около скамеек перед исповедальной. Он робко вошел и тоже опустился на колени у последней скамейки в глубине прохода, преисполненный благодарности за мир, и тишину, и благоухающий сумрак церкви. Плита, на которой он стоял на коленях, была узкая и истертая, а те, кто молились, коленопреклоненные, рядом, были смиренными последователями Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал простым плотником — пилил, стругал доски, и первые, кому он проповедовал царствие Божие, были бедные рыбаки, и всех он учил смирению и кротости сердца.

Он опустил голову на руки, умоляя сердце свое быть смиренным и кротким, дабы и он мог стать таким же,

как те, что стояли на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва была угодна Господу так же, как их молитва. Он молился с ними рядом, но это было тяжело. Его душа смердела во грехе, и он не смел молить о прощении с простой сердечной верой тех, кого Христос неисповедимыми путями Божиими первыми призвал к себе, — плотников, рыбаков, простых бедных людей, которые занимались скромным ремеслом: распиливали деревья на доски, терпеливо чинили сети.

Высокая фигура сошла по ступенькам придела, и ждущие у исповедальни зашевелились. Подняв глаза, он успел заметить длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошел в исповедальню и скрылся. Двое поднялись и прошли туда с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и слабый шепот нарушил тишину.

Кровь зашумела у него в венах, зашумела, как греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Вспыхивают языки пламени, пепел покрывает дома. Спящие пробуждаются, вскакивают, задыхаясь в раскаленном воздухе.

Ставенка отодвинулась. Исповедовавшийся вышел. Открылась дальняя ставенка. Женщина спокойно и быстро прошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедовавшийся. Снова раздался тихий шепот.

Он еще может уйти. Он может подняться, сделать один шаг и тихо выйти и потом стремглав побежать по темным улицам. Он все еще может спастись от позора. Пусть бы это было какое угодно страшное преступление, только не этот грех. Даже убийство! Огненные язычки падают, обжигают его со всех сторон — постыдные мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд покрыл его с ног до головы, как тонкий раскаленный пепел. Выговорить это, назвать словами! Его измученная душа задохнулась бы, умерла.

Ставенка опять задвинулась. Кто-то вышел из исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошел туда, откуда вышел второй. Теперь оттуда туманными облачками набегал мягкий лепечущий звук. Это исповедуется женщина. Мягкие, шепчущие облачка, мягкая шепчущая дымка, шепчущая и исчезающая.

Припав к деревянной скамье, он уничиженно бил себя кулаком в грудь. Он соединится с людьми и с

Богом. Он возлюбит своего ближнего. Он возлюбит Бога, который создал и любил его. Он падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. Господь взглянет на него и на них и всех их возлюбит.

Нетрудно быть добрым. Бремя Божие сладостно и легко. Лучше никогда не грешить, всегда оставаться младенцем, потому что Бог любит детей и допускает их к себе. Грешить так тяжело и страшно. Но Господь милосерден к бедным грешникам, которые чистосердечно раскаиваются. Как это верно! Вот смысл истинного милосердия!

Ставенка внезапно задвинулась. Женщина вышла. Теперь настала его очередь. Он с трепетом поднялся и, как во сне, ничего не видя, прошел в исповедальню.

Его час пришел. Он опустил на колени в тихом сумраке и поднял глаза на белое распятие, висевшее перед ним. Господь увидит, что он раскаивается. Он расскажет обо всех своих грехах. Исповедь будет долгой-долгой. Все в церкви узнают, какой он грешник. Пусть знают — раз это правда. Но Бог обещал простить его, если он раскается, а он кается. Он стиснул руки и простер их к белому распятию. Он страстно молился: глаза его затуманились, губы дрожали, по телу пробежала дрожь; в отчаянии он мотал головой из стороны в сторону, произнося горячие слова молитвы.

— Каюсь, каюсь, о, каюсь!

Ставенка отворилась, и его сердце замерло. У решетки вполоборота к нему, опершись на руку, сидел старый священник. Он перекрестился и попросил духовника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, в страхе прочел «Confiteor»¹. На словах «мой самый тяжкий грех» он остановился, у него перехватило дыхание.

— Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?

— Очень давно, отец мой.

— Месяц тому назад, сын мой?

— Больше, отец мой.

— Три месяца, сын мой?

— Больше, отец мой.

— Шесть месяцев, сын мой?

— Восемь месяцев, отец мой.

¹ Покаянная молитва перед исповедью.

Вот оно — началось. Священник спросил:

— Какие грехи ты совершил за это время?

Он начал перечислять: пропускал обедни, не читал молитвы, лгал.

— Что еще, сын мой?

Грехи злобы, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.

— Что еще, сын мой?

Спасения нет. Он прошептал:

— Я... совершил грех блуда, отец мой.

Священник не повернул головы.

— С самим собой, сын мой?

— И... с другими.

— С женщинами, сын мой?

— Да, отец мой.

— С замужними женщинами, сын мой?

Он не знает. Грехи стекали с его губ один за другим, стекали постыдными каплями с его гниющей и кровоточащей, как язва, души, они сочились мутной порочной струей. Он выдавил из себя последние грехи — постыдные, мерзкие. Больше рассказывать было нечего. Он поник головой в изнеможении.

Священник молчал. Потом спросил:

— Сколько тебе лет, сын мой?

— Шестнадцать, отец мой.

Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом подпер лоб ладонью, прислонился к решетке и, по-прежнему не глядя на него, медленно заговорил. Голос у него был усталый и старческий.

— Ты еще очень молод, сын мой,— сказал он,— и я умоляю тебя, откажись от этого греха. Он убивает тело и убивает душу. Он — причина всяческих преступлений и несчастий. Откажись от него, дитя мое, во имя Господа Бога. Это недостойная и низкая склонность. Ты не знаешь, куда она тебя заведет и как обратится против тебя. Пока этот грех владеет тобой, бедный сын мой, милость Божия оставила тебя. Молись нашей святой матери Марии. Она поможет тебе, сын мой. Молись нашей преблагой деве, когда тебя обуревают греховные помыслы. Ты ведь будешь молиться, сын мой? Ты раскаиваешься в этих грехах, я верю, что раскаиваешься. И ты дашь обет Господу Богу, что его святою милостью никогда больше не прогневишь его этим безобразным

мерзким грехом. Ты дашь этот торжественный обет Богу, не правда ли, сын мой?

— Да, отец мой.

Усталый старческий голос был подобен живительно-му дождю для его трепещущего иссохшего сердца. Как отраднo и как печально!

— Дай обет, сын мой. Тебя совратил дьявол. Гони его обратно в преисподнюю, когда он будет искушать тебя, гони этого нечистого духа, ненавидящего нашего создателя. Не оскверняй тело свое. Дай обет Богу, что ты отречаешься от этого греха, от этого мерзкого, презренного греха.

Ослепший от слез и света милосердия Божия, он преклонил голову, услышав торжественные слова отпущения грехов и увидев благословляющую его руку священника.

— Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.

Он опустился на колени в углу темного придела и стал читать покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его умиротворенного сердца, как струящееся благоухание белой розы.

Грязные улицы смотрели весело. Он шел и чувствовал, как невидимая благодать окутывает и наполняет легкостью все его тело. Он пересилил себя, покаялся, и Господь простил его. Душа его снова сделалась чистой и святой, святой и радостной.

Как было бы прекрасно умереть теперь, если на то будет воля Господа. Прекрасно жить в благодати, в мире с ближними, в добродетели и смирении.

Он сидел перед очагом в кухне, не решаясь от избытка чувств проронить ни слова. До этой минуты он не знал, какой прекрасной и благостной может быть жизнь. Лист зеленой бумаги, заколотый булавками вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете стояла тарелка с сосисками и запеканкой, на полке были яйца. Это к утреннему завтраку после причастия в церкви колледжа. Запеканка и яйца, сосиски и чай. Как проста и прекрасна жизнь. И вся жизнь впереди.

В забытии он лег и уснул. В забытии он поднялся и увидел, что уже утро. Забывшись, как во сне, он шагал тихим утром к колледжу. Все мальчики уже были в церкви и стояли на коленях, каждый на своем месте. Он стал среди них, счастливый и смущенный. Алтарь был

усыпан благоухающими белыми цветами, и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и спокойны, как его душа.

Он стоял на коленях перед алтарем среди товарищей, а на престольная пелена колыхалась над их руками, образовавшими живую поддержку. Руки его дрожали, и душа его дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей святых даров переходил от причастника к причастнику.

— *Corpus Domini nostri*¹.

Наяву ли это? Он стоит здесь на коленях — безгрешный, робкий; сейчас он почувствует на языке облатку, и Бог войдет в его очищенное тело.

— *In vitam eternam. Amen*².

Новая жизнь! Жизнь благодати, целомудрия и счастья! И все это на самом деле! Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.

— *Corpus Domini nostri*.

Чаша со святыми дарами приблизилась к нему.

¹ Тело Господа нашего (*лат.*).

² В жизнь вечную. Аминь (*лат.*).

Глава IV

Воскресенье было посвящено таинству пресвятой троицы, понедельник — святому духу, вторник — ангелам-хранителям, среда — святому Иосифу, четверг — пресвятому таинству причастия, пятница — страстям Господним, суббота — пресвятой деве Марии.

Каждое утро он снова проникался благодатью святых или таинств. Его день начинался ранней мессой и самоотверженным принесением в жертву каждого своего помысла и каждого деяния воле верховного владыки. Холодный утренний воздух подстегивал его благочестие, и часто, стоя на коленях в боковом приделе среди редких прихожан и следя по своему переложенному закладками молитвеннику за шепотом священника, он поднимал глаза на облаченную фигуру, возвышавшуюся в полумраке между двух свечей — символов Ветхого и Нового Завета, — и представлял себя на богослужении в катакомбах.

Его повседневная жизнь складывалась из различных подвигов благочестия. Пламенным усердием и молитвами он щедро выкупал для душ в чистилище столетия, складывающиеся из дней, месяцев и лет. Но духовное ликование, которое он испытывал, преодолевая с легкостью необъятные сроки кар Господних, все же полностью не вознаграждало его молитвенного рвения, потому что он не знал, насколько такое заступничество сокращает муки душ в чистилище, огонь которого отличается от адского только тем, что не вечен. И мучимый страхом, что от его покаянных молитв не больше пользы, чем от капли воды, он с каждым днем все усиливал свое религиозное рвение.

Каждая часть дня, разделенного в соответствии с тем, что он теперь считал долгом своего земного существования, была посвящена духовному преобразению. Его душа будто приближалась к вечности; каждая мысль, слово, поступок, каждое внутреннее движение, казалось, были приняты на небесах, и временами это ощущение мгновенного отклика было так живо, что ему казалось, будто его душа во время молитвы нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как стоимость покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а легким дымком ладана или хрупким цветком.

И молитвы, которые он неустанно твердил,— в кармане брюк он всегда носил четки и без усталости перебирал их, бродя по улицам,— превращались в венчики цветов такой неземной нежности, что цветы эти казались ему столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безмянны. В каждой из трех ежедневно возносимых молитв он просил, чтобы душа его укрепилась в трех духовных добродетелях: в вере в отца, сотворившего его, в надежде на сына, искупившего его грехи, и в любви к святому духу, осенившему его; и эту трижды тройную молитву он возносил к трем ипостасям через святую деву Марию, прославляя радостные, скорбные и славные таинства.

В каждый из семи дней недели он молился еще и о том, чтобы один из семи даров святого духа снизошел на его душу и изгонял день за днем семь смертных грехов, осквернявших ее в прошлом. О ниспослании каждого дара он молился в установленный день, уповая, что дар этот снизойдет на него, хотя иногда ему казалось странным, что мудрость, разумение и знание считаются столь различными по своей природе и о каждом из этих даров полагается молиться особо. Но он верил, что постигнет и эту тайну на какой-то высшей ступени духовного совершенствования, когда его грешная душа отрешится от слабости и ее просветит третья ипостась пресвятой троицы. Он верил в это превыше всего, проникшись трепетом перед божественной непроницаемостью и безмолвием, в коих пребывает незримый дух-утешитель Параклет¹, чьи символы — голубь и вихрь и грех, против которого не прощается; вечная таинственная суть,

¹ Одно из имен святого духа.

которой, как Богу, священники раз в год служат мессу в алых, точно языки пламени, облачениях.

Природа и единосущность трех ипостасей троицы, которые туманно излагались в читаемых им богословских сочинениях, отец, вечно созерцающий, как в зеркале, свое божественное совершенство и присно рождающий вечного сына, святой дух, извечно исходящий от отца и сына,— были в силу их высокой непостижимости более доступны его пониманию, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как она явилась в мир, до того, как существовал сам мир.

Он часто слышал торжественно возглашаемые с сцены или с амвона церкви слова, обозначающие страсти — любовь и ненависть,— читал их торжественные описания в книгах и дивился, почему в его душе не было им места и почему ему было трудно произносить их названия. Им часто овладевал мгновенный гнев, но он никогда не превращался в постоянную страсть, и ему не стоило никакого труда освободиться от него, словно самое тело его с легкостью сбрасывало какую-то внешнюю оболочку или шелуху. Минутами он чувствовал, как в его существо проникает нечто темное, неуловимое, бормочущее, и весь вспыхивал и распался греховной похотью, но и она быстро соскальзывала с него, а сознание оставалось ясным и незамутненным. И казалось, что только для такой любви и такой ненависти и было место в его душе.

Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо сам Бог извечно любил его душу божественной любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, мир предстал перед ним огромным, стройным выражением божественного могущества и любви. Жизнь становилась божественным даром, и за каждый радостный миг ее — даже за созерцание листочка на ветке дерева — душа его должна была славить и благодарить творца. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него не иначе как теорема божественного могущества, любви и вездесущности. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание божественного смысла во всей природе, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Но, вероятно, его жизнь была частью божественного предначертания, и не ему,

согрешившему так мерзко и тяжело, вопрошать о смысле. Смиренная, униженная сознанием единого, вечного, вездесущего, совершенного бытия, душа его снова взваливала на себя бремя обетов, месс, молитв, причащения святых тайн и самоистязаний; и только теперь, задумавшись над великой тайной любви, он ощутил в себе теплое движение, словно в нем зарождалась новая жизнь или новая добродетель. Молитвенная поза благоговейного восторга: воздетые и разверстые руки, отверстые уста, затуманенные глаза стали для него образом молящейся души, смиренной и замирающей перед своим создателем.

Но, зная об опасностях духовной экзальтации, он не позволял себе отступить даже от самого незначительного канона, стремился непрерывными самоистязаниями искупить греховное прошлое, а не достигнуть чреватой опасностью лжесвятости. Каждое из пяти чувств он подвергал суровым испытаниям. Он умерщвлял зрение; заставлял себя ходить по улицам с опущенными глазами, не смотря ни направо, ни налево и не оглядываясь. Он избегал встречаться взглядом со взглядами женщин. А читая, поднимал глаза, иногда внезапно, мгновенным усилием воли отрываясь на середине неоконченной фразы, и захлопывал книгу. Он умерщвлял слух; не следил за своим ломающимся голосом, никогда не позволял себе петь или свистеть и не делал попыток избежать звуков, причинявших ему болезненное раздражение, например, скрежета ножа о точило, скрипа совка, сгребющего золу, или стука палки, когда выколачивают ковер. Умерщвлять чувство обоняния было труднее, так как он не испытывал инстинктивного отвращения к дурным запахам: будь то уличные, вроде запахов навоза или дегтя, или запахи его собственного тела, дававшие ему повод для сравнений и разных любопытных экспериментов. В конце концов он установил, что его обонянию претит только вонь гнилой рыбы, напоминающая запах застоявшейся мочи, и пользовался каждым случаем, чтобы заставлять себя переносить эту вонь. Он умерщвлял чувство вкуса: принуждал себя к воздержанию, неуклонно соблюдал все церковные посты, а во время еды старался не думать о пище. Но особенную изобретательность он проявил, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положение тела в постели, сидел в самых неудобных позах, терпеливо

переносил зуд и боль, старался держаться подальше от тепла, всю мессу, за исключением чтения Евангелия, простаивал на коленях, не вытирал лица и шеи после мытья, чтобы было чувствительней прикосновение холодного воздуха. Если в руках у него не было четок, он плотно, как бегун, прижимал их к бокам, а не держал их в карманах и не закладывал за спину.

Больше он не испытывал соблазна впасть в смертный грех. Но его удивляло, что, несмотря на строжайшую самодисциплину, он так легко оказывался жертвой ребяческих слабостей. Какой толк от постов и молитв, если трудно не раздражаться, когда чихает мать или когда ему мешают во время молитвы. И нужно было громадное усилие воли, чтобы обуздать в себе инстинктивное желание дать выход этому раздражению. Он часто наблюдал приступы такой мелочной раздражительности у своих учителей и, вспоминая их дергающиеся губы, плотно стиснутые зубы, пылающие щеки, сравнивал себя с ними, и, несмотря на все свое стремление исправиться, падал духом. Слить свою жизнь с потоком других жизней было для него труднее всякого поста или молитвы, и все его попытки неизменно кончались неудачей; это в конце концов породило духовное оскудение, а вслед за ним пришли колебания и сомнения. Душа его пребывала в унынии; казалось, самые таинства обратились в иссякшие источники. Исповедь стала только способом освобождения от мучивших его совесть грехов. Причастие не приносило теперь тех блаженных минут, когда душа словно растворялась в девственном восторге, как было когда-то после приобщения святых тайн. В церковь он брал с собой старый, истрепанный молитвенник с потускневшими буквами и пожелтевшими, затрепанными страницами, составленный святым Альфонсом Лигурийским¹. Потускневший мир пламенной любви и девственного восторга оживал для его души на этих страницах, где образы Песни песней переплетались с молитвами причастника. Неслышный голос, казалось, ласкал и славословил его душу, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь с вершин Амана от гор барсовых. И казалось, что душа, отдавшись его власти, отвечала таким

¹ Альфонс Лигурийский (1696—1789) — миссионер, основатель конгрегации редемптористов (искупителей).

же неслышным голосом: «*Inter ubera mea commorabitur*»¹.

Этот образ отдающейся души стал для него опасным, притягательным с тех самых пор, как настойчивые голоса плоти вновь зашептали во время молитв и размышлений. Он весь проникался чувством собственного могущества от сознания, что одной уступкой, одним помыслом может разрушить все, чего достиг. Ему казалось, будто медленный прилив подкрадывается к его обнаженным ступням и первая слабая, бесшумная, робкая волна вот-вот коснется его разгоряченной кожи. И чуть ли не в самый миг касания, на грани греховного падения, он вдруг оказывался вдали от волны, на суше, спасенный внезапным усилием воли или внезапным молитвенным порывом. И, наблюдая за отдаленной серебряной полоской прилива, которая снова начинала медленно подкрадываться к его ногам, он ощущал трепет власти, и удовлетворение охватывало его душу при мысли, что он не уступил, не сдался.

Постоянная борьба с соблазнами заставляла его беспокойно спрашивать себя, не угасает ли в нем драгоценный дар благодати. Уверенность в собственной стойкости померкла, и на смену ей явился неясный страх, что душа его незаметно пала. Только огромным усилием воли ему удавалось теперь возвращать свою былую веру в то, что он все еще пребывает в состоянии благодати; он заставлял себя при каждом искушении молиться Богу, заставлял верить, что благодать, о которой он просил, не могла быть не дарована ему, ибо Господь должен был ее даровать. Сама частота и сила искушений наглядно подтверждала ему истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Частота и сила искушений была для него доказательством твердыни его души, которую неистово пытался сокрушить сатана.

Часто на исповеди духовник, выслушав его колебания и сомнения (минутная рассеянность во время молитвы, мелочная раздражительность и своеволие, проявившиеся в речи или поступках), прежде чем дать ему отпущение, просил назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он каялся в нем снова. Со смирением и стыдом он понимал, что как бы свято ни жил, каких бы совершенств и добродетелей ни достиг, нико-

¹ «У груди моих пребывает» — цитата из Песни песней (лат.).

гда ему не освободиться от этого греха полностью. Беспокойное чувство вины никогда не покинет его; он исповедуется, раскается и будет прощен, снова исповедуется, снова раскается и снова будет прощен — но все тщетно. Может быть, та первая, поспешная исповедь, вырванная у него страхом перед преисподней, не была принята? Может быть, поглощенный всецело мыслью о неизбежной каре он недостаточно искренне сокрушался о своем грехе? Но старания исправить свою жизнь были для него лучшим свидетельством правильности его исповеди, свидетельством того, что он искренне сокрушался о содеянном.

«Ведь я же исправил свою жизнь», — повторял он про себя.

* * *

Ректор стоял в нише окна, спиной к свету, прислонившись к коричневой шторе. Разговаривая и улыбаясь, он медленно разматывал и снова заплетал шнурок другой шторы. Стивен стоял перед ним, следя за угасанием долгого летнего дня над крышами домов и за медленными, плавными движениями пальцев священника. Лицо священника было в тени, но дневной свет, угасавший за его спиной, падал на его глубоко вдавленные виски и неровности черепа. Стивен прислушивался к интонациям голоса священника, который спокойно и внушительно рассуждал о разных событиях в жизни колледжа: о только что окончившихся каникулах, об отделениях ордена за границей, о смене учителей. Спокойный и внушительный голос плавно вел беседу, а в паузах Стивен считал своим долгом оживлять ее почтительными вопросами. Он знал: все это лишь прелюдия, и ждал, что за ней последует. Получив приказ явиться к ректору, он терялся в догадках, что означает этот вызов, и все время, пока сидел в приемной в напряженном ожидании, взгляд его блуждал по стенам, от одной благонравной картины к другой, а мысль — от одной догадки к другой, пока ему вдруг не стало ясно, зачем его позвали. Не успел он пожелать, чтобы какая-нибудь непредвиденная причина помешала ректору прийти, как услышал звук поворачивающейся дверной ручки и шелест сутаны.

Ректор заговорил о доминиканском и францисканском орденах и о дружбе святого Фомы со святым Бонавентурой. Облачение капуцинов казалось ему несколько...

Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку священника, но, не желая высказывать никакого суждения по этому поводу, он только чуть-чуть шевельнул губами, как бы недоумевая.

— Я слышал,— продолжал ректор,— что и сами капуцины уже поговаривают об отмене этого облачения по примеру других францисканцев.

— Но в монастырях его, наверно, сохраняют? — сказал Стивен.

— О, да, конечно,— сказал ректор,— в монастырях оно вполне уместно, но для улицы... право, лучше было бы его отменить, как вы думаете?

— Да, оно неудобное.

— Вот именно, неудобное. Представьте себе, когда я был в Бельгии, то видел, что капуцины в любую погоду разъезжают на велосипедах, обмотав полы этих своих балахонов вокруг колен. Ну, не смешно ли? *Les jupes*¹ — так их называют в Бельгии.

Гласная прозвучала так, что нельзя было понять слово.

— Как вы сказали?

— *Les jupes*.

— А-а.

Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которая была не видна ему на лице священника, так как оно оставалось в тени, и лишь подобие, призрак этой улыбки быстро мелькнул в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно смотрел в окно на меркнувшее небо, радуясь вечерней прохладе и желтоватой мгле заката, скрывавшей слабый румянец на его щеке.

Названия предметов женского туалета или тех тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывалось у него с воспоминанием о каком-то неуловимом греховном запахе. Ребенком он воображал, что возжи — это тонкие шелковые ленты, и был потрясен, когда в Стэдбруке впервые коснулся сальной, грубой ко-

¹ Юбки (франц.).

жи лошадиной упряжи. Точно так же он был потрясен, когда в первый раз почувствовал под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка, Происходило это потому, что из всего прочитанного он запоминал только то, что отвечало его собственному состоянию, что было созвучно с ним, и не мог представить себе душу или тело женщины, отдающейся любви, не воображая ее нежной, мягкоречивой, в тонких, как лепестки розы, тканях.

Но фраза в устах священника была не случайна; он знал, что священнику не подобает шутить на такие темы. Фраза была произнесена шутливо, но неспроста, и он чувствовал, как скрытые в тени глаза пытливо следят за его лицом. До сих пор он не придавал значения тому, что ему приходилось слышать или читать о коварстве иезуитов. Он всегда считал своих учителей, даже если они и не нравились ему, серьезными, умными наставниками, здоровыми телом и духом. По утрам они обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все время, что ему пришлось прожить среди них в Клонгоузе и Бельведере, он получил только два удара линейкой по рукам, и, хотя как раз эти удары были незаслуженны, он знал, что многое сходило ему безнаказанно. За все это время он никогда не слышал от своих учителей ни одного пустого слова. Они открыли ему истину христианского учения, призывали к праведной жизни, а когда он впал в тяжкий грех, они же помогли ему вернуться к благодати. В их присутствии он всегда чувствовал неуверенность — и в Клонгоузе, потому что был недотепой, и в Бельведере, из-за своего двусмысленного положения. Это постоянное чувство неуверенности сохранилось у него до последнего года жизни в колледже. Он ни разу не ослушался их, не поддался соблазнявшим его озорным товарищам, не изменял своей привычке к спокойному повиновению, и если когда-нибудь и сомневался в правильности суждений учителей, то никогда не делал этого открыто. С годами кое-что в их оценках стало казаться ему несколько наивным. И это вызывало в нем чувство сожаления и грусти, как будто он медленно расставался с привычным миром и слушал его речи в последний раз. Как-то несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле церкви, и он слышал, как священник сказал:

— Я думаю, лорд Маколей¹ за всю свою жизнь не совершил ни одного смертного греха, то есть ни одного сознательного смертного греха.

Потом кто-то из мальчиков спросил священника, считает ли он Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что после того, как Виктор Гюго отвернулся от церкви, он стал писать много хуже, нежели когда он был католиком.

— Но,— добавил священник,— многие известные французские критики утверждают, что даже Виктор Гюго, несомненно великий писатель, не обладал таким ясным стилем, как Луи Вэйо².

Слабый румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намека священника, погас, и глаза его были по-прежнему устремлены на бледное небо. Но какое-то беспокойное сомнение бродило в его сознании. Смутные воспоминания мелькали в памяти: он узнавал сцены и действующих лиц, но чувствовал, как что-то важное упорно ускользает от него. Вот он ходит около спортивной площадки в Клонгоусе, следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а иезуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в Клонгоусе, отдавались эхом в глубинах его памяти.

Он пытался уловить это отдаленное эхо в тишине приемной и вдруг очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном:

— Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об одном очень важном деле.

— Да, сэр.

— Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание?

Стивен разжал губы, чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответа и затем добавил:

— Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души своей желание вступить в орден. Подумай.

— Я думал об этом,— сказал Стивен.

¹ Томас Бабингтон Маколей (1800—1859) — английский историк и государственный деятель.

² Луи Вэйо (1813—1883) — французский консервативный писатель, ярый сторонник папства.

Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, задумчиво оперся на них подбородком, погружившись в размышления.

— В таком колледже, как наш,— сказал он наконец,— бывают иногда один или, может быть, два-три ученика, которых Господь Бог призывает к служению вере. Такой ученик выделяется среди своих сверстников благочестием и тем, что он служит достойным примером всем остальным. Он пользуется уважением товарищей, члены святого братства выбирают его своим префектом. И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких учеников, ты — префект нашего братства пресвятой девы. И может быть, ты и есть тот юноша, коего Господь призывает к себе.

Явная гордость, усиленная внушительным тоном священника, заставила учащенно забиться сердце Стивена.

— Удостоиться такого избрания, Стивен,— продолжал священник,— величайшая милость, которую всемогущий Бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на нашей земле не обладает властью служителя Божьего. Ни один ангел, ни один архангел, ни один святой и даже сама пресвятая дева не обладают властью служителя Божьего; властью владеть ключами от врат царствия Божьего, властью связывать и разрешать грехи, властью заклинания, властью изгонять из созданий Божьих обуревающих их нечистых духов, властью, полномочием призывать великого Господа нашего сходить с небес и претворяться на престоле в хлеб и вино. Великая власть, Стивен!

Краска снова залила щеки Стивена, когда он услышал в этом гордом обращении отклик собственных гордых мечтаний. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно обладающим великой властью, перед которой благоговеют ангелы и святые. В глубине души он тайно мечтал об этом. Он видел себя молодым, исполненным скромного достоинства иереем. Вот он быстрыми шагами входит в исповедальную, поднимается по ступенькам алтаря, кадит, преклоняет колена, совершает непостижимые действия священнослужения, которые манили его своим подобием действительности и в то же время своей отрешенностью от нее. В той призрачной жизни, которой он жил в своих мечтаниях, он присваивал себе голос и жесты, подмеченные

им у того или другого священника. Он преклонял колена, слегка нагнувшись, как вот этот, он покачивал кадилом плавно, подобно другому, его риза вот так, как у третьего, распаивалась, когда он, благословив паству, снова поворачивался к алтарю. Но в этих воображаемых, призрачных сценах ему больше нравилось играть второстепенную роль. Он отстранялся от сана священника, потому что ему было неприятно, что вся эта таинственная пышность завершается его собственной особой, и потому что обряд предписывал ему слишком ясные и четкие функции. Он мечтал о более скромном церковном сане: вот, забытый всеми, стоит он на мессе поодаль от алтаря в облачении субдиакона, воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискос¹; а по совершении таинства святых даров, в шитом золотом диаконском стихаре, на возвышении, одной ступенькой ниже священника, сложив руки и повернувшись лицом к молящимся, провозглашает нараспев: «*Ite, missa est*»². Если когда-нибудь он и видел себя в роли священника, то только как на картинках в детском молитвеннике: в церкви без прихожан, с одним лишь ангелом у жертвенника, перед простым и строгим алтарем с прислуживающим отроком, почти таким же юным, как он сам. Только при непостижимых таинствах пресуществления и приобщения святых тайн воля его тянулась навстречу жизни. Отсутствие установленного ритуала вынуждало его к бездействию; и он молчанием подавлял свой гнев или гордость и только принимал поцелуй, который жаждал дать сам.

Сейчас в почтительном молчании он внимал словам священника и за этими словами слышал еще более отчетливый голос, который уговаривал его приблизиться, предлагал ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает, в чем грех Симона Волхва³ и что такое хула на святого духа, которой нет прощения. Он узнает темные тайны, скрытые от других, зачатых и рожденных во гневе! Он узнает грехи, греховные желания, греховные помыслы и поступки других людей: в полумраке церк-

¹ Один из главных священных сосудов, употребляемых во время литургии.

² «Идите! Месса окончена» (лат.) — последние слова мессы,

³ Грех Симона Волхва заключался в том, что он хотел за деньги приобрести апостольскую власть.

ви, в исповедальне губы женщин и девушек будут на-шептывать их ему на ухо. И душа его, таинственным образом обретя неприкосновенность, даруемую рукоположением в сан, снова явится незапятнанной перед светлым престолом Божиим. Никакой грех не пристанет к его рукам, которыми он вознесет и преломит святой хлеб причастия; никакой грех не пристанет к его молящимся устам, дабы случайно, не рассуждая о теле Господнем, он не вкусил и не выпил его на осуждение себе. Он сохранит тайное знание и тайную власть, оставаясь безгрешным, как невинный младенец, и до конца дней своих пребудет служителем Божиим, согласно чину Мелхиседека¹.

— Я завтра отслужу мессу,— сказал ректор,— чтобы всемогущий Господь открыл тебе свою святую волю, и ты, Стивен, помолись своему заступнику, святому первомученику, великому угоднику Божию, дабы Господь просветил твой разум. Но ты должен быть твердо уверен, Стивен, что у тебя есть призвание, ибо будет ужасно, если ты обнаружишь потом, что его не было. Помни: став священником, ты остаешься им на всю жизнь. Из катехизиса ты знаешь, что таинство вступления в духовный сан — одно из тех таинств, что совершаются только раз, ибо оно оставляет в душе неизгладимый духовный след. Ты должен все это взвесить теперь, а не потом. Это важный вопрос, Стивен, ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Мы вместе помолимся Господу.

Он отворил тяжелую входную дверь и протянул Стивену руку, словно уже считал его своим сотоварищем по духовной жизни. Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и почувствовал теплое прикосновение мягкого вечернего воздуха. Около Финлейтерс-Черч четверо молодых людей шагали, взявшись за руки, покачивая головами в такт веселенькому мотиву, который один из них наигрывал на концертино. Первые звуки музыки, как это всегда бывало с ним, стремительно понеслись над причудливыми строениями его мыслей, сокрушив их безболезненно и бесшумно, подобно тому, как внезапно набежавшая волна сокрушает детские песочные башенки. Улыбнувшись пошленькому мотиву,

¹ По Библии Мелхиседек, царь Салимский,— «священник Бога Всевышнего».

он поднял глаза на лицо священника и, увидев на нем безрадостное отражение угасающего дня, медленно отнял свою руку, которая только что робко признала их духовный союз.

Спускаясь по лестнице, он вдруг почувствовал, что больше не мучит себя. Причиной стало это лицо на пороге колледжа, эта безрадостная маска, которая отражала угасающий день. Угрюмые картины жизни колледжа возникли в его сознании. Угрюмая, размеренная, серая жизнь ожидала его в ордене — жизнь без каждодневных забот. Он представил себе, как проведет первую ночь в монастыре и какой это будет ужас — проснуться утром в келье. Ему вспомнился тяжелый запах длинных коридоров в Клонгоузе, он услышал тихое шипение горящих газовых рожков. Внезапно им овладело безотчетное беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и вслед за этим какой-то оглушительный гул, лишенный всякого смысла, разметал его настороженные мысли. Его легкие расширились и сжимались, словно вдыхали влажный, теплый, душный воздух, и он снова ощутил теплый, влажный воздух в ванной Клонгоуса над мутной торфяного цвета водой.

Какой-то инстинкт, разбуженный этим воспоминанием, более сильный, чем воспитание и благочестие, пробуждался в нем всякий раз, когда он уже был совсем близок к этой жизни, инстинкт неуловимый и враждебный предостерегал его: не соглашайся. Холод и упорядоченность новой жизни отталкивали его. Он представлял себе, как встает промозглым утром и тащится с другими гуськом к ранней мессе, тщетно стараясь молитвами преодолеть томительную тошноту. Вот он сидит за обедом в общине колледжа. А как справишься с нелюдимостью, из-за которой ему было невозможно есть и пить под чужим кровом? Как подавишь гордыню, из-за которой он всегда чувствовал себя таким одиноким?

Его преподобие Стивен Дедал, S. J.¹

Его имя в этой новой жизни внезапно отчетливо обозначилось у него перед глазами, а затем смутно проступило не столько само лицо, сколько цвет лица. Цвет этот то бледнел, то приобретал тускло-кирпичный оттенок.

¹ *Societas Iesu (лат.)* — общество Иисуса (иезуитский орден).

Что это — воспаленная краснота, какую он так часто видел зимним утром на выбритых щеках священников? Лицо было безглазое, хмуро-благообразное, набожное, в багровых пятнах сдерживаемого гнева. Что это? Может быть, он вспомнил лицо иезуита, которого одни мальчишки называли Остроскулым, а другие — Старым Лисом Кэмпбеллом?

Он проходил в это время мимо дома иезуитского ордена на Гарднер-стрит и как-то рассеянно подумал, какое окно будет его, если он когда-нибудь вступит в орден. И тут же удивился своему любопытству — душа его была далека от того, что еще совсем недавно представлялось ему святыней. И какой же слабой оказалась узда, державшая его столько лет в повиновении и дисциплине, — и именно в тот миг, когда один решительный, бесповоротный шаг грозил лишить его свободы раз и навсегда. Голос ректора, рассказывавший ему о гордых притязаниях церкви, о тайнах и власти священнического сана, тщетно звучал в его памяти. Душа его отдалялась, не внимая, не отвечая ему, и он уже теперь знал, что все увещевания обратились в пустые, официальные фразы. Нет, он никогда не будет кадить у алтаря. Его удел — избегать всяческих общественных и религиозных уз. Мудрость увещеваний священника не задела его за живое. Ему суждено обрести собственную мудрость вдали от других или познать самому мудрость других, блуждая среди соблазнов мира.

Соблазны мира — пути греха. И он падет. Он еще не пал, но падет неслышно, бесшумно, в одно мгновение. Не пасть — слишком тяжело, слишком трудно. И он почувствовал безмолвное низвержение своей души: вот она падает, падает, еще не пала, не пала, но готова пасть.

Переходя мост через реку Толка, он равнодушно взглянул на выцветшую голубую часовенку пресвятой девы, устроившуюся на подставке, словно курица на наесте, посреди закругленного окороком ряда убогих домишек. Затем, повернув налево, он вошел в переулок, который вел к его дому. Из огородов, вытянувшихся по пригорку над рекой, на него пахнуло тошнотворно-кислым запахом гнилой капусты. Он улыбнулся, подумав, что именно эта беспорядочность, неустроенность, и развал его родного дома, и застой растительной жизни все-таки возьмут верх в его душе. Короткий смешок сорвал-

ся с его губ, когда он вспомнил бобыля-батрака, работавшего на огороде за домом, которого они прозвали Дядя в Шляпе. И чуть погодя он невольно снова усмехнулся, когда представил себе, как Дядя в Шляпе, прежде чем приступить к работе, оглядывает поочередно все четыре стороны света и, тяжело вздохнув, втыкает заступ в землю.

Он толкнул незапиравшуюся входную дверь и прошел через голую переднюю в кухню. Его сестры и братья сидели за столом. Чаепитие уже почти кончилось, и только остатки жидкого, спитого чая виднелись на дне маленьких стеклянных кружек и банок из-под варенья, заменявших чашки. Корки и куски посыпанного сахаром хлеба, коричневые от пролитого на них чая, были разбросаны по всему столу. Там и сям расплывались маленькие лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из начинки расковырянного пирога.

Печальное, мягкое, серо-голубое сияние угасавшего дня проникало в окно и в открытую дверь, окутывая и смягчая раскаяние, внезапно шевельнувшееся в душе Стивена. Все, в чем было отказано им, было щедро дано ему, старшему, но в мягком сиянии сумерек он не увидел на их лицах никакой злобы.

Он сел с ними за стол и спросил, где отец и мать. Один ответил:

— Пошлико домко смокотретько.

Опять переезд. Один ученик в Бельведере по фамилии Фэллог часто, глупо хихикая, спрашивал его, почему они так любят переезжать. Гневная морщинка пролегла на его нахмуренном лбу, когда он вспомнил это глупое хихиканье.

— Нельзя ли узнать, почему это мы опять переезжаем? — спросил он.

— Потомуку, чтоко наско выставляетко хозяйинко.

С дальнего конца стола голос младшего брата затянул «Часто ночью тихой»¹. Один за другим голоса подхватывали пение, пока, наконец, все вместе не запели хором. Так они будут петь, пока не появятся первые темные ночные облака и не наступит ночь.

¹ Стихотворение английского поэта Томаса Мура (1779—1852), ирландца по происхождению.

Он подождал несколько минут, прислушиваясь, а потом сам присоединился к их пению. Он прислушивался с чувством душевной боли к интонациям усталости в их звонких, чистых, невинных голосах. Ведь они еще не успели даже и вступить на жизненный путь, а уже устали.

Он слушал этот хор, подхваченный, умноженный повторяющимися отзвуками голосов бесчисленных поколений детей, и во всех этих отзвуках ему слышались усталость и страдание. Казалось, все устало от жизни, еще не начав жить. И он вспомнил, что Ньюмен тоже слышал эту ноту в надломленных строках *Виргилия*, выражавшую, подобно голосу самой *Природы*, страдания и усталость и вместе с тем надежду на лучшее, что было уделом ее детей во все времена.

* * *

Он не мог больше ждать.

От таверны «*Байрон*» до ворот *Клонтарфской часовни*, от ворот *Клонтарфской часовни* до таверны «*Байрон*», и обратно к часовне, и опять обратно к таверне. Сначала он шагал медленно, тщательно отпечатывая шаги на плитах тротуара и подгоняя их ритм к ритму стихов. Целый час прошел с тех пор, как отец скрылся с преподавателем *Дэном Кросби* в таверне, намереваясь расспросить его об университете. И вот целый час он шагает взад и вперед, дожидаясь их. Но больше ждать невозможно.

Он круто повернул к *Буллю*¹, ускорил шаг, чтобы резкий свист отца не настиг его и не вернул обратно, и через несколько секунд, обогнув здание полиции, завернул за угол и почувствовал себя в безопасности.

Да, мать была против университетской затеи. Он угадывал это по ее безучастному молчанию. Но ее недоверие подстегивало его сильнее, чем тщеславие отца. Он холодно вспомнил, как вера, угасавшая в его душе, крепла и росла в сердце матери. Смутное, враждебное чувство, словно облако, затуманивая его сознание, разрасталось в нем, противясь материнскому отступничеству, а когда облако рассеялось и его просветленное со-

¹ Волнорез в Дублине.

знание снова наполнилось сыновней преданностью, смутно и без сожаления он почувствовал первую, пока еще едва заметную трещинку, разъединившую их жизни.

Университет! Его уже не окликнуть, он ускользнул от дозора часовых, которые сторожили его детство, стремясь удержать его при себе и поработить, заставить служить их целям. Удовлетворение, а за ним гордость возносили его, словно медленные высокие волны. Цель, которой он был призван служить, но которая еще не определилась, незримо вела к спасению. И теперь она снова звала за собой, и новый путь вот-вот должен был открыться ему. Казалось, он слышит звуки порывистой музыки, то взмывающей на целый тон вверх, то падающей на кварту вниз, и вновь на целый тон вверх и на большую терцию вниз,— музыки, подобной трехязычному пламени, вылетающему из ночного леса. Это была волшебная прелюдия, бесконечная, бесформенная, она разрасталась, ее темп становился все быстрее и неистовей, языки пламени вырывались из ритма, и, казалось, он слышит под кустами и травой бег дикого зверя, подобный шуму дождя по листве. Дробным шумом врывался в его сознание бег зайцев и кроликов, бег оленей и ланей, и наконец он перестал различать их, а в памяти зазвучал торжественный ритм ньюменовской строки:

«Чьи ноги подобны ногам оленя, и вечные длани простерты под ними».

Торжественное величие этого смутного образа вернуло его к мысли о величии сана, от которого он отказался. Все его детство прошло в мечтах о том, что он считал своим призванием, но, когда настала минута подчиниться призыву, он отвернулся, повинувшись своенравному инстинкту. Теперь время прошло. Елей рукоположения никогда не освятит его тела. Он отказался. Почему?

Он свернул с дороги у Доллимаунта и, проходя по легкому деревянному мосту, почувствовал, как сострясаются доски от топота тяжело обутых ног. Отряд христианских братьев возвращался с Булля. Они шли парно, и пары одна за другой вступали на мост. Теперь уже весь мост ходил ходуном под их ногами. Их грубые лица, на которых плясали то желтые, то красные, то багровые отсветы моря, проплывали мимо него, и, стараясь смотреть на них непринужденно и равнодушно, он почувствовал, как его лицо вспыхнуло от сочувствия и

стыда. В досаде на самого себя он старался скрыть свое лицо от их взглядов и смотрел вниз, в сторону, на мелкую бурлящую воду под мостом, но и там было отражение их высоких нелепых шляп, жалких, узеньких воротников и обвисших монашеских ряс.

— Брат Хикки.

— Брат Квейд.

— Брат Макардл.

— Брат Кью¹.

Их благочестие такое же, как их имена, их лица, их одежда; бесполезно было внушать себе, что их смиренные сокрушающиеся сердца, может быть, платили несравненно более высокую дань преданности, чем его сердце,— дар во сто крат более угодный Богу, чем его изощренное благочестие. Бесполезно было взывать к своему великодушию, говорить, что, если бы он, когда-нибудь смилив гордыню, подошел к их дому поруганный, в нищенском рубище, они были бы к нему великодушны и возлюбили бы его, как самих себя. Бесполезно и наконец тягостно было отстаивать наперекор собственной холодной уверенности, что вторая заповедь повелевает нам возлюбить нашего ближнего, как самого себя не в смысле количества и силы любви, но любить его так же, как самого себя.

Он вспомнил фразу из своей записной книжки и тихо про себя произнес:

«День пестро-перистых, рожденных морем облаков»².

Фраза, и день, и пейзаж сливались в один аккорд. Слова. Или их краски? Он дал им засиять и померкнуть, оттенок за оттенком. Золото восхода, багряная медь и зелень яблочных садов, синева волн, серая, по краям пестрая кудель облаков. Нет, это не краски. Это равновесие и звучание самой фразы. Значит, ритмический взлет и ниспадение слов ему нравятся больше, чем их смысл и цвет? Или из-за слабости зрения и робости души преломление пылающего, осязаемого мира сквозь призму многокрасочного, богато украшенного языка доставляет ему меньше радости, чем созерцание внутреннего мира собственных эмоций, безупречно воплощенного в ясной, гибкой, размеренной прозе?

¹ Распространенные ирландские фамилии.

² Из романа Хью Миллера «Утесы-свидетели» (1869), в котором описывается сотворение мира.

Он сошел с подрагивающего моста на твердую землю. В ту же минуту ему показалось, будто в воздухе пахло холодом, и, покосившись на воду, он увидел, как налетевший шквал возмущил и подернул волны рябью. Легкий толчок в сердце, судорожно сжавшееся горло снова дали почувствовать ему, как невыносим для его тела холодный, лишенный человечности запах моря: но он не повернул налево к дюнам, а продолжал идти прямо вдоль хребта скал, подступавших к устью реки.

Мутный солнечный свет слабо освещал серую полосу воды там, где река входила в залив. Вдалеке, вниз по медленно текущей Лиффи чертили небо стройные мачты, а еще дальше, окутанная мглой, лежала неясная громада города. Подобно поблекшему узору на старинном гобелене древний, как человеческая усталость, сквозь вневременное пространство виднелся образ седьмого града христианского мира¹, столь же древнего, столь же изнемогшего и долготерпеливого в своем порабощении, как и во времена норманнского владычества².

Уныло он поднял глаза к медленно плывущим облакам, перистым, рожденным морем. Они шли пустыней неба, кочевники в пути, шли высоко над Ирландией, дорогой на запад. Европа, откуда они пришли, лежала там, за Ирландским морем. Европа чужеземных языков, изрезанная равнинами, опоясанная лесами, обнесенная крепостями. Европа защищенных окопами и готовых выступить в поход народов. Он слышал какую-то путаную музыку воспоминаний и имен, которые почти узнавал, но не мог даже на мгновение удержать в памяти, потом музыка начала уплывать, уплывать, уплывать, и от каждого уплывающего вздоха туманной мелодии отделялся один долгий призывный звук, прорезавший, подобно звезде, сумрак тишины. Вот опять! Опять! Голос из потустороннего мира взывал:

— Привет, Стефанос!

— Вон идет Дедал!

— А-а, хватит, Двайер! Тебе говорят! А то как двину тебе в физию. А-а!

— Так его, Таусер! Окуни, окуни его!

¹ Подразумевается Дублин.

² Имеется в виду норманнское завоевание Ирландии в VII—IX веках.

— Сюда, Дедал! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос!¹

— Окуни его, Таусер! Топи его, топи.

— Помогите, помогите!.. А-а!

Он узнал их голоса в общем крике, прежде чем различил лица. Один только вид этого месива мокрой наготы пронизывал его знобкой дрожью. Их тела, трупно-белые, или залитые бледно-золотым сиянием, или докрасна обожженные солнцем, блестели влагой. Трамплин, кое-как прилаженный на камнях, ходивший ходунном при каждом прыжке, грубо обтесанные камни крутого волнореза, через который они карабкались в своей возне, сверкали холодным мокрым блеском. Они хлестали друг друга полотенцами, набрякшими от холодной морской воды, и холодной соленой влагой были пропитаны их слипшиеся волосы.

Он остановился, откликаясь на возгласы и легко парируя шутки. Какими безликими казались они все: Шьюли — на сей раз без широкого, обычно расстегнутого воротничка, Эннис — без ярко-красного пояса с пряжкой в виде змеи и Конноли — без своей широкой куртки с оборванными клапанами карманов. Больно было смотреть на них, мучительно больно видеть признаки возмужалости, которые делали отталкивающей их жалкую наготу. Может быть, в многолюдности и шуме укрывались они от тайного страха, притаившегося в душе. И ему вспомнилось, что вдали от них, в тишине, его охватывал ужас перед тайной собственного тела.

— Стефанос Дедалос! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос!

Их подтрунивания были для него не новы, и теперь они льстили его спокойному, горделивому превосходству. Теперь, более чем когда-либо, его необычное имя звучало пророчеством. Таким вневременным был серый теплый воздух, таким переменчивым и безликим его собственное настроение, что все века слились для него в один. Всего какой-нибудь миг назад призрак древнего датского королевства предстал перед ним сквозь завесу окутанного мглой города. Сейчас в имени легендарного

¹ Бус — по-гречески бык. Стефанос (в английском произношении Стивен) — венец, гирлянда. Бус Стефануменос означает, что у Стивена душа быка (намек на его сходство с Фомой Аквинским, которого часто называли молчаливым и упрямым, как бык). Бус Стефанофорос — жертвенный бык, украшенный гирляндой.

мастера¹ ему слышался шум глухих волн; казалось, он видит крылатую тень, летящую над волнами и медленно поднимающуюся ввысь. Что это? Был ли это дивный знак, открывающий страницу некой средневековой книги пророчеств и символов? Человек, подобный соколу в небе, летящий к солнцу над морем, предвестник цели, которой он призван служить и к которой он шел сквозь туман детских и отроческих лет, символ художника, кующего заново в своей мастерской из косной земной материи новое, парящее, неосязаемое, нетленное бытие?

Сердце трепетало, дыхание участилось, сильный порыв ветра пронзил все его существо, как если бы он взмыл вверх, к солнцу. Сердце трепетало в страхе, а душа уносилась ввысь. Душа парила в потустороннем мире, и тело, его до боли знакомое тело, очистилось в единый миг, освободившись от неуверенности, стало лучезарным и приобшилось к стихии духа. Экстазом полета сияли его глаза, порывистым стало дыхание, а тело, подхваченное ветром, было трепещущим, порывистым, сияющим.

— Раз, два... Берегись!..

— Крайпс, я тону!..

— Раз! Два! Три! Прыгай!..

— Следующий, следующий!..

— Раз.. Уф!..

— Стефанофорос!..

Горло у него щемило от желания крикнуть во весь голос криком сокола или орла в вышине, пронзительно крикнуть ветру о своем освобождении. Жизнь взывает к его душе — не тем скучным, грубым голосом мира обязанностей и отчаяния, не тем нечеловеческим голосом, что звал его к безликому служению церкви. Одно мгновение безудержного полета освободило его, и ликующий крик, который сдерживал его губы, ворвался в его сознание:

— Стефанофорос!..

Теперь это всего лишь саван, сброшенный с брэнного тела: и страх, в котором он блуждал днем и ночью, и неуверенность, сковывавшая его, и стыд, терзавший его изнутри и извне, — всего лишь могильные покровы, саван.

¹ Имеется в виду Дедал, с именем которого совпадает фамилия джойсовского героя. Как известно, Дедал и его сын Икар, отважившиеся взлететь к солнцу на крыльях из воска и перьев, являются символами искусства и дерзания.

Душа его восстала из могилы отрочества, страхнув с себя могильные покровы. Да! Да! Да! Подобно великому мастеру, чье имя он носит, он гордо создаст нечто новое из свободы и мощи своей души — нечто новое, живое, парящее, прекрасное, нерукотворное, нетленное.

Он быстро сбежал с откоса, не в силах больше сдерживать горения в крови. Он чувствовал, как горят его щеки, песня клокочет в горле, ноги просятся в путь — странствовать. Вперед! Вперед! — словно взывало его сердце. Сумерки спустятся над морем, ночь сойдет на долины, заря забрезжит перед странником и откроет ему незнакомые поля, холмы и лица. Но где?

Он посмотрел на север в сторону Хоута¹. Море уже отхлынуло, обнажив линию водорослей на пологом откосе волнореза, и волна отлива быстро бежала вдоль побережья. Уже среди мелкой зыби теплым и сухим овалом проступала отмель. Там и сям в мелкой воде поблескивали песчаные островки, а на островках, и вокруг длинной отмели, и среди мелких ручейков на пляже бродили полураздетые фигуры, то и дело нагибаясь и что-то поднимая с песка.

Через несколько секунд он уже стоял босой, носки засунул в карманы, а брезентовые туфли связал за шнурки и перекинул через плечо, потом вытащил из мусора, нанесенного приливом, заостренную, изъеденную солью палку и слез вниз по волнорезу.

По отмели бежал ручеек. Медленно он побрел вдоль него, вглядываясь в бесконечное движение водорослей. Изумрудные, черные, рыжие, оливковые, они двигались под водой, кружась и покачиваясь. Вода в ручейке, потемневшая от этого бесконечного движения, отражала высоко плывущие облака. Облака тихо плыли вверху, а внизу тихо плыли морские водоросли, и серый теплый воздух был спокоен, и новая, бурная жизнь пела в его жилах.

Куда кануло его отрочество? Где его душа, избежавшая своей судьбы, чтобы в одиночестве предаться скорби над позором своих ран и в обители убожества и обмана принять венок, облачившись в истлевшие покровы, которые распадутся в прах от одного прикосновения? И где теперь он сам?

¹ Мол в Дублинском заливе.

Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьянящего средоточия жизни. Один — юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и весело и радостно одетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.

Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли — белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стеснения спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь — как у птицы, мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красоты, было ее лицо.

Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой — туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне, — туда, сюда, туда, сюда, — и легкий румянец задрожал на ее щеках.

«Боже милосердный!» — воскликнула душа Стивена в порыве земной радости.

Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь.

Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому при-

зыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед!

Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час?

Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке, среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь.

Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь.

В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя высшую упорядоченную энергию земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового, неведомого мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир — мерцание или цветков? Мерцающая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярким цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками одна ярче другой.

Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул.

Он взошел на вершину холма и осмотрелся кругом. Уже стемнело. Обод молодого месяца пробился сквозь бледную ширь горизонта, обод серебряного обруча, врезавшийся в серый песок; с тихим шепотом волны прилива быстро приближались к берегу, окружая, как островки, одинокие, запоздалые фигуры на отдаленных песчаных отмелях.

Глава V

Он допил третью чашку жидкого чая и, глядя в темную гущу на дне, стал грызть разбросанные по столу корки поджаренного хлеба. Ямка в желтоватых чайниках была как размыв в трясине, а жидкость под ними напоминала ему темную торфяного цвета воду в ванне Клонгоуса. Из только что перерытой коробки с закладными, стоявшей у самого его локтя, он рассеянно, одну за другой вынимал засаленными пальцами то синие, то белые, пожелтевшие и смятые, бумажки со штампом ссудной кассы Дейли или Макивой.

1. Пара сапог.
2. Пальто.
3. Разные мелочи и белье.
4. Мужские брюки.

Затем он отложил их в сторону и, задумчиво уставившись на крышку коробки, всю в пятнах от раздавленных вшей, рассеянно спросил мать:

— На сколько наши часы теперь вперед?

Мать приподняла лежавший на боку посреди каминной полки старый будильник и снова положила его на бок. Циферблат показывал без четверти двенадцать.

— На час двадцать пять минут,— сказала она.— На самом деле сейчас двадцать минут одиннадцатого... Уж мог бы ты постараться вовремя уходить на лекции.

— Приготовьте мне место для мытья,— сказал Стивен.

— Кейти, приготовь Стивену место для мытья.

— Буди, приготовь Стивену место для мытья.

— Я не могу, я занята. Мэгги, приготовь ты.

Когда эмалированный таз пристроили в раковину и повесили на край старую рукавичку, Стивен позволил матери потереть ему шею, промыть уши и ноздри.

— Плохо,— сказала она,— когда студент университета такой грязнуля, что матери приходится его мыть!

— Но ведь тебе это доставляет удовольствие,— спокойно сказал Стивен.

Сверху раздался пронзительный свист, и мать, бросив ему на руки волглую блузу, сказала:

— Вытирайся и, ради всего святого, скорей уходи.

После второго продолжительного и сердитого свистка одна из девочек подошла к лестнице:

— Да, папа?

— Эта ленивая сука, твой братец, убрался он или нет?

— Да, папа.

— Не врешь?

— Нет, папа...

Сестра вернулась назад, делая Стивену знаки, чтобы он поскорей удирал через черный ход. Стивен засмеялся и сказал:

— Странное у него представление о грамматике, если он думает, что сука мужского рода.

— Как тебе не стыдно, Стивен,— сказала мать,— настанет день, когда ты еще пожалеешь, что поступил в это заведение. Тебя точно подменили.

— До свидания,— сказал Стивен, улыбаясь и целуя на прощание кончики своих пальцев.

Проулок раскис от дождя, и, когда он медленно пробирался по нему, стараясь ступать между кучами сырого мусора, из монастырской больницы по ту сторону стены до него донеслись вопли умалишенной монахини:

— Иисусе! О, Иисусе! Иисусе!

Он отогнал от себя этот крик, досадливо тряхнул головой и заторопился, спотыкаясь о вонючие отбросы, а сердце заняло от горечи и отвращения. Свист отца, причитания матери, вопли сумасшедшей за стеной слились в оскорбительный хор, грозивший унижить его юношеское самолюбие. Он с ненавистью изгнал даже их отзвук из своего сердца; но когда он шел по улице и чувствовал, как серый утренний свет падает на него сквозь ветки политых дождем деревьев, когда вдохнул терпкий, острый запах мокрых листьев и коры, горечь покинула его душу.

Отягощенные дождем деревья, как всегда, вызвали воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана, и воспоминания об их туманных горестях и аромат, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренняя прогулка через весь город началась, и он заранее знал, что, шагая по илистой грязи квартала Фэрвью, он будет думать о суровой сребротканой прозе Ньюмена, а на Стрэнд-роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвидо Кавальканти¹ и улыбнется; что у каменотесной мастерской Берда на Талбот-плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ибсена — дух своенравной юношеской красоты; а поравнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, он повторит про себя песню Бена Джонсона, начинающуюся словами: «Я отдохнуть прилег, хотя и не устал...»²

Часто, устав от поисков сути прекрасного в неясных речениях Аристотеля и Фомы Аквинского, он отдыхал, вспоминая изящные песни елизаветинцев. Ум его, словно сомневающийся монах, часто укрывался в тени под окнами этого давно минувшего века, внимая грустной и насмешливой музыке лютен и задорному смеху уличных девок, пока слишком грубый хохот, а то и какая-нибудь непристойная или напыщенная фраза, хотя и потускневшая от времени, не возмущала его монашескую гордость и не заставляла покинуть это убежище.

Ученые труды, над которыми, как полагали, он просиживал целыми днями, лишая себя общества сверстников, были всего лишь набором тонких изречений из поэтики и психологии³ Аристотеля, из «*Synopsis Philosophiae Scholasticae ad mentem divi Thomae*»⁴. Мысль его, сотканная из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялась вспышками интуиции, вспышками такими яркими, что в эти мгновения окружающий мир исчезал, как бы испепеленный пламенем, а его язык делался неповоротливым, и он невидящими

¹ Гвидо Кавальканти (1259—1300) — итальянский поэт-лирик, один из наиболее образованных людей своего времени, друг Данте.

² Строчка из пьесы Бена Джонсона (1572—1638) «Видения восторга» (1617).

³ Очевидно, имеются в виду сочинения Аристотеля «Поэтика» и «О душе».

⁴ «Свод схоластической философии по учению святого Фомы» (Фомы Аквинского).

глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного, подобно мантии, окутывает его и он, хотя бы в мечтах, приобщается к возвышенному. Однако краткий миг гордой немоты проходил, и он снова с радостью окунался в суету обыденной жизни и без страха, с легким сердцем шел своей дорогой среди нищеты, шума и праздности большого города.

На канале у стенда для афиш он увидел чахоточного с кукольным лицом, в шляпе с оторванными полями, который спускался ему навстречу с моста мелкими шажками в наглухо застегнутом пальто, выставив сложенный зонт наподобие жезла. Должно быть, уже одиннадцать, подумал Стивен и заглянул в молочную узнать время. Часы там показывали без пяти пять, но, отходя от молочной, он услышал, как поблизости какие-то часы быстро и отчетливо пробили одиннадцать. Он рассмеялся: бой часов напомнил ему Макканна, он даже представил себе его светлую козлиную бородку и всю его коренастую фигуру, когда тот стоит на ветру в охотничьей куртке и бриджах на Хопкинс-стрит и изрекает:

— Вы, Дедал, существо антисоциальное и заняты только собой. А я нет. Я демократ и буду работать и бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединенных Штатах Европы.

Одиннадцать! Значит, и на эту лекцию он опоздал. Какой сегодня день? Он остановился у киоска, чтобы прочесть газетный заголовок. Четверг. С 10 до 11 — английский; с 11 до 12 — французский; с 12 до часа — физика. Он представил себе лекцию по английскому языку и даже на расстоянии почувствовал растерянность и беспомощность. Он видел покорно склоненные головы однокурсников, записывающих в тетради то, что требовалось заучить: определения по имени и определения по существу¹, различные примеры, даты рождения и смерти или основные произведения и рядом положительные и отрицательные оценки критики. Его голова не склоняется над тетрадь, мысли блуждают далеко, но смотрит ли он на маленькую кучку студентов вокруг себя или в окно на заросшие аллеи парка, его неотступно преследует запах унылой подвальной сырости и разложения. Еще одна голова, не нагнувшаяся к столу, возвышалась прямо перед ним в первых рядах, словно голова священни-

¹ Термины из «Второй аналитики» Аристотеля.

ка, без смирения молящегося о милости к бедным прихожанам перед чашей со святыми дарами. Почему, думая о Крэнли, он никогда не может вызвать в своем воображении всю его фигуру, а только голову и лицо? Вот и теперь, на фоне серого утра, он видел перед собой — словно призрак во сне — отсеченную голову, маску мертвеца с прямыми жесткими черными волосами, торчащими надо лбом, как железный венец, лицо священника, аскетически-бледное, с широкими крыльями носа, с темной тенью под глазами и у рта, лицо священника с тонкими, бескровными, чуть усмехающимися губами, — и вспомнил, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Крэнли о всех своих душевных невзгодах, метаниях и стремлениях, а ответом друга было только настороженное молчание. Стивен уже было решил, что лицо это — лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он не властен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд темных женственных глаз.

Это видение как бы приоткрыло вход в странный и темный лабиринт мыслей, но Стивен тотчас же отогнал его, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. Равнодушие друга, как ночной мрак, разливалось в воздухе неуловимые смертоносные испарения, и он поймал себя на том, что, глядя по сторонам, на ходу выхватывает то одно, то другое случайное слово и вяло удивляется, как беззвучно и мгновенно они теряют смысл; а вот уже и убогие вывески лавок, словно заклинания, завладели им, душа съежилась, вздыхая по-стариковски, а он все шагал по проулку среди этих мертвых слов. Его собственное ощущение языка уплывало из сознания, каплями вливаясь в слова, которые начинали сплетаться и расплетаться в сбивчивом ритме:

Плющ плющится по стене,
Плещет, пляшет по стене.
Желтый жметя плющ к стене,
Плющ желтеет на стене.

Что за чепуха? Боже мой, что это за плющ, который плющится по стене? Желтый плющ — это еще куда ни шло, желтая слоновая кость — тоже. Ну, а сплющенная слоновая кость?

Слово теперь засверкало в его мозгу светлее и ярче, чем слоновая кость, выпиленная из крапчатых слоновых

бивней. Ivory, ivoire, avorio, ebur¹. Одним из первых предложений, которые он учил в школе на латинском языке, была фраза: India mitit ebur², и ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его излагать «Метаморфозы» Овидия изысканным английским языком, который звучал довольно странно, когда речь шла о свиньях, черепках и свином сале. То немногое, что было ему известно о законах латинского стиха, он узнал из затрепанной книжки, написанной португальским священником:

«Contrahit orator, variant in carmine vates»³.

Кризисы, победы и смута в римской истории преподносились ему в избитых словах in tanto discrimine⁴. Он пытался проникнуть в общественную жизнь города городов⁵ сквозь призму слов implere ollam denariojum, которые ректор сочно переводил: «наполнить сосуд динариями». Страницы истрепанного Горация никогда не казались холодными на ощупь, даже если его пальцы стыли от холода; это были живые страницы, и пятьдесят лет тому назад их перелистывали живые пальцы Джона Дункана Инверэрити и его брата Уильяма Малькольма Инверэрити⁶. Да, их благородные имена сохранились на выцветшем заглавном листе, и даже для такого скромного латиниста, как он, выцветшие стихи были благоуханными, точно все эти годы они пролежали в мирте, лаванде и вербене. И все же ему было горько сознавать, что он навсегда останется только робким гостем на празднике мировой культуры и что монашеская ученость, языком которой он пытался выразить некую эстетическую философию, расценивалась его веком не выше, чем мудреная и забавная тарабарщина геральдики и соколиной охоты.

Серая громада колледжа святой Троицы⁷ с левой стороны, тяжело вдвинутая в невежественный город,

¹ Слоновая кость (*англ., франц., итал., лат.*).

² Индия поставяет слоновую кость (*лат.*).

³ Оратор краток, певец в стихах многообразен (*лат.*). Из книги Мануэла Алвариша (1526—1583), автора латинской грамматики, включившей также правила латинского стихосложения.

⁴ В таком бедствии (*лат.*).

⁵ Имеется в виду Рим.

⁶ Комментаторам не удалось установить личность этих персонажей.

⁷ Протестантский университет в Дублине.

словно тусклый камень — в тесную оправу, начала давить на его сознание. И всячески стараясь стряхнуть с себя путы протестантского мировоззрения, он вышел к нелепому памятнику национальному поэту Ирландии¹.

Он взглянул на него без гнева, потому что, хотя неряшливость тела и духа, точно невидимые вши, ползла по памятнику вверх по полусогнутым ногам, по складкам одежды и вокруг его холопской головы, памятник, казалось, смиренно сознавал собственное ничтожество. Это был фирболг², укравший тогу милезийца³, и он вспомнил своего приятеля Дейвина, студента из крестьян. Фирболг было его шутовское прозвище, но молодой крестьянин мирился с ним:

— Ну что ж, Стиви, раз ты сам говоришь, что у меня тупая голова, зови меня как хочешь.

Уменьшительная форма его имени тронула Стивена, когда он услышал его в первый раз: как правило, он не допускал фамильярности с другими студентами так же, как и они с ним. Часто, сидя у Дейвина на Грантем-стрит и не без удивления поглядывая на выстроенные парами у стены отличные сапоги своего приятеля, он читал чужие стихи и строфы, за которыми скрывались его собственные томление и горечь. Грубоватый, как фирболг, приятель то привлекал, то отталкивал его — привлекал врожденной спокойно-учливой внимательностью, причудливым оборотом старинной английской речи, восхищением перед грубой физической силой — Дейвин был ярым поклонником гэлла Майкла Кьюзака⁴; то вдруг отталкивал неповоротливостью ума, примитивностью чувств или тупым выражением ужаса, внезапно появившимся в глазах, ужаса глухой и нищей ирландской

¹ Томасу Муру (1779—1852). Ирония Джойса вызвана, очевидно, крайне сдержанным отношением поэта к стремлению Ирландии утвердить свою национальную независимость.

² Фирболги, согласно легенде, — племя грубых и жестоких карликов, населявших Ирландию в IV в. до н. э.

³ Милезийцы — потомки мифического короля Испании Милезия и его сыновей, завоевавших Ирландию в I в. до н. э., по преданию, прародители ирландцев. В отличие от фирболгов меценаты — почитатели прекрасного. Скульптор изобразил Т. Мура в классической милезийской тоге.

⁴ Майкл Кьюзак (1847—1907) — основатель Гэльской спортивной ассоциации (1884), ставившей своей целью возрождение национальных видов спорта.

деревни, где ежевечерний комендантский час¹ наводил на всех страх.

Заодно с доблестными подвигами своего дяди, атлета Мэта Дейвина, юный крестьянин читл скорбные предания Ирландии. Толкуя о нем, товарищи Дейвина, ставшиеся во что бы то ни стало внести какую-то значительность в нудную жизнь колледжа, склонны были изображать его молодым фением. Нянька Дейвина научила его в детстве ирландскому языку и осветила примитивное воображение мальчика зыбким светом ирландской мифологии. Дейвин относился к этой мифологии; из которой еще никто не извлек ни единой крупинки красоты, и к ее неуклюжим, бесформенным преданиям, обожествленным временем, так же, как к католической религии,— с тупой верностью раба. Любую мысль или чувство, если они приходили из Англии или оказывались достоянием английской культуры, он, словно повинуюсь какому-то приказу, встречал в штыки. А о мире, лежащем за пределами Англии, знал только то, что во Франции существует Иностраный легион, в который он, по его словам, собирался вступить.

Сопоставляя эти помыслы и характер Дейвина, Стивен часто называл его ручным гуськом², вкладывая в прозвище предельное возмущение вялостью слов и поступков друга, которые часто становились преградой между пытливым умом Стивена и сокровенными тайнами ирландской жизни.

Как-то вечером этот молодой крестьянин, подзадоренный бурным и высокопарным красноречием, которым Стивен разряжал холодное молчание своего бунтующего разума, рассказал ему старинную историю. Они шли не спеша к дому Дейвина по темным узким улочкам убогого еврейского квартала.

— Прошлой осенью, Стиви,— уже зима была на пороге — со мной приключилась странная история. Я пока ни одной живой душе не обмолвился об этом. Тебе первому. Уж не помню, в октябре это случилось или в но-

¹ Комендантский час был введен в сельских районах Ирландии в качестве репрессивной меры во время народного восстания 1798 г. и в период голода 1845—1848 гг.

² В противоположность «диким гусям» (кличка ирландцев, которые предпочитали покинуть Ирландию, но не жить в поработанной англичанами стране).

ябре, вроде как в октябре, потому что это было перед тем, как я приехал сюда поступать в университет.

Стивен, улыбаясь, посмотрел на друга, польщенный таким доверием и вновь покоренный его простодушным тоном.

— Я провел тогда весь день в Баттевенте¹, не знаю, представляешь ли ты, где это находится? Там был хоккейный матч между «Ребятами Кроука» и «Бесстрашными терльсцами». Вот это был матч так матч, Стиви! У моего двоюродного брата Фонзи Дейвина всю одежду в клочья изорвали. Он стоял вратарем в команде Лимерика, но половину игры носился с нападающими и орал как сумасшедший. Вот уж не забуду этого дня! Один из Кроуков так долбанул его клюшкой,— ей-богу, Стиви!— чуть не попал ему в висок. Правда, Стиви! Придись этот удар чуточку повыше, тут бы ему и конец.

— Приятно слышать, что он уцелел,— сказал Стивен смеясь.— Но это, надеюсь, не та необыкновенная история, которая приключилась с тобой?

— Ну, конечно, тебе неинтересно. Так вот, после этого матча было столько разговоров да шуму, что я опоздал на поезд, и даже ни одной телеги по дороге не попало, потому как в Каслтаунроше было церковное собрание и все крестьяне уехали туда. Ничего не попишешь! Надо было или оставаться на ночь, или идти пешком. Я и решил пойти. Уже под вечер подошел к Бэллихаурским холмам, а оттуда до Килмэлока еще миль десять, если не больше, дорога длинная, глухая. На всем пути не встретишь ни одного жилья человеческого, ни звука не услышишь. Уж совсем темно стало. Раза два я останавливался в кустах, чтобы зажечь трубку, и, кабы не сильная роса, то, пожалуй, растянулся бы и заснул. Наконец за одним из поворотов дороги, гляжу— маленький домик и свет в окне. Я подошел и постучался. Чей-то голос спросил, кто там, и я ответил, что возвращаюсь домой после матча в Баттевенте, и попросил напиток. Через несколько секунд мне открыла дверь молодая женщина и вынесла большую кружку молока. Она была полураздета, похоже, когда я постучал, собиралась лечь спать; волосы у нее были распущены, и мне показалось по ее фигуре и по выражению глаз, что она беременна. Мы долго разговаривали и все в дверях,

¹ Небольшой городок в 137 милях от Дублина.

и я даже подумал: вот странно, ведь грудь и плечи у нее были голые. Она спросила меня, не устал ли я и не хочу ли переночевать здесь; а потом сказала, что совсем одна в доме, что муж ее уехал утром в Куинстаун проводить сестру. И все время, пока мы разговаривали, Стиви, она не сводила с меня глаз и стояла так близко ко мне, что я чувствовал ее дыхание. Когда я отдал ей кружку, она взяла меня за руку, потянула через порог и сказала: «Войди, останься здесь на ночь. Тебе нечего бояться. Здесь никого нет, кроме нас». Я не вошел, Стиви, я поблагодарил ее и пошел дальше своей дорогой. Меня всего трясло как в лихорадке. На повороте я обернулся, гляжу, она так и стоит в дверях.

Последние слова рассказа Дейвина звенели в памяти Стивена, и облик женщины, о которой тот рассказывал, вставал перед ним, сливаясь с обликом других крестьянских женщин, вот так же стоявших в дверях, когда экипажи колледжа проезжали по Клейну¹: живой образ ее и его народа, душа, которая, подобно летучей мыши, пробуждалась к сознанию в темноте, тайне и одиночестве; глаза, голос и движения простодушной женщины, предлагающей незнакомцу разделить с нею ложе.

Чья-то рука легла ему на плечо, и молодой голос крикнул:

— Возьмите у меня, сэр. Купите для почина! Вот хорошенький букетик. Возьмите, сэр!

Голубые цветы, которые она протягивала, и ее голубые глаза показались ему в эту минуту олицетворением самого чистейшего простодушия; он подождал, пока это впечатление рассеется и останется только ее оборванное платье, влажные жесткие волосы и вызывающее лицо.

— Купите, сэр! Пожалейте бедную девушку!

— У меня нет денег,— сказал Стивен.

— Возьмите, сэр, вот хорошенький букетик! Всего только пенни!

— Вы слышали, что я сказал? — спросил Стивен, наклоняясь к ней.— Я сказал: у меня нет денег. Повторяю это еще раз.

— Ну что ж, Бог даст, когда-нибудь они у вас будут,— секунду помолчав, ответила девушка.

— Возможно,— сказал Стивен,— но мне это кажется маловероятным.

¹ Деревушка вблизи Дублина.

Он быстро отошел от девушки, боясь, что ее фамильярность обратится в насмешку, и стремясь скрыться из виду, прежде чем она предложит свой товар какому-нибудь туристу из Англии или студенту из колледжа святой Троицы. Грэфтон-стрит¹, по которой он шел, только усилила ощущение безотрадной нищеты. В самом начале улицы, посреди дороги, была установлена плита в память Вулфа Тона, и он вспомнил, как присутствовал с отцом при ее открытии. С горечью вспомнил он эту шутовскую церемонию. Там было четыре французских делегата, даже не покинувших экипажа, и один из них, пухлый улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными буквами: «Vive e' Irlande!»².

Деревья в Стивенс-Грин благоухали после дождя, а от насыщенной влагой земли исходил запах тления — словно чуть слышный аромат ладана, поднимающийся из множества сердец, сквозь гниющую листву. Душа легкомысленного, развращенного города, о котором ему рассказывали старшие, обратилась со временем в этот легкий тленный запах, поднимающийся от земли, и он знал, что через минуту, вступив в темный колледж, он ощутит иное тление, непохожее на растленность. Повесы Игана и Поджигателя Церквей Уейли³.

Было уже слишком поздно идти на лекцию по французскому языку. Он миновал холл и повернул коридором налево в физическую аудиторию. Коридор был темный и тихий, но тишина его как-то настораживала. Откуда у него это ощущение настороженности, отчего?

Оттого ли, что он слышал, будто здесь во времена Уейли была потайная лестница? Или, может быть, этот дом иезуитов экстерриториален и он здесь среди чужеземцев? Ирландия Тона и Парнелла как будто куда-то отступила.

Он открыл дверь аудитории и остановился в унылом, сером свете, пробивавшемся сквозь пыльные окна. При-

¹ Одна из центральных улиц в Дублине.

² «Да здравствует Ирландия!» (франц.).

³ Дублинцы-антикатолики конца XVIII века. Джон Иган (1750—1810) — политический деятель, весьма горячего темперамента. Томас Уейли (1766—1800) — кутила и эксцентрик, заслужил прозвище Поджигателя Церквей за разрушение католических часовен. В особняке, когда-то ему принадлежавшем, позднее разместился католический университет, в котором учится Стивен.

севшая на корточки фигура возилась у широкой каминной решетки, разжигая огонь, и по худобе и седине он узнал декана. Стивен тихо закрыл дверь и подошел к камину.

— Доброе утро, сэр! Могу я чем-нибудь помочь вам? Священник вскинул глаза.

— Минутку, мистер Дедал,— сказал он.— Вот вы сейчас увидите. Разжигать камин — целая наука. Есть науки гуманитарные, а есть науки полезные. Так вот это одна из полезных наук.

— Я постараюсь ей научиться,— сказал Стивен.

— Секрет в том, чтобы не класть слишком много угля,— продолжал декан, проворно действуя руками.

Он вытащил из боковых карманов сутаны четыре свечных огарка и аккуратно рассовал их среди угля и бумаги. Стивен молча наблюдал за ним. Стоя колена-преклоненный на каменной плите перед камином и поправляя жгуты бумаги и огарки, прежде чем зажечь огонь, он больше чем когда-либо напоминал левита¹, смиренного служителя Господня, приготавливающего жертвенный огонь в пустом храме. Подобно грубой одежде левита, выцветшая, изношенная сутана окутывала колена-преклоненную фигуру, которой было бы тягостно и неудобно в пышном священническом облачении или в обшитом бубенцами ефодом². Сама плоть его истерлась и состарилась в скромном служении Господу: он поддерживал огонь в алтаре, передавал секретные сведения, опекал мирян, сурово карал по приказанию свыше. И все же плоть его не просияла благодатью, на ней не было ни следа красоты, присущей святости или высокому духовному сану. Нет, сама душа его истерлась и состарилась в этом служении, так и не приблизившись к свету и красоте, и обрела не благоухание святости, а лишь умерщвленную волю, столь же нечувствительную к радости такого служения, сколь было глухо его сухое, жилистое старческое тело, покрытое серым пухом седеющих волос, к радостям любви или битвы.

Сидя на корточках, декан следил, как загораются щепки. Чтобы как-то нарушить молчание, Стивен сказал:

— Я, наверно, не сумел бы растопить камин.

¹ Левиты — наследственная каста еврейских церковнослужителей.

— Вы художник, не правда ли, мистер Дедал? — сказал декан, подняв вверх свои помаргивающие тусклые глаза.— Назначение художника — творить прекрасное. А что такое прекрасное — это уже другой вопрос.

Он медленно потер сухие руки, размышляя над сложностью вопроса.

— А вы можете разрешить его? — спросил он.

— Фома Аквинский,— ответил Стивен,— говорит: «*Pulchra sunt quae visa placent*»¹.

— Вот этот огонь приятен для глаз,— сказал декан.— Можно ли, исходя из этого, назвать его прекрасным?

— Он постигается зрением, что в данном случае будет восприятием эстетическим, и, следовательно, он прекрасен. Но Фома Аквинский также говорит, «*Bonum est in quod tendit appetitus*»². Поскольку огонь удовлетворяет животную потребность в тепле, он — благо. В аду, однако, он — зло.

— Совершенно верно,— сказал декан.— Вы абсолютно правы.

Он быстро встал, подошел к двери, приоткрыл ее и сказал:

— Говорят, тяга весьма полезна в этом деле.

Когда декан вернулся к камину, слегка прихрамывая, но быстрым шагом, из его тусклых, бесчувственных глаз на Стивена глянула немая душа иезуита. Подобно Игнатию³, он был хромым, но в его глазах не горело пламя энтузиазма. Даже легендарное коварство ордена, коварство более непостижимое и тонкое, чем их пресловутые книги о тонкой, непостижимой мудрости, не воспламеняло его душу апостольским рвением. Казалось, он пользовался хитростью, изворотливостью только для вящей славы Божией, без радости и без ненависти, не думая о том, что в них дурного, но твердым жестом повинования направляя их против них же самих, и, несмотря на все это безгласное послушание, казалось, он даже и не любит учителя и мало или даже совсем не любит целей, которым служит. «*Similiter atque senis baculus*»⁴, он был тем, чем был задуман основателем ордена,— посохом, на который можно опереться в тем-

¹ Прекрасно то, что приятно для зрения (*лат.*).

² Благо то, к чему устремляется желание (*лат.*).

³ Игнатию Лойоле, который был в юности ранен в обе ноги.

⁴ Подобно посоху старца (*лат.*).

ноте или в непогоду, положить его на садовую скамейку рядом с букетом, оставленным там какой-нибудь леди, а когда и грозно замахнуться им.

Поглаживая подбородок, декан стоял у камина.

— Когда же мы услышим от вас что-нибудь по вопросам эстетики? — спросил он.

— От меня?! — в изумлении сказал Стивен. — Хорошо, если мне раз в две недели случается натолкнуться на какую-то мысль.

— Да. Это очень глубокие вопросы, мистер Дедал, — сказал декан. — Вглядываться в них — все равно что смотреть в бездну морскую с Мохеровских скал. В нее ныряют и не возвращаются. Только опытный водолаз может спуститься в эти глубины, исследовать их и выплыть на поверхность.

— Если вы имеете в виду спекулятивное суждение, сэр, — сказал Стивен, — то мне представляется, что никакой свободной мысли не существует, поскольку всякое мышление должно быть подчинено собственным законам и ограничено ими.

— Хм!..

— Размышляя, я сейчас беру за основу некоторые положения Аристотеля и Фомы Аквинского.

— Понимаю, вполне понимаю вас.

— Я буду руководствоваться их мыслями, пока не создам что-то свое. Если лампа начнет коптить и чадить, я постараюсь почистить ее. Если же она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю другую.

— У Эпиктета¹, — сказал декан, — тоже была лампа, проданная после его смерти за баснословную цену. Это была лампа, при свете которой он писал свои философские труды. Вы читали Эпиктета?

— Старец, который говорил, что душа подобна сосуду с водой, — резко сказал Стивен.

— Он со свойственной ему простотой рассказывает нам, — продолжал декан, — что поставил железную лампу перед статуей одного из богов, а вор украл эту лампу. Что же сделал философ? Он рассудил, что красть — в природе вора, и на другой день купил глиняную лампу взамен железной.

Запах растопленного сала поднялся от огарков и смешался в сознании Стивена со звяканьем слов: сосуд,

¹ Эпиктет — греческий философ-стоик конца I и начала II века нашей эры.

лампа, лампа, сосуд. Голос священника тоже звякал. Мысль Стивена инстинктивно остановилась, задержанная этими странными звуками, образами и лицом священника, которое казалось похожим на незажженную лампу или отражатель, повешенный под неправильным углом. Что скрывалось за ним или в нем? Угрюмая оцепенелость души, заряженной способностью к мышлению, которая похожа на угрюмость грозовой тучи, заряженной гневом Божиим.

— Я имел в виду несколько иную лампу, сэр,— сказал Стивен.

— Безусловно,— сказал декан.

— Одна из трудностей эстетического обсуждения,— продолжал Стивен,— заключается в том, чтобы понять, в каком смысле употребляются слова — в литературном или бытовом. Я вспоминаю одну фразу у Ньюмена, где говорится о том, что святая дева укоренилась в прославленном народе¹. В обиходном языке этому слову придается совсем другой смысл. Надеюсь, я не укоренюсь в своем невежестве?

— Конечно, нет,— любезно сказал декан.

— Да нет же,— улыбаясь сказал Стивен,— я имел в виду...

— Да, да, понимаю,— живо подхватил декан,— вы имели в виду разные оттенки смысла глагола «укорениться».

Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и коротко, сухо кашлянул.

— Ну, хорошо, вернемся к лампе,— сказал он.— Заправлять ее тоже дело довольно трудное. Нужно, чтобы масло было чистое, а когда наливаешь его, надо следить за тем, чтобы не пролить, не налить больше, чем может вместить воронка.

— Какая воронка? — спросил Стивен.

— Воронка, через которую наливают масло в лампу.

— А...— сказал Стивен.— Разве это называется воронкой? По-моему, это цедилка.

— А что такое «цедилка»?

— Ну, это... воронка.

— Разве она называется цедилкой у ирландцев? — спросил декан.— Первый раз в жизни слышу такое слово.

¹ Дж. Ньюмен. «Славословия Марии-Богоматери».

— Ее называют цедилкой в Нижнем Драмкондре¹,— смеясь сказал Стивен,— где говорят на чистейшем английском языке.

— Цедилка,— повторил задумчиво декан,— занятное слово. Надо посмотреть его в словаре. Обязательно посмотрю.

Учтивость декана казалась несколько натянутой, и Стивен взглянул на этого английского прозелита такими же глазами, какими старший брат в притче мог бы взглянуть на блудного. Смиренный последователь когда-то нашумевших обращений², бедный англичанин в Ирландии, поздний пришелец, запоздалый дух, он, казалось, взошел на сцену истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг, страданий, зависти, борьбы и бесчестья уже близилась к концу. Что же толкнуло его? Может быть, он родился и вырос среди убежденных сектантов, чаявших спасения только в Иисусе и презиравших суетную пышность официальной церкви? Не почувствовал ли он потребность в слепой вере среди суеты сектантства и разноязычия неумных еретиков, всех последователей шести принципов, людей особого склада, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских догматиков?³ Обрел ли он истинную церковь внезапно, словно размотав с катушки какую-то тонко сплетенную нить рассуждений о смысле дуновения при рукопожатии или сошествии святого духа?⁴ Или же Христос коснулся его и повелел следовать за собою, когда он сидел у дверей какой-нибудь крытой жестяной кровлей часовенки, зевая и подсчитывая церковные гроши, как в свое время Господь призвал ученика, сидевшего за сбором пошлин?⁵

Декан снова произнес:

— Цедилка! Нет, в самом деле это очень интересно!

— Вопрос, который вы задали мне раньше, по-моему, более интересен. Что такое красота, которую художник пытается создать из глины? — холодно заметил Стивен.

¹ Бедный район Дублина, жители которого говорят на гораздо более богатом и красочном языке, нежели лондонцы.

² В 1845 г. Дж. Ньюмен перешел в католичество, за ним последовало много англичан.

³ Виды баптистских сект. Супралапсарианство — учение об абсолютности предопределения.

⁴ Имеются в виду различные религиозные церемонии.

⁵ Согласно Библии, евангелист Матфей, до того как стал учеником Иисуса, был мытарем.

Казалось, это словечко обратило язвительное острое его настороженности против учтвого, бдительного врага. Со жгучей болью унижения он почувствовал, что человек, с которым он беседует, соотечественник Бена Джонсона. Он подумал: «Язык, на котором мы сейчас говорим,— прежде всего его язык, а потом уже мой. Как различны слова — *семья, Христос, пиво, учитель* — в его и в моих устах. Я не могу спокойно произнести или написать эти слова. Его язык — такой близкий и такой чужой — всегда останется для меня лишь благоприобретенным. Я не создавал и не принимал его слов. Мой голос не подпускает их. Моя душа неистовствует во мраке его языка».

— И каково различие между прекрасным и возвышенным,— добавил декан,— а также между духовной и материальной красотой? Какого рода красота свойственна каждому виду искусства? Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться.

Обескураженный сухим, твердым тоном декана, Стивен молчал; и в наступившей тишине с лестницы донесся шум голосов и топот сапог.

— Но предавшись такого рода спекуляциям,— заключил декан,— рискуешь умереть с голоду. Прежде всего вы должны получить диплом. Поставьте это себе первой целью. Затем мало-помалу вы выйдете на свою дорогу. Я говорю в широком смысле — дорогу в жизни и в способе мышления. Возможно, на первых порах она окажется крутой. Вот, скажем, мистер Мунен — ему потребовалось немало времени, прежде чем он достиг вершины. Но тем не менее он ее достиг.

— Возможно, я не обладаю его талантами,— спокойно возразил Стивен.

— Как знать? — живо отозвался декан.— Мы никогда не знаем, что в нас есть. Я бы, во всяком случае, не падал духом. *Per aspera ad astra*¹.

Он быстро отошел от очага и направился на площадку встречать студентов первого курса.

Прислонившись к камину, Стивен слышал, как он одинаково бодро и одинаково безразлично здоровался с каждым в отдельности, и почти видел откровенные усмешки бесцеремонных студентов. Острая жалость, как роса, начала оседать на его легко уязвимое сердце, жа-

¹ Через тернии к звездам (*лат.*).

лость к этому верному служителю рыцарственного Лойолы, к этому сводному брату священнослужителей, более уступчивому, чем они, в выражении своих мыслей, более твердому духом; жалость к священнику, которого он никогда не назовет своим духовным отцом; и он подумал, что этот человек и его собратья заслужили славу пекущихся о мирском не только среди тех, кто забыл о суете мира, но и среди самих мирян, за то, что они на протяжении всей своей истории ратовали перед судом Божьего правосудия за слабые, ленивые, расчетливые души.

О приходе преподавателя возвестил грохот тяжелых сапог, поднявшийся среди студентов, сидевших в верхнем ряду аудитории под серыми, заросшими паутиной окнами. Началась переключка, и ответы звучали на все лады, пока не вызвали Питера Берна.

— Здесь!

Гулкий глубокий бас прозвучал из верхнего ряда, и тотчас же с других скамей послышались протестующие покашливания.

Преподаватель немножко выждал и назвал следующего по списку:

— Крэнли!

Ответа не было.

— Мистер Крэнли!

Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он представил себе занятия друга.

— Поищите его в Лепардстауне¹, — раздался голос со скамейки позади.

Стивен быстро обернулся. Но рылообразная физиономия Мойнихена была невозмутима в тусклом, сером свете. Преподаватель продиктовал формулу. Кругом зашелестели тетради. Стивен снова обернулся и сказал:

— Дайте мне, ради Бога, бумаги.

— Тебе что, приспичило? — с широкой улыбкой спросил Мойнихен.

Он вырвал страницу из своего черновика и, протягивая ее, шепнул:

— По нужде любой мирянин, любая женщина имеют право на это.

Формула, которую Стивен послушно записал на клочке бумаги, сворачивающиеся и разворачивающиеся столбцы вычислений преподавателя, призрачные симво-

¹ Дублинский ипподром.

лы силы и скорости завораживали и утомляли его сознание. Он слышал от кого-то, что старик — атеист и масон. О серый, унылый день! Как будто сознание безболезненно и терпеливо погружается в лимб¹, где в дымчатых сумерках бродят души математиков, перемещающая длинные, стройные построения из одной плоскости в другую и вызывая быстрые вихревые токи, несущиеся к крайним пределам вселенной, огромной, необъятной, недоступной.

Итак, мы должны отличать эллипс от эллипсоида. Наверное, кое-кто из вас, джентльмены, знаком с сочинениями мистера У. Ш. Гильберта². В одной из своих песен он говорит о бильярдном шулере, который осужден играть

На столе кривом
Выгнутым киём
Вытянутым шаром.

Он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я сейчас говорил.

Мойнихен нагнулся к уху Стивена и прошептал:

— Почему теперь эллипсоидальные шарики?! За мной, дамочки, я кавалерист!

Грубый юмор товарища вихрем пронесся по монастырю сознания Стивена, весело встряхнул висевшие на стенах понурые сутаны, заставил их заплясать и замататься в разгульном шабаше. Братья общины выплывали из раздутых вихрем облачений: декан, цветущий дородный эконом в шапке седых волос; ректор, маленький, с гладкими волосами священник, который писал благочестивые стихи; приземистый мужиковатый преподаватель экономики; длинный молодой преподаватель логики, обсуждающий на площадке со своим курсом проблему совести, словно жираф, который ошипывает листву высокого дерева над стадом антилоп; важный и грустный префект братства; пухлый круглоголовый преподаватель итальянского языка с плутоватыми глазками.

¹ Лимб — для католиков промежуточная область между чистилищем и адом, куда попадают после смерти души ветхозаветных праведников и некрещеных детей.

² Уильям Ш. Гильберт (1838—1911) — английский драматург, либреттист, юморист, вместе с композитором Салливаном создал большой репертуар оперетт. Цитируемые ниже строчки — из комической оперы «Микадо» (1885).

Все мчались, спотыкались, кувыркались и прыгали, задирая свои сутаны в лихой чехарде; обнявшись, тряслись в натужном хохоте, шлепали друг друга по заду, потешались своим озорством, фамильярничали и вдруг с видом оскорбленного достоинства, возмущенные каким-нибудь грубым выпадом, украдкой перешептывались, прикрывая рот ладонью.

Преподаватель подошел к стеклянному шкафу у стены, достал с полки комплект катушек, сдул с них пыль, бережно положил на стол и, придерживая одним пальцем, продолжал лекцию. Он объяснил, что проволока на современных катушках делается из сплава, называемого платиноидом, изобретенного недавно Ф. У. Мартино¹.

Он внятно произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихен шепнул сзади:

— Молодец, старик. Фу, Мартино! Мартын скачет, Мартын пляшет...

— Спроси его,— шепнул Стивен с невеселой усмешкой,— не нужен ли ему подопытный субъект для опытов на электрическом стуле? Он может располагать мною.

Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихен привстал со своей скамейки и, беззвучно пощелкивая пальцами правой руки, захныкал голосом озорного мальчишки:

— Сэр, этот мальчик говорит гадкие слова, сэр!

— Платиноид,— внушительно продолжал преподаватель,— предпочитают нейзильберу, потому что у него меньший коэффициент сопротивления при изменении температуры. Для изоляции платиноидной проволоки служит шелк, который наматывается на эбонитовую катушку вот здесь, где находится мой палец. Если бы наматывался голый провод, в катушке индуцировался бы экстраток. Катушку пропитывают горячим парафином.

С нижней скамейки впереди Стивена резкий голос с ольстерским акцентом спросил:

— Разве нас будут экзаменовать по прикладным наукам?

Преподаватель начал жонглировать понятиями: чистая наука — прикладная наука. Толстый студент в золотых очках посмотрел несколько удивленно на задавшего вопрос. Мойнихен сзади шепнул своим обычным голосом:

¹ Ф. У. Мартино (1863—?) — американский химик.

— Вот черт, этот Макалистер умеет урвать свой фунт мяса¹.

Стивен холодно взглянул вниз на продолговатый череп с космами цвета пакли. Голос, акцент, характер задавшего вопрос раздражали его, он дал волю своему раздражению и с сознательным недоброжелательством подумал, что отец этого студента поступил бы разумнее, если бы отправил своего сына учиться в Белфаст² и тем самым сэкономил бы на проезде.

Продолговатый череп не обернулся навстречу мысленно пущенной в него стреле Стивена, и она не долетела до цели, а вернулась в свою тетиву, потому что перед ним вдруг мелькнуло бескровное лицо студента.

«Эта мысль не моя,— быстро пронеслось в уме Стивена.— Ее мне внушил фигляр-ирландец на скамейке позади меня. Терпение. Можешь ли ты с уверенностью сказать, кто торговал душой твоего народа и предал его избранников: тот, кто вопрошал, или тот, кто потом издевался? Терпение. Вспомни Эпиктета. Наверное, это в характере Макалистера: задать такой вопрос в такой момент и сделать неправильное ударение — «приклáд-ными»?»

Монотонный голос преподавателя продолжал медленно гудеть вокруг катушек, о которых он рассказывал, удваивая, утраивая, учетверяя свою снотворную энергию, между тем как катушки умножали свои омы сопротивления.

Голос Мойнихена позади откликнулся на отдаленный звонок:

— Закрываем лавочку, джентльмены!

В холле было тесно и шумно. На столе около двери стояли два портрета в рамках, и между ними лежал длинный лист бумаги с неровными столбцами подписей. Макканн проворно сновал среди студентов, болтая без умолку, возражая отказывающимся, и одного за другим подводил к столу. В глубине холла стоял декан, он разговаривал с молодым преподавателем, важно поглаживая подбородок, и кивал головой.

Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широких опущенных полей мягкой шляпы темные глаза Крэнли наблюдали за ним.

¹ Скрытая цитата из «Венецианского купца» В. Шекспира.

² Королевский колледж в Белфасте был известен своими проанглийскими настроениями.

— Ты подписал? — спросил Стивен.

Крэнли поджал свои тонкие губы, подумал секунду и ответил:

— Ego habeo¹.

— А что это?

— Quod².

— А это что?

Крэнли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и грустно:

— Per raх universalis³.

Стивен показал пальцем на фотографию царя⁴ и сказал:

— У него лицо пьяного Христа.

Раздражение и ярость, звучавшие в его голосе, заставили Крэнли оторваться от спокойного созерцания стен холла.

— Ты чем-то недоволен?

— Нет,— ответил Стивен.

— В плохом настроении?

— Нет.

— Credo ut vos sanguinarius estis,— сказал Крэнли,— quia facies vostra monstrat ut vos in damno malo humore estis⁵.

Мойнихен, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо:

— Макканн при полном параде. Остается добавить последнюю каплю, и готово. Новенький, с иголки мир. Никаких горячительных и право голоса сукам⁶.

Стивен усмехнулся доверительному тону сообщения и, когда Мойнихен отошел, снова повернул голову и встретил взгляд Крэнли.

— Может быть, ты объяснишь,— спросил он,— почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо? Ну, объясни.

Мрачная складка появилась на лбу Крэнли. Он посмотрел на стол, над которым нагнулся Мойнихен, чтобы подписаться, и сурово отрезал:

— Подлипала.

¹ Подписал (лат.).

² Что (лат.).

³ За всеобщий мир (лат.).

⁴ Фотография Николая II, обратившегося в 1898 г. с циркулярной нотой об установлении «вечного мира».

⁵ Думаю, что вы отъявленный лжец: по вашему лицу видно, что вы в чертовски отвратительном настроении (лат.).

⁶ Имеются в виду проводившиеся в то время реформы; сухой закон и предоставление избирательного права женщинам.

— Quis est in malo humore,— сказал Стивен,— ego aut vos?¹

Крэнли не ответил на подтрунивание. Он мрачно обдумывал, что бы еще добавить, и повторил с той же категоричностью:

— Самый что ни на есть гнусный подлипала!

Это было его обычной эпитафией, когда он ставил крест на похороненной дружбе, и Стивен подумал, не произнесется ли она когда-нибудь в память и ему, и таким же тоном. Тяжелая, неуклюжая фраза медленно оседала, исчезая из его слуха, проваливаясь, точно камень в трясину. Стивен следил, как она оседает, так же, как когда-то оседали другие, и чувствовал ее тяжесть на сердце. Крэнли, в отличие от Дейвина, не прибегал в разговоре ни к редкостным староанглийским оборотам елизаветинского времени, ни к забавно переименованным на английский манер ирландским выражениям. Его протяжный говор был эхом дублинских набережных, перекликающимся с мрачной, запустелой гаванью, его выразительность — эхом церковного красноречия Дублина, звучащим с амвона в Уиклоу².

Угрюмая складка исчезла со лба Крэнли, когда он увидел Макканна, быстро приближающегося к ним с другого конца холла.

— Вот и вы! — сказал Макканн весело.

— Вот и я, — сказал Стивен.

— Как всегда с опозданием. Не могли бы вы совмещать ваши успехи с некоторой долей уважения к точности?

— Этот вопрос не стоит в повестке дня, — сказал Стивен. — Переходите к делу.

Его улыбающиеся глаза были устремлены на плитку молочного шоколада в серебряной обертке, высовывающуюся из верхнего кармана куртки пропагандиста. Вокруг них собрался небольшой кружок слушателей, жаждущих присутствовать при состязании умов. Худощавый студент с оливковой кожей и гладкими черными волосами, просунув между ними голову, переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь открытым влажным ртом поймать на лету каждое слово. Крэнли вытащил из кармана маленький серый мячик и, вертя в руках, начал пристально осматривать его со всех сторон.

¹ Кто в плохом настроении — я или вы? (лат.)

² Небольшой городок в Ирландии, откуда родом Крэнли.

— К делу! — сказал Макканн.— Хм!

Он громко хохотнул, улыбнулся во весь рот и дважды дернул себя за соломенного цвета бородку, свисавшую с его квадратного подбородка.

— А дело-то в том, чтобы подписать декларацию.

— Вы мне заплатите, если я подпишу? — спросил Стивен.

— Я думал, вы идеалист,— сказал Макканн.

Студент, похожий на цыгана, обернулся и, поглядывая на окружающих, сказал невнятным блеющим голосом:

— Станный подход, черт возьми! По-моему, это корыстный подход.

Его голос заглох в тишине. Никто не обратил внимания на слова этого студента. Он повернул свое оливковое лошадиное лицо к Стивену, словно предлагая ему ответить.

Макканн весьма бойко начал распространяться о царском рескрипте, о Стеде¹, о всеобщем разоружении, об арбитраже в случае международных конфликтов, о знамениях времени, о новом гуманизме, о новой этике, которая возложит на общество долг обеспечить с наименьшей затратой наибольшее счастье наибольшему количеству людей.

Студент, похожий на цыгана, заключил эту речь возгласом:

— Трижды ура — за всемирное братство!

— Валяй, валяй, Темпл,— сказал стоявший рядом дюжий румяный студент.— Я тебе потом пинту поставлю.

— Я за всемирное братство! — кричал Темпл, поглядывая по сторонам темными продолговатыми глазами.— А Маркс — это все чепуха.

Крэнли крепко схватил его за руку, чтобы он придержал язык, и с вымученной улыбкой повторил несколько раз:

— Полегче, полегче, полегче!

Темпл, стараясь высвободить руку, кричал с пеной у рта:

¹ Уильям Томас Стед (1849—1912) — английский журналист и политический деятель, в 90-х годах был приверженцем мира, одним из инициаторов создания Соединенных Штатов Европы.

— Социализм был основан ирландцем¹, и первым человеком в Европе, проповедовавшим свободу мысли, был Коллинз². Двести лет тому назад этот мидлессекский философ разоблачил духовенство. Ура Джону Энтони Коллинзу!

Тонкий голос из дальнего ряда ответил:

— Гип-гип ура!

Мойнихен прошептал Стивену на ухо:

— А как насчет бедной сестренки Джона Энтони:

Лотти Коллинз без штанишек,
Одолжите ей свои?

Стивен рассмеялся, и польщенный Мойнихен зашептал снова:

— На Джоне Энтони Коллинзе, сколько ни поставь, всегда заработаешь пять шиллингов.

— Жду вашего ответа,— коротко сказал Макканн.

— Меня этот вопрос нисколько не интересует,— устало сказал Стивен.— Вам ведь это хорошо известно. Чего ради вы затеяли спор?

— Прекрасно,— сказал Макканн, чмокнув губами.— Так, значит, вы реакционер?

— Вы думаете, на меня может произвести впечатление ваше размахивание деревянной шпагой? — спросил Стивен.

— Метафоры! — резко сказал Макканн.— Давайте ближе к делу.

Стивен вспыхнул и отвернулся. Но Макканн не унимался.

— Посредственные поэты, надо полагать, ставят себя выше столь пустяковых вопросов, как вопрос всеобщего мира,— продолжал он вызывающим тоном.

Крэнли поднял голову и, держа свой меч, словно миротворящую жертву между обоими студентами, сказал:

— *Rex super totum sanguinarium globum*³.

Отстранив стоявших рядом, Стивен сердито дернул плечом в сторону портрета царя и сказал:

¹ Преувеличение и упрощение фактов. Имеется в виду Джеймс О'Брайен (1803—1864) — ирландский адвокат и реформатор, участник чартистского движения. Боролся за идеалы социализма.

² Джон Энтони Коллинз (1676—1729) — английский философ, последователь Локка, деист, проповедник свободомыслия.

³ Мир во всем кроважном мире (*лат.*).

— Держитесь за вашу икону. Если уж вам так нужен Иисус, пусть это будет Иисус узаконенный.

— Вот это, черт возьми, здорово сказано,— заговорил цыганистый студент, оглядываясь по сторонам.— Отлично сказано. Мне очень нравится ваше высказывание.

Он проглотил слюну, словно глотая фразу, и, схватившись за козырек своей кепки, обратился к Стивену:

— Простите, сэр, а что именно вы хотели этим сказать?

Чувствуя, что его толкают стоящие рядом студенты, он обернулся и продолжал:

— Мне интересно узнать, что он хотел выразить этими словами.

Потом снова повернулся к Стивену и проговорил шепотом:

— Вы верите в Иисуса? Я верю в человека. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в человека. Я восхищаюсь вами, сэр. Я восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий. Скажите, вы так и мыслите о разуме Иисуса?

— Валяй, валяй, Темпл!— сказал дюжий румяный студент, который всегда по нескольку раз повторял одно и то же.— Пинта за мной.

— Он думает, что я болван,— пояснил Темпл Стивену,— потому что я верю в силу разума.

Крэнли взял под руки Стивена и его поклонника и сказал:

— *Nos ad manum ballum jocabimus!*

Выходя из зала, Стивен взглянул на покрасневшее топорное лицо Макканна.

— Моя подпись не имеет значения,— сказал он вежливо.— Вы вправе идти своей дорогой, но и мне предоставьте идти моей.

— Дедал,— сказал Макканн прерывающимся голосом.— Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности.

Чей-то голос сказал:

— Интеллектуальным вывертам не место в этом движении.

Стивен узнал резкий голос Макалистера, но не обернулся в его сторону. Крэнли с торжественным видом

¹ Давайте сыграем в мяч (лат.).

проталкивался сквозь толпу студентов, держа под руки Стивена и Темпла, подобно шествующему в алтарь священнослужителю, сопровождаемому младшими чинами.

Темпл, живо наклонившись к Стивену, сказал:

— Вы слышали, что сказал Макалистер? Этот малый завидует вам. Вы заметили? Держу пари, что Крэнли этого не заметил, а я, черт возьми, сразу заметил.

Проходя через холл, они увидели, как декан пытался отделаться от студента, завязавшего с ним разговор. Он стоял у лестницы, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку, подобрав с женской заботливостью свою поношенную сутану, и, кивая то и дело, повторял:

— Вне всякого сомнения, мистер Хэккет! Да, да, вне всякого сомнения.

Посреди холла префект братства внушительно, тихим недовольным голосом беседовал с каким-то студентом. Разговаривая, он слегка морщил свой веснушчатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш.

— Я надеюсь, что первокурсники все пойдут. За второй курс можно ручаться. За третий тоже. А что касается новичков, не знаю.

В дверях Темпл опять наклонился к Стивену и торопливо зашептал:

— Вы знаете, что он женат? Он уже был женат, прежде чем перешел в католичество. У него где-то жена и дети. Вот, черт возьми, странная история. А?

Его шепот перешел в хитрое кудахтающее хихиканье. Как только они очутились за дверью, Крэнли грубо схватил его за шиворот и начал трясти, приговаривая:

— Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин! На смертном одре готов поклясться, что во всем сволочном мире, понимаешь, в целом мире нет другой такой паршивой обезьяны, как ты!

Изворачиваясь, Темпл продолжал хитренько, самодовольно хихикать, а Крэнли тупо твердил при каждом встряхивании:

— Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин!..

Они прошли запущенным садом; на одной из дорожек увидели ректора, который, закутавшись в тяжелый широкий плащ, шел им навстречу, читая молитвы. В конце дорожки, прежде чем повернуть, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему, Темпл, как и

прежде, притронувшись к козырьку кепки. Пошли дальше молча. Когда они подходили к площадке, Стивен услышал глухие удары игроков, влажные шлепки мячей и голос Дейвина, что-то возбужденно вскрикивающего при каждом ударе.

Все трое остановились у ящика, на котором сидел Дейвин, наблюдавший за игрой. Через несколько секунд Темпл бочком подошел к Стивену и сказал:

— Прости, я хотел спросить тебя, как ты считаешь, Жан-Жак Руссо был искренний человек?

Стивен невольно расхохотался. Крэнли схватил валяющуюся в траве у него под ногами сломанную бочарную доску, быстро обернулся и грозно сказал:

— Темпл, клянусь Богом, если ты произнесешь еще хоть одно слово, я тебя тут же прикончу *super spottum*¹.

— Вероятно,— сказал Стивен.— Он, как и ты, был эмоциональный человек.

— А, ну его ко всем чертям! — отрезал Крэнли.— Что с таким разговаривать. Все равно что с вонючим ночным горшком! Катись, Темпл. Катись отсюда! Катись к черту!

— Плевать я на тебя хотел, Крэнли,— ответил Темпл, шарахаясь в сторону от поднятой доски и указывая на Стивена.— Вот единственный человек в этом заведении, у которого индивидуальный образ мыслей.

— Заведение! Индивидуальный! — воскликнул Крэнли.— Пошел ты отсюда, черт тебя побери. Вот безнадежный идиот!

— Я эмоциональный человек,— сказал Темпл.— Это очень верно сказано. И я горжусь тем, что живу во власти эмоции.

Он отошел бочком, зашагал по площадке, лукаво посмеиваясь. Крэнли смотрел ему вслед пустым, застывшим взглядом.

— Вы только посмотрите на него,— сказал он.— Видели вы когда-нибудь подобного мерзавца?

Фраза его была встречена странным хохотом студента в низко надвинутой на глаза кепке, который стоял, прислонясь к стене. Смех был писклявый и исходил из такого огромного тела, что казалось, это повизгивает слон. Все тело студента ходило ходуном, от удовольствия он потирал руки в паху.

¹ На месте (*школьная латынь*).

— Линч проснулся,— сказал Крэнли.

В ответ на это Линч выпрямился и выпятил грудь.

— Линч выпячивает грудь в знак критического отношения к жизни,— сказал Стивен.

Линч звучно хлопнул себя по груди и сказал:

— У кого есть возражения против моей фигуры?

Крэнли поймал его на слове, и они начали бороться. Когда лица у них покраснели от напряжения, они разошлись, тяжело дыша. Стивен наклонился к Дейвину, который, увлеченно следя за игрой, не обращал внимания на разговоры вокруг.

— А как мой ручной гусек? — спросил Стивен.— То же подписал?

Дейвин кивнул и сказал:

— А ты, Стиви?

Стивен отрицательно покачал головой.

— Ужасный ты человек, Стиви,— сказал Дейвин, вынимая трубку изо рта,— всегда один.

— Теперь, когда ты подписал петицию о всеобщем мире,— сказал Стивен,— я думаю, ты сожжешь ту маленькую тетрадку, которую я у тебя видел.

И так как Дейвин промолчал, Стивен начал цитировать:

— Фианна¹, шагом марш! Фианна, правое плечо вперед! Фианна, отдать честь, по номерам рассчитайсь, раз, два!

— Это другое дело,— сказал Дейвин.— Прежде всего я ирландский националист. А вот ты от всего в стороне. Ты, Стиви, уродился зубоскалом.

— Когда вы поднимете очередное восстание, вооружась клюшками,— сказал Стивен,— и вам понадобится осведомитель, скажи мне и я подыщу тебе парочку у нас в колледже.

— Никак я тебя не пойму,— сказал Дейвин.— То ты поносишь английскую литературу, то ирландских осведомителей. И имя у тебя какое-то такое... и все эти твои рассуждения. Да ирландец ты или нет?

— Пойдем со мной в архив, я тебе покажу родословную моей семьи,— сказал Стивен.

— Тогда будь с нами,— сказал Дейвин.— Почему ты

¹ «Фианна!» — боевой клич фениев. Джойс намекает на симпатии Дейвина к фениям.

не изучаешь ирландский язык? Почему ты вышел из лиги¹ после первого занятия?

— Одна причина тебе известна,— ответил Стивен.

Дейвин покачал головой и засмеялся.

— Да ну, брось,— сказал он.— Это из-за той молодой девицы и отца Морена? Да ведь ты все это выдумал, Стиви. Они просто разговаривали и смеялись.

Стивен помолчал и дружески положил руку Дейвину на плечо.

— Помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились,— сказал он,— когда мы встретились в первый раз и ты спросил меня, где занимаются первокурсники, и еще сделал ударение на первом слоге? Помнишь? Ты тогда всех иезуитов без разбору называл «отцами». Иногда я спрашиваю себя: «Такой же ли он бесхитростный, как его язык?»

— Я простой человек,— сказал Дейвин.— Ты знаешь это. Когда ты мне в тот вечер на Харкорт-стрит рассказал о своей жизни, честное слово, Стивен, я потом есть не мог. Я прямо заболел. И заснуть никак не мог в ту ночь. Зачем ты мне рассказывал это?

— Вот спасибо,— сказал Стивен.— Ты намекаешь, что я чудовище.

— Нет,— сказал Дейвин.— Но не надо было это рассказывать.

Сохраняя внешнее дружелюбие, Стивен начал мысленно вскипать.

— Этот народ, эта страна и эта жизнь породили меня,— сказал он.— Такой я есть, и таким я буду.

— Попробуй примкнуть к нам,— повторил Дейвин.— В душе ты ирландец, но тебя одолевает гордыня.

— Мои предки отреклись от своего языка и приняли другой,— сказал Стивен.— Они позволили кучке чужеземцев поработить себя. Что же, прикажешь мне собственной жизнью и самим собой расплачиваться за их долги? Ради чего?

— Ради нашей свободы,— сказал Дейвин.

— Со времен Тона до времени Парнелла,— сказал Стивен,— не было ни одного честного, искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, молодость и любовь, которого вы бы не предали, не бросили в час нужды, не

¹ Имеется в виду Гэльская лига.

облили помоями, которому вы бы не изменили. И ты предлагаешь мне быть с вами! Да будьте вы прокляты!

— Они погибли за свои идеалы, Стивен,— сказал Дейвин.— Но придет и наш день, поверь мне.

Поглощенный своими мыслями, Стивен помолчал минуту.

— Душа рождается,— начал он задумчиво,— именно в те минуты, о которых я тебе говорил. Это медленное и темное рождение, более таинственное, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается в этой стране, на нее набрасываются сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, религии, языке. Я постараюсь избежать этих сетей.

Дейвин выбил пепел из своей трубки.

— Слишком заумно для меня, Стивен,— сказал он.— Но родина прежде всего. Ирландия прежде всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом.

— Знаешь, что такое Ирландия? — спросил Стивен с холодной яростью.— Ирландия — это старая свинья, пожирающая свой помет.

Дейвин поднялся с ящика и, грустно покачивая головой, направился к играющим. Но через какую-нибудь минуту грусть его прошла и он уже горячо спорил с Крэнли и с двумя игроками, только что кончившими партию. Они сговорились на партию вчетвером, но Крэнли настаивал, чтобы играли его мячом. Он ударил им два-три раза о землю, а потом ловко и сильно запустил его в дальний конец площадки, крикнув при этом:

— Душу твою!..

Стивен стоял рядом с Линчем, пока счет не начал расти. Тогда он потянул Линча за рукав, увлекая его за собой. Линч подчинился ему и сказал, поддразнивая:

— Изыдем, как выражается Крэнли.

Стивен улыбнулся этой шпильке.

Они вернулись садом и прошли через холл, где дряхлый, трясущийся швейцар прикалывал какое-то объявление на доску. У лестницы оба остановились, и Стивен, вынув пачку сигарет из кармана, предложил своему спутнику закурить.

— Я знаю, ты без гроша,— сказал он.

— Ах ты нахал мерзопакостный! — ответил Линч.

Это вторичное доказательство речевого богатства Линча снова вызвало улыбку у Стивена.

— Счастливым днем для европейской культуры,— сказал он,— когда слово «мерзопакостный» стало твоим любимым ругательством.

Они закурили и пошли направо. Помолчав, Стивен сказал:

— Аристотель не дает определений сострадания и страха. Я даю. Я считаю...

Линч остановился и бесцеремонно прервал его:

— Хватит! Не желаю слушать! Тошнит. Вчера вечером мы с Хореном и Гоггинсом мерзопакостно напились.

Стивен продолжал:

— Сострадание — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и соединяет нас с терпящими бедствие. Страх — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину.

— Повтори,— сказал Линч.

Стивен медленно повторил определения.

— На днях в Лондоне,— продолжал он,— молодая девушка села в кеб. Она ехала встречать мать, с которой не виделась много лет. На углу какой-то улицы оглобля повозки разбивает в мелкие осколки окна кеба, длинный, как игла, осколок разбитого стекла пронзает сердце девушки. Она тут же умирает. Репортер называет это трагической смертью. Это неверно. Это не соответствует моим определениям сострадания и страха.

Чувство трагического, по сути дела,— это лицо, обращенное в обе стороны, к страху и к состраданию, каждая из которых — его фаза. Ты заметил, я употребил слово *останавливает*. Тем самым я подчеркиваю, что трагическая эмоция статична. Вернее, драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны: это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть. Отвращение побуждает покинуть, отвергнуть. Искусства, вызывающие эти чувства,— порнография и дидактика — неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство статично. Мысль останавливается и парит над влечением и отвращением.

— Ты говоришь, что искусство не должно возбуждать влечения,— сказал Линч.— Помню, я однажды те-

бе рассказывал, что в музее написал карандашом свое имя на заднице Венеры. Разве это не влечение?

— Я имею в виду нормальные натуры,— сказал Стивен.— Ты еще рассказывал мне, как ел коровий навоз в своей распрекрасной кармелитской¹ школе.

Линч снова заржал и потер в паху руку об руку, не вынимая их из карманов.

— Да, было такое дело! — воскликнул он.

Стивен повернулся к своему спутнику и секунду смотрел ему прямо в глаза. Линч перестал смеяться и униженно встретил этот взгляд. Длинная, узкая, сплюснутая голова под кепкой с длинным козырьком напоминала какое-то пресмыкающееся. Да и глаза тусклым блеском и неподвижностью взгляда тоже напоминали змеиные. Но в эту минуту в их униженном, настороженном взоре светилась одна человеческая точка — окно съездившейся души, несчастной, измученной и жестокой.

— Что до этого,— как бы между прочим, вежливо заметил Стивен,— все мы животные. И я тоже.

— Да, и ты,— сказал Линч.

— Но мы сейчас пребываем в мире духовного,— продолжал Стивен.— Влечение и отвращение, вызываемые не подлинными эстетическими средствами, нельзя назвать эстетическими чувствами не только потому, что они кинетичны по своей природе, но и потому, что они сводятся всего-навсего к физическому ощущению. Наша плоть сжимается, когда ее что-то страшит, и отвечает, когда ее что-то влечет произвольной реакцией нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаем, что мошка вот-вот попадет в глаз.

— Не всегда,— иронически заметил Линч.

— Таким образом,— продолжал Стивен,— твоя плоть ответила на импульс, которым для тебя оказалась обнаженная статуя, но это, повторяю, произвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может возбудить в нас кинетической эмоции или ощущения, которое можно было бы назвать чисто физическим. Она возбуждает или должна возбуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис — идеальное сострадание или идеальный страх,— статис,

¹ Кармелиты — католический орден.

который возникает, длится и наконец разрешается в том, что я называю ритмом красоты.

— А это еще что такое? — спросил Линч.

— Ритм,— сказал Стивен,— это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом в любом эстетическом целом, или отношение эстетического целого к его части или частям, или любой части эстетического целого ко всему целому.

— Если это ритм,— сказал Линч,— тогда изволь пояснить, что ты называешь красотой. И не забывай, пожалуйста, что хоть мне когда-то и случалось есть навозные лепешки, все же я преклоняюсь только перед красотой.

Точно приветствуя кого-то, Стивен приподнял кепку. Потом, чуть-чуть покраснев, взял Линча за рукав его твидовой куртки.

— Мы правы,— сказал он,— а другие ошибаются. Говорить об этих вещах, стараться постичь их природу и, постигнув ее, пытаться медленно, смиренно и упорно выразить, создать из грубой земли или из того, что она дает: из ощущений звука, формы или цвета, этих тюремных врат нашей души,— образ красоты, которую мы постигли,— вот что такое искусство.

Они приблизились к мосту над каналом и, свернув с дороги, пошли под деревьями. Грязно-серый свет, отражающийся в стоячей воде, и запах мокрых веток над их головами — все, казалось, восставало против образа мыслей Стивена.

— Но ты не ответил на мой вопрос,— сказал Линч,— что такое искусство? Что такое выраженная им красота?

— Это было первым определением, которое я тебе дал, несчастное, тупоголовое животное,— сказал Стивен,— когда я только пытался продумать данный вопрос для себя. Помнишь тот вечер? Крэнли еще разозлился и начал рассказывать об уиклоуских окоороках.

— Помню,— сказал Линч.— Помню, как он рассказывал об этих проклятых жирных свиньях.

— Искусство,— сказал Стивен,— это способность человека к рациональному или чувственному восприятию предмета с эстетической целью. О свиньях помнишь, а про это забыл. Безнадежная вы пара — ты и Крэнли.

Глядя в серое суровое небо, Линч скорчил гримасу и сказал:

— Если я обречен слушать твою эстетическую философию, дай мне, по крайней мере, еще сигарету. Меня это совсем не интересует. Даже женщины меня не интересуют. Ну вас к черту! Пошли вы все! Мне нужна работа на пятьсот фунтов в год. Но ты ведь мне такой не достанешь.

Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю оставшуюся там сигарету и сказал:

— Продолжай.

— Фома Аквинский утверждает,— сказал Стивен,— что прекрасно то, восприятие чего нам приятно.

Линч кивнул.

— Помню,— сказал он.— *Pulchra sunt quae visa placent.*

— Он употребляет слово *visa*,— продолжал Стивен,— подразумевая под ним всякое эстетическое восприятие: зрение, слух или какие-либо другие виды восприятия. Это слово, как бы оно ни было неопределенно, все же достаточно ясно, чтобы исключить понятия хорошего и дурного, которые вызывают в нас влечение и отвращение. Безусловно, это слово подразумевает стасис, а не кинесис. А что такое истина? Она тоже вызывает стасис сознания. Ты бы не написал карандашом свое имя на гипотенузе прямоугольного треугольника.

— Нет,— сказал Линч,— мне подавай гипотенузу Венеры.

— Итак, следовательно, истина статична. Кажется, Платон говорит, что прекрасное — сияние истины. Не думаю, что это имеет какой-нибудь иной смысл, кроме того, что истина и прекрасное тождественны. Истина познается разумом, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере умопостигаемого; прекрасное воспринимается воображением, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере чувственно постигаемого. Первый шаг на пути к истине — постичь пределы и возможности разума, понять самый акт познания. Вся философская система Аристотеля опирается на его сочинение о психологии, которое в свою очередь опирается на его утверждение, что один и тот же атрибут не может одновременно и в одной и той же связи принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте — постичь пределы и возможности воображения, понять самый акт эстетического восприятия. Ясно?

— Но что же такое красота? — нетерпеливо спросил Линч.— Дай какое-нибудь другое определение. То, на что приятно смотреть? Неужели это все, на что способен ты со своим Фомой Аквинским?

— Возьмем женщину,— сказал Стивен.

— Возьмем,— с жаром подхватил Линч.

— Греки, турки, китайцы, копты, готтентоты — у каждого свой идеал женской красоты,— сказал Стивен.— Это похоже на лабиринт, из которого нельзя выбраться. Однако я вижу из него два выхода. Первая гипотеза: всякое физическое качество женщины, вызывающее восхищение мужчины, находится в прямой связи с ее многообразными функциями продолжения рода. Возможно, это так. Жизнь гораздо скучнее, чем ты ее себе представляешь, Линч. Но мне этот выход не нравится. Он ведет скорее к евгенике¹, чем к эстетике. Он ведет тебя прямо из лабиринта в новенькую, безвкусно выкрашенную аудиторию, где Макканн, держа одну руку на «Происхождении видов», а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любишься пышными бедрами Венеры, так как знаешь, что она принесет тебе здоровое потомство, любишься ее пышными грудями, так как знаешь, что она будет давать хорошее молоко твоим и своим детям.

— Архи-вонюче-мерзопакостный враль этот Макканни! — убежденно сказал Линч.

— Остается другой выход,— смеясь сказал Стивен.

— А именно? — спросил Линч.

— Еще одна гипотеза... — начал Стивен.

Длинная подвода, груженная железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана², заглушив конец фразы Стивена гулким грохотом дребезжащего, громяющего металла. Линч заткнул уши и чертыхался до тех пор, пока подвода не проехала. Потом резко повернул назад. Стивен тоже повернулся и, выждав несколько секунд, пока раздражение его спутника не улеглось, продолжал:

— Эта гипотеза предлагает обратное. Хотя один и тот же объект кажется прекрасным далеко не всем, однако всякий любующийся прекрасным объектом нахо-

¹ Евгеника — дисциплина, рассматривающая пути улучшения наследственности человека.

² Патрик Дан (1642—1713) — известный ирландский врач и политический деятель.

дит в нем известное благоприятное соотношение, соответствующее тем или иным стадиям эстетического восприятия. Это соотношение чувственно постигаемого, видимое тебе в одной форме, а мне в другой, является, таким образом, необходимым качеством прекрасного. Теперь мы можем снова обратиться к нашему старому другу Фоме и выжать из него еще на полпенни мудрости.

Линч расхохотался.

— Забавно,— сказал он,— что ты его поминаешь на каждом шагу, точно какой-нибудь веселый пузатый монах. Ты это серьезно?

— Макалистер,— ответил Стивен,— назвал бы мою эстетическую теорию прикладным Фомой Аквинским. В том, что в философии касается эстетики, я безоговорочно следую за Аквинским. Но, когда мы подойдем к феномену художественного замысла, к тому, как он вынашивается и воплощается, мне потребуются новая терминология и новый личный опыт.

— Конечно,— сказал Линч,— ведь Аквинский, несмотря на весь свой ум, в сущности, только благодушный пузатый монах. Но о новом личном опыте и о новой терминологии ты расскажешь мне как-нибудь в другой раз. Кончай-ка поскорей первую часть.

— Кто знает,— сказал Стивен улыбаясь,— возможно, Аквинский понял бы меня лучше, чем ты. Он был поэт. Это он сочинил гимн, который поют в страстной четверг. Гимн начинается словами: *Pange, lingua, gloriosi*¹, и недаром его считают лучшим из славословий. Это сложный, приносящий глубокое утешение гимн. Я люблю его. Но все же никакой гимн не может сравниться со скорбным, величественным песнопением крестного хода Венанция Фортуната².

Линч запел тихо и торжественно глубоким, низким басом:

*Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine*

¹ *Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium...* — Славь, мой язык, тайну преславного тела... (лат.)

² *Vexilla Regis prodeunt* — Се грядут царские хоругви (лат.). Венанций Фортунат (530—603) — поэт раннего средневековья, под конец жизни — епископ в Пуатье.

Dicendo nationibus
Regnavit a ligno Deus¹.

— Здорово,— с восторгом заключил он.— Вот это музыка!

Они свернули на Нижнюю Маунт-стрит. И едва прошли несколько шагов от угла, как с ними поздоровался толстый молодой человек в шелковом кашне.

— Слышали о результатах экзаменов? — спросил он.— Гриффин провалился, Хэлпин и О'Флинн выдержали по отделению гражданского ведомства. Мунен по индийскому ведомству прошел пятым. О'Шоннеси — четырнадцатым. Ирландцы, работающие у Кларка², устроили им пирушку, и все ели кэрри³.

Его бледное, отекавшее лицо выражало добродушное злорадство, и, по мере того как он выкладывал новости, маленькие заплывшие жиром глазки как будто совсем исчезали, а тонкий свистящий голос становился еле слышен.

В ответ на вопрос Стивена глаза и голос снова вынырнули из своих тайников.

— Да, Маккалли и я,— сказал он.— Маккалли выбрал теоретическую математику, а я — естественную историю. Там двадцать предметов в программе. Еще я выбрал ботанику. Вы ведь знаете — я теперь член полевого клуба.

Он величественно отступил на шаг, положил пухлую в шерстяной перчатке руку на грудь, откуда тотчас же вырвался сдавленный свистящий смех.

— В следующий раз, когда поедешь на поле, привези нам репы и лука,— мрачно сказал Стивен,— мы приготовим тушеное мясо.

¹ Исполнились Давидовы пророчества.

В правдивых песнопениях
Языком возвещавшие народам:
Бог с древа правит нами (*лат.*).

² Том Кларк (? — 1916) — владелец табачного магазина в Дублине, где нелегально продавалось оружие фениям. Принял участие в Пасхальном восстании 1916 г. Расстрелян вместе с другими повстанцами.

³ Кэрри — национальное индийское кушанье. Джойс иронизирует над ирландскими националистами, которые вопреки своей программе панирландизма, стремились получить работу в Англии или ее колониях и, даже развлекаясь, ели не ирландское национальное блюдо, но иностранное.

Толстый студент снисходительно засмеялся и сказал:
— У нас очень почтенная публика в полевом клубе.
Прошлую субботу мы, всемером, ездили в Гленмалюр¹.

— С женщинами, Доновен? — спросил Линч.

Доновен опять положил руку на грудь и сказал:

— Наша цель — приобретать знания.

И тут же быстро добавил:

— Я слышал, ты пишешь доклад по эстетике?

Стивен ответил неопределенно-отрицательным жестом.

— Гете и Лессинг много писали на эту тему, — сказал Доновен. — Классическая школа и романтическая школа и все прочее. Меня очень заинтересовал «Лаокоон». Конечно, это идеалистично, чисто по-немецки и слишком уж глубоко...

Никто ему не ответил. Доновен вежливо простился с ними.

— Ну, я удаляюсь, — сказал он мягко и благодушно. — У меня сильное подозрение, почти граничащее с уверенностью, что сестрица готовит сегодня блинчики к семейному обеду Доновенов.

— До свидания, — сказал Стивен ему вдогонку, — не забудь про репу и лук.

Глядя ему вслед, Линч медленно, презрительно скривил губы, и лицо его стало похоже на дьявольскую маску.

— Подумать только, что это мерзопакостное, блинчиковядное дерьмо может хорошо устроиться, — наконец сказал он, — а я должен курить грошовые сигареты.

Они повернули к Меррион-сквер и некоторое время шли молча.

— Чтобы закончить то, что я говорил о красоте, — продолжал Стивен, — скажу, что наиболее благоприятные отношения чувственно постигаемого должны, таким образом, соответствовать необходимым фазам художественного восприятия. Найди их, и ты найдешь свойства абсолютной красоты. Фома Аквинский говорит: «*Ad pulcritudinem tria requiruntur integritas, consonantia, claritas*». Я перевожу это так: «Три условия требуются для красоты: целостность, гармония, сияние». Соответствует ли это фазам восприятия? Тебе понятно?

— Конечно, — сказал Линч. — Если ты думаешь, что

¹ Гленмалюр — парк в южной части Дублина.

у меня мозги из дерьма, поди догони Доновена, попроси его тебя послушать.

Стивен показал на корзинку, которую разносчик из мясной лавки, перевернув ее вверх дном, надел на голову.

— Посмотри на эту корзинку,— сказал он.

— Ну, вижу,— ответил Линч.

— Для того, чтобы увидеть эту корзинку,— сказал Стивен,— твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия— это линия, ограничивающая воспринимаемый объект. Эстетический образ дается нам в пространстве или во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени, то, что воспринимается зрением,— в пространстве. Но— временной или пространственный— эстетический образ прежде всего воспринимается отчетливо как самоограниченный и самодовлеющий на необъятном фоне пространства или времени, которые не суть он. Ты воспринимаешь его как единую вещь. Видишь как одно целое. Воспринимаешь его как *целостность*. Это и есть *integritas*.

— В самое яблочко,— смеясь сказал Линч.— Валяй дальше.

— Затем,— продолжал Стивен,— ты переходишь от одной точки к другой, следуя за очертаниями формы, и постигаешь предмет в равновесии частей, заключенных внутри его пределов. Ты чувствуешь ритм его строения. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав вначале, что это нечто *целостное*, ты чувствуешь теперь, что это *нечто*. Ты воспринимаешь его как согласованное единство, сложное, делимое, отделяемое, состоящее из частей, как результат этих частей, их сумму, как нечто гармоничное. Это будет *consonantia*.

— В самое яблочко,— смеясь сказал Линч.— Объясни мне теперь про *claritas*, и за мной сигара.

— Значение этого слова не совсем ясно,— сказал Стивен.— Фома Аквинский употребляет термин, который мне кажется неточным. Долгое время он сбивал меня с толку. По его определению получалось, что он говорит об идеализме и символизме и что высшее свойство красоты— свет, исходящий из какого-то иного мира, в то время как реальность— всего лишь его тень, материя— всего лишь его символ. Я думал, что он ра-

зумеет под словом *claritas* художественное раскрытие и воплощение божественного замысла во всем, что *claritas* — это сила обобщения, придающая эстетическому образу всеобщее значение и заставляющая его сиять изнутри вовне. Но все это литературщина. Теперь я понимаю это так: сначала ты воспринял корзинку как нечто целостное, а затем, рассмотрев ее с точки зрения формы, познал как нечто — только таков допустимый с логической и эстетической точки зрения синтез. Ты видишь, что перед тобой именно *этот предмет, а не какой-то другой*. Сияние, о котором говорит Аквинский, в схоластике — *quidditas* — *самость* вещи. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем: это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа, отчетливо познается сознанием, остановленным его целостностью и очарованным его гармонией; это сияющий немой стасис эстетического наслаждения, духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани¹ нашел выражение не менее прекрасное, чем Шелли, — замороженность сердца.

Стивен умолк, и, хотя его спутник ничего не говорил, он чувствовал, что его слова как бы создали вокруг них тишину замороженной мысли.

— То, что я сказал, — продолжал он, — относится к красоте в более широком смысле этого слова, в том смысле, которым оно обладает в литературной традиции. В обиходе это понятие имеет другое значение. Когда мы говорим о красоте во втором значении этого слова, наше суждение прежде всего определяется самим искусством и видом искусства. Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательно восходящих рода: лирику, где художник создает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредствованном отношении к себе или другим; и драму,

¹ Луиджи Гальвани (1737—1798) — один из основателей учения об электричестве.

где образ дается в непосредственном отношении к другим .

— Ты мне это объяснял несколько дней тому назад,— сказал Линч,— и у нас еще разгорелся спор.

— У меня дома есть тетрадка,— сказал Стивен,— в которой записаны вопросы позабавнее тех, что ты предлагал мне тогда. Размышляя над ними, я додумался до эстетической теории, которую сейчас стараюсь тебе изложить. Вот какие вопросы я придумал. *Трагичен или комичен изящно сделанный стул? Можно ли сказать: портрет Моны Лизы красив только потому, что мне приятно на него смотреть? Лиричен, эпичен или драматичен бюст Филипа Крэмптона¹. Если нет, то почему?*

— А правда, почему? — смеясь сказал Линч.

— *Если человек, в ярости ударяя топором по бревну, вырубит изображение коровы,— продолжал Стивен,— будет ли это изображение произведением искусства? Если нет, то почему?*

— Вот здорово,— сказал Линч, снова засмеявшись.— Истинное схоластическое зловоние.

— Лессингу,— сказал Стивен,— не следовало писать о скульптурной группе. Это менее высокое искусство, и потому оно недостаточно четко представляет те роды, о которых я говорил. Даже в литературе, в этом высшем и наиболее духовном искусстве, роды искусств часто бывают смешаны. Лирический род — это, в сущности, простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет тому назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре эпического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море.

¹ Филип Крэмптон (1777—1858) — известный дублинский хирург.

Именно такое развитие мы наблюдаем в старинной английской балладе «Терпин-герой»; повествование в ней в начале ведется от первого лица, а в конце — от третьего. Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их всех такой жизненной силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника — сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме — это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено. Художник, как Бог-творец, остается внутри, позади и поверх или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти.

— Стараясь их тоже утончить до небытия,— добавил Линч.

Мелкий дождь заморосил с высокого, затянутого тучами неба, и они свернули на газон, чтобы успеть дойти до Национальной библиотеки, прежде чем хлынет ливень.

— Что это на тебя нашло,— брюзгливо сказал Линч,— разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном, Богом покинутом острове. Неудивительно, что художник убрался восвояси, сотворив такое безобразие.

Дождь усилился. Когда они дошли до ворот ирландской Королевской академии, то увидели кучку студентов, укрывшихся от дождя под аркой библиотеки. Прислонясь к колонне, Крэнли ковырял спичкой в зубах, слушая товарищей. Несколько девушек стояли около входной двери. Линч шепнул Стивену:

— Твоя милая здесь.

Не обращая внимания на дождь, который все усиливался, Стивен молча занял место ступенькой ниже группы и время от времени бросал взгляды в ее сторону. Она тоже стояла молча среди своих подруг. «Нет священника — не с кем пофлиртовать», — с горечью подумал он, вспомнив, как видел ее в последний раз. Линч был прав. Его сознание обретало силу только в теорети-

ческих рассуждениях, вне их оно погружалось в безучастный покой.

Он прислушался к разговору студентов. Они говорили о двух товарищах с медицинского факультета, которые только что сдали выпускные экзамены, о возможности устроиться на океанском пароходе, о доходной и недоходной практике.

— Все это ерунда. Практика в ирландской деревне гораздо выгоднее.

— Хайнс пробыл два года в Ливерпуле, и он тоже так считает. Ужасная, говорит, дыра. Ничего, кроме акушерства.

— Что ж, по-твоему, лучше работать в деревне, чем в таком богатом городе? У меня есть приятель...

— У Хайнса просто мозгов не хватает. Он всегда брал зубрежкой, одной зубрежкой.

— Да ну его... Конечно, в большом торговом городе отлично можно заработать.

— Все зависит от практики.

— *Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio*¹.

Их голоса долетали до его слуха как бы издалека, то и дело прерываясь. Она собралась уходить с подружками.

Короткий, легкий ливень прошел, повиснув алмазными гроздьями на кустах во дворике, от почерневшей земли уже поднимался пар. Девушки постукивали каблучками; они стояли на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, поглядывая на облака, ловко подставляли зонтики под последние редкие капли, снова закрывали их и кокетливо приподнимали подолы юбок.

Не слишком ли строго он судил ее? А что, если она нанизывает часы своей жизни, как четки, и живет жизнью простой, чуждой нам, как жизнь птицы,— веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее такое же простое и своенравное, как у птицы?

* * *

На рассвете он проснулся. О, какая сладостная музыка! Душа его была росновлажная. Бледные, прохлад-

¹ Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно (*лат.*).

ные волны света скользили по его спящему телу. Он лежал тихо, а душа его словно покоилась на прохладных волнах, внимая негромкой, сладостной музыке. Рассудок медленно пробуждался, готовясь вобрать в себя трепетное утреннее знание, утреннее вдохновение. Его наполнял дух чистый, как чистойшая вода, сладостный, как роса, стремительный, как музыка. Этот дух так нежен, так сладостен, словно серафимы дохнули на него. Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный, рассветный час, когда просыпается безумие, и странные растения раскрываются навстречу свету, и беззвучно вылетают мотыльки.

Завороженность сердца! Ночь была замороженной. Во сне или наяву познал экстаз серафической жизни. Как долго длилась эта замороженность: только один колдовской миг или долгие часы, годы, века?

Мир вдохновения, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон от множества облачных случайностей, от того, что было или могло быть. Миг сверкнул, как вспышка света, и вот от облака к облаку случайная, неясная форма мягко окутывает его сияющий след. О, в девственном лоне воображения Слово обретает плоть. Архангел Гавриил сошел в обитель Девы¹. Сияющий след разливался в его душе, откуда, разливаясь розовым знойным светом, вырывалось белое пламя. Розовый знойный свет — это ее своенравное, непостижимое сердце: его никогда не знали прежде и не узнают потом, непостижимое и своевольное от века. И соблазненные этим знойным розовым сиянием сонмы серафимов падают с небес.

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в замороженных днях.

Из глубины сознания стихи устремились к губам, и, бормоча их, он чувствовал, как возникает ритм вилланеллы². Розовое сияние источало вспышки рифм: лучах,

¹ Имеется в виду Благовещение — архангел Гавриил явился к деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Иисуса Христа. Стивен использует этот образ как метафору для творческого акта — зачатия Слова.

² Вилланелла — первоначально пастушеская песня в средневековой французской и итальянской народной поэзии; характеризуется трехстрочной строфой и повторами.

очах, днях. Вспышки воспламеняли мир, сжигали сердца людей и ангелов; лучи розы, которая была ее своенравным сердцем.

Сердце сгорает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Ты не устала в знойных лучах?

А дальше? Ритм замер, замолк, снова начал расти и биться. А дальше? Дым, фимиам, возносящийся с алтаря мира.

Дым фимиама плывет в небесах
От суши, и глуби, и шири морской.
Память, усни в замороженных днях...

Дым курений поднимается со всей земли, от окутанных испарениями океанов — фимиам во славу Ей! Земля — как мерно раскачивающееся кадило, шар с фимиамом, эллипсоидальный шар. Ритм внезапно замер. Вопль сердца оборвался. И снова и снова губы его бормотали первую строфу. Потом, путаясь, прошептали еще несколько строк, запнулись и смолкли. Вопль сердца оборвался.

Туманный, безветренный час миновал, и за стеклом незанавешенного окна уже занимался утренний свет. Где-то вдали слабо ударил колокол. Чирикнула птица, вот еще, еще... Потом колокол — и птицы смолкли; тусклый, белесый свет разливался на востоке и западе, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце.

Боясь позабыть, он быстро приподнялся на локте, отыскивая бумагу и карандаш. На столе ничего не было, кроме глубокой тарелки, на которой он ел за ужином рис, и подсвечника с оплывшим огарком и кружком обгоревшей бумаги. Он устало протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшей на ней куртки. Пальцы нащупали карандаш и пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, положил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать куплеты вилланеллы мелкими четкими буквами на жестком картоне.

Записав стихи, он откинулся на смятую подушку и снова начал бормотать их. Комки сбившихся перьев в подушке у него под головой напомнили ему комки свалывшегося конского волоса в ее диване в гостиной, где он обычно сидел — то улыбаясь, то задумавшись, и

спрашивал себя, зачем он пришел сюда, недовольный и ею и собой, смущенный литографией святого сердца Иисусова над пустым буфетом. Разговор смолкает, она подходит к нему и просит спеть какую-нибудь из его прелестных песенок. Он садится за старое пианино, перебирает пожелтевшие клавиши и на фоне вновь возобновившейся болтовни поет ей — а она стоит у камина — изящную песенку елизаветинских времен, грустную и нежную жалобу разлуки, песню победы при Азенкуре, милую песенку «Зеленые рукава». Пока он поет, а она слушает или делает вид, что слушает, сердце его спокойно, но когда изящные старинные песенки кончаются и он снова слышит разговор в комнате, ему вспоминается собственное ехидное замечание про дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто, по имени.

В какие-то минуты ее глаза, казалось, вот-вот доверятся ему, но он ждал напрасно. Теперь в его воспоминаниях она проносилась в легком танце, как в тот вечер, когда он увидел ее на маскараде, в развевающемся белом платье, с веткой белых цветов в волосах. Танцуя, она приближалась к нему. Она смотрела чуть-чуть в сторону, и легкий румянец алел на ее щеках. А когда цепь хоровода сомкнулась, ее рука на мгновение мягким нежным подарком легла ему на руку.

— Вас давно нигде не видно.

— Да, я от природы монах.

— Боюсь, что вы еретик.

— Вас это очень пугает?

Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движениям. А когда она попадала в полосу тени, румянец на ее щеках вспыхивал еще ярче.

Монах! Его собственный образ предстал перед ним: осквернитель монашеского звания, еретик-францисканец, то желающий, то зарекающийся служить, плетуший, подобно Герардино да Борго Сан-Доннино¹, зыбкую паутину софизмов и нашептывающий их ей на ухо.

Нет, это не его образ. Это скорее образ молодого

¹ Герардино да Борго Сан-Доннино (?—1276) известен как строгий аскет. В истории его жизни нет свидетельств о любовных связях.

священника, с которым он видел ее последний раз и на которого она нежно смотрела, теребя страницы своего ирландского разговорника.

— Дамы ходят нас слушать. Да, да! Я убеждаюсь в этом каждодневно. Дамы с нами. Они самые надежные союзницы ирландского языка.

— А церковь, отец Морен?

— Церковь тоже. И церковь с нами. Там тоже идет работа, насчет церкви не беспокойтесь.

Тьфу! Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно поступил, что не поклонился ей на лестнице в библиотеке, правильно, что предоставил ей кокетничать со священником, заигрывать с церковью, этой судомойкой христианства.

Грубая неистовая злоба вырвала из его души последний, еле теплящийся там миг экстаза, вдребезги разбила ее светлый образ и расшвыряла осколки по сторонам. Со всех сторон изуродованные отражения ее образа всплывали в его памяти: цветочница в оборванном платье со слипшимися жесткими волосами и лицом шлюхи, та, что назвала себя бедной девушкой и приставала к нему, упрашивая купить букетик; служанка из соседнего дома, которая, гремя посудой, пела, подвывая на деревенский лад первые куплеты «Среди гор и озер Килларни»; девушка, которая засмеялась над ним, когда он споткнулся, зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у Корк-хилла; девушка с маленьким пухлым ротиком, на которую он загляделся, когда она выходила из ворот кондитерской фабрики, и которая, обернувшись, крикнула ему через плечо: «Эй, ты, патлатый, с мохнатыми бровями, нравлюсь я тебе?»

И все же он чувствовал, что, как ни унижай ее образ, как ни издевайся над ним, сама его злоба была своего рода поклонением ей. Он тогда ушел из класса полный презрения, но оно было не совсем искренним, ибо он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Бродя тогда по улицам, он твердил, что она — прообраз женщин ее страны, душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию в темноте, в тайне и в одиночестве, душа, которая пока еще медлит, бесстрастная и безгрешная, со своим робким возлюбленным и покидает его, чтобы прошептать свои невинные грешки в прикинутое к решетке ухо свя-

щенника. Его злоба против нее вылилась в грубые насмешки над ее возлюбленным, чье имя, голос и лицо оскорбляли его униженную гордость: поп из мужиков, у которого один брат полисмен в Дублине, а другой — кухонный подручный в кабаке в Мойкаллене¹. И этому человеку она откроет стыдливую наготу своей души, тому, кто только и заучил, как надо выполнять церковный обряд, а не ему, служителю бессмертного воображения, претворяющему насущный хлеб опыта в сияющую плоть вечно живой жизни?

Сияющий образ причастия мгновенно соединил его горькие, отчаянные мысли, и они слились в благодарственный гимн:

В столах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в знойных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в замороженных днях....

Он повторял стихи вслух до тех пор, пока их музыка и ритм не наполнили его сознание и не успокоили его; потом он тщательно переписал их, чтобы лучше почувствовать, и, прочитав глазами, опять откинулся на подушку.

Уже совсем рассвело. Кругом не было слышно ни звука, но он знал, что жизнь рядом вот-вот проснется привычным шумом: грубыми голосами, сонными молитвами. И, прячась от этой жизни, он повернулся лицом к стене, натянув, как капюшон, одеяло на голову, и принялся рассматривать большие поблекшие алые цветы на рваных обоях. Он старался оживить свою угасающую радость их алым сиянием, представляя себе, что это розовый путь отсюда к небу, усыпанный алыми цветами. Как он устал! Как устал! И он тоже устал от их знойных лучей!

Ощущение тепла, томной усталости охватило его, спускаясь через позвонки по всему телу от плотно закутанной в одеяло головы. Он чувствовал, как оно разливается, и, отдавшись ему, улыбнулся. Сейчас он заснет.

Спустя десять лет он снова посвятил ей стихи. Де-

¹ Небольшой городок на западе Ирландии.

сять лет тому назад шаль капюшоном окутывала ей голову, пар от ее теплого дыхания клубился в ночном воздухе, башмачки громко стучали по замерзшей дороге. То была последняя конка, гнедые облезлые лошади чувствовали это, встряхивая бубенчиками. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головами в зеленом свете фонаря. Они стояли на ступеньках конки: он на верхней, она на нижней ступеньке. Разговаривая, она несколько раз заносила ногу на его ступеньку и снова опускалась на свою, а раз или два осталась около него, забыв опуститься, но потом все же опустилась. Ну и пусть. Ну и пусть.

Десять лет прошло с мудрой поры детства до теперешнего безумия. А что, если послать ей стихи? Их будут читать вслух за утренним чаем, под стук чайных ложек об яичную скорлупу. Вот уж поистине безумие! Ее братья, хихикая, будут вырывать листок друг у друга грубыми, жесткими пальцами. Сладкоречивый священник, ее дядя, сидя в кресле и держа перед собой листок на вытянутой руке, прочтет их, улыбаясь, и одобрит литературную форму.

Нет, нет, это безумие! Даже если он пошлет ей стихи, она не покажет их другим. Нет, нет, она не способна на это.

Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Уверенность в ее невинности трогала его, вызывая в нем чуть ли не чувство жалости; невинность, о которой он не имел представления до тех пор, пока не познал ее через грех, невинность, о которой она не имела представления, пока была невинной или пока странная унижительная немочь женской природы не открылась ей в первый раз. Только тогда, впервые, пробудилась к жизни ее душа, как и его душа пробудилась к жизни, когда он согрешил в первый раз. Его сердце переполнилось нежным состраданием, когда он вспомнил ее хрупкую бледность, ее глаза, огорченные, униженные темным стыдом пола.

Где была она в то время, как его душа переходила от экстаза к томлению? Может быть, неисповедимыми путями духовной жизни в те самые минуты ее душа чувствовала его преклонение. Может быть.

Жар желанья снова запылал в нем, зажег и охватил все тело. Чувствуя его желание, она — соблазнительница

в его вилланелле — пробуждалась от благоуханного сна. Ее черные, томные глаза открывались навстречу его глазам. Она отдавалась ему, нагая, лучезарная, теплая, благоуханная, щедрая, обволакивая его, как сияющее облако, обволакивая, как живая вода; и словно из тумана, обтекающего пространство, полились плавные звуки речи — символы самой сути тайны:

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в замороженных днях

Сердце сгорает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Память, усни в замороженных днях.

Дым фимиама плывет в небесах
От тверди, и глуби, и шири морской.
Память, усни в замороженных днях.

В столах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в знойных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в замороженных днях.

Но все ты стоишь в истомленных очах,
И томный твой взор манит за собой.
Ты не устала в знойных лучах?
Память, усни в замороженных днях.

* * *

Что это за птицы? Устало опираясь на ясеневую трость, он остановился на ступеньках библиотеки поглядеть на них. Они кружили, кружили над выступающим углом дома на Моулсворт-стрит. В воздухе позднего мартовского вечера четко выделялся их полет, их темные, стремительные, трепещущие тельца проносились, четко выступая на небе, как на зыбкой ткани дымчатого, блекло-синего цвета.

Он следил за полетом: птица за птицей, темный взмах, взлет, трепетание крыльев. Попробовал считать, пока не пронеслись их стремительные, трепещущие тель-

ца: шесть, десять, одиннадцать... И загадал про себя — чет или нечет. Двенадцать, тринадцать... а вот еще две, описывая круги, спустились ближе к земле. Они летели то высоко, то низко, но все кругами, кругами, то спрямляя, то закругляя линию полета и все время слева направо облетая воздушный храм.

Он прислушался к их крику: словно писк мыши за обшивкой стены — пронзительная, надломленная нота. Но по сравнению с мышинным писком ноты эти куда протяжнее и пронзительнее; они понижаются то на терцию, то на кварту и вибрируют, когда летящие клювы рассекают воздух. Их пронзительный, четкий и тонкий крик падал, как нити шелкового света, разматывающиеся с жужжащего веретена.

Этот нечеловеческий гомон был отраден для его ушей, в которых неотступно звучали материнские рыдания и упреки, а темные, хрупкие, трепещущие тельца, кружащие, порхающие над землей, облетающие воздушный храм блеклого неба, радовали его глаза, перед которыми все еще стояло лицо матери.

Зачем он смотрит вверх со ступеней лестницы и слушает их пронзительные, надломленные крики, следя за их полетом? Какого знака он ждет: доброго или злого? Фраза из Корнелия Агриппы¹ промелькнула в его сознании, а за ней понеслись обрывки мыслей из Сведенборга² об аналогии между птицами и явлениями духовной жизни и о том, что эти воздушные создания обладают своей собственной мудростью и знают свои сроки и времена года, потому что в отличие от людей они следуют порядку своей жизни, а не извращают этот порядок разумом.

Веками, как вот он сейчас, глядели люди вверх на летающих птиц. Колоннада над ним смутно напоминала ему древний храм, а ясеневая палка, на которую он устало опирался, — изогнутый жезл авгура³. Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его уста-

¹ Корнелий Агриппа (1486—1533) — немецкий философ, гуманист. Утверждал, будто птицы приносят счастье, если садятся справа и число их четное.

² Эмануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский ученый-натуралист, мистик, прозванный северным Дедалом; в своих сочинениях высказывал соображение о соответствии полета птиц человеческим мыслям.

³ Авгур — в Древнем Риме жрец-прорицатель, толковавший «волю богов» по пению и полету птиц.

лости — страха перед символами, и предвестиями, и перед ястребоподобным человеком, имя которого он носил, — человеком, вырвавшимся из своего плена на сплетенных из ивы крыльях; перед Тотом — богом писцов¹, что писал на табличке тростниковой палочкой и носил на своей узкой голове ибиса двурогий серп.

Он улыбнулся, представив себе этого бога, потому что бог этот напомнил ему носатого судью в парике, который расставляет запятые в судебном акте, держа его в вытянутой руке, и подумал, что не вспомнил бы имени этого бога, не будь оно похоже по звучанию на слово «мот». Вот оно — сумасшествие. Но не из-за этого ли сумасшествия он готов навсегда покинуть дом молитвы и благоразумия², в котором родился, и уклад жизни, из которого вышел.

Они снова пролетели с резкими криками над выступающим углом дома, темные на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Вероятно, ласточки вернулись с юга. Значит, и ему пора уезжать, ведь они, птицы, прилетают и улетают, свивают недолговечные гнезда под крышами людских жилищ и покидают свои гнезда для новых странствий.

Склоните лица ваши, Уна и Алиль.

Гляжу на них, как ласточка глядит

Из гнездышка под кровлей, с ним прощаясь.

Пред дальним странствием над зыбью шумных вод³.

Тихая радость, подобно шуму набегающих волн, разлилась в его памяти, и он почувствовал в сердце тихий покой безмолвных блекнувших просторов неба над водной ширью, безмолвие океана и покой ласточек, летающих в сумерках над струящимися водами.

Тихая радость разлилась в этих словах, где мягкие и долгие гласные беззвучно сталкивались, распадались, набегали одна на другую и струились, раскачивая белые колокольчики волн в немом переливе, в немом перезво-

¹ Тот — египетский бог писцов, луны, премудрости, времени искусства. Изображается в виде человека с головой ибиса и с двурогим серпом.

² Так Джойс называет среднесловную, мещанскую Ирландию.

³ Из пьесы известного ирландского поэта и драматурга У. Б. Йейтса (1865—1939) «Графиня Кетлин» (1892).

не, в тихом замирающем крике; и он почувствовал, что предвестие, которого он искал в круговом полете птиц и в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни — стремительно и спокойно.

Что это — символ расставания или одиночества? Стихи, тихо журчащие на слуху его памяти, медленно воссоздали перед его вспоминающим взором сцену в зрительном зале в вечер открытия Национального театра¹. Он сидел один в последнем ряду балкона, разглядывая утомленными глазами цвет дублинского общества в партере, безвкусные декорации и актеров,двигающихся, точно куклы в ярких огнях рампы. У него за спиной стоял, обливаясь потом, дюжий полисмен, готовый в любой момент навести порядок в зале. Среди сидевших тут и там студентов то и дело поднимался неистовый свист, насмешливые возгласы, улюлюканье².

— Клевета на Ирландию!

— Немецкое производство!

— Кошунство!

— Мы нашей веры не продавали!

— Ни одна ирландка этого не делала!

— Долой доморощенных атеистов!

— Долой выкормышей буддизма!

Из окна сверху вдруг послышалось короткое шипенье, значит, в читальне зажгли свет. Он вошел в мягко освещенную колоннаду холла и, пройдя через шелкнувший турникет, поднялся по лестнице наверх.

Крэнли сидел у полки со словарями. Перед ним на деревянной подставке лежала толстая книга, открытая на титульном листе. Он сидел, откинувшись на спинку стула и приблизив ухо, как выслушивающий покаяние исповедник, к лицу студента-медика, который читал ему задачу из шахматной странички газеты. Стивен сел

¹ Имеется в виду Ирландский литературный театр, в 1904 г. переименованный в Театр аббатства, вокруг которого сгруппировались лучшие ирландские драматурги: У. Б. Йейтс, Дж. Синг и другие. В 20-е годы ведущим драматургом Театра аббатства стал Шон О'Кейси.

² Герой вспоминает скандал, разразившийся на премьере пьесы У. Б. Йейтса «Графиня Кетлин» в 1889 г. Кетлин, символизирующая Ирландию, продает душу дьяволу, чтобы спасти свой умирающий с голоду народ. Пьеса подверглась резкой критике со стороны ирландских националистов, обвинявших драматурга в искажении национального характера.

рядом с ним справа, священник по другую сторону стола сердито захлопнул свой номер «Тэблета»¹ и встал.

Крэнли рассеянно посмотрел ему вслед. Студент-медик продолжал, понизив голос:

— Пешка на е4.

— Давай лучше выйдем, Диксон,— сказал Стивен предостерегающе.— Он пошел жаловаться.

Диксон отложил газету и, с достоинством поднявшись, сказал:

— Наши отступают в полном порядке.

— Захватив оружие и скот,— прибавил Стивен, указывая на титульный лист лежавшей перед Крэнли книги, где было напечатано: «Болезни рогатого скота».

Когда они проходили между рядами столов, Стивен сказал:

— Крэнли, мне нужно с тобой поговорить.

Крэнли ничего не ответил и даже не обернулся. Он сдал книгу и пошел к выходу; его щеголеватые ботинки глухо стучали по полу. На лестнице он остановился и, глядя каким-то отсутствующим взглядом на Диксона, повторил:

— Пешка на чертово е4.

— Ну, если хочешь, можно и так,— ответил Диксон.

У него был спокойный, ровный голос, вежливые манеры, а на одном пальце пухлой чистой руки поблескивал перстень с печаткой.

В холле к ним подошел человек карликового роста. Под грибом крошечной шляпы его небритое лицо расплылось в любезной улыбке, и он заговорил шепотом. Глаза же были грустные, как у обезьяны.

— Добрый вечер, джентльмены,— сказала волосатая обезьянья мордочка.

— Здорово тепло для марта,— сказал Крэнли,— наверху окна открыли.

Диксон улыбнулся и повертел перстень. Чернявая сморщенная обезьянья мордочка сложила человеческий ротик в приветливую улыбку, и голос промурлыкал:

— Чудесная погода для марта. Просто чудесная.

— Там наверху две юные прелестницы совсем заждались вас, капитан,— сказал Диксон.

Крэнли улыбнулся и приветливо сказал

¹ Английский католический еженедельник, известный своей реакционностью.

— У капитана только одна привязанность: сэр Вальтер Скотт. Не правда ли, капитан?

— Что вы теперь читаете, капитан? — спросил Диксон. — «Ламмермурскую невесту»?

— Люблю старика Скотта, — сказали податливые губы. — Слог у него — что-то замечательное. Ни один писатель не сравнится с сэром Вальтером Скоттом.

Он медленно помахивал в такт похвалам тонкой сморщенной коричневой ручкой. Его тонкие подвижные веки замигали, прикрывая грустные глазки.

Но еще грустнее было Стивену слышать его речь: жеманную, еле внятную, всю какую-то липкую, искаженную ошибками. Слушая, он спрашивал себя, правда ли то, что рассказывали о нем? Что его скудельная кровь благородна, а эта ссохшаяся оболочка — плод кровосмесительной любви?

Деревья в парке набухли от дождя, дождь шел медленно, не переставая, над серым, как щит, прудом. Здесь пронеслась стая лебедей, вода и берег были загажены белесовато-зеленой жижей. Они нежно обнимались, возбужденные серым дождливым светом, мокрыми неподвижными деревьями, похожим на щит соглядатаем-озером, лебедями. Они обнимались безрадостно, бесстрастно. Его рука обнимала сестру за шею, серая шерстяная шаль, перекинутая через плечо, окутала ее до талии, ее светлая головка поникла в стыдливой податливости. У него взлохмаченные медно-рыжие волосы и нежные, гибкие, сильные, веснушчатые руки. А лицо? Лица не видно. Лицо брата склонялось над ее светлыми, пахнущими дождем волосами, рука — веснушчатая, сильная, гибкая и ласковая, рука Дейвина.

Он нахмурился, сердясь на свои мысли и на сморщенного человечка, вызвавшего их. В его памяти мелькнули отцовские остроты о шайке из Бантри¹. Он отмахнулся от них и снова с тягостным чувством предался своим мыслям. Почему не руки Крэнли? Или простота и невинность Дейвина тайно манила его?

Он пошел с Диксоном через холл, предоставив Крэнли распрощаться с карликом.

¹ Тимоти Майкл Салливен (1827—1914) и его племянник Тимоти Майкл Хили (1855—1931), оба из Бантри — юго-запад Ирландии, — сторонники Парнелла, пока он был «некоронованным королем Ирландии», впоследствии предавшие его.

У колоннады в небольшой кучке студентов стоял Темпл. Один студент крикнул:

— Диксон, иди-ка сюда и послушай. Темпл в ударе.

Темпл поглядел на него своими темными цыганскими глазами.

— Ты, О'Кифф, лицемер,— сказал он.— А Диксон — улыбальщик. А ведь это, черт возьми, хорошее литературное выражение.

Он лукаво засмеялся, заглядывая в лицо Стивену, и повторил:

— А правда, черт возьми, отличное прозвище — улыбальщик.

Толстый студент, стоявший на лестнице ниже ступенькой, сказал:

— Ты про любовницу доскажи, Темпл. Вот что нам интересно.

— Была у него любовница, честное слово,— сказал Темпл.— При этом он был женат. И попы ходили туда обедать. Да я думаю, все они, черт возьми, ее попробовали.

— Это, как говорится, трястись на кляче, чтобы сбегать рысак,— сказал Диксон.

— Признайся, Темпл,— сказал О'Кифф,— сколько кружек пива ты сегодня в себя влил?

— Вся твоя интеллигентская душонка в этой фразе, О'Кифф,— сказал Темпл с нескрываемым презрением.

Шаркающей походкой он обошел столпившихся студентов и обратился к Стивену:

— Ты знал, что Форстеры — короли Бельгии? — спросил он.

Вошел Крэнли в сдвинутой на затылок кепке, усердно ковыряя в зубах.

— А вот и наш кладезь премудрости,— заявил Темпл.— Скажи-ка, ты знал это про Форстера?

Он помолчал, дожидаясь ответа. Крэнли вытащил самодельной зубочисткой фиговое зернышко из зубов и уставился на него.

— Род Форстеров,— продолжал Темпл,— происходит от Болдуина Первого, короля Фландрии. Его звали Форрестер. Форрестер и Форстер — это одно и то же. Потомок Болдуина Первого, капитан Фрэнсис Форстер, обосновался в Ирландии, женился на дочери последнего вождя клана Брэссилла. Есть еще черные Форстеры, но это другая ветвь.

— От Обалдуя, короля Фландрии,— сказал Крэнли, снова задумчиво ковыряя в ослепительно белых зубах.

— Откуда ты все это выкопал? — спросил О'Кифф.

— Я знаю также историю вашего рода,— сказал Темпл, обращаясь к Стивену.— Знаешь ли ты, что говорит Гиральд Камбрийский?¹

— Он что, тоже от Болдуина произошел? — спросил высокий чахоточного вида студент с темными глазами.

— От Обалдуя,— повторил Крэнли, высасывая что-то из щели между зубами.

— *Per nobilis et per vetusta familia*²,— сказал Темпл Стивену.

Дюжий студент на нижней ступеньке пукнул. Диксон повернулся к нему и тихо спросил:

— Ангел заговорил?

Крэнли тоже повернулся и внушительно, но без злобы сказал:

— Знаешь, Гоггинс, ты самая что ни на есть грязная скотина во всем мире.

— Я выразил то, что хотел сказать,— решительно ответил Гоггинс,— никому от этого вреда нет.

— Будем надеяться,— сказал Диксон сладким голосом,— что это не то же самое, что изрекают о научных открытиях *paulo post futurum*³.

— Ну, разве я вам не говорил, что он улыбальщик,— сказал Темпл, поворачиваясь то направо, то налево,— разве я не придумал ему это прозвище?

— Слышали, не глухие,— сказал высокий чахоточный.

Крэнли, все еще хмурясь, грозно смотрел на дюжего студента, стоявшего на ступеньку ниже. Потом с отворачиванием фыркнул и пихнул его.

— Пошел вон,— крикнул он грубо,— проваливай, вонючая посудина. Вонючий горшок.

¹ Гиральд Камбрийский, собственно Джеральд Барри (1146—1220),— валлийский летописец, автор трудов «Завоевание Ирландии» и «Топография Ирландии».

² Благороднейший древний род (лат.) — так летописец называет английский род Фитц-Стивенов, не имеющий никакого отношения к семье Стивена Дедала и сыгравший значительную роль в покорении Ирландии. Темпл намекает на интерес Стивена к английской культуре и его нежелание примкнуть к ирландскому национальному движению.

³ Несколько преждевременно (лат.).

Гоггинс соскочил на дорожку, но сейчас же, смеясь, вернулся на прежнее место. Темпл, оглянувшись на Стивена, спросил:

— Ты веришь в закон наследственности?

— Ты что, пьян? — спросил Крэнли, в полном недоумении уставившись на него.

— Самое глубокое изречение, — с жаром продолжал Темпл, — написано в конце учебника зоологии: воспроизведение есть начало смерти.

Он робко коснулся локтя Стивена и восторженно сказал:

— Ты ведь поэт, ты должен чувствовать, как это глубоко!

Крэнли ткнул в его сторону длинным указательным пальцем.

— Вот, посмотрите, — сказал он с негодованием. — Полюбуйтесь — надежда Ирландии!

Его слова и жест вызвали общий смех. Но Темпл храбро повернулся к нему и сказал:

— Ты, Крэнли, всегда издеваешься надо мной. Я это прекрасно вижу. Но я ничуть не хуже тебя. Знаешь, что я думаю, когда сравниваю тебя с собой?

— Дорогой мой, — вежливо сказал Крэнли, — но ведь ты неспособен, абсолютно неспособен думать.

— Так вот, хочешь знать, что я думаю о тебе, когда сравниваю нас? — продолжал Темпл.

— Выкладывай, Темпл, — крикнул толстый со ступеньки, — да поживей!

Жестикулируя, Темпл поворачивался то налево, то направо.

— Я дерьмо, — сказал он, безнадежно мотая головой. — Я знаю это. И признаю.

Диксон легонько похлопал его по плечу и ласково сказал:

— Это делает тебе честь, Темпл.

— Но он, — продолжал Темпл, показывая на Крэнли, — он такое же дерьмо, как и я. Только он этого не знает, вот и вся разница.

Взрыв хохота заглушил его слова, но он опять повернулся к Стивену и с внезапной горячностью сказал:

— Это очень любопытное слово, его происхождение тоже очень любопытно.

— Да? — рассеянно сказал Стивен.

Он смотрел на мужественное, страдальческое лицо Крэнли, который сейчас принужденно улыбался. Грубое слово, казалось, стекло с его лица, как стекает грязная вода, выплеснутая на свыкшееся с унижениями старинное изваяние. Наблюдая за ним, он увидел, как Крэнли поздоровался с кем-то, приподнял кепку, обнажив голову с черными жесткими волосами, торчащими над лбом, как железный венец¹.

Она вышла из библиотеки и, не взглянув на Стивена, ответила на поклон Крэнли. Как? И он тоже? Или ему показалось, будто щеки Крэнли слегка вспыхнули? Или это от слов Темпла? Уже совсем смеркалось. Он не мог разглядеть.

Может быть, этим и объяснялось безучастное молчание его друга, грубые замечания, неожиданные выпады, которыми он так часто обрывал пыльные, сумасбродные признания Стивена? Стивен легко прощал ему — ведь в нем самом тоже была эта грубость. Вспомнилось, как однажды вечером в лесу, около Малахайда, он сошел со скрипучего, одолженного им у кого-то велосипеда, чтобы помолиться Богу. Он воздел руки и молился в экстазе, устремив взор на темную чашу деревьев, зная, что он стоит на священной земле, в священный час. А когда два полисмена показались из-за поворота темной дороги, он прервал молитву и громко засвистел какой-то мотивчик из модной пантомимы.

Он начал постукивать стертым концом ясеновой трости по цоколю колонны. Может быть, Крэнли не слышал его? Что ж, он подождет. Разговор на мгновение смолк, и тихое шипение опять донеслось из окна сверху. Но больше в воздухе не слышалось ни звука, а ласточки, за полетом которых он праздно следил, уже спали.

Она ушла в сумерки. И потому все стихло кругом, если не считать короткого шипения, доносившегося сверху. И потому смолкла рядом болтовня. Тьма ниспадала на землю.

«Тьма ниспадает с небес»...²

Трепетная, мерцающая, как слабый свет, радость закружилась вокруг него волшебным роем эльфов. Но от-

¹ Стивен вспоминает средневековое орудие пытки — железную раскаленную корону, которую надевали на голову предателям и самозванцам.

² Искаженная Стивеном строка из стихотворения английского поэта Томаса Нэша (1567—1601) «Молитва во время чумы».

чего? Оттого ли, что она прошла в сумеречном воздухе, или это строка стиха с его черными гласными и полным открытым звуком, который льется, как звук лютни?

Он медленно пошел вдоль колоннады, углубляясь в ее сгущающийся мрак, тихонько постукивая тростью по каменным плитам, чтобы скрыть от оставшихся позади студентов свое мечтательное забытие и, дав волю воображению, представил себе век Дауленда, Берда и Нэша¹.

Глаза, раскрывающиеся из тьмы желания, глаза, затмевающие утреннюю зарю. Что такое их томная прелесть, как не разнеженность похоти? А их мерцающий блеск — не блеск ли это нечистот в сточной канаве двора слюнтя Стюарта?² Языком памяти он отведывал ароматные вина, ловил замирающие обрывки нежных мелодий горделивой паваны, а глазами памяти видел уступчивых знатных дам в лоджиях Ковент-Гардена³, их мажущие алчные губы, видел рябых девок из таверн и молодых жен, радостно отдающихся своим соблазнам, переходящих из объятий в объятия.

Образы, вызванные им, не доставили ему удовольствия. В них было что-то тайное, разжигающее, но ее образ был далек от всего этого. Так о ней нельзя думать. Да он так и не думал. Значит, мысль его не может довериться самой себе? Старые фразы, зловонно-сладостные, как фиговые зернышки, которые Крэнли выковыривает из щелей между своими ослепительно белыми зубами.

То была не мысль и не видение, хотя он смутно знал, что сейчас она идет по городу домой. Сначала смутно, а потом сильнее он ощутил запах ее тела. Знакомое волнение закипало в крови. Да, это запах ее тела: волнуемый, томительный запах; теплое тело, овеянное музыкой его стихов, и скрытое от взора мягкое белье, насыщенное благоуханием и росой ее плоти.

¹ Век Дауленда, Берда и Нэша — английское Возрождение. Джон Дауленд (1563—1626) и Уильям Берд (1543—1623) — композиторы и музыканты этого периода.

² Яков I Стюарт (род. в 1566 г.) — король Англии и Ирландии. Его правление (1603—1625) связывают с угасанием духа Возрождения. Джойс называет его «слюнтяем» из-за нерешительной и крайне противоречивой внутренней и внешней политики.

³ Ковент-Гарден — площадь в Лондоне, на которой расположен большой фруктовый, овощной и цветочный рынок. В 1630 г. архитектор Иниго Джонс построил по сторонам площади лоджии. Позже район приобрел известность благодаря оперному театру, построенному здесь в 1732 г.

Он почувствовал, как у него по затылку ползет вошь: ловко просунув большой и указательный палец за отложной воротник, он поймал ее, покатав секунду ее мягкое, но ломкое, как зернышко риса, тельце и отшвырнул от себя, не зная, жива она или нет. Ему вспомнилась забавная фраза из Корнелия а Лапиде¹, в которой говорится, что вши, рожденные человеческим потом, не были созданы Богом вместе со всеми зверями на шестой день. Зуд кожи на шее раздражил и озлобил его. Жизнь тела, плохо одетого, плохо кормленного, изъеденного вшами, заставила его зажмуриться, поддавшись внезапному приступу отчаяния, и в темноте он увидел, как хрупкие, светлые тельца вшей крутятся и падают в воздухе. Но ведь это вовсе не тьма ниспадает с неба. А свет.

«Свет ниспадает с небес»...

Он даже не мог правильно вспомнить строчку из Нэша. Все образы, вызванные ею, были ложными. В воображении его завелись гниды. Его мысли — это вши, рожденные потом неряшливости.

Он быстро зашагал обратно вдоль колоннады к группе студентов. Ну и хороши! И черт с ней! Пусть себе любит какого-нибудь чистоплотного атлета с волосатой грудью, который моется каждое утро до пояса. На здоровье!

Крэнли вытащил еще одну сушеную фигу из кармана и стал медленно жевать ее. Темпл сидел, прислонясь к колонне, надвинув фуражку на осоловелые глаза. Из здания вышел коренастый молодой человек с кожаным портфелем под мышкой. Он зашагал к компании студентов, громко стуча по каменным плитам каблуками и железным наконечником большого зонта. Подняв зонт в знак приветствия, он сказал, обращаясь ко всем:

— Добрый вечер, джентльмены.

Потом опять стукнул зонтом о плиты и захихикал, а голова его затряслась мелкой нервической дрожью. Высокий чахоточный студент, Диксон и О'Кифф увлеченно разговаривали по-ирландски и не ответили ему. Тогда, повернувшись к Крэнли, он сказал:

— Добрый вечер, особенно тебе!

¹ Корнелий а Лапиде (1567—1637) — католический богослов, иезуит, комментатор Библии.

Ткнул зонтом в его сторону и опять захихикал. Крэнли, который все еще жевал фигу, ответил, громко чавкая:

— Добрый? Да, вечер недурной.

Коренастый студент внимательно посмотрел на него и тихонько и укоризненно помахал зонтом.

— Мне кажется,— сказал он,— ты изволил заметить нечто самоочевидное.

— Угу! — ответил Крэнли и протянул наполовину изжеванную фигу к самому рту коренастого студента, как бы предлагая ему доесть.

Коренастый есть не стал, но, довольный собственным остроумием, важно спросил, не переставая хихикать и постукивать зонтом:

— Следует ли понимать это?..

Он остановился, показывая на изжеванный огрызок фиги, и громко добавил:

— Я имею в виду это.

— Угу! — снова промычал Крэнли.

— Следует ли разуместь под этим,— сказал коренастый,— *ipso factum*¹ или нечто иносказательное?

Диксон, отходя от своих собеседников, сказал:

— Глинн, тебя тут Гоггинс ждал. Он пошел в «Адельфи»² искать вас с Мойнихеном. Что это у тебя здесь? — спросил он, хлопнув по портфелю, который Глинн держал под мышкой.

— Экзаменационные работы,— ответил Глинн.— Я их каждый месяц экзаменую, чтобы видеть результаты своего преподавания.

Он тоже похлопал по портфелю, тихонько кашлянул и улыбнулся.

— Преподавание! — грубо вмешался Крэнли.— Несчастные босоногие ребятишки, которых обучает такая мерзкая обезьяна, как ты. Помилуй их, Господи!

Он откусил еще кусок фиги и отшвырнул огрызок прочь.

— Пустите детей приходиться ко мне и не возбраняйте им,— сказал Глинн сладким голосом.

— Мерзкая обезьяна! — еще резче сказал Крэнли.— Да еще богохульствующая мерзкая обезьяна!

Темпл встал и, оттолкнув Крэнли, подошел к Глинну.

¹ Буквально: это самое (лат.).

² «Адельфи» — гостиница в Дублине.

— Эти слова, которые вы сейчас произнесли,— сказал он,— из Евангелия: не возбраняйте детям приходиться ко мне.

— Ты бы поспал еще, Темпл,— сказал О'Кифф.

— Так вот, я хочу сказать,— продолжал Темпл, обращаясь к Глинну,— Иисус не возбранял детям приходиться к нему. Почему же церковь отправляет их всех в ад, если они умирают некрещеными? Почему, а?

— А сам-то ты крещеный, Темпл? — спросил чахоточный студент.

— Нет, почему же все-таки их отправляют в ад, когда Иисус говорил, чтобы они приходили к нему? — повторил Темпл, буравя Глинна глазами.

Глинн кашлянул и тихо проговорил, с трудом удерживая нервное хихиканье и взмахивая зонтом при каждом слове:

— Ну а если это так, как ты говоришь, я позволяю себе столь же внушительно спросить, откуда взялась сия «такость»?

— Потому что церковь жестока, как все старые грешницы,— сказал Темпл.

— Ты придерживаешься ортодоксальных взглядов на этот счет, Темпл? — вкрадчиво спросил Диксон.

— Святой Августин¹ говорит, что некрещеные дети попадут в ад,— отвечал Темпл,— потому что он сам тоже был старый жестокий грешник.

— Ты, конечно, дока,— сказал Диксон,— но я все-таки всегда считал, что для такого рода случаев существует лимб.

— Не спорь ты с ним, Диксон,— с негодованием вмешался Крэнли.— Не говори с ним, не смотри на него, а лучше всего уведи его домой на веревке, как блеющего козла.

— Лимб! — воскликнул Темпл.— Вот еще тоже замечательное изобретение! Все тот же ад!

— Но без его неприятностей,— заметил Диксон.

Улыбаясь, он повернулся к остальным и сказал:

— Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих.

— Разумеется,— сказал Глинн решительно.— Ирландия на этот счет единодушна.

¹ Августин Блаженный Аврелий (354—430) — виднейший христианский теолог, один из отцов церкви.

Он стукнул наконечником своего зонта по каменному полу колоннады.

— Ад,— сказал Темпл.— Эту выдумку серолицей супружницы сатаны¹ я могу уважать.— Ад — это нечто римское, столь же уродливое, как и сами римские стены. Но вот что такое лимб?

— Уложи его обратно в колыбельку! — крикнул О'Кифф.

Крэнли быстро шагнул к Темплу, остановился и, топнув ногой, шикнул, как на курицу:

— Кш!..

Темпл проворно отскочил в сторону.

— А вы знаете, что такое лимб? — закричал он.— Знаете, как называются у нас в Роскоммоне² такие вещи?

— Кш!.. Пошел вон! — закричал Крэнли, хлопая в ладоши.

— Ни задница, ни локоть,— презрительно крикнул Темпл,— вот что такое ваше чистилище.

— Дай-ка мне сюда палку,— сказал Крэнли.

Он вырвал ясеневую трость из рук Стивена и ринулся вниз по лестнице, но Темпл, услышав, что за ним гонятся, помчался в темноте, как ловкий и быстроногий зверь. Тяжелые сапоги Крэнли загромыхали по площадке и потом грузно простучали обратно, на каждом шагу разбрасывая щебень.

Шаги были злобные, и злобным, резким движением он сунул палку обратно в руки Стивена. Стивен почувствовал, что за этой злобой скрывается какая-то особая причина, но с притворной терпимостью он чуть тронул Крэнли за руку и спокойно сказал:

— Крэнли, я же тебе говорил, что мне надо с тобой посоветоваться. Идем.

Крэнли молча смотрел на него несколько секунд, потом спросил:

— Сейчас?

— Да, сейчас,— сказал Стивен.— Здесь не место для разговора. Ну идем же.

Они пересекли дворик. Мотив птичьего свиста из «Зигфрида»³ мягко прозвучал им вдогонку со ступенек

¹ Подразумевается дочь и жена Сатаны — Греховность. Этот образ использован Дж. Мильтоном в «Потерянном рае».

² Роскоммон — графство и город в Ирландии.

³ Имеется в виду опера Р. Вагнера «Зигфрид».

колоннады. Крэнли обернулся, и Диксон, перестав свистеть, крикнул:

— Куда это вы, друзья? А как насчет нашей партии, Крэнли?

Они стали уговариваться, переключаясь в тихом воздухе, насчет партии в бильярд в гостинице «Адельфи». Стивен пошел вперед один и, очутившись в тишине Килдер-стрит против гостиницы «Под кленом», остановился и снова стал терпеливо ждать. Название гостиницы, бесцветность полированного дерева, бесцветный фасад здания кольнули его, как учтиво-презрительный взгляд. Он сердито смотрел на мягко освещенный холл гостиницы, представляя себе, как там, в мирном покое, гладко течет жизнь ирландских аристократов. Они думают о повышении по службе и армии, об управляющих поместьями; крестьяне низко кланяются им на проселочных дорогах; они знают названия разных французских блюд и отдают приказания слугам писклявым, крикливым голосом, но в их высокомерном тоне сквозит провинциальность.

Как растормошить их, как завладеть воображением их дочерей до того, как они понесут своих дворянчиков и вырастят потомство не менее жалкое, чем они сами. И в сгущающемся сумраке он чувствовал, как помыслы и надежды народа, к которому он принадлежал, мечутся, словно летучие мыши в темных деревенских поселках, под купами деревьев, над водой, над трясинами болот. Женщина ждала в дверях, когда Дейвин шел ночью по дороге. Она предложила ему кружку молока и позвала разделить с ней ложе, потому что у Дейвина кроткие глаза человека, умеющего хранить тайну. А вот его никогда не звали женские глаза.

Кто-то крепко схватил его под руку, и голос Крэнли сказал:

— Изыдем.

Они шли молча. Потом Крэнли сказал:

— Этот проклятый идиот Темпл! Клянусь Богом, я когда-нибудь убью его.

Но в голосе его уже не было злобы. И Стивен спрашивал себя: не вспоминает ли он, как она поздоровалась с ним под колоннадой?

Они повернули налево и пошли дальше. Некоторое время оба шли все так же молча, потом Стивен сказал:

— Крэнли, у меня сегодня произошла неприятная ссора.

— С домашними? — спросил Крэнли.

— С матерью.

— Из-за религии?

— Да, — ответил Стивен.

— Сколько лет твоей матери? — помолчав, спросил Крэнли.

— Не старая еще, — ответил Стивен. — Она хочет, чтоб я причастился на пасху.

— А ты?

— Не стану.

— А собственно, почему?

— Не буду служить¹, — ответил Стивен.

— Это уже было кем-то сказано раньше, — спокойно заметил Крэнли.

— Ну, а вот теперь я говорю, — вспылил Стивен.

— Полегче, голубчик. До чего же ты, черт возьми, возбудимый, — сказал Крэнли, прижимая локтем руку Стивена.

Он сказал это с нервным смешком и, дружелюбно заглядывая Стивену в лицо, повторил:

— Ты знаешь, что ты очень нервный?

— Конечно, знаю, — тоже смеясь сказал Стивен.

Отчужденность, возникшая между ними, исчезла, и они вдруг снова почувствовали себя близкими друг другу.

— Ты веришь в пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы? — спросил Крэнли.

— Нет, — сказал Стивен.

— Не веришь, значит?

— И да и нет.

— Даже у многих верующих людей бывают сомнения, однако они или преодолевают их, или просто не считаются с ними, — сказал Крэнли. — Может, твои сомнения слишком сильны?

— Я не хочу их преодолевать, — возразил Стивен.

Крэнли, на минуту смутившись, вынул из кармана фигу и собирался уже сунуть ее в рот, но Стивен остановил его:

— Послушай, ты не сможешь продолжать со мной этот разговор с набитым ртом,

¹ Слова Сатаны, произнесенные в момент его изгнания из рая.

Крэнли осмотрел фигу при свете фонаря, под которым они остановились, понюхал, приложив к каждой ноздре по отдельности, откусил маленький кусочек, выплюнул его и наконец швырнул фигу в канаву.

— Иди от меня, проклятая, в огонь вечный¹,— провозгласил он ей вслед.

Он снова взял Стивена под руку.

— Ты не боишься услышать эти слова в день Страшного суда? — спросил он.

— А что предлагается мне взамен? — спросил Стивен.— Вечное блаженство в компании нашего декана?

— Не забудь, он попадет в рай.

— Еще бы,— сказал Стивен с горечью,— такой разумный, деловитый, невозмутимый, а главное, проницательный².

— Любопытно,— спокойно заметил Крэнли,— до чего ты насквозь пропитан религией, которую ты, по твоим словам, отрицаешь. Ну, а в колледже ты верил? Пари держу, что да.

— Да,— ответил Стивен.

— И был счастлив тогда? — мягко спросил Крэнли.— Счастливее, чем теперь?

— Иногда был счастлив, иногда — нет. Но тогда я был кем-то другим.

— Как это кем-то другим? Что это значит?

— Я хочу сказать, что я был не тот, какой я теперь, не тот, каким должен был стать.

— Не тот, какой теперь? Не тот, каким должен был стать? — повторил Крэнли.— Позволь задать тебе один вопрос. Ты любишь свою мать?

Стивен медленно покачал головой.

— Я не понимаю, что означают твои слова,— просто сказал он.

— Ты что, никогда никого не любил? — спросил Крэнли.

— Ты хочешь сказать — женщин?

— Я не об этом говорю,— несколько более холодным тоном возразил Крэнли.— Я спрашиваю тебя: чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?

¹ Слова Иисуса, обращенные к грешникам на Страшном суде: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!»

² Качества, которыми, по мнению Фомы Аквинского, должны обладать праведники.

Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги.

— Я пытался любить Бога,— выговорил он наконец.— Кажется, мне это не удалось. Это очень трудно. Я старался ежеминутно слить мою волю с волей Божьей. Иногда это мне удавалось. Пожалуй, я и сейчас мог бы...

Крэнли внезапно прервал его:

— Твоя мать прожила счастливую жизнь?

— Откуда я знаю? — сказал Стивен.

— Сколько у нее детей?

— Девять или десять,— отвечал Стивен.— Несколько умерло.

— А твой отец...— Крэнли на секунду замялся, потом, помолчав, сказал: — Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела. Но твой отец, он был, что называется, состоятельным человеком? Я имею в виду то время, когда ты еще был ребенком.

— Да,— сказал Стивен.

— А кем он был? — спросил Крэнли, помолчав.

Стивен начал скороговоркой перечислять труды и дни своего отца.

— Студент-медик, гребец, тенор, любитель-актер, яркий политик, мелкий помещик, мелкий вкладчик, пьяница, хороший малый, говорун, чей-то секретарь, кто-то на винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а теперь певец собственного прошлого.

Крэнли засмеялся и, еще крепче прижав руку Стивена, сказал:

— Винный завод — отличная штука, черт возьми!

— Ну что еще ты хочешь знать? — спросил Стивен.

— А теперь вы хорошо живете? Обеспеченно?

— А по мне разве не видно? — резко спросил Стивен.

— Итак,— протянул Крэнли задумчиво,— ты, значит, родился в роскоши.

Он произнес эту фразу громко, отдельно, как часто произносил какие-нибудь технические термины, словно желая дать понять своему слушателю, что произносит их не совсем уверенно.

— Твоей матери, должно быть, немало пришлось потерпеться,— продолжал Крэнли.— Почему бы тебе не избавиться ее от лишних огорчений, даже если...

— Если бы я решился избавиться,— сказал Стивен,— это не стоило бы мне ни малейшего труда.

— Вот и сделай так,— сказал Крэнли.— Сделай, как ей хочется. Что тебе стоит? Если ты не веришь, это будет просто формальность, не больше. А ее ты успокоишь.

Он замолчал, а так как Стивен не ответил, не прервал молчания. Затем, как бы продолжая вслух ход своих мыслей, сказал:

— Все зыбко в этой помойной яме, которую мы называем миром, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своем теле. Что мы знаем о ее чувствах? Но какие бы чувства она ни испытывала, они, во всяком случае, должны быть настоящими. Должны быть настоящими. Что все наши идеи и чаяния? Игра! Идеи! У этого блеющего козла Темпла тоже идеи. И у Макканна — идеи. Любой осел на дороге думает, что у него есть идеи.

Стивен, пытаясь понять, что таится за этими словами, нарочито небрежно сказал:

— Паскаль, насколько я помню, не позволял матери целовать себя, так как он боялся прикосновения женщины.

— Значит, Паскаль — свинья,— сказал Крэнли.

— Алоизий Гонзага¹, кажется, поступал так же.

— В таком случае и он свинья,— сказал Крэнли.

— А церковь считает его святым,— возразил Стивен.

— Плевать я хотел на то, кто кого кем считает,— решительно и грубо отрезал Крэнли.— Я считаю его свиньей.

Стивен, обдумывая каждое слово, продолжал:

— Иисус тоже не был на людях особенно учтив со своей матерью², однако Суарес³, иезуитский теолог и испанский дворянин, оправдывает его.

— Приходило ли тебе когда-нибудь в голову,— спросил Крэнли,— что Иисус был не тем, за кого он себя выдавал?

— Первый, кому пришла в голову эта мысль,— ответил Стивен,— был сам Иисус.

¹ Алоизий Гонзага почитается католической церковью за подвиги в умерщвлении плоти.

² Стивен имеет в виду сцены из Евангелия, например, Евангелие от Марка (3,33), где Иисус произносит следующие слова: «И отвечал им: кто мать Моя и братья Мои?»

³ Франсиско Суарес (1548—1617) — философ-схоласт, комментатор Фомы Аквинского.

— Я хочу сказать,— резко повысив тон, продолжал Крэнли,— приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что он был сознательный лицемер, гроб повапленный, как он сам назвал иудеев, или, попросту говоря, подлец?

— Признаюсь, мне это никогда не приходило в голову,— ответил Стивен,— но интересно, ты что, стараешься обратить меня в веру или совратить самого себя?

Он заглянул ему в лицо и увидел кривую усмешку, которой Крэнли силился придать тонкую многозначительность.

Неожиданно Крэнли спросил просто и деловито:

— Скажи по совести, тебя не шокировали мои слова?

— До некоторой степени,— сказал Стивен.

— А собственно, почему? — продолжал Крэнли тем же тоном.— Ты же сам уверен, что наша религия — обман и что Иисус не был сыном Божьим.

— А я в этом совсем не уверен,— сказал Стивен.— Он, пожалуй, скорее сын Бога, нежели сын Марии.

— Вот потому-то ты и не хочешь причащаться? — спросил Крэнли.— Ты что, и в этом не совсем уверен? Боишься, что причастие действительно может быть телом и кровью сына Божия, а не простой облаткой?

— Да,— спокойно ответил Стивен.— Я чувствую это, и потому мне вчуже страшно.

— Понятно,— сказал Крэнли.

Стивен, удивленный его не допускающим возражений тоном, заговорил сам.

— Я многого боюсь,— сказал он,— собак, лошадей, оружия, моря, грозы, машин, проселочных дорог ночью.

— Но почему ты боишься кусочка хлеба?

— Мне кажется,— сказал Стивен,— за всем тем, чего я боюсь, кроется какая-то зловещая реальность.

— Значит, ты боишься,— спросил Крэнли,— что Бог римско-католической церкви покарает тебя проклятием и смертью, если ты кощунственно примешь причастие?

— Бог римско-католической церкви мог бы это сделать и сейчас,— сказал Стивен.— Но еще больше я боюсь того химического процесса, который начнется в моей душе от лживого поклонения символу, за которым стоят двадцать столетий и могущества и благоговения.

— А мог бы ты,— спросил Крэнли,— совершить это святотатство, если бы тебе грозила опасность? Ну, скажем, если бы ты жил в те времена, когда преследовали католическую веру?

— Я не берусь отвечать за прошлое,— ответил Стивен.— Возможно, что и не мог бы.

— Значит, ты собираешься стать протестантом?

— Я потерял веру,— ответил Стивен.— Но я не потерял уважения к себе. Какое же это освобождение: отказаться от одной нелепости, логичной и последовательной, и принять другую, нелогичную и непоследовательную?

Они дошли до района Пембрук и теперь, медленно шагая по улице, почувствовали, что огни, кое-где горящие на виллах, успокоили их. Атмосфера достатка и тишины, казалось, смягчила даже их бедность. В кухонном окне за лавровой изгородью мерцал свет, оттуда доносилось пение служанки, точившей ножи. Она пела, чеканя строки «Рози О'Грейди».

Крэнли остановился послушать и сказал:

— *Mulier cantat*¹.

Мягкая красота латинских слов завораживающе коснулась вечерней тьмы прикосновением более легким и убеждающим, чем прикосновение музыки или женской руки. Смятение в их умах улеглось. Облик женщины, появившейся во время литургии, тихо возник в темноте; облаченная во все белое фигура, маленькая и мальчишески-стройная, с ниспадающими концами пояса. Ее голос, по-мальчишески высокий и ломкий, доносит из далекого хора первые слова женщины, прорывающие мрак и вопли первого плача Страстей Господних:

— *Et tu cum Iesu Galilaeo eras*².

И, дрогнув, все сердца устремляются к этому голосу, сверкающему, как юная звезда, которая разгорается на первом слове и гаснет на последнем. Пение кончилось. Они пошли дальше. Крэнли, акцентируя ритм, повторил конец припева:

Заживем с моею милой,
Счастлив с нею буду я.
Я люблю малютку Розы.
Розы любит меня.

Вот тебе истинная поэзия,— сказал он.— Истинная любовь.

¹ Женщина поет (лат.).

² И ты был с Иисусом Галилеянином (лат.). Строка из Евангелия.

Он покосился на Стивена и как-то странно улыбнулся.

— А по-твоему, это поэзия? Тебе что-нибудь говорят эти слова?

— Я бы хотел сначала поглядеть на Розу,— сказал Стивен.

— Ее не трудно найти,— сказал Крэнли.

Его кепка нахлобучилась на лоб. Он сдвинул ее назад, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамленное тьмой лицо и большие темные глаза. Да, у него красивое лицо и сильное крепкое тело. Он говорил о материнской любви. Значит, он понимает страдания женщин, их слабости — душевные и телесные; он будет защищать их сильной, твердой рукой, склонит перед ними свой разум.

Итак, в путь! Пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел конец. Да, он уйдет, он не может ни с кем бороться, он знает свой удел.

— Возможно, я уеду,— сказал он.

— Куда? — спросил Крэнли.

— Куда удастся,— ответил Стивен.

— Да,— сказал Крэнли.— Пожалуй, тебе здесь придется трудновато. Но разве ты из-за этого уезжаешь?

— Я должен уехать,— сказал Стивен.

— Только не думай, что тебя вынудили к изгнанию,— продолжал Крэнли.— Не считай себя каким-то еретиком или отщепенцем. Многие верующие так думают. Тебя это удивляет? Но ведь церковь — это не каменное здание и даже не духовенство с его догматами. Это люди, рожденные в ней. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни. Того, о чем ты мне говорил в тот вечер, когда мы стояли с тобой на остановке у Харкорт-стрит?

— Да,— сказал Стивен, невольно улыбнувшись. Его забавляла привычка Крэнли запоминать мысли в связи с местом.— В тот вечер ты полчаса потратил на спор с Догерти о том, как ближе пройти от Селлигепа в Лэррес¹.

— Дубина! — сказал Крэнли с невозмутимым презрением.— Что он знает о дорогах от Селлигепа в Лэррес? Что он вообще может знать, когда у него вместо головы дырявая лохань!

¹ Места вблизи Дублина.

Он громко расхохотался.

— Ну, а остальное,— сказал Стивен,— остальное ты помнишь?

— То есть, то, о чем ты говорил? — спросил Крэнли.— Да, помню. Найти такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя раскованно, свободно.

Стивен приподнял кепку, как бы подтверждая это.

— Свобода! — повторил Крэнли.— Где там! Ты даже боишься совершить святотатство. А мог бы ты украть?

— Нет, лучше просить милостыню,— сказал Стивен.

— Ну, а если тебе ничего не подадут, тогда как?

— Ты хочешь, чтобы я сказал,— ответил Стивен,— что право собственности условно и что при известных обстоятельствах воровство не преступление. Тогда бы все воровали. Поэтому я воздержусь от такого ответа. Обратись лучше к иезуитскому богослову Хуану Мариане де Талавера¹, он объяснит тебе, при каких обстоятельствах позволительно убить короля и как это сделать — подсыпав ему яду в кубок или же пропитав отравой его одежду или седельную луку. Спроси меня лучше: разрешил бы я себя ограбить? Не предал ли бы я грабителей, как говорится, карающей деснице правосудия?

— Ну, а как бы ты это сделал?

— По-моему,— сказал Стивен,— это было бы для меня не менее тяжело, чем быть ограбленным.

— Понимаю,— сказал Крэнли.

Он вынул спичку из кармана и стал ковырять в зубах. Потом небрежно спросил:

— Скажи, а ты мог бы, например, лишить девушку невинности?

— Прошу прощения,— вежливо сказал Стивен.— Разве это не мечта большинства молодых людей?

— Ну а ты как на это смотришь? — спросил Крэнли.

Его последняя фраза, едкая, как запах гари, и коварная, разбередила сознание Стивена, осев на нем тяжелыми испарениями.

¹ Хуан де Мариана из Талаверы (1536—1623) — испанский историк, политический деятель и теолог. Стивен вспоминает его известный трактат «О короле и институте королевской власти» (1599).

— Послушай, Крэнли,— сказал он.— Ты спрашиваешь меня, что я хотел бы сделать и чего бы я не стал делать. Я тебе скажу, что я делать буду и чего не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, даже если это моя семья, родина или церковь. Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое считаю для себя возможным,— молчанием, изгнанием и хитроумием.

Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивена с дружелюбной нежностью старшего.

— Хитроумием?! — сказал он.— Это ты-то? Бедняга поэт!

— Ты заставил меня признаться тебе в этом,— сказал Стивен, взволнованный его пожатием,— так же, как я признавался во многом другом.

— Да, дитя мое¹,— сказал Крэнли все еще шутливо.

— Ты заставил меня признаться в том, чего я боюсь. Но я скажу тебе также, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого, не боюсь покинуть все то, что мне суждено оставить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку всей жизни, а может быть, даже всей вечности.

Крэнли замедлил шаг и сказал теперь уже серьезно:

— Один, совсем один. Ты не боишься этого? А понимаешь ли ты, что значит это слово? Не только быть в стороне ото всех, но даже не иметь друга.

— Я готов и на это,— сказал Стивен.

— Не иметь никого, кто был бы больше чем друг, больше чем самый благородный, преданный друг?

Эти слова, казалось, задели какую-то сокровенную струну в нем самом. Говорил ли он о себе, о том, каким он был или хотел бы стать? Стивен несколько секунд молча вглядывался в его лицо, на котором застыла скорбь. Он говорил о себе, о собственном одиночестве, которого страшился.

— О ком ты говоришь? — спросил наконец Стивен.

Крэнли не ответил.

¹ Крэнли пародирует обращение священника во время исповеди.

20 марта. Длинный разговор с Крэнли о моем бунте.

Он важно вещал. Я подделывался и юлил. Донимал меня разговорами о любви к матери. Попытка представить себе его мать. Не смог. Как-то однажды он невзначай обмолвился, что родился, когда отцу был шестьдесят один год. Могу себе представить. Здоровяк фермер. Добротный костюм. Огромные ножищи. Нечесаная борода с проседью. Наверное, охотится с гончими. Платит церковный сбор отцу Дваеру из Лэрреса исправно, но не очень щедро. Не прочь поболтать вечером с девушками. А мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая, Крэнли бы тогда говорил по-другому. Значит, старая. Может быть, заброшенная. Отсюда и отчаяние души: Крэнли — плод истощенных чресел.

21 марта, утро. Думал об этом вчера ночью в постели, но я теперь слишком ленив и свободен и потому записывать не стал. Да, свободен. Истощенные чресла — это чресла Елизаветы и Захарии¹. Значит, он — Предтеча. Итак, питается преимущественно копченой грудинкой и сушеными фигами. Понимай: акридами и диким медом². Еще — когда думаю о нем, всегда вижу суровую отсеченную голову, или мертвую маску, словно выступающую на сером занавесе, или Нерукотворный Спас. Усекновение главы — так это у них называется. Недоумеваю по поводу святого Иоанна у Латинских ворот³. Что я вижу? Обезглавленного Предтечу, пытающегося взломать замок.

21 марта, вечер. Свободен. Свободна душа и свободно воображение. Пусть мертвые погребают своих мертвецов⁴. Да. И пусть мертвецы женятся на своих мертвых.

22 марта. Шел вместе с Линчем за толстой больничной сиделкой. Выдумка Линча. Не нравится. Две тощих голодных борзых в погоне за телкой.

¹ Согласно Евангелию, престарелые родители Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

² По Евангелию, пищей Иоанна в пустыне был дикий мед и акриды.

³ Мысль Стивена ассоциативно движется от Иоанна Предтечи к Иоанну Евангелисту. Стивен вспоминает чудесное освобождение Иоанна Евангелиста от преследовавших его воинов у Латинских ворот в Риме.

⁴ Цитата из Евангелия.

23 марта. Не видел ее с того вечера. Нездорова? Верно, сидит у камина, закутавшись в мамину шаль. Но не дуется. Съешь тарелочку каши!

24 марта. Началось со спора с матерью. Тема — пресвятая дева Мария. Был в невыгодном положении из-за своего возраста и пола. Чтобы отвертеться, привел в пример отношения Иисуса с его папашей и Марии с ее сыном. Сказал ей, что религия — это не родовспомогательное заведение. Мать снисходительна. Сказала, что у меня извращенный ум и что я слишком много читаю. Не правда. Читаю мало, понимаю еще меньше. Потом она сказала, что я еще вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это что же: покинуть церковь черным ходом греха и вернуться через слуховое окно раскаяния? Каяться не могу. Так ей и сказал. И попросил шесть пенсов. Получил три.

Потом пошел в университет. Вторая стычка с круглоголовым Гецци, у которого жуликоватые глазки. На этот раз повод — Бруно из Нолы¹. Начал по-итальянски, кончил на ломаном английском. Он сказал, что Бруно был чудовищный еретик. Я ответил, что он был чудовищно сожжен. Он не без огорчения согласился со мной. Потом дал рецепт того, что называется *risotto alla bergamasca*². Когда он произносит мягкое «о», то выпячивает свои пухлые, плотоядные губы. Как будто целует гласную. Может, и впрямь целует? А мог бы он покаяться? Да, конечно, и пустить две крупные плутовские слезищи, по одной из каждого глаза.

Пересекая Стивенс-Грин-парк, мой парк, вспомнил: ведь это его, Гецци, а не мои соотечественники выдумали то, что Крэнли в тот вечер назвал нашей религией. Солдаты девяносто седьмого пехотного полка вчетвером сидели у подножия креста и играли в кости, разыгрывая одежонку распятого³.

Пошел в библиотеку, пытался прочесть три журнала. Бесплезно. Она все еще не показывается. Волнует ли это меня? А собственно, что именно? То, что она больше никогда не покажется? Блейк писал:

¹ То есть Джордано Бруно.

² Ризотто по-бергамаски (*итал.*) — национальное итальянское блюдо.

³ Стивен пародирует евангельский текст: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части...»

Я боюсь, что Уильям Бонд скончался,
Потому что он давно и тяжело болен¹.

Увы, бедный Уильям².

Как-то был на сеансе в Ротонде³. В конце показывали высокопоставленных особ. Среди них Уильяма Юарта Гладстона⁴, который тогда только что умер. Оркестр заиграл «О, Вилли, нам тебя недостает!»⁵.

Поистине нация болванов!

25 марта, утро. Всю ночь какие-то сны. Хочется сбросить их с себя. Длинная изогнутая галерея. С пола столбами поднимаются темные испарения. Бесчисленное множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Руки их устало сложены на коленях, глаза затуманены слезами, потому что людские заблуждения непрестанно проносятся перед ними темными испарениями.

Странные фигуры появляются словно из пещеры. Ростом они меньше, чем люди. Кажется, будто они соединены одна с другой. Их фосфоресцирующие лица изборождены темными полосами. Они всматриваются в меня, а их глаза будто вопрошают о чем-то. Они молчат.

30 марта. Сегодня вечером у входа в библиотеку Крэнли загадал Диксону и ее брату загадку. Мать уронила ребенка в Нил. Все еще помешан на материнстве. Ребенка схватил крокодил. Мать просит отдать его. Крокодил соглашается: ладно, только если она угадает, что он хочет сделать с ним — сожрать его или нет.

Такой образ мышления, сказал бы Лепид, поистине может возникнуть только из вашей грязи, под вашим солнцем⁶.

¹ Строки из стихотворения английского поэта Уильяма Блейка (1757—1827) «Уильям Бонд», где в шуточной форме описывается смерть от любви.

² Измененные слова Гамлета: «Увы, бедный Йорик».

³ Во времена Джойса концертный зал, а также место общественных собраний, где часто выступал Парнелл.

⁴ Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — английский государственный деятель, вождь либералов, премьер-министр (1868—1874). В Ирландии жестоко подавлял национально-освободительное движение, но в то же время шел на уступки. В 1886 г. внес в парламент законопроект о «гомруле», провал которого побудил его подать в отставку.

⁵ Песня американского композитора Стивена Фостера (1826—1864).

⁶ Лепид Марк Эмилий Младший (ок. 89—1312 г. до н. э.) — римский политический деятель, сподвижник Цезаря. Джойс приво-

А мой? Чем он лучше? Так в Нил его, на дно!

1 апреля. Не нравится последняя фраза.

2 апреля. Видел, как она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и О'Брайена. Вернее, лиса Линч увидел ее, когда мы проходили мимо. Он сказал мне, что ее брат пригласил к ним Крэнли. А крокодила своего он не забыл захватить? Так, значит, он теперь свет мира?¹ А ведь это я его открыл. Уверяю вас, я! Он тихо сиял из-за мешка с уиклоускими отрубями.

3 апреля. Встретил Дейвина в табачной лавке против Финлейтерской церкви. Он был в черном свитере и с клюшкой в руках. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю, и почему. Сказал ему, что кратчайший путь в Тару — *via*² Холихед³. Тут подошел отец. Познакомил их. Отец был учтив и внимателен. Предложил Дейвину пойти перекусить. Дейвин не мог — торопился на митинг. Когда мы отошли, отец сказал, что у него хорошее открытое лицо. Спросил меня, почему я не записываюсь в клуб гребли. Я пообещал подумать. Потом рассказал мне, как он когда-то огорчил Пеннифезера⁴. Хочет, чтобы я шел в юристы. Говорит, что это мое призвание. Опять нильский ил с крокодилами.

5 апреля. Буйная весна. Несущиеся облака. О, жизнь! Темный поток бурлящих болотных вод, над которыми яблони роняют свои нежные лепестки. Девичьи глаза из-за листьев. Девушки — скромные и озорные. Все блондинки или русые. Брюнеток не надо. У блондинок румянец ярче. Гопля!

6 апреля. Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, что все женщины помнят. Значит, она помнит и

дит парафразу реплики Лепида из пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра»: «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской грязи от лучей вашего египетского солнца. Вот, например, крокодил» (перевод Мих. Донского).

¹ Здесь использованы евангельские слова: «Вы — свет мира... И, зажегши свечу, не ставь ее под сосуд, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

² Через (*лат.*).

³ Тара — древняя столица Ирландии и символ ирландского золотого века, расцвета культуры. Холихед — порт на западном побережье Уэльса, куда прибывают суда, идущие из Ирландии. Значение слов Стивена: изгнание — кратчайший путь к истинному знанию и пониманию Ирландии.

⁴ Пеннифезер — фамилия одного из родственников Джойса, напоминающая своим звучанием английское слово «penny-father» — скупердяй.

свое и мое детство, если я только когда-нибудь был ребенком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живет только потому, что родит будущее. Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы и одной рукой женщина должна стыдливо прикрывать свой зад.

6 апреля, позже. Майкл Робартес¹ вспоминает утраченную красоту, и, когда его руки обнимают ее, ему кажется, он сжимает в объятиях красоту, давно исчезнувшую из мира. Не то. Совсем не то. Я хочу сжимать в объятиях красоту, которая еще не пришла в мир.

10 апреля. Глухо, под тяжким ночным мраком, сквозь тишину города, забывшего свои сны ради забвения без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают ласки, стук копыт по дороге. Теперь уже не так глухо. Вот уже ближе к мосту: миг — мчатся мимо темных окон, тревогой, как стрелой, прорезая тишину. А вот уже они где-то далеко; копыта, сверкнувшие алмазами в темной ночи, умчавшиеся за спящие поля — куда? — к кому? — с какой вестью?

11 апреля. Перечел то, что записал вчера ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей? По-моему, да. Тогда, значит, и мне должно нравиться.

13 апреля. Эта цедилка долго не выходила у меня из головы. Я заглянул в словарь. Нашел. Хорошее старое слово. К черту декана с его воронкой! Зачем он явился сюда — учить нас своему языку или учиться ему у нас? Но как бы то ни было — пошел он к черту!

14 апреля. Джон Альфонс Малреннен² только что вернулся с запада Ирландии. Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это сообщение. Рассказывает, что встретил там в горной хижине старика. У старика глаза и короткая трубка во рту. Старик говорил по-ирландски. И Малреннен говорил по-ирландски. Потом старик и Малреннен говорили по-английски. Малреннен рассказал ему о вселенной, о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплеывал. Потом сказал:

¹ Майкл Робартес — герой стихотворения У. Б. Йейтса «Майкл Робартес вспоминает утраченную красоту» (1896). Для поэта Майкл Робартес — символ фантазии, творчества и самой Ирландии.

² Комментаторам Джойса не удалось выяснить, кто такой Малреннен. Джойс, по-видимому, сознательно использует здесь случайную фамилию, вновь высмеивая ирландских националистов.

— Вот уж верно, чудные твари живут на том конце света.

Я боюсь его. Боюсь его красных, остекленевших глаз. Это с ним суждено мне бороться всю ночь, до рассвета¹, пока ему или мне не наступит конец, душисть его жилистую шею, пока... Пока что? Пока он не уступит мне? Нет, я не желаю ему зла.

15 апреля. Встретился с ней сегодня лицом к лицу на Графтен-стрит. Нас столкнула толпа. Мы остановились. Она спросила меня, почему я совсем не показываюсь. Сказала, что слышала обо мне всякие небылицы. Все это говорилось, только чтобы протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи. О ком? — спросил я. Тогда она еще больше смутилась, а мне стало ее жаль, и я почувствовал себя подлецом. Тотчас же закрыл этот кран и пустил в ход духовно-героический охлаждающий аппарат, изобретенный и запатентованный во всех странах Данте Алигьери: быстро заговорил о себе и своих планах. К несчастью, среди разговора у меня нечаянно вырвался бунтарский жест. Наверное, я был похож на человека, бросившего в воздух пригоршню гороха. На нас начали глазеть. Она сейчас же пожала мне руку и, уходя, выразила надежду, что я осуществлю все, о чем говорил.

Мило, не правда ли?

Да, сегодня мне было с ней хорошо. Очень или не очень? Не знаю. Мне было хорошо с ней, а для меня это какое-то новое чувство. Значит, все, что я думал, что думаю, все, что я чувствовал, что чувствую, одним словом, все, что было до этого, теперь в сущности... А, брось, старина! Утро вечера мудренее.

16 апреля. В путь, в путь!

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, застывших неподвижно под луной, их рассказ о далеких странах. Их руки тянутся ко мне, чтобы сказать: мы одни — иди к нам. И голоса вторят им: ты наш брат. Ими полон воздух, они взывают ко мне, своему брату, готовые в путь, потрясают крыльями своей грозной, ликующей юности.

¹ Библейская аллюзия: имеется в виду борьба Иакова с Богом: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари...» Образ старика становится для Стивена символом родины, которую он собирается покинуть, и религии, от которой он отказался.

26 апреля. Мать укладывает мои новые, купленные у старьевщика вещи. Она говорит: молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь! Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа.

27 апреля. Древний отче, древний мастер¹, будь мне опорой ныне и присно и во веки веков.

Дублин, 1904
Триест, 1914

¹ Стивен обращается к Дедалу, имя которого он носит.

Содержание

ДУБЛИНЦЫ

(Рассказы)

Перевод с английского под редакцией И. А. Кашкина

| | |
|--|-----|
| Сестры. Перевод М. П. Богословской-Бобровой | 7 |
| Встреча. Перевод И. К. Романовича | 16 |
| Аравия. Перевод Е. Д. Калашиковой | 25 |
| Эвелин. Перевод Н. А. Волжиной | 32 |
| После гонок. Перевод В. М. Топер | 37 |
| Два рыцаря. Перевод В. М. Топер | 43 |
| Пансион. Перевод Н. А. Волжиной | 55 |
| Облачко. Перевод М. П. Богословской-Бобровой | 63 |
| Личины. Перевод Е. К. Калашиковой | 77 |
| Земля. Перевод Е. Д. Калашиковой | 88 |
| Несчастный случай. Перевод Н. Л. Дарузес | 95 |
| В день плюща. Перевод Н. Л. Дарузес | 105 |
| Мать. Перевод Н. Л. Дарузес | 122 |
| Милость Божия. Перевод И. К. Романовича | 135 |
| Мертвые. Перевод О. П. Холмской | 159 |

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ

(Роман)

Перевод с английского М. П. Богословской-Бобровой

| | |
|-----------------|-----|
| Глава I | 205 |
| Глава II | 256 |
| Глава III | 297 |
| Глава IV | 339 |
| Глава V | 364 |

Джеймс Джойс

ДУБЛИНЦЫ

Рассказы

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Роман

Том 1

Редактор Т. Кудина
Художественный редактор Е. Соколов
Технический редактор Н. Яшукова
Корректор Т. Павлюченко

Сдано в набор 15.11.92. Подписано в печать 24.05.93. Формат 84 X 108^{1/2}.
Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л.
23,52. Уч.-изд. л. 24,45. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1731.

Издательство «ЗнаК», 121069, Москва, ул. Поварская, 11.

Типография «Правда Севера», 163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.

Тексты печатаются по изданиям журнала «Иностранная литература»: «Дублинцы» — «Библиотека журнала «ИЛ», М., «Известия», 1982. «Портрет художника в юности» — «ИЛ», 1976, № 10, 11, 12.

Подготовка текста Е. Ю. Гениевой и Н. А. Волжиной.

Джойс Д.

Д 42 Дублинцы: рассказы; Портрет художника в юности: роман; переводы с англ., т. 1.— М.: Знак, 1993.— 448 с.

ISBN 5—8350—0035—9 (т. 1)

ISBN 5—8350—0036—7

В первый том трехтомного собрания сочинений великого ирландского писателя Джеймса Джойса (1882—1941) вошли его ранние реалистические рассказы «Дублинцы» (1914) и роман «Портрет художника в юности» (1916).

Творчество Джеймса Джойса широко известно во всем мире, он стал основоположником метода «потока сознания», его произведения оказали огромное влияние на всю литературу XX столетия. Литературного благословения Джойса искали писатели, сами вскоре ставшие классиками,— Э. Хемингуэй, С. Фицджеральд, У. Фолкнер, Дос Пассос, Шон О'Кейси, Т. Вулф; по решению ЮНЕСКО в 1982 году широко отмечалось столетие со дня рождения писателя. Наше собрание сочинений — первый опыт подобного издания произведений Д. Джойса в России.

Д 4703010100—029 Без объявления
083(02) — 93

ББК 84.4Н

